

НОВЫЙ МИР

10-11

МОСКВА

1946

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIII

№ 10—11

Москва, 1946 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр
БОРИС ГАЛИН — В Донбассе, очерк	3
ВЛАДИМИР ЛИФШИЦ — Тито, стихотворение	43
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — Костер, стихотворение	44
ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ — Марсиане, стихотворение	46
МИХАИЛ ЛУКОНИН — Пришедшим с войны, стихотворение	48
АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО — Жизнь в цвету, кино-повесть	49
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ — Семья Иванова, рассказ	97
АЛЕКСАНДР ПИСЬМЕННЫЙ — Возвращение, рассказ	109
<i>ИЗ СЛАВЯНСКИХ ПОЭТОВ</i>	
РАДОВАН ЗОГОВИЧ — Упрямые строфы, стихотворение. Перевод с сербского Дмитрия Петровского	116
СКЕНДЕР КУЛЕНОВИЧ — Стоянка, мать кнежепольская, стихотворение. Сокращенный перевод с сербского Арсения Тарковского	119
ВИТЕЗЛАВ НЕЗВАЛ — Стихи. Вольные переводы с чешского Константина Симонова	123
ЯН НЕРУДА — Романс о Карле Четвертом, стихотворение. Вольный перевод с чешского Константина Симонова	125
КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ — Воронежское лето, из дневника	127
АННА САКСЕ — Порка, рассказ. Перевод с латышского Яна Шумана	137
АНАТОЛИЙ РУССОВ — Могила солдата, рассказ	148
ВЛАДИМИР ЛИФШИЦ — Петроградская сторона, повесть	162
—	
АЛЕКСАНДР ЛЕЙТЕС — Адвокаты «чистого искусства» и их нечистая совесть	229
—	
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — Письмо в редакцию	239
АЛЕКСАНДР ИВИЧ — Аркадий Гайдар	240
Р. ФРАЕРМАН — Путешественники вышли из города, памяти Аркадия Гайдера	249
—	
ПАРОДИИ И ШАРЖИ. Ян САШИН. «Модная» передовая. Несовременная идилия — Худ. КУКРЫНИКСЫ. Степан Щипачев (Дружеский шарж). — Александр РАСКИН. М. Матусовский (Пародия). Горестные заметы.	252

В ДОНБАССЕ

БОРИС ГАЛИН



ПОЕЗД ИДЕТ В СТАЛИНО

Впервые после войны я снова поехал в Донбасс осенью 1945 года. Давно уже наступили дни мира, поезда шли с незатемненными окнами, но люди еще не привыкли к новой обстановке, и мысли о мирной жизни переплетались с мыслями и воспоминаниями о том, что было вчера...

Поезд шел из Москвы в Сталино. Пассажиры нашего вагона были люди самых разнообразных профессий: тут были военные, первые демобилизованные солдаты и отпускники; семьи, возвращавшиеся из эвакуации домой; шахтеры, инженеры, металлурги, геологи, работавшие в годы войны на Урале, в Сибири и теперь направлявшиеся в родные места; были и хозяйственники, экономисты, проектировщики, снабженцы, строители, — одни из них впервые ехали в Донбасс, другие уже работали в Донбассе и теперь возвращались на свои, как они говорили, объекты, везя с собою утвержденные в Москве планы и сметы, наряды на фондовые материалы, на лес, цемент, железо, стекло; были среди пассажиров партийные и комсомольские работники и члены правительственных комиссий, посланные в Донбасс определять размеры разрушений, способы и сроки восстановления заводов и шахт; были и такие, которые всё потеряли на войне — дом, семью, — лишенные родного крова, они потянулись в Донбасс, чтобы начинать жизнь снова.

Преобладающий цвет одежды был защитный: не только военные, но и гражданские носили телогрейки, шинели, гимнастерки. Война еще владела сознанием

людей, ее следы можно было видеть на усталых лицах, по ночам она прорывалась в страшных выкриках детей, спавших на чемоданах, узлах, а то и просто на полу вагона, ее можно было услышать в песнях, которые пелись то громко, то тихо, вполголоса, в бесконечных разговорах, которые велись под мерный стук вагонов нашего поезда, пронесившегося мимо городов, поселков и деревень, по земле, которая вчера еще была полем битвы.

Но как ни велика была эта сила, сила только недавно прошедшей войны, люди уже думали о том, что ждет всех нас впереди — о мирной жизни. Размышляли об этом вслух, спорили, делились своими предположениями, планами, мечтами. И если внимательно вслушаться, то можно было уловить общий тон всех разговоров: как можно скорее собрать все силы, чтобы поднять и залечить раны, нанесенные войной, немцами. В самом характере бесед и споров, живых и острых, вспыхивавших в разных концах вагона, можно было ощутить эту общую мысль, общую заботу о своем государстве, с которым связана жизнь каждого из нас. Самое обыденное, личное и житейское переплеталось с общим. Это была одна дума, владевшая умом и сердцем моей соседки, седой женщины, красивой в своей старости, — она направлялась к мужу-профессору в Сталино; дума, владевшая майором-танкистом, ехавшим в отпуск к отцу в Горловку на улицу Изотова, 117; и горным инженером из комбината Сталинуголь, и двумя строителями, из которых один был генеральный подрядчик, а второй — суб-

подрядчик, всю дорогу они или играли в карты, или спорили...

В дороге люди быстро сближаются. Вскоре мы уже знали, что женщина с седой красивой головой была в гостях у сына, — он работает, этот чудный мальчик, в Ленинграде в Арктическом институте; что горный инженер в брезентовом плаще ездил в Москву с отчетным докладом в Наркомголь и был, по его словам, здорово побит; что молодой кудрявый человек, забравшийся на третью полку, работает комсоргом шахты в Горловке и что современных поэтов он не признает, делая, однако, исключение для своего земляка — донбасского поэта Павла Беспощадного, который, по его убеждению, один понимает душу шахтера; что генеральный подрядчик — худенький, нервный человек с блестящими глазами, и его товарищ, субподрядчик — ленивый и добродушный инженер, имеют счастье работать на одной строительной площадке и являются друзьями в частной жизни и врагами по работе; что маленькая, сухонькая старушка, как воробушек примостившаяся на узлах, едет в Рученково к своей дочери, которая замужем за Чуфаровым.

— Ответственный он у нас, — говорила она с гордостью о своем зяте. Так называют в Донбассе мастеров-практиков, которые сдали экзамен на право ведения горных работ. Узнали, что «бесплаткартный пассажир» — пожилой шахтер могучего телосложения, в резиновых сапогах — едет из Караганды в Донбасс на шахту Американка, чтобы хоть одним глазом взглянуть на эту прекрасную шахту, на которую ему не дают перевода.

— Подываюсь, та помру, — говорит он смиренным голосом. Но карие глаза его с цыганским блеском сверкают такой радостью бытия, что всем ясно — умирать он не собирается.

И всеми этими людьми уже властно владел Донбасс.

— Если взять наше угольное дело, — говорил горный инженер, — то одной только воды из затопленных шахт нужно откачать сотни миллионов кубов.

Старушка, у которой зять был «ответственный», сказала:

— По нашей шахте — три миллионов кубов...

— А металлургия? — продолжал горный инженер. — Сколько доменных печей нужно восстановить, сколько мартенов... А химия? Сколько коксовых батарей нужно восстановить... А города? А культура? — И, видимо, вспомнив свои дела в Наркомате, он с обидой сказал: — А от меня требуют, чтобы я и шахты восстанавливал, и добычу давал.

— В Енакиево, — сказал генеральный подрядчик, отрываясь на мгновение от карт, — кое-что уже сделано.

— Даю, чтобы ты дал, — весело сказал субподрядчик, сдавая карты, и скороговоркой добавил: — Первая домна в Донбассе пущена в Енакиево.

Комсомольский организатор, свесив кудрявую голову с верхней полки, вступил в разговор:

— И в Макеевке дали сталь. На восьмой день после освобождения Макеевки инженер Васильев оживил старую мартеновскую печь, ту самую печь, которую он в дни отступления остановил на полном ходу. Все опасались, что если разжечь печь горячим способом, то огнеупорная кладка, которая за эти годы разложилась, выпустит горячий металл. А Васильев сказал: горячий металл образует монолитную корку, свяжет огнеупорную кладку. Так оно и случилось. А на Центральной электрической станции для каждой балки, для каждой разрушенной колонны был создан свой метод лечения. В сердцевину разрушенной колонны под большим давлением нагнетали жидкий цементный раствор, он устремлялся во все поры и скреплял колонну. Очень интересный способ лечения...

— Метод инъекции, — сказал генподрядчик, — дело нехитрое. А вот попробуйте поднять одновременно тысячи тонн металлоконструкций и поставить их на прежнее место. Это потрудней. Но мы это у себя делаем. Вес и размеры конструкций нас не пугают. И характер разрушений нас не пугает... Правда, Сережа? — сказал он, обращаясь к субподрядчику.

Он оживился, достал из-под койки длинный футляр, раскрыл его аккуратно и извлек на свет божий белоснежный плотный ватман. Это был проект расширения металлоконструкций прокатного цеха. Собственно говоря, было два

проекта, — говорил он, — его проект и проект субподрядчика.

— Сей муж, — сказал он, показывая на субподрядчика, — предложил демонтировать весь цех, все металлоконструкции. А мы предложили проект наращивания металлоконструкций. Кое-кто говорил, что фонарь крыши эксцентричен, что дело слишком рискованное и все прочее, что говорится в этих случаях...

Он весь ожил. Что-то новое, доброе, появилось в его глазах. Все с интересом слушали его объяснения — седая дама, старушка, майор, горный инженер, пожилой шахтер, комсомольский работник.

— Ясно? — говорил он, почему-то обращаясь главным образом к старушке, которая смотрела на него, как на бога.

— Та, конечно, — быстрехонько отвечала старушка певучим голосом.

— Поехали мы с ним в Москву, — продолжал генподрядчик, — пошел я к своему старому профессору, познакомил его со своим проектом; он меня поддержал, потом пробился к замнаркома, — замнарком ознакомился с моим проектом и сказал: «Быть по сему!» Вот его подпись.

— Подпись неразборчива, — хмуро сказал субподрядчик.

Но подпись была очень ясна: в углу эскизного проекта стояло: «Утверждаю. Юдин».

Генподрядчик аккуратно скатал ватман в трубку и вдвинул его в футляр.

— Скорей нужно строить, — сказал он каким-то другим голосом, тихим и напряженным, — чтобы исчезли все следы немцев на нашей земле. Все! Чтобы исчезли противотанковые рвы, в которые они загоняли живых людей...

Он больше ничего не сказал, но все поняли: у этого человека какое-то большое личное горе.

— Скорей нужно строить, — снова сказал он звенящим голосом, — скорей!

— Как ты думаешь, Дима, — мягко сказал субподрядчик, — получили на заводе нашу телеграмму?

— Думаю, получили, — сказал генподрядчик.

— И я так думаю. Сыграем?

И, сдавая карты, он снова сказал свою любимую фразу:

— Как говорили римляне: даю, чтобы и ты дал.

Повидимому, эти слова имели какой-то особый тайный смысл в его жизни, жизни инженера-строителя.

— Донбасс никто не ставил на колени, — вдруг послышалось с третьей полки, — и никому поставить не дано!

Все взглянули вверх. Молодой комсорг, свесив свою кудрявую голову, вызывающе смотрел на горного инженера.

— Стихи? — спросил горный инженер.

— Стихи, — решительно сказал комсорг и добавил, — Павла Беспощадного.

— Да, огромные ресурсы нужны, чтобы восстановить Донбасс, — после некоторого молчания сказал горный инженер. — Огромные материальные ресурсы, соответствующие масштабам работ.

Кто-то вставил:

— И творческие ресурсы.

Это сказал кудрявый молодой человек.

— Если у человека нет таланта, то никакие материальные ресурсы не помогут.

Все согласились: творческие ресурсы — дело большое. Талант обязательно нужен в таком деле, как восстановление.

— Я вам скажу, — заговорила гухонькая старушка, — мой зять работает начальником участка. Пласт у него маломощный, боковые породы слабые, но добычу он дает. И хорошо дает, потому что имеет талант в этом деле.

Тут не выдержала и жена профессора, седая красивая дама. Она, видимо, давно дожидалась повода, чтобы поговорить о своем талантливом сыне.

— Мой сын, — сказала она, — научный работник. Всю блокаду он провел в Ленинграде. Это сказало на его здоровье — он дистрофик. Мы с мужем хотели взять его на юг лечиться, но сын не поехал: он занят разработкой одной большой научной проблемы...

Она порылась в сумочке и извлекла письмо. Письмо сына. Повидимому, она часто его читала — листки письма были потерты на сгибах.

— Сегодня, пишет мой сын, я сделал два интересных доклада: один о классификации грунтов, второй о двух ле-

гендарных землях — Санникова и Андреева, которые я снова открыл... сидя за собственным рабочим столом. О земле Санникова ты, мама, повидимому, слышала, хотя бы из книги академика Обручева. Столь же легендарна земля Андреева. Земля Санникова виделась к северу от Новосибирских островов, а Андреева — в центральной части Восточносибирского моря.

Седая дама повернулась к окну, чтобы лучше видеть.

— Изучая грунты дна моря, — читала она нараспев, — на месте этих двух легендарных земель я обнаружил песок, что свидетельствует о существовании поблизости земли и что может служить некоторым доказательством, что некогда здесь действительно были земли. Таким образом эти «земли» к настоящему времени растаяли. На месте земли Санникова я обнаружил «банку», земля же Андреева может быть и сейчас находится поблизости или, скорее всего, также растаяв, опустилась под уровень моря. Все это, мама, значительно сложнее, чем я пишу. Доклады, во всяком случае, вызвали сенсацию, для меня неожиданную.

Седая дама положила письмо на колени и сказала:

— Доктор географических наук читал работу моего сына... Он сказал, что данная работа является крупным вкладом в науку, с нею связано будущее океанологии.

Она взяла письмо в руки, некоторое время молча читала его, заулыбалась и снова стала читать вслух, испытывая огромное наслаждение.

— Девятого апреля, — читала она, — я сделал; по-моему, еще более интересный, хоть и не столь явно сенсационный доклад на совещании по выработке ледового прогноза. Я сделал доклад о своем прогнозе (режим температуры, солености, циркуляции вод, ледовитости и прочего) на лето текущего года. Такая штука, как мне кажется, дается впервые и должна была бы произвести очень большой эффект, чего, однако, не произошло. Совершенно объективно могу сказать, что разработанная мною методика представляет большой интерес. Огорчительным, однако, является вопрос с кандидатским

минимумом, кроме того, замучили головные боли...

— Интересно, — сказал субподрядчик и потянулся к письму, — разрешите взглянуть.

Она охотно разрешила. И все пассажиры нашего купе по очереди стали рассматривать письмо сына седой дамы. И сухонькая старушка взяла письмо, и пожилой шахтер, благоговейно положив письмо на свою широкую ладонь, держал его с таким видом, словно это было что-то дорогое, большое.

— Земля Санникова, — задумчиво сказал горный инженер, — давно ее ищут, эту землю Санникова...

Поезд стал замедлять ход. Показались низкие строения маленькой степной станции.

— Ну-с, — бодро сказал субподрядчик, — на этой станции мы заправимся... Здесь имеется прекрасный мед.

Танкист-майор, все время неотрывно смотревший в окно, услышав, что это станция Горшечная, почему-то заволновался. Он стремительно встал и пошел к выходу, захватив с собой чайник.

Я вышел из вагона. Паровоз набирал воду. Майор, державший чайник, — он, повидимому, собирался итти за кипятком, — вдруг пошел к паровозу, поговорил о чем-то с машинистом и еще быстрее пошел, а потом побежал к синевшей невдалеке роще.

Паровоз набрал воду и готов был тронуться. Уже все пассажиры были на месте, но майора-танкиста все еще не было. Вот он бежит. Вскочил на подножку вагона. Стоя в тамбуре у раскрытой двери, он смотрел на рошу. Что он там видел? Я спросил его. Он молчал. Поезд давно уже прошел станцию Горшечная, давно уже скрылась роща, а майор все еще стоял и смотрел в ту сторону.

— Каргин, — сказал он вдруг отрывисто, — Петр Каргин похоронен в той роще. Комиссар нашего танкового полка. В сорок втором году. Летом. Могила цела. И медная пластинка с его именем. Мы ее сделали, эту пластинку, из стапятидесятидвухмиллиметровой гильзы...

Он ушел в вагон, а я остался стоять в тамбуре. Эти разговоры, которые я слушал весь день в поезде, были для меня каким-то своеобразным вводом в жизнь

Донбасса. Прислушиваясь к тому, о чем беседовали люди, я как бы ощущал дыхание этой донбасской жизни. Я входил в круг мыслей, которые волновали людей, связавших свою судьбу с этим чудесным краем. Поезд уже шел по донбасской земле. В былые времена это легко было почувствовать и увидеть — по огням, которые загорались на терриконах шахт, по зарницам, полыхавшим в небе. Какой это прекрасный край, Донбасс, наша индустриальная жемчужина! Край угля, металла и химии. Край, богатый умными, талантливыми людьми, дела которых и до войны гремели на всю страну. Ведь именно здесь, в недрах донбасской земли родилось стахановское движение. Помню, задолго до войны, в дни мирной жизни я ехал вот в таком же поезде из Москвы в Донбасс. По долгу корреспондента я ехал со стахановцами, которые после четырехдневного совещания в Кремле, после тесного дружеского общения с товарищем Сталиным возвращались домой. Эти люди — шахтеры, сталевары, металлисты, ткачихи, съехавшиеся со всех концов страны в скорых поездах и на самолетах, зачинатели и последователи стахановского движения, люди, чьи имена прогремели на всю страну, впервые встретились в Москве и, выходя на Кремлевскую трибуну, чувствуя направленный в свою сторону острый и внимательный взгляд Сталина, как бы обзревали свой жизненный путь, движение страны социализма. По штрихам и деталям возникал на совещании образ передового человека нашей эпохи.

Сталин одобритительно кивнул головой, когда Дюканов, коренастый, невысокого роста шахтер, стал рассказывать о том, как большевики на шахте Центральная-Ирмино воспитали беспартийного забойщика Алексея Стаханова.

— Что же мы сделали, стахановцы? — спросил себя Дюканов. — Мы труд разделили, товарищи.

— В этом суть успеха, — тотчас бросил реплику Сталин.

Дюканов стоял, обернувшись лицом к Сталину, положив на стол широкие, в ссадинах, крепкие руки. Вся его фигура дышала спокойствием и силой. Сталин внимательно, со все возрастающим интересом слушал его чуть медлительную обстоятельную речь, пытливо всматри-

ваясь в открытое спокойное лицо приземистого забойщика. Темная коротко остриженная голова, широкое, тщательно отмытое лицо с навсегда въевшейся в кожу голубой угольной пылью.

Все четыре дня совещания Сталин внимательно слушал стахановцев, вел частые записи карандашом, а на трибуну он вышел, положив впереди себя маленький узкий листок. Продуманная, глубокая его речь обобщала мечты и думы миллионов. И на мою долю выпало это счастье — слушать Сталина. Говорил Сталин немного — кажется, около часа. То, что он сказал, давало такой обильный материал для размышления, для действия, что люди слушали его речь, затаив дыхание. Так велики были у всех напряжение и внимание, направленные к тому, чтобы не проронить ни одного сталинского слова, не потерять ни одной сталинской мысли. Сталин обобщал мысли миллионов. Он вскрывал суть того, что сделали скромные, простые люди, смущающиеся тем размахом, какой приняло движение, которое войдет в историю нашей жизни как одна из самых славных ее страниц. Он словно раздвигал высокие белые стены кремлевского зала, давая возможность всем увидеть широкие горизонты, захватывающие перспективы.

С Алексеем Стахановым и Мироном Дюкановым я поехал тогда в Кадиевку, а оттуда — в Ирмино. И ночь в поселке Ирмино я помню — горняки тысячной толпой встречали своих товарищей, вернувшихся с кремлевского совещания. Они должны были подробно рассказать, что они видели в Москве, что сказал Сталин. В их адрес, в адрес этих двух забойщиков, уже прибыли сотни писем со всех концов страны. И не только из нашей страны — писали из Америки, из разных городов Европы Американский институт имени Линкольна в штате Тенесси запрашивал донбасских забойщиков с шахты Центральная-Ирмино: есть ли у них в роду великие личности...

Как давно это было! На подмосковных рубежах умер честной смертью Дюканов, парторг участка Никанор-Восток. На фронте Дюканов был комиссаром. Шахту, на которой работал Дюканов, немцы взорвали...

Я смотрел на темное донбасское небо, в котором вдруг что-то ударило, полоснуло нежно-багровое. Это где-то шла выдача чугуна. Может быть в Енакиево. Кажется, корпус генерала Утвенко первым ворвался в этот город осенью 1943 года. Я был там в сентябрьский день сорок третьего года. На одной из улиц, на 22-й линии, собралась группа рабочих с заводов и окрестных шахт. Старый горняк принес сброшенные ими планы горных выработок.

И Макеевку я помню — в первый день ее освобождения Красной Армией. Удивительная осень была в том году... Воздух, небо, молодые леса, дороги, по которым двигалась наступающая 54-я гвардейская дивизия, получившая позже наименование Макеевской — все было окрашено в нежные золотые тона светлой и бодрой осени. И только над самой Макеевкой застыли в недвижимом воздухе черные клубы дыма. И земля содрогалась от взрывов. Это подрывные команды немецкой армии делали свое черное дело: по планам инженеров из концерна «Восток» фашисты расправлялись с заводом, спешили уничтожить его.

Пульс битвы за Донбасс с каждым часом становился все более напряженным. От Макеевки до Сталино всего лишь двенадцать километров. С холмов, окружающих Сталино, с НП командиров наступающих полков и дивизий виден был город, широко раскинувшийся на высотах. Город горел. Его нужно было спасти, вырвать из рук немцев. В сумерках седьмого сентября майор Чикланидзе передал по радио боевое донесение: он ведет уличный бой в черте города.

В Сталино мы вошли на рассвете восьмого сентября. Главная улица города — Артемовская — горела. Кое-где на заборах еще висели обрывки немецких приказов на русском языке. Немцы писали:

«С некоторых пор по городу стали ходить тревожные слухи о безнадежном положении немецких войск на фронте и о том, что приход большевиков в Сталино — это дело нескольких дней. Прежде чем верить в эти недопустимые и явно панические слухи, каждый житель должен хорошенько поразмыслить и серьезно отнестись к теперешнему положению.

Сейчас война.

Бояться и удивляться тому, что фронт не является стабильным и от времени до времени изменяется его положение, не приходится...»

В этом же приказе население призывалось «оставить свои дома и перейти на места, назначенные и устроенные германским военным командованием».

Завод, старый завод, имеющий семидесятилетнюю историю, как и все заводы и шахты Донбасса, был взорван. Это не была подленькая месть разбушевавшейся немецкой солдатни, взрывающей все и вся на пути своего отступления. Это были звенья строго продуманного плана германского командования и магнатов тяжелой промышленности, протянувших свои лапы к нашему родному Донбассу.

В одном из захваченных нашими войсками документов германского командования говорилось:

«Разрушительные работы нужно проводить не в последний момент, когда войска будут уже вести бой или отступать, а своевременно...»

Отбросить Донбасс на десятки лет назад, затопить его шахты, взорвать его заводы, разрушить его города, заставить людей содрогнуться при виде этих разрушений, подорвать экономическую основу его жизни — вот те далекие цели, которые ставило перед собой и проводило германское командование.

...В Енакиево майор-танкист сошел — он хотел добраться домой на попутной машине. Я понимал его желание — ему хотелось скорее, скорее увидеть Горловку. И я хотел — скорее, скорее! — увидеть Сталино, а потом Макеевку, Горловку, Чистяково, весь Донбасс, который я когда-то видел взорванным, кровоточащим, разрушенным.

И первое, что я увидел в Сталино, это улицу Артема. Я еще не различал отдельных красок и черт этой улицы, но одно я сразу увидел: улица была живая. И завод был жив, старый юзовский завод, который я увидел сверху, с перекидного моста. Над одной из домен роилось рыжее облако рудничной пыли.

С ПОЗИЦИЙ ЖИЗНИ

Говорят, первые впечатления самые сильные. В первый свой приезд я был в Донбассе осенью сорок пятого года, и основной тон жизни, схваченный мною тогда, остался для меня решающим на все дальнейшее время. И в Сталино, и в Горловке, и в Макеевке, и в Краматорске, — всюду в Донбассе можно было ощутить силу жизни, могучую силу жизни, преобразующую этот взорванный немцами край.

В Макеевке, после того как я побывал на работающей доменной печи, и в старом мартеновском цехе, поднятом из руин инженером Васильевым, я увидел генеральный план завода. План огромной наступательной операции. Это не была копия старого генплана. Новый генплан строился на основе учета последних достижений технической мысли. Донбасс еще был в руках немцев, когда тысячи инженеров, переброшенных в годы войны на уральские и сибирские заводы, думали и мечтали о будущем Донбассе — о своей Макеевке, своем Мариуполе, о Енакиеве, Горловке... Генеральный план завода выпраямлял потоки грузов, расширял узкие места, он был составлен, так сказать, с большим запасом моральной молодости. Он весь устремлен был в будущее.

Работая в Сибири на кузнечном блюминге, инженер Жуков не переставал думать о своем блюминге в Макеевке. Техника не стояла на месте. Здесь, в Сталинске, он лучше увидел несовершенство своего макеевского агрегата. И еще не зная, придется ли ему работать после победы в Макеевке, он собирал крупицы опыта, делал черновые наброски, модернизировал облик блюминга. Его душа, душа донбассовца, рвалась в освобожденную Макеевку. На свой телеграфный запрос о состоянии цеха, в котором он работал до войны, ему так же коротко, телеграммой, ответили, что все или почти все придется создавать заново. Одна станина осталась от блюминга.

И Жуков, не задумываясь, оставил все — налаженную жизнь, спокойную ритмичную работу на первом классе блюминге в Сталинске и поехал в Донбасс, прекрасно понимая, что в Макеевке его ждет трудная и тяжелая жизнь,

что будут бессонные ночи, война с подрядчиками и с поставщиками, споры с проектировщиками, борьба за новый блюминг. Но он был к этому готов. Больше того, он к этому стремился. Ведь это и есть настоящая инженерская жизнь, полная творческих исканий и борьбы. В поезде на пути из Сибири в Донбасс он корректировал образ будущего блюминга — каким бы он хотел его видеть. Как он ни был хорош, старый макеевский блюминг, но жизнь и опыт показали, что в нем есть изъяны. Проект нового блюминга, мощностью в один миллион шестьсот тысяч тонн проката в год, не мог быть простым воссозданием старого, довоенного блюминга. Вкус к высокой технике вызвал у инженера Жукова, как и у всех инженеров, проектировавших новый блюминг, желание модернизировать все механизмы. Сколько горечи в свое время доставляла макеевцам так называемая нейтральная зона, искусственно созданная между нагревательным колодцем и блюмингом! Только на этом приходилось терять до пяти процентов производительности. На блюминге в Сталинске этой зоны не было. Ее нужно ликвидировать и в новом проекте, удлинив рольганг, по которому слиток движется от нагревательного колодца до блюминга.

Иногда это были самые маленькие улучшения, так сказать, корректирующие образ блюминга. Нужно свести до минимума ручной труд, дубинушку. Нужно все или почти все процессы труда механизировать. Часто проектировщики, выведенные из терпения «мелочами», которые занимали будущего начальника блюминга, пробовали урезать его.

— Да ведь этого не было до войны!

— А теперь будет, — спокойно отвечал инженер Жуков.

И если дискуссия затягивалась, он тотчас обращался за помощью в Сибирь, в Сталинск и получал для подкрепления своих доводов нужный чертеж.

«Восстанавливая — шагнуть в будущее!» Эту задачу осуществляют заводы и шахты Донбасса. Метод заплат в проблемах восстановления неприемлем с нашей государственной точки зрения. Наши планы восстановления Донбасса

разработаны на научной основе. Когда на рубеже XIX и XX веков великий Менделеев побывал на Урале и как ученый представил себе, каким должен быть Урал, он писал, что там надо все или почти все вновь строить, не следует повторять задов, а лучше сразу делать получше, чтобы опять, лет через десять, всего не перестраивать. Но то, что не удалось и не могло быть сделано в условиях царской России, делалось и делается советской властью.

Величайшие созидательные задачи, когда-либо выпадавшие на долю народа, задачи восстановления Донбасса успешно решаются с присущими советским людям размахом и деловитостью, потому что руководящей, направляющей и вдохновляющей силой является партия большевиков. Успехи, достигнутые в Донбассе — пуск доменных печей, возрождение шахт и заводов, — нельзя расценивать только с узко-хозяйственной точки зрения. Требуется другое мерило, другие масштабы в оценках сделанного. То, что мы видим сейчас в Донбассе, это явление политического порядка. В характере восстановительных работ, в смелости решений, в умении зажечь народные массы на борьбу с трудностями — во всем этом видна сила нашего строя.

Донбасс как бы весь в движении. Он наступает. Он в пути. Какое благодарное поле творческой деятельности открыто здесь художнику, какое богатство тем... Этим летом я смотрел в Сталино хроникальный фильм, посвященный восстановительным работам в Донбассе. Фильм показывали пленуму обкома партии. На пленуме обсуждались коренные вопросы донбасской жизни — уголь, металл, хлеб, жилищное строительство. Члены пленума с интересом смотрели хроникальный фильм. Кадры кинохроники запечатлели первые шаги восстановления Донбасса. То, что было в жизни. Но к тому времени, когда показывали фильм, это было уже пройденным этапом. Жизнь ушла вперед. Донбасс шагнул вперед.

И у всех смотревших хронику было одно чувство: как ни ценны и полезны хроникальные фильмы, нужны художественные картины, помогающие осмыслить и понять все происходящее в

Донбассе. С огромным нетерпением ждали появления фильма «Большая жизнь», — он ведь снимался в Донбассе. И не только из чувства донбасского патриотизма его ждали, но и потому, что у нас высоко ценят киноискусство, прекрасно понимают, какую роль может сыграть хороший фильм, помогающий людям понять самих себя, свою жизнь, свою работу.

И вот фильм появился. Работники киноискусства потерпели поражение — фильм получился идейно порочным, фальшивым, искажающим жизнь Донбасса. В постановлении ЦК ВКП(б) о фильме «Большая жизнь» с большой глубиной показано, в чем порочность этой картины. Среди многих вопросов, поднятых в постановлениях ЦК партии, в докладе товарища Жданова «Об ошибках журналов «Звезда» и «Ленинград», во всех этих документах, в которых с предельной четкостью определены теоретические и практические задачи советской литературы, есть один вопрос, который как бы пронизывает партийные документы — это умение художника видеть то новое, что существует в жизни. Отрыв художников — писателя и режиссера — от современности, от той жизни, которой живут миллионы людей, с особой наглядностью был продемонстрирован в фильме «Большая жизнь». Не обязательно быть в Донбассе, чтобы почувствовать всю фальшь этой картины, — с позиций жизни всей страны можно это понять. Но если вы побывали в Донбассе и если виденное там живет в вашей душе, то тем горше и тяжелее смотреть фильм, искажающий жизнь Донбасса. С чувством горечи и обиды за Донбасс, за его людей, за режиссера и писателя, сделавших этот фильм, я смотрел «Большую жизнь». Как далеко это от настоящей жизни! Той подлинной жизни, преисполненной героического труда, действительных, а не мнимых трудностей...

Авторы фильма «Большая жизнь» провалились, как мне кажется, потому, что они не дали себе труда изучить и познать жизнь Донбасса. Все как будто бы имеется в фильме — и терриконы шахт, и пейзаж донецкой степи, и шахтерская лампа, и песня про коногона и даже старый обушок. Но все это только

фон. В картине нет главного — чувства жизни, правды жизни. И чем дальше вы смотрите, тем больше вы проникаетесь убеждением, что авторы приехали в Донбасс с готовым сюжетом, под который, как под колодку, они подгоняли жизнь, те мимолетные впечатления, которые попали в поле их зрения в сложном жизненном потоке. Они, вероятно, полагали с ходу овладеть темой, думали — вывезет сама тема, вывезет старый запас наблюдений, вывезет так называемая творческая интуиция. И жизнь жестоко отомстила, обнажив низкий идейный и творческий уровень художников.

— Все против нас! — патетически восклицает один из героев фильма.

В угоду надуманному конфликту — инициатива снизу якобы убивается бюрократизмом верхов — авторы фильма исказили подлинные отношения, которые существуют в нашей стране между руководителями и массами. Истинная борьба, полная трудностей и творческого риска, подменяется дурно пахнущей провинциальной «трагедией». Авторы показали Донбасс с позиций обушка. И это наложило печать бездумья на всю картину. Отгороженные от всего мира люди этой насквозь фальшивой, картины что-то делают, копошатся, порою говорят громкие слова, пьют, поют надрывные песни... Беда не в том, что авторы выбрали объектом маленькую шахтенку — и в малом можно увидеть великое. Но нужно уметь видеть. Все дело в том, что авторы не поняли существа процесса возрождения, не сумели увидеть и отличить то принципиальное и решающее, что лежит в основе эпохи восстановления, ведущую идею, двигающую и направляющую жизнь миллионов, дающую людям Донбасса перспективу, открывающую перед ними широкие горизонты.

В Донбассе нет глухих углов — самая маленькая шахта связана со всем бассейном. Я не знаю другой такой земли, другого такого края в нашей стране, где бы с такой силой было выражено все существо нашей социалистической индустрии. Вся страна строит и восстанавливает Донбасс. Смотришь картину «Большая жизнь» и с горечью думаешь: да если бы строить и

восстанавливать так, как это показано в фильме, если бы полагаться на обушок и на дубинушку, то решение огромной задачи восстановления Донбасса было бы растянуто на многие десятилетия. В своих планах восстановления Донбасса партия исходит из реальных возможностей, опирается на возросшие силы нашей индустрии. Вся история борьбы за Донбасс учит нас тому, что решать такие задачи можно только во всеоружии науки и техники.

Изображение нового всегда связано с поисками нового, с глубоким и пристальным изучением и проникновением в сложные явления действительности. Сила и глубина творческого воздействия писателя на окружающий мир зависят от того, в какой степени художник сумеет отобрать из множества явлений решающее, то, что составляет сущность жизни. Активное вторжение в жизнь предполагает, что и сам литератор — не пассивный созерцатель и регистратор происходящего, а человек, идущий впереди, боец передовой линии огня. Читая роман Фадеева «Молодая гвардия», я вспоминаю его статью в «Правде», написанную в самый разгар Отечественной войны, тотчас после освобождения Краснодона, когда писатель впервые увидел и услышал о делах и днях героической молодежи. От этой страстной публицистической статьи тянутся нити к будущему роману. Верный глаз художника, партийного литератора, сумел увидеть в краснодонском эпизоде великую силу молодого поколения, общую правду жизни.

Я смотрел фильм «Большая жизнь», созданный в отрыве от жизни, показавший «чудо-богатырей», и мне вспомнились люди Донбасса — шахтеры, сталевары, инженеры, ученые, партийные работники, думающие, ищущие, люди передовой линии, двигающие вперед жизнь Донбасса.

Главное направление нашей жизни можно увидеть и на маленьком плацдарме. Ростки нового рождаются всюду. Таким творческим плацдармом в сорок шестом году явилась в Донбассе шахта № 10-бис: здесь родился так называемый «широкий шаг», метод скоростной проходки горных выработок.

Впервые я увидел одного из создателей «широкого шага» — Николая

Лукичева, в сумерках апрельского вечера, когда, поднявшись из шахты на поверхность и не успев еще смыть с себя угольную пыль, он говорил по телефону с Подмосковным бассейном. Его спросили — какой он сегодня дал рекорд?

— Тут дело не в рекорде, — сказал Лукичев. И так как слышимость была неважная, он громко крикнул: — Тут метод, метод!

И он посмотрел на завшахтой инженера Осипчука, который, собственно, является отцом этого метода, как бы спрашивая его: «Правильно я сказал?» Осипчук кивнул головой: «Правильно!»

Широкий шаг шахтеров Лукичева и Денисенко, — они стали крепить рамы не через полметра, как это было принято, а шире, через полтора метра, — взятый в масштабе всего Донбасса, открывал большие возможности в искусстве скоростной проходки. Я не берусь точно сказать, что послужило толчком к рождению широкого шага — Лукичев говорит, что в этом ему помог инженер Осипчук. Да, большевик Осипчук сыграл свою роль в творческом поиске молодого шахтера. Но я, вероятно, не ошибусь, если скажу, что были и другие и, может быть, более глубокие причины к творческим поискам молодого человека. Слушая его рассказ о том, как он в годы немецкой оккупации бродил по Донбассу, как ему — юноше, обдумывающему жизнь, — было тошно глядеть на все, что немцы делали, я вспомнил другого юношу — из Макеевки. В первый день освобождения Макеевки я увидел его. Он пришел в штаб дивизии, худой, с горящими глазами, — у всех в тот день глаза блестящие, — пришел с охапкой стихов, написанных им в страшные годы немецкой оккупации. Вот строки одного стихотворения: «Как скучно жить без светлой жизни, без всякой цели впереди».

Эти слова выражали общую боль народа, юношей и девушек, прозябавших на земле, временно оккупированной немцами. Эти стихи долго жили в моей душе и вновь они ожили в памяти моей в апрельский вечер в поселке шахты № 10-бис при встрече с молодым шахтером Николаем Лукичевым. «Как скучно жить без светлой жизни, без всякой цели впереди...» Когда-то до войны на-

ши юноши и девушки говорили: счастье быть молодым. Под игом немецкой оккупации, юноши и девушки Донбасса почувствовали, какое это несчастье быть молодым. Обрекая советских людей на голод, немцы стремились не только физически истреблять их, но и навсегда убить в советском человеке самое дорогое — творческую активность, силу, вызванную к жизни революцией, культивируемую в массах нашей партией. Процесс возрождения индустрии Донбасса связан с процессом воссоздания человеческой активности, духовного строя мыслей и чувств советских людей. То, что родилось в недрах шахты № 10-бис, стало предметом обсуждения слета новаторов-шахтеров. В день открытия слета вся площадь перед городским театром в Сталино была запружена грузовыми и легковыми машинами. В Сталино съезжались шахтеры из Горловки, Макеевки, Чистяково, Рутченково... Главное, что пронизывало все выступления ораторов на этом слете, было стремление к творчеству. Творческую страсть можно было ощутить и в докладах начальников угольных комбинатов, рассказывавших о состоянии и ускорении горно-подготовительных работ, и в выступлениях забойщиков, крепильщиков, врубмашинистов, инженеров, партийных работников, министра угольной промышленности.

Министр огласил несколько цифр, которые сразу показали, как велики еще трудности восстановления Донбасса, какие огромные задачи стоят перед Донецким бассейном. В 1941 году Донецкий бассейн достиг ежесуточной добычи в двести семьдесят тысяч тонн. Шахты Донбасса к этому времени имели двести восемьдесят пять тысяч метров очистной линии забоя. А сегодня, весной 1946 года, мы имеем семьдесят три — семьдесят пять тысяч метров забоя. За четыре года нужно увеличить действующую линию забоя в Донбассе на двести тысяч метров. Это значит, что за четыре года мы должны в Донбассе выполнить объем работы, который осуществлялся на протяжении многих десятилетий. Теперь поймите, какие огромные возможности таятся в новаторском методе, в широком шаге Лукичева — Денисенко.

В воскресенье закончился слет нова-

торов Сталинской области. На другой день открылся слет новаторов Ворошиловградской области. Из Сталино туда полетели шахтеры № 10-бис — Лукичев и Денисенко. По долгу корреспондентской службы и я полетел с ними. В зале заседаний висел лозунг, определявший направление работ слета: «Проходить штреки по-лукичевски, давать добычу по-никаноровски». Меня потянуло на шахту Никанор повидать людей, которые научились давать в сутки четыре цикла.

В сумерках мы проехали станцию Мануйловку, потом молодую рошу, а когда мы переехали железнодорожное полотно и водитель сказал, что это разъезд Боржековский, я сразу вспомнил эти места, эти далекие холмы и силуэт шахты Никанор... Да ведь тут, в этих местах, весной сорок второго года шли бои... В этой лесной посадке — как они выросли, тополя и клены! — стояла тогда разведрота наступавшей дивизии.

— А где тут Вергулевка? — спросил я водителя.

— За шахтой Никанор, — ответил он.

Тогда, в сорок втором году, бой шел за эту самую Вергулевку, упорный бой за каждый метр земли. Слушая рассказ горного техника Омельченко с шахты Никанор, стремясь сосредоточиться и лучше понять, в чем состоит его метод циклической работы, я все еще не мог отделиться от воспоминаний о том, что было вчера, только вчера, и, не выдержав, я спросил:

— Вергулевка сильно побита?

— Сильно, — сказал Омельченко и пододвинул листок-график, охватывавший все процессы работы — зарубку, выемку, подготовку лавы к новому циклу.

Условное обозначение Вергулевки в том бою было Верблюд. Так она значилась на оперативной карте. Думали ли бойцы, шедшие в атаку, чтобы сбросить немцев с высот, окружавших Вергулевку, думали ли они о том, что на этой, кровью политой земле когда-нибудь, в дни мирной жизни, взойдут ростки нового?..

— Все рассчитано во времени и пространстве, — говорил Омельченко. — В новых условиях мы, собственно говоря, возродили метод знаменитого горного мастера Гвоздырькова.

— С Голубовки? — спросил я.

— Да. С «Голубовки-22», — сказал Омельченко. — До войны Гвоздырек там работал. Фамилия его Гвоздырьков, но на Голубовке все его звали Гвоздырек. Он первый стал на цикл. Хороший был человек. Немцы убили его... Ни грамма угля он не дал им. Забили они Гвоздырька...

И, помолчав, он сказал:

— Чем цикл хорош? Он требует от людей железной дисциплины. Все должны работать вот так! — Омельченко сцепил пальцы темных, со следами угольной пыли рук.

Глубоко под землей проходит пласт шахты Никанор. Он доходит, этот пласт, до Голубовки, на которой погиб замечательный человек — Гвоздырьков. Он идет, этот пласт, дальше, до самого Ирмино, там работал Мирон Дюканов, честно отдавший свою жизнь за счастье своей родины, своего Донбасса. Хорошее никогда не умирает, оно идет от человека к человеку, оно живет в труде.

Горький, горячо любивший родную страну, ее талантливых людей, советовал писателям брать жизнь во всем ее объеме. Мы проходим суровую школу самообразования, — говорил Горький, — мы учимся мыслить на процессах нашего труда и на результатах его, мы познаем тайны мира через труд.

Трудной и прекрасной жизнью живет Донбасс. Каждый этап работы в Донецком бассейне имеет свои неповторимые черты. То, что было вчера, вы сегодня уже не увидите.

Летом этого года на шахту № 10-бис приезжали за живой водой, за новым опытом со всех шахт Донбасса. Прощаясь с инженером Осипчуком, с забойщиком Лукичевым, инженеры, забойщики и крепильщики Донбасса забирали с собой планограммы работ шахты, рисующие этот широкий шаг, и вместе с тем они обретали новый, широкий взгляд на жизнь. В Донбассе на одном из заводов я встретился с инженером, начальником мартеновского цеха. Он показывал мне свой цех, вернее строительную площадку. Разрушения настолько велики, что взорванные печи были скрыты до «подошвы», и все строилось заново. Этому инженеру жилось не сладко: был был не устроен. Но главное, что тревожило его,

это то, что работы велись чересчур медленно, по его мнению. И он работал и за начальника будущего цеха, а когда нужно было, и за прораба. Казалось, не его дело вмешиваться в ход строительства: жди, когда построят цех. Но он не мог спокойно ждать. Он работал упорно и настойчиво, приближая день возрождения цеха.

На строительной площадке к нам подошел другой инженер — из Южмонтажстроя.

— Субподрядчик, — рекомендовал его мартеновец, и сердито добавил: — Жулик отменный. Все сроки срывает.

— Да вам-то что, — улыбаясь, сказал субподрядчик. — Поедете в Европу, а там может быть и в Америку, посмотрите заводы, вернетесь к нам через полгода и получите готовый цех.

— Никуда я не поеду, — решительно сказал мартеновец, — буду отбиваться всеми силами...

Ему предстояла заграничная командировка. Но он не хотел ехать. Я удивился: неужели ему, инженеру, нечего посмотреть за границей. Он ответил, что, конечно, есть что посмотреть и чему поучиться.

— Но то, чему я сейчас здесь научусь в этих условиях, — сказал он, широким жестом охватывая всю строительную площадку, — этому я нигде больше не научусь. Таким опытом, который дается раз в жизни, нужно дорожить.

Глядя на этого инженера, который только что до этого рассказывал мне, какие драки ему приходится вести с подрядчиком, какие душевнматывающие споры приходится вести с проектировщиками, как нужно за каждую мелочь драться, я вдруг понял, что он ни на что не променяет эту свою беспокойную жизнь — жизнь на передовой линии огня.

НАЧАЛО БИТВЫ

I

Инженера Андреева, директора металлургического завода имени Сталина, я после долгих поисков по заводу встретил у «горячего поста». Андреев совершал свой утренний обход завода — с этого начинается его рабочий день. В мартеновском цехе, куда я сперва пошел, я его уже не застал — он, говорят, был там час тому назад. И в доменном цехе его

уже не было. Вот там-то, в доменном, мне и сказали, что кто-то видел Павла Васильевича у «горячего поста». И я пошел искать «горячий пост», который находился у восточных ворот.

Это была маленькая опрятная будка, чисто побеленная, напоминавшая украинскую хатенку. Стояла эта будка в наиболее оживленной точке завода, — здесь перекрещивались железнодорожные пути, по которым день и ночь проносились паровозы, тянувшие огромные ковши с металлом и шлаком. Когда клубы пара и дыма, заволакивавшие «горячий пост», на миг рассеялись, я увидел Андреева. Он забрался на блюмсы — стальные слитки, сложенные невдалеке от железнодорожных путей. Он был в белой рубашке с закатанными рукавами и открытым воротом.

Меня удивило выражение его лица: словно замороженный, Андреев смотрел прямо перед собой. Что он тут видел особенного? Мимо проносились, отчаянно свистя и тяжело дыша, паровозы, тащившие за собой огромные ковши с металлом, справа высилось здание прокатного цеха, слева — новая воздушная станция, а над всем этим возвышались доменные печи — две из них работали, а другие были окружены строительными лесами. Обычный заводской пейзаж, вероятно, тысячу раз виденный директором завода.

И только много позже, когда я поближе познакомился с Андреевым и услышал от него краткую историю борьбы за эти печи, за воздухоудку, за прокатный цех, я понял, почему он, спокойный, поседевший инженер, отнюдь не склонный к восторженности, так любит этот уголок на заводе, который именуется «горячим постом»...

II

— Как поживает Старый Юз?

— Старый Юз собирается праздновать семьдесят пять лет своей жизни. Он полон сил, он молодеет...

Этот разговор происходил в марте тысяча девятьсот сорок шестого года в Большом кремлевском дворце в один из перерывов между заседаниями на сессии Верховного Совета СССР, обсуждавшей пятилетний план развития народного хозяйства.

Судьбою Старого Юза — так когда-то

назывался старейший на Юге металлургический завод — интересовался академик-депутат Бардин, в свое время работавший в Донбассе. Отвечал Бардину инженер и депутат, директор Сталинского металлургического завода Андреев.

В государственном перспективном плане, определяющем и направляющем хозяйственную жизнь СССР, определяющую и направляющую творческую деятельность миллионов людей, в том числе и его жизнь, жизнь инженера Андреева, — в этой новой, послевоенной пятилетке было несколько цифр, рождавших какой-то особенный отзвук в его душе. В Законе было сказано: восстановить металлургические заводы Донбасса и Приднепровья, ввести в действие тридцать доменных печей, общей мощностью 9,0 млн. тонн чугуна в год, сталеплавильные агрегаты мощностью 8,4 млн. тонн стали и 58 прокатных станов.

В эти чудесно звучащие цифры входили доменные и мартеновские печи, прокатные станы старейшего на Юге завода — завода, который инженер Андреев должен был по долгу большевика поднять к новой жизни.

На сессии среди депутатов и гостей Андреев встречал своих старых друзей, вместе с которыми он когда-то учился в Горной академии. Как всегда, когда он приезжал в Москву, он и в этот раз побывал на «Серпе и Молоте», на заводе, где начиналась его инженерская деятельность; побывал он и в Горном институте. Тогда, в двадцатых годах, он назывался Горной академией.

Годы студенческой жизни.. Это было время нашей молодости — веселое красивое время. Общежитие Горной академии находилось в Старомонетном переулке. В комнатах с аскетически голыми стенами среди махорочного дыма велись бесконечные страстные споры о будущем, рождались смелые идеи, решались судьбы века. Юные и страстные, живые и мечтающие, бедные и голодные, студенты Горной академии чувствовали себя счастливыми и богатыми, когда думали о будущем своей страны. Они сами были ее будущим, ее надеждой.

Дети революции, молодые студенты в косоворотках или выцветших гимнастерках, которые оставались у них после гражданской войны, они еще не

имели большого опыта жизни, но все они обладали чувством нового — этим самым драгоценным свойством родившей их эпохи. Будущие инженеры, геологи, металлурги, горняки, будущие красные специалисты, директора, будущие государственные деятели и поэты — они в своих спорах ломали узкие рамки учебных дисциплин, обсуждая страстно, со всем пылом молодости, судьбы века, судьбу России, свою судьбу. Поздно ночью или в час рассвета из раскрытых окон студенческого общежития в Старомонетном переулке раздавался молодой голос студента Александра Фадеева, однокурсника Андреева, с подъемом читавшего «Двенадцать» Блока.

В январе 1925 года Андреев защищал свой дипломный проект мартеновского цеха. Он защищал его в аудитории № 2 в присутствии профессора Грум-Гржимайло. Высокий красивый старик с сивой бородой, злой и своенравный, он не щадил чужого самолюбия. Он мог сразить одним острым словом. Все его высказывания отличались категоричностью суждений. Сказал, словно отрубил. Именно его больше всего боялся студент Андреев. Голос Грум-Гржимайло был решающим при обсуждении дипломного проекта.

Грум-Гржимайло подошел к андреевским чертежам, развешанным на стенах зала защиты проектов, и сердито и насмешливо ткнул в волнистую линию, которая, по мысли молодого человека, условно обозначала бетонную плиту мартеновской печи.

— Это что? — спросил Грум-Гржимайло и, отчеканивая, насмешливо бросил: — Сту-ден-чес-кая рвань!

Андреев, багровый от стыда, молча смотрел на профессора. Всякие слова были излишни — Грум-Гржимайло все равно не слушал бы его. Всякие оправдания, что все студенты так наносят фунт дамент, обрывая внизу чертеж волнистой линией, только вызвали бы гнев старика. В глазах высокого седого профессора с сивой бородой такое пренебрежение мелочами было преступно. — Если вы даете проект печи, то извольте показать все — в том числе и размеры бетонной плиты! От этого как бы походя брошенного замечания Грум-Гржимайло перешел к более глубокому анализу проекта. В его острых критических замечаниях не было ни тени жалос-

ти — он говорил жестко, как бы давая понять, что не намерен делать скидки на молодость автора. В дипломном проекте, если подходить к нему принципиально, отражены не только знания, накопленные и усвоенные данным студентом за долгие годы учебы, — это само собою разумеется. Важно другое: дипломный проект отражает подход автора к теме, выражает мысль будущего инженера, его размах, дерзость и глазомер.

Грум-Гржимайло медленно переходил от чертежа к чертежу. Андреев с беспокойством следил за каждым его движением. По мнению профессора, молодой человек запроектировал «голодную печь», обеспечив ее малым теплом. Что он еще скажет? — с тревогой думал Андреев.

Грум-Гржимайло, глядя в упор на молодого человека, словно он в нем, в молодом студенте, искал какие-то знакомые ему черты, вдруг круто повернулся и сказал, не скрывая своей зависти:

— Как хорошо начинать работу молодым...

Да, как хорошо начинать работу молодым... Даже если твой путь, путь молодого инженера, выстлан шипами, а не розами. Даже когда старое консервативное инженерство видит в тебе «красного специалиста», конкурента, который может затмить и отодвинуть их в сторону.

Три молодых инженера пришли в двадцать пятом году на московский завод «Серп и Молот».

Главный инженер завода долго вертел в руках путевку, которую ему дал Андреев, и с усмешкой сказал:

— А вам не все равно, куда пойти — в мартеновский цех или на колбасную фабрику?..

— Я сталь хочу варить! — сказал Андреев. — Сталь!

— Попробуйте, — холодно сказал главный инженер и направил его в мартеновский цех.

Но сталь варить ему пришлось не скоро. Он был инженером-стажером, ходил по цеху, смотрел, как колдуют около печей старые мастера, и мог только завидовать им. К печам его долго не допускали. И только однажды, когда заболел мастер Никулин, и некому больше было давать плавку, молодому инженеру разрешили руководить печью, и он мастерски дал свою первую плавку.

Он научился варить сталь. Это была простая сталь. Пришло время, когда нужно было перейти в высший класс металлургии, когда нужно было научиться варить высококачественную сталь в масштабах, соответствующих грандиозным масштабам начавшихся великих работ.

Именно в эти годы, в первые годы Сталинских пятилеток, в Америку — в Детройт, на заводы Форда, в Чикаго, на заводы Мак-Кормика, в Европу — на заводы Круппа были посланы молодые советские инженеры и мастера. Андреев попал в Эссен, на крупновский завод в шестой мартеновский цех. Там он застал сотоварища по Горной академии инженера Тевосяна Ивана Теодоровича. В кожаном фартуке, с лопатой или ломом в руке Тевосян работал на канаве у мартеновской печи. Это была тяжелая, грязная работа. Немцы прозвали Тевосяна «Дершварце Йоганн». Тевосян отличался бешеной работоспособностью. Казалось, он не хотел терять ни одного дня, ни одной секунды своего времени. Он сам стремился — и советовал это своим товарищам — напряженно учиться, учиться, учиться, взять в капиталистической технике все наиболее ценное. Учиться на канаве, на разливке стали, на площадке у мартеновской печи, учиться у газовщика, у канавщика, у сталевара, у обермастера, у инженера, в лаборатории, в библиотеке, учиться всегда и всюду. И Андреев понял: нужно, как Тевосян, идти снизу вверх, нужно отбросить самолюбие, забыть, что ты имеешь диплом инженера-металлурга, что ты у себя руководишь цехом, забыть все это и вооружиться терпением, надеть кожаный фартук, взять в руки лом или лопату и начинать снизу, с канавы.

После работы в мартеновском цехе Андреев передевался, шел в лабораторию, в библиотеку или принимался за свои записи. Теперь это был инженер — жадный, настойчивый, целеустремленный, стремившийся осмыслить опыт работы на германских заводах. Они жили в Эссене тесной и дружной советской колонией. Жизнь страны доходила к ним короткими телеграфными заметками. Вот выпущен первый опытный образец трактора в 15—30 л. с. в Сталинграде. В Челябинске произведена разметка будуще-

го завода, у горы Магнитной ведутся геодезические работы... Находясь за тридевять земель от своей родины, раскинув географическую карту России, молодые советские инженеры отмечали на карте эти первые нарождавшиеся очаги социалистической индустрии. Магнитка и Кузнецкстрой еще только сходили с проектов на землю. Они искали — где эта гора Магнитная, где этот сибирский городок Гурьев, близ которого заложен величайший в мире завод. Это потом, несколько лет спустя, люди уже привыкли к словам: Магнитка, Кузнецк, а тогда, в преддверии тридцатых годов, эти слова и связанные с ними понятия только рождались...

Теперь, когда я пишу эти строки, в срок шестом году, после войны, которая явилась величайшим испытанием всех наших материальных и духовных сил, когда сама жизнь блестяще подтвердила силу и решающее значение сталинской политики индустриализации, я вспоминаю одно давно забытое интервью, данное знаменитым детройтским дельцом Генри Фордом. Семнадцатого июня 1930 года, в день пуска Сталинградского Тракторного завода, Форд дал интервью. Он сказал коротко и самоуверенно, как подобает бизнесмену: «Россия начинает строить. С моей точки зрения не представляет разницы, на какую теорию опирается реальная работа, поскольку в будущем решать будут факты». Человек дела, один из капитанов американской промышленности, Генри Форд не сомневался, что факты будут не в нашу пользу: он был уверен, что русским не справиться с современной высокой техникой.

Я позволю себе сделать еще одно маленькое отступление и привести высказывание другого американца — инженера-геодезиста Сваджана, обыкновенного среднего американца, вплотную соприкоснувшегося с нашей жизнью в те далекие годы первой пятилетки. Он участвовал в строительстве Сталинградского Тракторного. В силу американского закона — бизнес есть бизнес — Сваджану, повидимому, было все равно, где размещать строительные площадки — в Южной Африке или на берегу Волги, где песок подвозят верблюдом. Человек далекий от политики, Сваджан добросовестно делал свое дело, за кото-

рое ему аккуратно платили. Седой инженер, он ходил в длинном пальто с широкими карманами, из которых всегда торчали свернутый чертеж или линейка.

На Сталинградском Тракторном я видел его 17 июня 1930 года, когда с большого конвейера сошла машина в 15—30 л. с. Это была первая машина из будущих пятидесяти тысяч машин, составлявших годовую программу завода. О них, о пятидесяти тысячах тракторов, товарищ Сталин образно и сильно сказал в этот день, что это пятьдесят тысяч снарядов, взрывающих старый буржуазный мир и прокладывающих дорогу новому, социалистическому укладу в деревне.

Я не знаю, о чем в эти минуты думал инженер-геодезист Сваджан, какие мысли и чувства вызвала в нем первая машина, которая с гулом шла по советской земле... Сваджан молча смотрел на эту машину, на людей, окружавших ее. Год спустя я встретил его на Харьковском Тракторном в день пуска завода. Что-то случилось с молчаливым, сдержанным американцем. Он, никогда не дававший интервью корреспондентам, никогда не выступавший с речами, вдруг попросил слова. И сказал, что такие вещи, как пуск тракторных заводов, нельзя расценивать только в долларах и центах. Сваджан несколько расширил рамки своей речи.

— Реки, — сказал он, — текшие веками в своем естественном русле, временами изменяют направление, делая его более полезным для человечества. Точно так же индивидуум, а то и целая нация, вместо того, чтобы идти «по-старинке», делают особенное усилие для улучшения своей судьбы... Каждая нация имела свою определенную миссию в течение прошлых столетий в прогрессе цивилизации. Одни — в промышленности, другие — в политике, некоторые — в искусстве, иные — в науке. И мне кажется, что миссия народа Союза Советов — доказать миру, что все же существует лучшая дорога в достижении общего братства.

Этот американец увидел, что скрывается за пуском таких заводов, как Сталинградский, как Магнитка, как Кузнецк, как Челябинский, которые не только выпускают машины, дают металл, но и переделывают людей и страну. Да,

эти заводы — металлургические, автомобильные, тракторные служили одной цели, они по-новому воспитывали наших людей, они превращали нашу страну в могучую индустриальную державу.

Четыре года спустя на совещании металлургов товарищ Сталин, коснувшись общих проблем металлургии — этой основной силы народного хозяйства, — в сжатой и лаконичной форме подвел итог пройденному и завоеванному. «...Мы выиграли самое дорогое — время и создали самое ценное в хозяйстве — кадры».

В 1937 году на приеме в Кремле металлургов и работников угольной промышленности товарищ Сталин предложил тост за людей, от которых зависит судьба производства во всем нашем народном хозяйстве — за средних и малых хозяйственных руководителей. Инженер Андреев, начальник мартеновского цеха, был участником этого исторического совещания. В том же году его вызвали в наркомат тяжелой промышленности и предложили перейти на новую работу — поехать в Донбасс. Он не сразу дал ответ. Он любил свой цех, который он, можно сказать, выходял, он знал в этом цехе все — от подошвы печи до фонаря крыши, он знал людей, и люди его знали.

Приказ о назначении Андреева главным инженером Сталинского металлургического завода был уже заготовлен. Но нарком, беседовавший с инженером, не торопил его с ответом.

— В ваших глазах виден жизненный опыт, — сказал нарком. И, видимо, понимая, что творится в душе инженера, которому трудно оторваться от обжитого, привычного, он посоветовал ему: — Ищите новое!..

Ищите новое... Андреев поехал в Донбасс на старейший на Юге завод имени Сталина.

Джон Юз был первым хозяином этого завода, англичанин Джон Юз, предприимчивый делец и стяжатель, получивший от царского правительства неограниченные возможности наживаться на донбасской земле.

«Теперь, когда я приезжаю на завод, бывший Юза — он называется Сталинским, — рассказывает в своей книге «Воспоминания металлурга» академик М. А. Павлов, — я всегда говорю, что

там не осталось ничего от того завода, который я когда-то видел».

В восьмидесятых годах прошлого века студент Горного института Павлов, приехав на практику в Юзовку, увидел маленькие доменные печи с открытыми колошниками. Студенческую практику на этом же заводе проходил и Грум-Гржимайло. Он лазил в строящуюся мартеновскую печь, измерял, записывал — и создал свой чертеж печи.

Инженер-металлург Андреев, ученик Павлова — в Горной академии он слушал его курс «Металлургия чугуна», — ученик Грум-Гржимайло — он защищал перед ним свой дипломный проект — полвека спустя после своих учителей, приехал на этот старейший металлургический завод. К этому времени старые юзовские печи были уже снесены, только бугорок торчал на том месте, где когда-то был фундамент одной из печей. Завод был реконструирован в годы пятилеток. Новое в работе главного инженера Андреева заключалось в том, что он должен был продолжать модернизацию мартеновских печей, превращая их в быстро работающие печи современного типа.

Андреев целиком отдался этой трудоемкой, но увлекательной для главного инженера работе. Трудности заключались в том, что нужно было плавить металл, или, как говорят заводские люди, давать план, и одновременно решать главную задачу — реконструировать морально устаревшие печи, оснастить их современной аппаратурой, создать все условия для высокого режима работы. Три года он проводил эту линию — на его глазах завод менял свой облик. Такая работа требовала упорства и умения последовательно проводить взятую линию, упорства и умения терпеливо ждать, когда вложенные в мартеновские печи средства окупятся и дадут свои хорошие результаты. К началу сороковых годов это уже был завод, который мог варить сталь высоких марок. Таким он вошел в войну — он давал чугун, плавил сталь, давал прокат вплоть до последней минуты своей жизни...

В октябре 1941 года линия фронта грозно надвинулась на Донбасс. Андреев получил приказ: готовить завод к эвакуации, отправлять оборудование на

Восток, а то, что не удастся вывезти, взорвать и уничтожить. Это был самый страшный и тяжелый этап в его жизни. Все то, что он когда-то строил, создавал, теперь нужно было разрушить.

Эшелон за эшелон уходили на Восток — с оборудованием и людьми. Полторы тысячи рабочих Сталинского завода уехали со своими семьями на Урал. Все эти дни Павел Васильевич провел на ногах. Он не знал ни минуты отдыха, он был весь в напряжении—каждый час мог поступить приказ оставить завод. Нужно было успеть сделать тысячу дел и среди них самое главное — суметь вывести завод из строя. До той минуты, пока работали доменные и мартеновские печи, у всех, в том числе и у Павла Васильевича, теплилась надежда, сохранялось какое-то чувство жизни — может быть, не надо будет выводить эти печи из строя, может быть, все обойдется, может быть, фронт устоит. Но пришел день, когда Андрееву позвонили из обкома партии и сказали ему несколько слов, и он, в свою очередь, сказал инженеру доменного цеха Царицыну и начальнику мартеновского цеха Телесову, чтобы они на полном ходу остановили все печи, наглухо закупорили их, прекратили подачу дутья.

Андреев разбирал ящики своего рабочего стола, когда к нему зашел инженер Царицын. Больше всего на свете Андреев дорожил своими записными книжками. Он сложил их стопочкой на столе — толстые, в кожаных переплетах записные книжки. Они как бы были зеркалом его души, души главного инженера. День за днем, месяц за месяцем и год за годом он вносил в эти книжки свои записи, отражавшие движение жизни всего завода. В этих книжках можно было найти общую характеристику завода, характеристики цехов, технические показатели работы. Он раскрыл первую записную книжку и, увлекшись, стал читать записи того дня, когда он впервые приехал на этот завод и стал его главным инженером. Какие прекрасные цифры! Сколько средств вложено в эти печи!

Царицын подошел к нему вплотную и ждал, когда Андреев оторвется от своих записных книжек. Андреев поднял голову и коротко спросил:

— Ну что?

Царицын горестно махнул рукой и

своим обычным грубоватым голосом сказал:

— Все! Прекратили подачу дутья... Задыхаются!

Он говорил о доменных печах так, точно речь шла о живом существе. Он взглянул через плечо Андреева и увидел записную книжку, хорошо знакомую ему.

— Да вот смотрю, — сказал Андреев. — Много мы с вами сделали, Александр Николаевич. Помню, когда я пришел на завод, я взял жесткую лицию на капитальный ремонт оборудования.

Инженер Царицын тоже имел свои любимые цифры. Он вынул из бокового кармана записную книжку — она всегда была с ним, книжка в потертом переплете.

— Вот моя жизнь, — сказал он, улыбаясь,—хороший коэффициент я давал на третьем номере — 0,87...

И они заговорили о работе завода, вспоминая все его показатели. Они говорили так, будто готовились к оперативному совещанию. Будто не им придется взорвать и разрушить то, что они годами строили, создавали. Андреев взял из рук Царицына его записную книжку. Он перелистал ее и вдруг заметил на одной странице какую-то странную запись — так обычно пишутся стихи. Андреев удивился: это еще что такое? Царицын решительно прикрыл листок.

— Рецепт шихты, — смутившись, сказал он...

Андреев остался один. Задумавшись, он долго смотрел в раскрытое окно. И вдруг раздался пронзительный и сильный свисток, и откуда-то из-за темных громад прокатного цеха вышел и, медленно набирая скорость, пошел паровоз. Он шел по заводским путям и давал один свисток за другим. Павел Васильевич вздрогнул. Отчего этот паровоз так пронзительно верещит? И тотчас со всех сторон, как бы отзываясь первому паровозу, послышались новые и новые страшные свистки. И Андреев сразу понял: ведь это общий сигнал оставить завод. Он сам приказал это сделать.

Старые и молодые заводские паровозы, черные, прокопченные, низкорослые, юркие — они честно служили своему заводу, тянули ковши с горячим литьем, возили в пульманах руду, кокс, сталь-

ные отливки. Были среди них старики-работяги, певшие низкими и глухими голосами, солидно, протяжно; и молодые, не успевшие прокоптиться, сверкающие свежей зеленой краской — эти заливались дерзко веселыми, короткими свистками. И вдруг стало тихо. Паровозы замолчали в одно время, и только слышно было их тяжелое дыхание — они молча покидали свой завод, гремя на стыках рельс, окутанные клубами черного дыма.

Андреев слушал медленно замирающие звуки паровозных гудков, и ему казалось, — вот оборвется этот тонкий звук и вместе с ним оборвется что-то в его душе. Кто-то за его спиной сказал: — Павел Васильевич, пора.

Он быстро отошел от окна. Да, пора...

Он свернул в трубку эскизный план завода. На стене осталось пятно. Пропустив вперед товарищей, он остановился в дверях, потом кинулся обратно к окну — хотелось одним взглядом охватить завод. И молча, боясь шевельнуться, он смотрел на заводские крыши, блестящие от дождя, на доменные печи — над ними уже не виляла голубой дымок. Они задыхались и медленно умирали, так же, как умирали мартеновские, — в чреве этих мощных печей медленно остывал металл, наглухо забывая все выходы. Семьдесят лет создавался завод, эти прекрасные доменные и мартеновские печи, эти прокатные станы, эти воздухоудные машины, и вот нужно было поднять руку и на эти печи, и на весь завод, в который вложено столько человеческой мысли, вся история которого охватывала жизнь многих поколений, чья жизнь — это твоя и моя жизнь...

В какие-то считанные минуты все это будет взорвано, выведено из строя, чтобы ни одного грамма живого металла не досталось немцам.

Ясиноватское шоссе было забито машинами, тележками, подводами, детскими колясками. Люди молча шли и ехали, заполняя дорогу тяжелой плотной массой. Андреев всю дорогу молчал. Все молчали. На седьмом километре он остановил медленно двигавшуюся машину. Он взобрался на ближайший холм, чтобы еще раз, может быть в последний раз, взглянуть на город, на свой завод. Отсюда, с холмов хорошо виден был город. Иногда в просветах между

тучами мелькали огни, слышались глухие удары. Взрывы следовали один за другим. Густые клубы дыма медленно вздымались над заводами, над городом. Это взрывали коксо-химические заводы — бензол и смола давали такой черный густой дым. Земля вздрагивала и как бы оседала под ногами. Глухие взрывы отзывались в сердце. Страшно было смотреть на эту серую мглу, повисшую над городом, слушать эти раскаты взрывов, страшно было, стоя в грязи под дождем, смотреть на далекий завод, который остался там один, пустой, полумертвый.

III

Четвертым эшелонам уезжал на Восток начальник проектного отдела Сталинского завода Кузьма Григорьевич Могилевский. Он должен был вывезти заводской архив — чертежи, геодезические инструменты, планшеты, рисующие лицо завода, по существу, всю техническую историю завода, воплощенную на ватманах и кальке.

Утром 7 октября Андреев вызвал Кузьму Григорьевича и поставил перед ним эту задачу — любой ценой вывезти все проектное хозяйство. И повторил: — Понимаете, Кузьма Григорьевич, любой ценой...

Кузьма Григорьевич спросил:

— Куда вывезить?

И Павел Васильевич не сразу ответил. Он осунулся за эти дни, глаза его смотрели устало.

— Куда? — спросил он и вышел из-за стола. — Куда? — сказал он и подвел начальника проектного отдела к карте. — На Урал, на Серовский металлургический завод.

Оба они, как инженеры, хорошо понимали всю важность этого мероприятия: вывезти проекты, значит вывезти технический мозг завода. Они избегали говорить такие слова, как «немец», «отступление». Об этом тяжело было думать, не то что сказать.

В полдень Кузьма Григорьевич проводил свою семью — жену и дочь. Они уезжали с третьим эшелонам.

Как только поезд тронулся, Кузьма Григорьевич облегченно вздохнул: семья, слава богу, уехала, теперь задание Павла Васильевича можно выполнять со спокойной душой.

После отъезда семьи дом, в котором жил Кузьма Григорьевич, сразу принял другой вид. Двери были распахнуты, в комнатах всюду валялись обрывки бумаг, в столовой на столе лежал забытый дочерью темносиний шарф, на выцветших обоях выделялись пятна — там вчера еще висели семейные фотографии, жена увезла их с собой. Эти пустые стены разоренного гнезда удручали своим видом. Она все помнила, его жена, и все приготовила. Хлеб, сушеные фрукты, сухари и даже стопочку носовых платков и табак. Все это было аккуратно завернуто и сложено. И вещи, которые нужны ему в дороге, были приготовлены: пальто, валенки, шапка. Они еще пахли нафталином. Кузьма Григорьевич стал выбирать книги, которые он решил взять из своей обширной библиотеки. Он собирал ее годами, эту библиотеку, главным образом, технические книги. Он отложил «Курс паровых машин», объемистый том графостатики, том «Конструирование и расчеты». Девять томов «Детали машин». Отобранные книги он вложил в мешки, которые с трудом поднял.

Зашел старик-архивариус Шерудилло и, взвалив на плечи мешки с книгами, вещами, едой, они пошли на завод. По дороге Кузьма Григорьевич вспомнил, что оставил двери в сад открытыми. Он хотел, было, вернуться, чтобы закрыть двери и окна, но подумал и махнул рукой — открытые двери или закрытые, какое это теперь имеет значение... Архивариус с трудом поспевал за быстро шагавшим начальником проектного отдела. К Кузьме Григорьевичу вернулась его обычная энергия. Когда они пришли в проектный отдел, он почувствовал себя совсем хорошо. Вот его истинный дом. Эти комнаты со шкафами, комодами, стеллажами, на которых лежали тысячи и тысячи чертежей. Храм технической мысли... Нужно было укладываться. Но никого из сослуживцев, как называл Кузьма Григорьевич чертежников, на месте не было. Это удивило его. Где же они? Шерудилло сказал, что по заводу прошел слух — будут выдавать зарплату, и чертежники, наверное, кинулись в расчетный отдел. Телефон, на счастье, еще работал, и Кузьма Григорьевич созвонился с начальником транспортного отдела и потребовал, чтобы к утру был подан вагон поближе к

проектному отделу. Ему выделили пульмановский вагон с высокими бортами. Он позвонил в отдел капитального строительства, но не начальнику отдела, а какому-то Фадденчу — всюду у него были старички-приятели — и быстро сговорился с Фадденчем, чтобы к утру вагон был покрыт этернитовой крышей и, если удастся, чтобы соорудили печку.

Всю ночь начальник отдела, архивариус и чертежники трудились в поте лица, укладывая чертежи. Тридцать пять тысяч чертежей! Тут были и его собственные, Кузьмы Григорьевича, чертежи. Вся его жизнь была здесь — начиная с того дня, когда сорок лет назад он впервые вошел в проектный зал и сел за чертежный стол. Он был сначала чертежником, перевел на кальку, копировал чужие мысли, чужое творчество, потом стал чертежником-конструктором, постепенно овладевая искусством проектировки. Потом он уже сам творил, создавал проекты. Англичане, французы, бельгийцы — все эти, приезжавшие из-за моря иностранные проектировщики, во всем секретничавшие и продававшие свои секреты за деньги, приходили и уходили. А он — русский практик, скромный и тихий человек — оставался бессменно на своем посту, влюбленный в свое проектное дело, в котором он видел подлинное искусство.

Перед рассветом Кузьма Григорьевич и Шерудилло прилегли на ящики отдохнуть. Сквозь щели в затемненных окнах пробивалась заря. Архивариус встал и потихоньку, чтобы не разбудить начальника, поднял шторы и раскрыл окна. Чертежники стали выносить и грузить комоды с чертежами. Настала минута, когда старики Кузьма Григорьевич и Шерудилло остались вдвоем в опустевшем проектном зале. Они на миг присели, и вдруг Шерудилло — седой старичок — припал к плечу своего начальника и друга и горестно заплакал. Стены проектного зала были голые.

Пульмановский вагон, в котором уезжал Кузьма Григорьевич, был хорошо оборудован: он имел этернитовую крышу и даже железную печку на случай холодов. Ведь ехали на Урал...

Четвертый эшелон должен был пойти на Урал через Сталинград. Ночью на станции Лихая эшелон повернули на другой путь, в сторону Кавказа. Все пути на Сталинград были забиты. Многие

покинули вагоны, решив пробиваться ближайшим путем на Сталинград, а потом на Урал. Кузьма Григорьевич остался в своем пудмановском вагоне — один с тридцатью пятью тысячами чертежей, которые он не считал возможным бросить на произвол судьбы. Его удивило и растрогало, когда один из заводских работников, Еремин, из отдела капитального строительства, сказал, что поедет с Кузьмой Григорьевичем. Еремин был пожилой человек, но Кузьма Григорьевич почему-то звал его нежно, как мальчика — Иося. Поезд шел рывками — пройдет с десяток километров и долго стоит в степи.

Все вокруг клокотало, металось, жило страшной жизнью. Вся жизнь людей, застигнутых в пути, гонимых ветром войны, была у всех на виду. Матери кормили грудью младенцев, дети играли вдоль железнодорожной насыпи, девушки заплетали косы, где-то пели песни, где-то шопотом произносили слова любви и только старые люди сидели на узлах, грустно глядя в низко нависшее осеннее небо.

И все-таки Кузьма Григорьевич не растворился в этом потоке беженцев. Он не пал духом при виде этого народного горя, при виде этих бедствий. Все свои усилия, всю энергию свою он направлял на то, чтобы сберечь, спасти, доставить в целостности и сохранности величайшие богатства родного завода — тридцать пять тысяч чертежей.

Поезд, в котором ехал Кузьма Григорьевич, на седьмые сутки дошел до Баку. На этом мьгтарства Кузьмы Григорьевича не кончились — они только начинались. Огромные потоки грузов скопились в Баку. Они все шли и шли — эшелон за эшелонами — с Украины и Донбасса и упирались в море. Нужно было получить разрешение на погрузку вагона с чертежами на пароход, нужно было добраться до уполномоченного по перевозкам, нужно было убедить его, что грузы, которые везет Кузьма Григорьевич, должны быть спасены. Это было трудное дело. Кузьму Григорьевича оттирали более сильные, молодые люди с широкими плечами и громкими и властными голосами. Они стучали кулаками перед уполномоченным, они выкладывали на стол свои мандаты, они требовали, грозили или вдруг переходили

к грубой лести. Этот быстрый переход от угроз к лести особенно поражал Кузьму Григорьевича... Умеют же люди... так менять голос. Он так не мог. Ни грозить, ни требовать, ни льстить. Поразительно, как быстро уполномоченный по перевозкам разбирался во всем этом и как он, не поддаваясь ни угрозам, ни лести, решительно отказывал одним и давал положительные ответы другим.

— А у вас что? — спросил он Кузьму Григорьевича. — Какие ценности? Люди? Материалы?

Он говорил хриплым голосом, быстро. Он застиг Кузьму Григорьевича врасплох.

— Чертежи, — смутившись, проговорил Кузьма Григорьевич. — Заводские чертежи.

Он стал рыться в пальто и доставать какие-то бумаги, но уполномоченный жестом остановил его.

— Какие ценности?

Кузьма Григорьевич начал подробно рассказывать всю свою историю: о том, как он поехал четвертым эшелонам, как вагон повернули со станции Лихая на Баку... Из всего этого рассказа, долгого и подробного, было ясно одно: Кузьма Григорьевич остался один со своим грузом бесценных, как он выразился, чертежей. И тут он впервые на какое-то мгновение усомнился в ценности своих проектов, таким странным взглядом его окинул молодой человек с усталым лицом.

Уполномоченный предложил:

— А что если мы отправим вас на Урал одного, а все ваши бумаги придержим — они позже пойдут?

Кузьма Григорьевич отрицательно покачал головой:

— Я и проекты, — сказал он с достоинством, — это одно целое.

— Завтракали? — спросил уполномоченный, доставая из ящика стола бутерброд.

Кузьма Григорьевич поблагодарил: да, утром он завтракал. Уполномоченный взялся за бутерброд. Он держал одну руку на телефоне, точно каждую секунду ждал звонка, и внимательно разглядывал человека с седыми, аккуратно подстриженными усами.

— Одно целое, — проговорил он и, кажется, в первый раз за весь день, улыбнулся. — Дайте берег, — сказал он, беря

трубку, и, взяв у Кузьмы Григорьевича номер вагона, приказал кому-то по телефону подать этот вагон под погрузку на пароход «Комсомолец».

Тридцать пять тысяч чертежей Кузьмы Григорьевича грузились вместе с ценностями ростовского банка. Матросы, грузившие комоды с чертежами, клали один комод на другой, обхватывали их цепью и, точно это был картофель, спокойно и равнодушно опускали в трюм. Кузьма Григорьевич не мог видеть этого грубого обращения с чертежами. Для матросов это был груз. Только груз. А для Кузьмы Григорьевича в этих ящиках и комодах с проектами была вся его жизнь. От грубого обращения с грузом один из комодов раскрылся — и полетели чертежи. Когда старик увидел летевшие в воздух связки драгоценных бумаг, он так горестно вскрикнул, что обратил на себя всеобщее внимание. Матросы в серых брезентовых робах и старпом — маленький коротконогий, с бычьей шеей, командовавший погрузкой — с удивлением взглянули на метавшегося по берегу худенького старичка. Он прижимал к груди чертежи и тонким голосом зывал к матросам: «Боже мой, что вы делаете!»

Матросы со всех ног кинулись подбирать разлетающиеся бумаги, только бы утешить этого странного человека с обнаженной седой головой. Бережно поддерживая его с двух сторон, они провели его по трапу на пароход. Вступив на палубу, Кузьма Григорьевич кинулся к трюму — посмотреть, в каком положении находится его груз. Тут ему снова пришлось пережить несколько тревожных минут. Ящики и комоды с чертежами лежали вперемешку с бочками с сельдью и мешками с солью. Какое ужасное соседство... Старпом — живой и юркий моряк — успокоил его.

— Бюмажкам, — сказал он почти нежно, — бюмажкам там будет лучше.

Старик с благодарностью пожал ему руку. Он хотел рассказать старпому, какие это бумаги, так сказать, поговорить с ним один-на-один. Но старпом, извинившись, откланялся и ушел.

В Красноводске груз Кузьмы Григорьевича — тридцать пять тысяч чертежей — сложили на берегу, укрыли их брезентом. Было еще тепло, и Кузьма Григорьевич с Иосей спали на своем

грузе. Кузьма Григорьевич ходил от одного железнодорожного начальника к другому и всем подробно рассказывал, что это за груз, какие это бесценные бумаги. Ему казалось, что как только люди уразумеют значение его груза, то немедленно подадут должное количество вагонов. Один, а может быть, и два. Но вагонов ему не давали. Были более срочные грузы, для которых вагонов тоже нехватало. В порту на товарной станции его уже все знали — сторожа, грузчики, диспетчеры. Каждое утро он появлялся на пороге диспетчерской и тихо и вежливо произносил: «Я пришел напомнить вам»... Но его коротко прерывали: «Хлеб, нефть, хлопок.»

— Понимаю, — вздыхая, говорил Кузьма Григорьевич.

На Восток грузили день за днем хлеб, нефть и хлопок. Это сейчас были наиболее важные грузы. Однажды диспетчер пододвинул ему оперативную сводку и откровенно сказал:

— Ну что вы тут лезете со своими комодами, набитыми бумажками. Кому они нужны, эти чертежи, когда все рухнет... Выбросьте их в море и перестаньте о них думать.

Старик долго и внимательно читал и перечитывал оперативную сводку. Да, положение на фронте было очень и очень грустное. От Донбасса оставался еще какой-то кусок. Фронт проходит под Москвой... Кузьма Григорьевич долго стоял у карты родины, худенький старик в длинном пальто. Он долго стоял у карты, мысленно как бы разговаривая с фронтами, которые извилистой линией тянулись от моря и до моря. Так ли уж печально обстоит дело, что ни он, ни его тридцать пять тысяч чертежей уже никогда никому не нужны будут? И если все рухнет, как говорит диспетчер, то зачем тревожиться о каких-то там бумагах, зачем добиваться вагона и зачем вообще жить... Он отыскал на карте город, куда эвакуировался завод. Как это далеко от линии фронта! Он привстал на носки, чтобы получше разглядеть этот далекий, скрытый горами уральский город. И стоило ему хоть на минуту представить себе картину работающего завода — на доменных печах идет выдача чугуна, в мартенах плавят танковую сталь, — как с души его спадала какая-то тяжесть, и он снова утверждал-

ся в мысли, что он еще нужен, нужен он и его тридцать пять тысяч чертежей. И нужно ему жить для того, чтобы выполнить государственное задание, сохранить, спасти богатейшее проектное хозяйство.

Кузьма Григорьевич понимал, что сейчас, когда положение в стране напряженное, самое главное — это нефть, хлопок, хлеб. Но вместе с тем он не терял надежды, что один вагон ему все-таки дадут для его груза. О двух вагонах он уже перестал мечтать.

К концу третьей недели ему дали вагон, в который он погрузил свои чертежи. Вагон был прицеплен к составу с весьма срочным грузом. Это были пятьдесят четыре цистерны с нефтью, пятьдесят пятым в хвосте шел вагон Кузьмы Григорьевича. Окрыленный успехом, он дал телеграмму на Урал Андрееву: «Успешно пробиваюсь на Восток, — писал он, — благодаря любезности железнодорожной администрации». Ему казалось, что такая маленькая лесть делу не повредит. Когда на заводе получили его телеграмму, все обрадовались. Жив дорогой Кузьма Григорьевич, а если жив он, значит целы и проекты. Андреев снарядил человека на поиски Кузьмы Григорьевича. Ему повезли деньги, продукты и валенки. Но вагон с тридцатью пятью тысячами чертежей затерялся на великой железнодорожной магистрали.

На станции Арысь пятьдесят пятый вагон, в котором ехал Кузьма Григорьевич, был отцеплен. Ему снова предложили одному пробираться на Урал, а свой груз оставить здесь, на станции Арысь. Но он с этим не мог согласиться. Только с чертежами! Он продал пиджак, потому что нужно было кормиться, а у них с Иосей денег уже не было. Правда, выручали иногда бойцы погрузочно-разгрузочной команды. Они приносили ему то щи, то рисовой каши. Он конфузливо отказывался, благодарил и ел с удовольствием. Он не терял надежды, что когда-нибудь их вагон прицепят. По вечерам он рассказывал бойцам о своем заводе, о своем городе. Какой это прекрасный завод! Вот вся его история, — говорил он, показывая на вагон с чертежами. Эти же бойцы вместе с политруком команды уговорили машиниста проходящего состава прицепить вагон Сталинского завода.

Старик возликовал. Теперь они по-

ехали. Он тепло простился с бойцами: до свидания, дорогие товарищи, может быть, когда-нибудь вы будете в Донбассе, милости просим на наш завод. Бойцы долго смотрели вслед вагону, который увозил чудесного, неунывающего седого человека.

Ночью, в пургу, за Аральском поезд остановился, и вагон Кузьмы Григорьевича снова был отцеплен. Ветер гнал по путям снежную крупу. Это был какой-то глухой полустанок. Вагон загнали в тупик. Тут даже Кузьма Григорьевич приуныл. Холод, глухой полустанок... Но когда Иося робко сказал ему, что нужно пересест на проходящий пассажирский поезд, а груз сдать под расписку, Кузьма Григорьевич, задыхаясь от гнева, крикнул на него: «Молчи, Иося!» Однако, как ни крепился Кузьма Григорьевич, на душе его было мрачно, сумно, как он говорил. Холод проникал сквозь щели вагона, и старый человек, зябко кутаясь в пальто, подобрал под себя ноги, боясь шевельнуться, долгими часами лежал на комодах с чертежами.

Это было его первое такое большое путешествие. Более сорока лет он провел на заводе. Он еще помнил одного из Юзов—Артура-младшего. Из окна чертежной Кузьма Григорьевич видел свой завод. В минуты отдыха или раздумья он любил всматриваться в заводской пейзаж. Как все менялось вокруг!.. Как будто незаметно, но год за годом все вокруг становилось другим. Одни дымовые печи сносились, строились новые, потом и новые старели и возводились другие, более мощные. И все они — старые, молодые, и те, что сносились, и те, что заново строились, — проходили через его руки, он готовил для них чертежи. Они жили в его памяти со всеми своими конструктивными данными. Проекты рождались в творческих муках, и он, как верный страж, хранил их.

Когда Кузьму Григорьевича охватывало страшное чувство тоски от того, что он бессилен что-либо сделать на этом глухом полустанке, он успокаивал себя тем, что принимался за работу: наводил порядок в вагоне, перекладывал ватманы и кальки и медленно, смакуя каждый штрих, читал и перечитывал старые чертежи. Читая и перечитывая эти потерянные на сгибах чертежи, он испытывал огромное наслаждение, подобно тому, как музыкант читает с листа парти-

туру, всем существом своим схватывая и переживая внутренний мир звуков. И настроение его в таких случаях улучшалось. Он вез огромное наследство, — так говорил он себе. В этих проектах собрано творческое наследство, энергия тысяч и тысяч заводских людей. В каждом проекте бьется чья-то живая, горячая и страстная мысль. По этим чертежам можно прочесть всю жизнь завода — рвачество и хищничество Юзов, первые шаги советской Власти, смелый разворот работ в годы пятилеток.

Да, со стороны могло показаться, что в это бурное время, когда решается судьба страны, смешно думать и беречь какие-то там заводские бумаги. Но по глубокому убеждению Кузьмы Григорьевича, так могли думать и рассуждать только узколобые деятели, люди с маленьким горизонтом, которые не хотят и не могут видеть своего завтрашнего дня. Да, сегодня эти тридцать пять тысяч чертежей, которые я везу с собою, представляют мертвый груз — они ничего реального как будто не могут дать фронту. Но нужно смотреть вперед. Завтра, на другой день после победы эти проекты будут необходимы. Как мы будем возрождать Донбасс, как мы будем восстанавливать наш завод, если с нами не будет этого драгоценного технического опыта, воплощенного в чертежах? Он верил, что доживет до того дня, когда немцы будут изгнаны из Донбасса. И мы вернемся в Сталино, мы вернемся на свой завод, мы будем его восстанавливать, и все кинутся ко мне, к Кузьме Григорьевичу Могилевскому, — директор, начальники цехов, — и всем я дам чертежи с готовыми размерами. Смотрите и стройте!

А пока — было холодно и голодно. Иося приносил холодную, смерзшуюся комом кашу, которую он доставал у бойцов проходящих эшелонов. Потом Иося уходил на поиски угля. Он называл это просто — воровать уголь. Но старика корбило это грубое слово. Иося возвращался с ведром угля, и тогда на время в вагоне становилось тепло и весело. Иося рассказывал последние новости: прошел состав в сторону тыла и два состава в сторону фронта — танки, прикрытые брезентом. В ходу сейчас зимние шапки, за них дают три котелка каши или ведро

соли.... Ответ огня от железной печки падал на их лица. Кузьма Григорьевич наслаждался теплом и кашей. Он философствовал. Какие на свете есть прекрасные люди... Смотри, Иося, минуту назад я замерзал и, каюсь, на ум приходили мрачные мысли, что мы всеми забыты и что дело, которое нам поручил завод, останется неисполненным. Потому что ни у тебя, ни у меня нет должной воли к борьбе.

Каждый вечер старик отправлялся на полустанок к железнодорожной администрации просить, требовать, чтобы прицепили вагон. Иося соскакивал наземь из вагона и принимал на руки легкое тело Кузьмы Григорьевича. Старик уходил к диспетчеру или телеграфисту. Полустанок был глухой. Один раз в сутки телеграфист, живший в близлежащей деревне, появлялся у аппарата. Отстучит нужные телеграммы, получит ответ на них и уйдет до завтрашнего вечера. Добиться на этом полустанке, чтобы вагон прицепили, было невозможно. И Кузьма Григорьевич решил послать телеграмму по линии в высокие инстанции. Он долго писал, зачеркивал. Нужно было найти гневные слова, чтобы расшевелить сердца железнодорожной администрации. Он написал телеграмму — получилось хорошо: и гневно, и благородно. Телеграфист равнодушно, как все, что он делал, отстучал эту депешу. «Взываю вашей большевистской совести», — писал Кузьма Григорьевич. Он послал телеграмму в два адреса — в Чкаловский обком партии и в Управление дороги. Сутки спустя, ночью, Кузьма Григорьевич и Иося услышали чьи-то голоса за стенкой вагона. Это пришли осмотрщики. Они постукивали молоточками. Потом вагон подхватил паровоз. Он был выведен на основной путь и прицеплен к проходящему составу, который был остановлен по распоряжению свыше. Иося был поражен таким быстрым поворотом судьбы. Он смотрел на Кузьму Григорьевича, как на бога. Это же чудо, — где-то на глухом полустанке получить ответ, и какой ответ!.. Кузьма Григорьевич воспринял все это как должное. Другого ответа он не ожидал от людей, к совести которых взывал. На радостях Иося обменял парч белья, получив взамен ржаной хлеб, воблу и соль. И они поехали на Урал. Ехали они не

быстро. Но вагон уже никто не отцеплял. Холода становились все сильнее и сильнее. Старик, привыкший к южному климату, с трудом переносил стужу. Однажды он проснулся от страшного холода, все тело его ныло. Утренний свет пробивался сквозь щель вагона. Где-то за стенкой раздавались голоса. Иося возился у дверей, пытаясь открыть их. Кузьма Григорьевич с трудом сполз с нар. Каждый шаг был для него мучительным. Он подставил свое худое плечо под перекладину, и вдвоем с Иосей они долго отдирали примерзшую дверь. Только теперь Кузьма Григорьевич впервые остро почувствовал, как он стар и немощен. Сбросив рукавицы, он коснулся холодно-го железа. Его обожгло, и он изо всех сил потянул на себя дверь.

Он стоял в раскрытых дверях вагона, солнце било прямо в лицо. Медленно, словно разучившись, Кузьма Григорьевич пытался прочесть название станции. От яркого солнечного света, от свежего воздуха кружилась голова. «Надеждинск...» Он не сразу понял, что это и есть обетованная уральская земля, горд, которого они достигли на пятьдесят девятый день своего пути — он и его тридцать пять тысяч чертежей.

IV

На Уральском заводе работало полторы тысячи рабочих Сталинского металлургического завода. Андреев был начальником производства этого крупного завода, варившего танковую и авиационную сталь. Инженер Царицын работал неподалеку, в Алапаевске. Иногда они созванивались и спрашивали друг друга: когда же?.. Заводская жизнь поглощала у Андреева все его время. Когда его одолевала тоска — тянуло в Донбасс, он приходил к Кузьме Григорьевичу в проектный отдел. Ему приятно было видеть старика, который напоминал ему о Донбассе, о родном заводе. Кузьма Григорьевич приводил в порядок свои тридцать пять тысяч чертежей. Он всегда задавал один и тот же вопрос Андрееву, вопрос, который задавали себе все донбассовцы: когда же? Этот вопрос часто задавал себе и сам Павел Васильевич Андреев.

В конце 1942 года из Свердловска Гипромез затребовал у Павла Васильевича основные характеристики — об-

щую по заводу и отдельные по цехам. Он с радостью послал им одну из своих толстых записных книжек в кожаном переплете. Там было все точно сказано — проектировщики могли почерпнуть из нее ценные для себя сведения. Он спрашивал себя: для чего Гипромезу понадобились такие сведения о заводе. Может быть они начинают вести проектные работы? Вскоре ему вернули записную книжку с благодарностью.

Седьмого сентября сорок третьего года Павел Васильевич Андреев проводил ночью оперативное совещание. Обсуждались основные вопросы работы завода за день. Совещание вел Павел Васильевич. В самый разгар прений ему вдруг позвонили по телефону из Свердловска и сказали, чтобы он внимательно слушал. Он поднял руку, прося у товарищей извинения и минуту тишины, и стал слушать голос из Свердловска. Заместитель наркома черной металлургии зачитал ему приказ о возобновлении деятельности металлургического завода имени Сталина и организации восстановительных работ. Андреев назначался директором завода, и ему предлагалось немедленно выехать в Донбасс для реализации этого решения. Андреев спросил:

— Сталино взять?

Ему ответили:

— Бои дают на подступах к Сталино...

Андреев назвал имена нужных ему людей — инженеров, которых он решил взять с собою в Донбасс. Ему разрешили это. Он дал телеграмму инженеру Телесову, работавшему в Сталинграде на «Красном Октябре», чтобы он немедленно вылетал в Донбасс. Он позвонил Царицыну в Алапаевск, чтобы тот к утру был в Свердловске. Он позвонил Старовойтову, работавшему вместе с ним, позвонил Староверову, позвонил Глазкову, позвонил Кульгабову, Камеристову, Терешину, чтобы они к утру были на вокзале. Все они пускались в долгие взволнованные разговоры. Андреев терпеливо слушал весь этот взрыв чувств и, выждав мгновение, мягко прерывал лирическую волну, деловито говоря:

— Захватите с собой самое необходимое — технические данные о работе цехов, сапоги, хлеб...

В самый разгар телефонных разговоров он вдруг услышал голос Кузьмы Григорьевича. Старик откуда-то узнал, что Андреев собирается уезжать, и включился в разговор. Ему казалось, что его забыли.

— Павел Васильевич, — говорил он сокрушенным голосом, — многоуважаемый Павел Васильевич, как же это вы...

— Я вас не забыл, — успокоил его Андреев. — Я о вас хорошо помню.

Но старик долго еще не мог успокоиться. Ему все-таки казалось, что вдруг его забудут и оставят на Урале. Но как только Павел Васильевич спросил его, как обстоит дело с проектами, Кузьму Григорьевича словно прищипило: он живо и быстро сказал:

— В любую минуту могу поднять все чертежи — от старого Юза до четырнадцатого октября сорок первого года...

В третьем часу ночи Павел Васильевич прилег отдохнуть. Но уснуть, конечно, он не мог. Снова позвонил Старовойтов и, прося тысячу извинений, спросил—все ли остается в силе? И получив утвердительный ответ: да, все остается в силе, поблагодарил и пожелал Андрееву спокойной ночи. Четверть часа спустя позвонил Староверов и без всяких извинений просто сказал:

— Павел Васильевич, вы спите? А я никак не усну. Все не верится. Чи так, чи не так?

— Так, так, — сказал Андреев.

Только он положил трубку, как вдруг позвонили из Свердловска. Его спросили:

— Вы еще не уехали?.. Тевосян требует: быстрее!

Жена собирала его в дорогу. Сперва он ничего не хотел брать, никаких вещей, ехать налегке. Только сапоги, куртку, пальто. И еще записные книжки, старые записные книжки. Он решительно отказывался взять с собой в дорогу то обилие вещей, какое она приготовила ему. Два костюма, сапоги и еще какие-то модельные башмаки... Куда все это? Ведь мы едем домой... Она коротко спросила его:

— А что дома — ты знаешь?

Этого он не знал — что дома. Об этом он почему-то не подумал. В самом деле, есть ли этот дом, есть ли завод, есть ли город?.. Но что бы там ни

было, и каков бы ни был размер разрушений, в сознании его жило главное — Донбасс наш.

Он держал вещевой мешок, а Надежда Николаевна бережно опускала туда стопку старых записных книжек, белье, консервы, хлеб. Он ходил по комнате возбужденный, в приподнятом настроении.

Утром он уезжал со своими товарищами. Весть о том, что Андреев уезжает в Донбасс, быстро облетела весь завод. К отходу поезда перрон был запружен донбассовцами. Горновы, сталевары, инженеры, пожимая ему руку, прощаясь с ним, говорили: «Кланяйтесь заводу, кланяйтесь Горловке, привет Макеевке». И что особенно растрогало Андреева и его спутников — это цветы. Им преподнесли по букетику скромных полевых цветов.

В Свердловске Андрееву не дали подняться в Главк. Он позвонил снизу замнаркому и услышал:

— Вы еще здесь? Скорее на аэродром! Тевосян требует—быстрее в Донбасс!

В тот же день они полетели в Москву. Самолет приземлился в сумерках. В наркомате Андреев спросил:

— Где Тевосян?

Но Тевосяна в Москве уже не было. Он был в Донбассе. Андреев и его спутники переночевали в бомбоубежище — прямо на полу, подстелив пальто, подложив под головы вещевые мешки. На рассвете они вылетели в Донбасс. Самолет сел в Старобельске. Аэродром в Сталино был еще заминирован. Самолеты садились в Старобельске и в Ворошиловграде. Самолетов в этот день было много — со всех концов слетались донбасские партийные работники, директора заводов, начальники угольных комбинатов, главные инженеры... Ночью из Старобельска на Енакиево уходил поезд, вернее, сплотка десятков паровозов. Машинист разрешил Андрееву и его товарищам взобраться на тендер, полный угля. Они набросали на уголь полыни и чудесно устроились. Поезд тронулся заполночь. Поплыли над головой южные родные звезды. Андреев привстал на колени и глянул назад — все паровозы, все тендеры были полны людей — это в Донбасс возвращались инженеры, пар-

тийные работники, строители, агитаторы, пропагандисты...

Из Енакиево они поехали на грузовике в Сталино. Всю дорогу они стояли в машине, держась друг за друга, и молча смотрели на все, что открывалось их взору. Орудия, сброшенные в кювет, разбитые повозки, сгоревшие танки, обгорелая земля, иссеченные кусты — все это они видели в первый раз. Это были свежие следы боя. Под самым Сталино Андреев заметил открытый виллис, в котором ехал Тевосян. Он соскочил с грузовика и побежал к виллису.

— Я был у тебя, — сказал Тевосян своему сотоварищу по Горной академии.

— Ну что? — взволнованно спросил Андреев. — Пострадал? Сильно пострадал?

— Сильно, — сказал Тевосян и не стал больше распространяться. Ему, видимо, не хотелось огорчать Андреева. — Сильно, — повторил он и мягко добавил: — Поезжай, посмотри. Посмотри и подумай...

Тевосян поехал в Макеевку, а Андреев в Сталино, к себе на завод. Прошло только восемь дней со дня освобождения Сталино. Они дважды преехали по Артемовской улице, которая еще местами дымилась. Потом они поехали на свою улицу — улицу Ленина, потом они пошли на завод. Возбужденные, радостные от одной лишь мысли, что у себя дома, они еще не замечали и не воспринимали страшных разрушений.

Завод зарос дикой по пояс травой. Она росла не только во дворе завода, но и у взорванных колонн, у взорванных мартенов, на путях; буйная растительность оплетала ржавые, поваленные колонны. Ржавое железо издавало один звук — оно скрипело. И этот скрипящий звук вместе с дикой травой, вместе с запахом горелого железа, вместе с пылью, которая лежала на всем, создавали страшное впечатление смерти завода. Завод, который хорошо был знаком Андрееву, Телесову, Кузьме Григорьевичу, Царицыну, Ектову, Старовойтову, прекрасный завод, старый годами, но молодой душой, — этого завода больше не было. Впечатление было такое, словно скрутили, связали и превратили в железное месиво конструкции цехов, печи. Он лежал изуродованный, взорванный,

с поваленными опорными колоннами. Они говорили шопотом, точно боялись потревожить это страшное безмолвие. И чем дальше они шли, тем горше становилось на душе. Птицы свили гнезда в остатках печей, при виде людей они взлетали, и шум их крыльев нарушал тишину, был единственным признаком жизни в этой пустыне. Ветер гремел ржавыми листьями; доменные печи, некогда могучие, стояли подорванные, изуродованные, полузасыпанные песком, покрытые тленом, вызывая в душе страшную жалость к себе.

Царицын остался в доменном цехе, Ектов — в прокатном, Телесов — в мартеновском... Андреев еще не имел и не мог, конечно, иметь точного плана, что нужно сделать и что можно сделать, чтобы вернуть к жизни эти печи и прокатные станы. И все-таки как ни бегл был этот первый осмотр, как ни потрясен был Андреев тем, что увидел, он фиксировал в своей памяти все, что могло навести на мысль о жизни. На обратном пути с завода он встретил Царицына, и этот инженер, обычно очень спокойный, сказал ему:

— А знаете, Павел Васильевич, на третьей печи кладка сохранилась.

Это был первый и самый верный признак жизни... Потом Андреев увидел Ектова, и Ектов сказал, что стан 400 хотя и побит, но что-то с ним можно сделать. Нужно подумать... Потом он увидел Кузьму Григорьевича. Старик был не один. Он шел в сопровождении старичков. Кузьма Григорьевич побывал в мартеновском цехе и считал, что колонны группы А, взорванные немцами, повидимому, придется поднимать в первую очередь. Во всяком случае, уже сейчас, говорил он, нужно дать телеграмму на Урал, чтобы самолетом выслали чертежи этих колонн. А пока что он тут со своими старичками наладит производство эскизов. Сколько раз потом Андреев, начальники цехов, строители добрым словом поминали Кузьму Григорьевича, сбегшего проектное хозяйство завода. В битве за сталь, которую завод начал пятнадцатого сентября сорок третьего года, эти тридцать пять тысяч чертежей дали возможность заводу выиграть самое главное в битве — время!

Андреев после осмотра завода пошел на одну из своих любимых заводских

улиц; он любил ее за то, что на этой улице весной и летом был сильный запах цветов. Она так и называлась — Цветочная. При немцах она называлась Блюменштрассе, но цветов уже не было и многие дома были сожжены.

Люди, которых он встречал в этот день, производили на него впечатление каких-то преждевременно состарившихся. Точно не только завод—его доменные печи и его прокатные станы, — но и всё в поселке, в том числе и люди, сгорбились, как-то обветшали. В этот же вечер Андреев проводил собрание рабочих. Клуб, который чудом сохранился, не мог вместить всех желающих послушать и увидеть своих людей, своих товарищей, вернувшихся с Урала. Двери клуба были настежь распахнуты. На дворе стояла огромная толпа, которая напряженно ловила все, что доносилось из погруженного во тьму клуба. Электрического света, конечно, не было. Была одна только керосиновая лампа. Ее держал старый горновой Данила Архипович, освещая лицо Андреева.

— Я обошел завод, — сказал Андреев. — Я видел все разрушения. — Он замолчал. Все ждали, что он дальше скажет. Они хорошо знали, каким был этот завод и каким он стал. Было так тихо в зале, что Андреев слышал дыхание людей.

— И все-таки, — сказал он, глядя в темноту, на людей, — и все-таки, — повторил он с силой, — завод будет жить! Он должен жить! Большевики оживят его...

И сотни людей, те, что сидели в зале, и те, что стояли за дверью, облегченно вздохнули. Завод будет жить... А для этих людей, которые жили страшной жизнью под немцем, для стариков, старух, молодых и совсем юных, для них, выросших в этом поселке, варивших сталь, плавивших металл, для них завод был все. Лампа в руках старого горнового дрогнула. Кто-то крикнул: выше! И чьи-то молодые руки поднялись к старику, взяли у него лампу и подняли ее выше. Люди хотели видеть лицо человека, который сказал эти слова—завод будет жить! Вместе с Андреевым, вместе с Кузьмой Григорьевичем, вместе с Царидыным, вместе с Телесовым, вместе с Старовойтовым, вместе с Староверовым, вместе с Ектовым, вместе с этими товарищами, которых они знали до войны,

вернулось к ним доброе, светлое, советское...

Андреев спросил:

— Как вы тут жили, товарищи?

Но чей-то молодой страстный голос крикнул из глубины зала:

— А вы как жили, дорогие товарищи?

Это был от сердца идущий возглас. Люди, жившие под немцем, пережившие страшные годы оккупации, истосковались по советскому слову. Они хотели услышать, что было там, на Урале, там, где жили советские люди. И Андреев рассказал им о том, что он хорошо знал — об Урале, о том, как сотни заводов — с Украины, в том числе и из Донбасса — двинулись на колесах на Восток, о том, как эти заводы были вновь построены на уральской и сибирской земле, о том, как люди в холод, преодолевая все, монтировали оборудование, о том, как люди варили броневую сталь для фронта, о том, как люди, не щадя своей жизни, в трудных условиях военного времени, отдавали и отдают все для победы.

Его слушали с огромным вниманием. Слушая Андреева, люди думали: вот он стоит перед нами, Павел Васильевич, наш главный инженер в своей старой, хорошо знакомой всем довоенной куртке, такой же спокойный, как всегда, только поседевший за эти годы...

Первые партийные работники, первые инженеры, хозяйственники, первые партийные и непартийные большевики, приехавшие на завод, составляли маленькую горсточку. Но каждый из тех, что возвращался с Урала в Донбасс, привозил с собой какой-то чудесный «энзе», неприкосновенный запас моральных сил, который каждый человек имеет и бережет для решающей минуты. Нужно было иметь большую силу воли, чтобы не пасть духом при виде страшных разрушений, и нужно было иметь глубокую веру в то, что восстановление нашего завода, нашего Донбасса по плечу советским людям. Эта глубокая убежденность в том, что нужно уже сейчас, не дожидаясь окончания войны, уже сегодня взяться за эту тяжелую, но благодарную работу, эта глубокая убежденность была всеобщей.

Ведя войну с немецким фашизмом, наша страна в то же время своим могучим плечом поддержала творческие

усилия народа, взявшегося за восстановление Донбасса. Огромные материальные фонды страна отдавала из своих военных резервов. Но был еще один фонд, который учитывался нашей партией и который был приведен в движение на заводах и шахтах Донбасса. Этот золотой фонд включал в себя творческую активность народа. Какими бы знанием и опытом ни обладали наши инженеры и партийные работники, приехавшие с Урала, но если бы они с самого начала не опирались в своих планах, в своей работе на массы людей, то вряд ли добились бы таких больших успехов. Эту творческую активность учитывал в своих планах восстановления завода Андреев.

Нужно было начинать с малого. Вода и свет были первыми решающими узлами. Первые пятьдесят киловатт электроэнергии были добыты сложным комбинированным путем. Сначала нашли паровую машинку от подъемника доменной печи, потом вручную собирали станок, вручную вертели этот станок, вытаскивая на нем муфту для мотора. А когда все это сделали, то получили двигатель мощностью пятьдесят квт. Осветили этой электроэнергией механический цех, потом с помощью этих же первых киловатт пустили плутонную вагранку, дали литье, потом этими же первыми киловаттами пустили мельницу и смолоти зерно, чтобы накормить людей... Так было всюду. С этого минимума электроэнергии, добытого нелегким трудом, начинали в Макеевке, Горловке, Мариуполе. Зугрэс, обладавший до войны колоссальной мощной силой, был разрушен немцами и тоже начинал свои восстановительные работы с этого минимума электроэнергии. Но даже, имея всего только пятьдесят киловатт, нельзя было упускать из виду основных задач первого этапа восстановления — борьбу за пуск четвертой мартеновской печи, прокатного стана 400 и доменной печи. В начавшейся битве за сталь это было главным направлением.

V

Младший техник-оператор Попова приехала на завод в Сталино в один из дней войны. В Донбасс она поехала по собственной инициативе. Это было не

легко сделать. Ее долго не хотели отпустить с уральского завода, на котором она работала. Когда она говорила, что она ищет не легкой жизни, а едет туда, где трудности, ей резонно отвечали, что теперь война и трудности всюду...

— Но ведь я еду в Донбасс, где сейчас очень много трудностей, — говорила она.

И так как это была правда — Донбасс был разрушен, и его нужно было восстановить — и так как девушка продолжала упорствовать в своем желании, ее отпустили в Донбасс. На Урале в городе, в котором она жила, в техникуме и на заводе ее знали не только как работника диспетчерской службы, но и как поэта. В этой области младший техник Попова считалась, как говорили на заводе, растущим товарищем. Андреев, директор завода, узнав, что Попова пишет стихи, одобрительно сказал:

— Нам нужны диспетчеры и поэты.

И то и другое он считал полезным. Стихи помогают делать сталь.

Стихи она писала давно, еще со школьной скамьи. Она печаталась в заводской газете. Это были главным образом стихи лирические. Худенькая светловолосая девушка, по-уральски чуть угрюмая и серьезная, она считала, что в девятнадцать лет нужно сделать что-то большое, оставляющее след в жизни. Имя ее звучало несколько романтически — Интерна. Что же касается фамилии, то фамилия у нее была простая, русская — Попова. Она думала, что новые места, новая природа, новая жизнь, связанная с трудностями и с преодолением этих трудностей, много дадут ей как поэту. И действительно, всего этого было вдосталь — работы и трудностей. Может быть даже чересчур много. Было что-то суровое в этих окружавших завод темносерых горах, их называли терриконами, и они подпирали ясное донбасское небо. Но все эти впечатления первых дней быстро отодвинулись: работа поглощала все ее внимание. Тяжелая диспетчерская работа, в которой, по правде говоря, было очень мало романтики.

Всему виной была эта профессия диспетчера... Ты ничего не видишь, ты только слышишь. И слышишь одно и то же — руда, уголь, кокс, воздух. На заводе она числилась младшим техни-

ком-оператором. Из окна своей диспетчерской она видела какие-то строительные леса, большего она пока не видела. Каждый день было одно и то же — руда, ковши, кокс, доломиты, цемент... В диспетчерской стоял столик и на нем телефон. Один телефон на всю диспетчерскую. На уральском заводе диспетчерская была оборудована по последнему слову техники. А здесь она только создавалась, как создавался весь завод: на первых порах даже электричества не было. Его еле-еле хватало для более нужных объектов.

Она иногда спрашивала себя: этой ли жизни она хотела, когда ехала в Донбасс... Первые пятилетки прошли без ее участия. Она знала о них только по книгам и по рассказам старших: мобилизация комсомольцев на великие стройки, штурмовые ночи, палатки в степи, проекты, мечты, борьба... В войну она что-то успела сделать. Но, по ее мнению, очень мало. Реальная возможность стать активным участником великого созидания потянула ее к Донбассу.

Она рисовала себе борьбу за восстановление, пафос восстановления несколько в ином, более радужном виде. Люди, восстанавливающие завод, проявляют чудеса героизма. Но она не видела этого героизма, каким она себе его представляла, ни в себе, ни в других. Все было значительно проще. Железными щетками счищали и отдирали ржавчину с колонн, железных балок и ферм. Это была трудная прозаическая работа.

Свою диспетчерскую работу она как-то недооценивала. Дело обыкновенное. Нужно было говорить каким-то телеграфным стилем, схватывая существо вопроса и так же быстро реагируя. Работу завода она воспринимала «по голосам». То это были жалостливые, то умоляющие, то веселые победные голоса... По тону голоса она схватывала положение дел в том или другом цехе. Она иногда пробовала представить себе, каким должен быть человек из доменного цеха, обладающий мягким, напевным голосом, и решила, что он, наверное, толстый и добрый. Почему-то худым и нервным ей представлялся сменный техник из газового цеха — голос у него был скрипучий и злой. Не видя людей, с которыми она имела дело, не будучи с ними знакомой, она научилась

узнавать их по голосам, звучащим в телефонную трубку. Разговаривала она коротко и быстро и только о самом насущном — о транспорте, о запасах сырья, о коксовом газе, о выполнении суточной программы. Для большего просто не было времени. Телефон ведь на первых порах был один на всю диспетчерскую, и всякие отклонения от служебных разговоров вроде того, — как вы живете, были ли в кино, как ваше здоровье, — вся эта лирика ею немедленно пресекалась. Она говорила быстро и резко:

— Короче. Короче. Короче.

И ставила при этом прямые и точные вопросы: Уголь? Руда? Доломит? Пар? Ковши? Ее цепкая, хорошо натренированная память быстро схватывала обстановку — сколько сегодня имеется на заводе руды, сколько угля, сколько кокса, сколько ковшей, откуда перебросить пару ковшей в мартеновский, как распорядиться с данным наличием газа... Для поэзии оставалось очень мало времени. Она приходила домой усталая. Если бы не мать, которая насильно заставляла ее сесть за стол, она вряд ли вспомнила бы о еде. Хотелось спать, спать, спать. Иногда, сидя за столом, разморенная, сонная, она протягивала тонкие полудетские руки и, склонив голову на плечо, мгновенно засыпала. Или же, вздрогнув, говорила сердито своим «диспетчерским» голосом: «О чем же вы думали раньше?»

Да, для истинной поэзии, требующей свободы мысли и целеустремленности, для поэзии, заполняющей душу и живущей во всем том, с чем соприкасается поэт, для этой поэзии, какой ее себе представляла младший техник-оператор, места не было в ее жизни. Все поглощала проза — уголь, кокс, флюсы для доменной печи, известняки, доломиты, руда, руда, руда... Что она видела из окна диспетчерской? Кусок завода в лесах — и все. И она даже стала забывать поэзию, то, ради чего она, собственно, и приехала в Донбасс. Стихи, которые она писала на Урале, ей самой мало нравились. Муза была детской, бездумной. Все любовь да любовь.

Всем жилось трудно. И ей было трудно. Она видела, как люди бьются над тем, чтобы раздобыть строительные материалы, как темнеет лицом Павел Ва-

Сильевич, когда она по утрам вносит ему сводку суточной работы завода, и как он, читая эту сводку, знакомым жестом охватывает свою коротко остриженную седеющую голову, о чем-то задумывается, берет в руки карандаш и что-то подсчитывает. Ей становится жаль его, и она робко говорит: вот как она распорядилась с нехваткой ковшей, вот как она вышла из положения.

Андреев слушает ее внимательно и одобрительно кивает: правильно, правильно, хорошо.

Однажды, когда она уже уходила, он вдруг спросил ее:

— А стихи? Стихи пишете?

Она горестно махнула рукой: стихи, какие тут могут быть стихи, когда такая проза! Андреев переспросил:

— Проза? Вы говорите, проза? — Я не поэт, — сказал он. И пояснил: он только инженер. Инженер-металлург. Но ему кажется, что, если внимательно взглядеться, то можно всюду увидеть поэзию. — В каждом объекте, — сказал он. — И на четвертой мартеновской печи, и на доменной... Нужно только лучше смотреть. — Он поднялся и вышел из-за стола.

— Вот, — сказал он, распахивая окно. — День ото дня все растет. Может быть, не так быстро, как бы хотелось, но — растет.

Она ушла, а он снова сел за свой рабочий стол. Он улыбался, думая об этом диспетчере. Эта рыженькая тоненькая уральская девушка с серьезным лицом не бог весть что сделала, просто она толково распорядилась с ковшами; руды, или цемента, или строительного леса она ему не увеличит. Но, как директору, ему приятно видеть и знать, что эта девушка проявила инициативу. Самое страшное — и это больше всего убивает его — равнодушие, хилость мысли, неумение, а может быть и нежелание брать на себя хоть какую-то долю общей ответственности. Откуда это берется у некоторых советских людей? Почему одному человеку достаточно дать только общий контур решения, и он сам, без понуканий, своею мыслью будет искать пути борьбы. А другому... Разные люди, разные характеры!..

Попова ушла от директора с каким-то виноватым чувством, точно она не оправдала его надежд. Но ведь стихи не так-то легко пишутся. Одно время ей

казалось, что истинные крылья творчества она обретет на этом заводе в Донбассе. Но, как сказал Пушкин, вдохновения не ищут, оно само приходит. И когда младший техник-оператор уже стала забывать о том, что когда-то писала стихи, перестала думать о том, что она поехала в Донбасс в поисках вдохновения и героической жизни, именно тогда где-то в тайниках ее души шевельнулось столь знакомое и как будто утраченное чувство поэзии.

Как это ни странно, но толчком к этому послужил смешной случай. Опять была проза жизни — она стояла в очереди в итеэровский магазин. На Урале люди ведут себя тихо, серьезно. А здесь по-южному: весело и живо. Инженеров и техников, стоявших в очереди, она не знала в лицо. Но голоса некоторых показались ей знакомыми. Вот тот, что стоял впереди ее, имел какой-то мягкий, добрый, напевный голос. Это, наверное, Чупило. Ее так и подмывало сказать: «Вы Чупило, начальник смены, правда?»

И она, в конце концов, спросила его.

— Он самый, — сказал Чупило. И смеясь спросил. — С кем имею честь? Она назвала себя: младший техник-оператор.

— Ах, это с вами я воюю, — сказал Чупило. — Дывысь, какая горластая!

Она спросила:

— А кто этот человек, у которого такой скрипучий рассудительный голос? Это, наверное, техник из газового цеха.

И Чупило подтвердил:

— Он самый... Такой оборотистый мужик!

И еще один человек заинтересовал ее: голос у него был угрюмый, чуть насмешливый. Это, кажется, Царицын. И Чупило опять подтвердил:

— Да, это Царицын Александр Николаевич.

Она какими-то новыми глазами посмотрела на этих итеэров — инженеров и техников, стоявших в очереди с кошелками и «авоськами». Даже здесь, в очереди за картошкой, они говорили о своих заводских делах. Со стороны можно было подумать, что это какое-то производственное совещание.

— Что вы мне толкуете, — нападал Царицын на какого-то инженера-строителя с кротким лицом, — виноват суб-

подрядчик... Я знаю вас и с вас буду спрашивать.

— Фронт работ узкий, — оправдываясь, говорил человек с кротким лицом.

И она вдруг почувствовала огромную жажду жизни, огромный интерес к этим людям, к этому, как говорит Чупило, неунывающему народу. И все то, чему она не придавала до этого никакого значения, считая слишком обычным, стало приобретать в ее глазах новый интерес. Она не делала никаких усилий и, кажется, не старалась запомнить обычные впечатления дня, но где-то в душе откладывались слова, штрихи, черточки...

Как-то раз она поехала ночью в город — отвезти на телеграф сводку о суточной работе завода. Там она встретила знакомых диспетчеров. Они сдавали сводки, рисующие ход восстановительных работ в Донбассе. Металл, уголь, химия... Они шли, эти сводки, в Москву. К утру они, наверное, уже будут в Москве, их доставят в Кремль и положат на стол рядом с оперативной сводкой с фронта.

Сдав сводку, она вернулась на завод. Дежурила она до утра. Ближе к рассвету, прислушиваясь к звукам, возникавшим за окном, младший техник-оператор дала волю своим мыслям и чувствам. Точно прорвалась какая-то плотина, мешавшая ей взглянуть на свой мир, на весь мир. Утром она положила на стол директора экземпляр сводки работы завода за ночь. К этому она приложила еще один листок, исписанный крупным почерком:

Перед тренажником сидел художник.
Здесь бил фонтан — он осенью не бьет,
А за ставком был город, невозможно
Донбасский: слева глей, а позади завод.
С каким-то стариком он спорил о
квартире:

О том, что комната мала, тесна, темна.
Рука же незаметно нагосила
На полотно далекие дома
Разрушенный фасад, пустые окна,
Бурьян и кирпичи, заброшенный карьер,
Но хаосу вдруг стройные колонны
Решительно поставили барьер.
И золотыми сотами у крыши
Нагромоздились гибкие леса,
Ползет бадья с белилами все выше,
Упругих тросов взмываю полоса.
Художник выбрал тему — разрушение.
Но как-то так, почти само собой
В картине дышит жизнь и возрождение,
Тревога сердца, труд, а не покой.

Быть может, оттого, что мой художник
молод,
А судя по шинели, прошагал войну,
Он хочет поскорей прекрасным видеть
город,
Его земную вдохновенную весну.

VI

Надежда Николаевна позвонила на завод и попросила директора. Дежурный по заводу, узнав ее голос, сказал, что как только кончилась оперативка — это было час тому назад — Павел Васильевич ушел. Она позвонила в гараж, и там ей сказали, что Павел Васильевич взял машину и уехал. Она спросила: один? Ей сказали: да, один, без водителя. Больше она не стала никуда звонить. Он, наверно, скоро придет. Обычно эти его поездки в степь занимают два-три часа.

Она знала, что когда Павла Васильевича одолевают головные боли или когда что-то его тревожит, он берет свой собранный из разных деталей автомобиль и, опустив боковые стекла, на большой скорости уезжает далеко-далеко в степь. Движение и ветер действуют на него хорошо. Где-нибудь у ставка в степи, слушая тишину ночи, он приводит в порядок свое «мозговое хозяйство».

Надежда Николаевна была женой Андреева, женой директора металлургического завода. Дом, в котором жила семья Андреевых, находился в трех шагах от завода. Вся ее жизнь, жизнь жены директора завода, была тесно переплетена с заводской жизнью. Если печи работали плохо, капризничали, то это и ее касалось. Он мог ей об этом даже и не говорить, о положении дел на заводе. Но по глазам его, по лицу, по тому, как он молчал, она все понимала. Иногда ночью, заслышав телефонный звонок — а звонили ночью очень часто — она брала телефонную трубку и, чтобы дать Павлу Васильевичу поспать лишнюю минуту, шопотом говорила: — Квартира Андреева, я слушаю.

— Ток выключили, — говорил кто-нибудь отчаянным голосом.

Она всегда колебалась, будить или не будить Павла Васильевича. И всегда будила. Так было лучше. Были у Надежды Николаевны и свои интересы и дела — она руководила созданным ею в поселке театром для детей. Но эта ее

работа в театре входила составной частью в ту работу, которую вел Павел Васильевич и которая связана с выплавкой металла.

Когда Павел Васильевич пришел домой, он еще с улицы увидел — в столовой горел свет. Надежда Николаевна ждала его. Ужин был на столе. Телеграммы. Записанные ею телефонограммы. Она читала книгу. Он наклонился и взял из ее рук книгу. Что она читает? Уэллс. Роман «В ожидании».

— О чем? — машинально спросил он.

Надежда Николаевна подумала и сказала:

— О людях, которые живут «пока».

Он спросил ее, что это значит. Надежда Николаевна пояснила:

— О людях, которые всю свою жизнь прожили «пока» — в ожидании настоящей жизни.

Павел Васильевич прочел бросившиеся ему в глаза строки: «Жалость никогда не делала хорошего врача...» Он усмехнулся и сказал:

— Как директор завода, я бы к этому добавил: «Излишняя восторженность или излишняя осторожность никогда не делали хорошего инженера».

Разговаривая с Надеждой Николаевной, он словно размышлял вслух: весь рабочий день проходил перед ним, день директора завода. Что раздражало его? Мелочь. На первый взгляд, как будто мелочь: он приказал своему помощнику оборудовать при заводе маленький садик. До войны был такой садик. Что сделал этот помощник? Он и землю расчистил, и раковину для оркестра построил, но он забыл сделать одну простую вещь — скамейки. И сегодня, когда Андреев проходил по этому саду, к нему подошел старый рабочий и, улыбаясь, сказал: Все хорошо. Павел Васильевич, но не на чем сидеть.

— Ты подумай, Надя... Доброе и хорошее смазывается скучными, равнодушными людьми. А почему этот тип так сделал? Да потому, что ему самому не хочется гулять в этом саду, и все, что он делает, он делает вяло, без вкуса. Это из тех людей, которые, как говорит твой Уэллс, живут «пока», в полжизни. Это — философия жизни-временки. Такой человек думает: «Сейчас сделаю все на живую нитку, а потом, когда будут другие, нормальные условия, я еще

к этому вернусь». Я против жизни-временки! Если восстанавливать, то строить так, чтобы потом не возвращаться. Строить солидно, прочно. Быстрее и лучше, чем до войны. Считаться с условиями и побеждать условия. Мы сейчас закладываем основы восстановления завода. Мы должны видеть завод не только таким, каким он был, но каким он должен быть. Когда-нибудь я рассержусь, возьму и поставлю на оперативке доклад нашего садовника. Пусть послушают человека, любящего свое дело. С цветами, Надя, дело сдвинулось, мы начинаем разворачивать наше садовое хозяйство. Сейчас, конечно, людям не до цветов. Всем нам нужен металл. Но уже и сейчас нужно думать о цветах. Между прочим, в нашем хозяйстве выращивается обширный ассортимент цветов: тут и анютины глазки, и хризантемы, и левкои, и скромная ночная фиалка, и простенький цветок, который в народе называется «дивчина в зелени»...

— А как со второй печью? — осторожно спросила Надежда Николаевна, чувствуя, что он не сказал главного, того, что тревожило его.

— Решили пускать на старой воздуходувке.

Он мог ей смело говорить об этом. Она умела не только слушать, она понимала его. Она не знала всех тонкостей риска, связанного с пуском доменной печи на старой воздуходувной машине «Аллис», но она знала, что именно больше всего тревожит его в эти дни...

— Я не могу ждать, — сказал он тихо и страстно, — понимаешь, не могу ждать, когда нам пришлют воздуходувку большей мощности. Я хочу, все мы хотим дать уже сегодня металл фронту.

По-разному протекала борьба на первом этапе восстановления в Горловке, Макеевке, Сталино. По-разному люди решали встречавшиеся на их пути трудности. Но всюду, в истории каждого завода, каждой шахты имеется своя творческая вершина, та точка напряжения, которая, как в фокусе, отражает присутствующую Донбассу силу жизни. Такой творческой точкой напряжения всех сил являлся для Сталинского завода пуск второй доменной печи. План восстановления завода предусматривал комплексный ввод мощностей. Четырнадцатого февраля

входила в строй четвертая мартеновская печь, пятнадцатого марта — прокатный стан 400 и тридцатого марта предстояло пустить доменную печь. С вводом доменной печи в строй получался замкнутый цикл — от чугуна до готового проката.

Удачный ввод в строй доменной печи зависел от многих причин. Однако главное, отчего зависел исход этой операции, была проблема воздуходувной машины. По всем нормальным условиям и требованиям доменная печь нуждалась в более мощной машине, чем та, которая имелась на заводе. Но вопрос стоял так: либо ждать, когда придет новая мощная машина, либо решить задачу пуска завода и дать металл сегодня на машине «Аллис». Машина «Аллис» была историческая машина. Она честно и добросовестно поработала на своем веку. Когда-то, свыше сорока лет назад, академик Павлов, работавший на Сулинском заводе, закупил ее в Америке. По тем временам она обладала высокими техническими данными. Хозяева даже упрекали Павлова — слишком дорогую машину купил. До войны она доживала свой век на Сталинском заводе, потом ее перевели в резерв и лишь изредка подпрыгали к основному воздуходувным машинам.

Жизнь пощадила машину «Аллис». Когда Андреев вернулся с Урала на завод, ее нашли под развалинами здания воздуходувной станции. Но она имела такие большие запасы прочности, что ее в конце концов удалось отремонтировать. Эта машина открывала возможность быстрого пуска доменных печей. К тому же с электроэнергией дело значительно улучшилось. Но все же пуск был связан с риском. Для принятия решения — использовать старую «Аллис», мало было только одного желания скорее дать металл. Нужен был еще строгий расчет. Сумеет ли печь жить при той ограниченной норме горячего дутья, которую ей даст старая воздуходувка, или она задохнется? При всех вариантах риск все-таки оставался. Как тут ни мудри, но если вы пускаете печь на маломощной воздуходувной машине, если вы не имеете резервной машины на случай возможной аварии, то вы как бы идете на острие ножа.

На техническом совещании, которое проходило у Андреева, решено было,

взвесив все шансы за и против, пускать печь на воздуходувке «Аллис». Царицын решительно высказался за. Если бы другой инженер сказал это, а не Царицын, начальник доменного цеха, Андреев бы еще подумал: итти или не итти на риск. Царицын обладал, по мнению Андреева, должной инженерской хваткой. Он был настоящим доменщик. А быть доменщиком не каждому дано. Еще академик Павлов как-то сказал, что в доменную печь никто не заглядывал, никто не видит, что в ней делается, но инженер должен это знать, чтобы управлять печью. Царицын умел управлять.

Пуская печь, завод выигрывал время. А время — величайший фактор в борьбе за металл. Металл нужен фронту сегодня. Помимо чисто технических факторов, которые влияли на исход решения, имелись еще и другие причины, чисто психологического порядка. Удачный пуск доменной печи, по мнению Андреева, мог и должен был послужить новым источником сил рабочих. Должен был вызвать подъем духа у них. Должен был показать им, что восстановление завода, за которое встались большевики, это дело сегодняшнего дня, это дело нашей жизни. А там, где жизнь — там и счастье...

В обычных условиях, может быть, никто, в том числе и Андреев, не решился бы пускать домну на этой воздуходувке. Но, когда идет война, когда каждая тонна металла нужна фронту, нужно уметь побеждать необычные условия. И все-таки, когда все уже было решено и когда печь уже готовили к пуску, Андреева все еще посасывал червячок: а вдруг воздуходувка сдаст, что тогда? Тевосян позвонил двадцать девятого марта. Он всегда звонил в самую важную минуту.

— Решились? — спросил он сразу.

Андреев ответил:

— Да, решились.

Тридцатого марта доменную печь номер два подготовили к пуску. Ее загрузили шихтой, и старый обермастер Данила Архипович разжигал ее. Он делал все не спеша, с торжественной медлительностью, будто священнодействовал. Кажется, старше его уже никого не было на заводе — он да Кузьма Григорьевич. Начальник проектного отдела тоже был

у печи. Старый обермастер делал свое дело спокойно, на совесть. Он положил стружку в горн, облил керосином и зажег раскаленным ломом. Старый, седой человек, он постоял некоторое время у печи, слушая, как она, медленно набирая силу, загудела ровным гулом.

Через сутки печь дала чугун Эти сутки Андреев, Царицын, Кузьма Григорьевич, обермастер, горновые, газовщики, весь завод — провели в напряжении: как воздуходувка? Но воздуходувка работала претотлично. В ранних сумерках мартовского дня обермастер ломом пробил отверстие в летке, и хлынул металл.

Андреев стоял рядом с Царицыным. Оба они безотрывно смотрели на этот огненный поток бегущего по канаве металла.

— Ковши готовы гостя принимать, — сказал вдруг Царицын.

Андреев внимательно посмотрел на инженера. Он уловил какую-то особенную нотку в его голосе. Слова Царицына звучали, как стихи.

Да. Это были стихи. Царицын тщательно скрывал, что он пишет стихи. Но он иногда писал их. На злобу дня. В его наружности не было ничего поэтического. Это был рыжеволосый, начинающий лысеть инженер, ходивший в стареньком пальто, всегда покрытом ржавой рудничной пылью, в старой приплюснутой кепке. Хороший начальник цеха, собранный, деловитый и, как полагал Андреев, честолюбивый и самолюбивый. Время от времени Царицына вдруг прорывало — и он писал стихи. Когда Телесов пускал четвертую мартеновскую печь, Царицын ссудил его стихами, так сказать, в порядке взаимопомощи: «Играли искрами, теплом ласкали», — писал он по поводу первой струи стали, хлынувшей из мартеновской печи. Совершенно очевидно, что в такой день, в день пуска его доменной печи номер два, он не мог молчать. И он написал стихи, посвященные этому торжественному событию. Он писал их ночью, сидя в своей конторке и слушая гудение работающей печи. Он записал их в своей старой записной книжке, в которую заносил цифры о работе доменного цеха. Он поместил их в цеховой газете «Доменщик», а на торжестве пуска прочел их вслух.

Царицын сказал, что своею сталью, своим металлом мы помогаем фронту. Он напомнил, что в довоенное время доменщики Сталинского завода работали хорошо — теперь нужно работать еще лучше. Он раскрыл свою записную книжку. Прекрасные цифры, хорошие коэффициенты, о которых можно вспомнить в такой радостный день. Тем же голосом — деловитым и, кажется, чересчур деловитым, как будто он стремился скрыть свое смущение, Царицын прочел:

Жужжит канат, скипы взлетают,
Контроль закончен, можно задувать.
Досрочно домна в строй вступает,
Страну металлом будет пополнять.
Радость, суета, волнение,
Задор к труду — возвышенный подъем...

На этот раз он не скрывал своего авторства. Стихи были его, стихи начальника доменного цеха, поднявшего печь из руин, железными щетками очищавшего металл от ржавчины, вдохнувшего жизнь в домну.

Андрееву хотелось остаться одному. Хотя бы на несколько минут. Вот мы и дали чугун! Сначала мы дали сталь, потом прокат. А теперь, когда вступила в строй доменная печь, все пойдет по-другому — чугун, сталь, прокат. И он пошел на «горячий пост», находившийся у Восточных ворот. Пять месяцев тому назад, когда он впервые пришел на завод, он увидел его с этой точки. Но тогда все вокруг лежало мертвое и ржавое. Медленно, справа налево, он стал осматривать свое хозяйство. Да, теперь пейзаж был совсем другой, чем тогда. Еще торчали взорванные колонны в мартеновском, но уже действовала четвертая печь, уже действовал прокатный стан, уже действовала доменная печь. Это начало — начало битвы за сталь. Он еще не прежний, довоенный завод. Но он уже завод, и под строительными лесами, которые охватывают его, бьется, созревает новая сила. Сила жизни. А там, где жизнь — там и счастье.

В эту же ночь он написал письмо академику Павлову. Андреев не знал точного адреса академика, но на всякий случай послал на Урал — Михаил Александрович, наверное, там.

«Дорогой Михаил Александрович, — писал Андреев. — Недавно я прочел Вашу книгу «Воспоминания металлурга» и, в частности, страницы ее, посвящен-

ные паровой воздуходувной машине «Аллис», которая на Сталинском заводе была известна под названием «Сулинской». Ее историю Вы заканчиваете словами «Сейчас машина стоит в резерве». Под свежим впечатлением я решил, что для Вас представляет интерес дальнейшая судьба этой машины.

В период нашего отступления из Донбасса в октябре 1941 года она, наряду с другими воздуходувными машинами, была приговорена нами к смерти, но по какому-то стечению обстоятельств уцелела от окончательного разрушения. Возвратившись на завод после изгнания немцев в сентябре 1943 года, мы нашли ее под грудой обломков старинного юзовского здания, в котором она была размещена. Были приняты немедленные меры к ее освобождению из-под развалин, а затем и к ремонту. Дружными усилиями работников нашего завода машина была восстановлена в короткий срок и накрыта новым зданием с мостовым краном 15 тонн. Из-за отсутствия других дутьевых средств 30 марта 1944 года мы на воздухе этой машины задули доменную печь № 2 объемом 450 куб. метров.

Работа в течение двух недель показала удовлетворительные результаты. Печь идет очень ровно и дает ежедневно 200 тонн хорошего литейного чугуна. Машина делает сорок оборотов, давая при этом до 650 куб. метров воздуха при давлении 0,5 атм. Мы рассчитываем продержаться на ней до конца мая, когда в помощь ей будет пущен газомотор МАН.

Меня Вы едва ли помните, тем не менее я являюсь одним из Ваших многочисленных учеников.

В 1923—24 гг. я слушал и сдавал у Вас курс металлургии чугуна в Московской горной академии. Сейчас работаю директором Сталинского металлургического завода.

Будем очень рады, если Вы посетите нас при первом вашем выезде в Донбасс.

Ответ последовал быстрый. Академик Павлов писал с Урала:

«Уважаемый Павел Васильевич!

Я очень рад был получить Ваше письмо — знак внимания ко мне. Интерес-

ная информация о Сулинской машине и о положении дела в Сталинпо.

Я видел здесь старика Коробова в день его отъезда отсюда и слышал от него, что в работу вступит первой самая мощная печь Сталинского завода и что для нее достаточно дутья от Сулинской машины. Но мне это казалось лишь его предположением. Вы же сообщаете о факте и действительной работе печи и машины».

Академик Павлов писал в конце письма:

«На Вашем заводе я все же надеюсь побывать, так как чувствую себя хорошо и в скором времени умирать не собираюсь. Но машину свою я увижу, очевидно, опять в резерве».¹

Тридцать первого марта ночью, после того, как печь была введена в строй, из Москвы позвонил нарком черной металлургии Тевосян.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он Андреева.

— Дали первый чугун, — сказал Андреев. И, зная, что волнуется Тевосян, добавил: — Самочувствие хорошее, воздуходувка работает прекрасно.

В эту же ночь тридцать первого марта сорок четвертого года, когда оперативные сводки с фронтов Отечественной войны сообщали о том, что наши танки, сработанные из лучшей советской стали, в условиях распутицы, преодолевая дикую грязь и бездорожье, вырвались на оперативный простор, сломили сопротивление немцев и форсировали Прут, когда под Бельцами наши войска продолжали гнать противника, когда на Одесском направлении наши войска заняли Любашевку, когда у Николаева наши войска форсировали Южный Буг, когда весь фронт — от моря и до моря — упорно наступал, направляемый одной рукою, — теплой мартовской ночью техник-диспетчер отвез на телеграф рапорт о вводе домны в строй, сводку о работе завода: чугуна столько-то, стали столько-то, проката столько-то. И в эту же ночь рапорт и сводка, наконец, были положены на рабочий стол человека, с которым наш народ связывал свое счастье, свою жизнь.

¹ Воздуходувная машина «Аллис» находится в резерве. Ее заменили новой мощной машиной.

Может быть и даже наверное, эти тонны металла, выплавленного на старейшем заводе Донбасса, были тотчас учтены и весомо и зримо вошли в общий баланс средств ведения войны; может быть и даже наверное, выплавленный металл лег какой-то частицей на чашу весов великой битвы, которую вел наш народ, наша Красная Армия с гитлеровской Германией.

В первых числах апреля на заводе была получена приветственная сталинская телеграмма. Товарищ Сталин поздравлял рабочих, инженеров, техников и служащих Сталинского металлургического завода и Сталинского коксохимического завода с успешным восстановлением и вводом в действие первой доменной печи и коксовой батареи.

«Самоотверженным трудом по восстановлению старейшего металлургического завода Вы на деле доказываете непоколебимость воли советского народа в короткие сроки возродить металлургию Донбасса».

Это была сталинская телеграмма людям Донбасса. Первую телеграмму получили в Енакиеве, когда там дали металл, вторую телеграмму получили на Зугрэсе, когда там дали ток, и теперь новую сталинскую телеграмму получили на старом металлургическом заводе. И в этой телеграмме было тепло и просто сказано:

«Желаю Вам дальнейших успехов в Вашей работе».

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Эту короткую историю, историю одной докладной записки, которую я собираюсь рассказать ниже, я услышал в июньский день сорок шестого года на Зуевской государственной электростанции, в машинном зале которой испытывалась турбина мощностью сто тысяч квт.

На Зугрэс я поехал без определенной цели: хотелось взглянуть на реку Крынка, на места, где я впервые побывал осенью сорок третьего года — в те дни, когда этот кусок донбасской земли еще горел, дымился и кровоточил, когда в машинном зале электростанции, где в былые годы вырабатывалась могучая энергия, после немцев росла дикая степная трава; и рухнувшие железобетонные опоры и раны взорванных котлов вызывали в душе горечь и сострадание...

Таким запечатлелся в моем сознании Зугрэс сорок третьего года. И, повинувшись движению души, я и мои спутники летним вечером сорок шестого года свернули из Харцизска к берегам Крынки, чтобы снова — три года спустя — увидеть Зугрэс, узнать, как живет, как бьется мощное сердце Донбасса.

Зугрэс открылся нам в час заката. Отблеск зари сливался с огнями электростанции. Зугрэс вставал над холмами и, казалось, покачивался над водой, как громадный корабль, отражаясь своими огнями в спокойной глади реки. Я смотрел на вечерние огни Зугрэса, полные тепла и жизни, прислушивался к ровному, ритмичному дыханию его машин — и в памяти моей невольно вставали видения недавнего прошлого. Тогда — три года назад, в дни великой битвы за Донбасс, когда Красная Армия прорвала немецкую линию обороны «Миус-фронт», — взору наших бойцов представали страшные картины народного бедствия: города и поселки, заводы и шахты, весь Донецкий бассейн лежал взорванный и разоренный. Немцы стремились превратить этот непокорный край в зону пустыни, и они добились своей цели. Ветер свистел в провисших проводах высоковольтных передач, гремел железными листами обрушившихся крыш, пыль и ржавчина покрывали лицо Донецкой земли.

На Зугрэс я приехал из Краматорска, полный впечатлений от всего того, что я видел в этом городе тяжелого машиностроения. В цехах завода имени Сталина я видел уникальный пресс, развивающий чудовищное давление в 10.000 тонн, — на стальном ложе его ковался гидравал для турбин Днепрогэса. До этого я был в Мариуполе на Азовстали и видел там самую мощную на Юге четвертую доменную печь, ту самую, которую немцы взорвали заложенными под нее авиационными бомбами: силой взрыва могучее тело доменной печи было поднято вверх и, осев, сдвинулось с проектной оси на полтора метра; я видел эту огромную печь, вновь поставленную на место силой творческой мысли наших инженеров. В Горловке я побывал на шахте Кочегарка — на одном крыле этой шахты с помощью мощных механизмов уже добывался уголь, на другом — шла упорная борьба с водой.

Все эти, на первый взгляд отдельные явления донбасской жизни имеют один общий ключ, связаны одной силой сцепления. Для того чтобы лучше понять мощь и размах восстановительных работ в Донбассе, нужно, как мне кажется, обратиться к истории этого края. Дважды на протяжении тридцати лет Донбасс был подвергнут страшному разорению и опустошению. Девятнадцатого мая 1919 года Владимир Ильич Ленин, выступая на Первом Всероссийском съезде по внешкольному образованию, давая ответ на существенные политические вопросы, стоявшие перед молодым государством, говорил о залитых копиях Донбасса.

«... У нас не бывает заседания Совета Народных Комиссаров или Совета Обороны, — сказал Ленин, — где бы мы не делили последние миллионы пудов угля или нефти и, испытывая мучительное состояние, когда все комиссары берут себе последние остатки и каждому нехватает и надо решать: закрыть фабрики здесь или там, здесь оставить рабочих без работы или там, — мучительный вопрос, но приходится это делать, потому что угля нет. Уголь — в Донецком бассейне, уголь уничтожен немецким нашествием».

Ленин в своей речи подчеркивал, что раны, нанесенные Донбассу, являются последствием империалистической войны. Раны, нанесенные Донбассу после второй мировой войны, неизмеримо тяжелей и страшней, чем имело место в годы гражданской войны. И задачи восстановления, вставшие перед нашим государством во весь рост, поистине грандиозны. И если решение этих колоссальных задач восстановления оказалось по плечу нашему народу, нашему государству, то это, прежде всего, надо объяснить тем, что за двадцать девять лет советской власти, за годы Сталинских пятилеток, переделавших нашу страну в могучую индустриальную державу, выросли силы советского народа, его духовные и материальные богатства.

История великих восстановительных работ в Донбассе раскрывает перед нами всю жизненную мощь нашего социалистического строя. Характерная особенность этой борьбы заключается в том, что восстановительные работы в Донбассе начались до окончания войны, сразу же, как только враг был изгнан за пределы Донецкого бассейна. Восстанови-

тельные операции в ближнем тылу шли параллельно наступательным операциям на фронте. Источник у них был один — творчество масс, та сила, которую Ленин назвал чудесной. В этом движении вперед, в самом характере восстановительных работ проступают общие черты, свойственные социалистическому строю — плановое организующее начало. Правительственные решения, связанные с восстановлением шахт и крупнейших заводов Донбасса, имели характер боевого задания. В Мариуполе на заводе Ильича хранится решение Государственного Комитета Обороны, датированное 16 ноября 1943 года. Восстановление завода, — подчеркивает решение ГКО, — является важным военно-хозяйственным заданием. Все для фронта, все для победы! Тонна угля и тонна металла!

Восстановление Зугрэса, обладавшего до войны огромной мощностью, было одним из первых звеньев общего плана восстановления Донецкого бассейна. В тот день, когда я приехал на Зугрэс, в машинном зале проходила цикл испытаний новая мощная турбина. Взоры всего Донбасса были прикованы к Зугрэсу. Пуском стотысячного турбогенератора значительно увеличилась энерговооруженность Донбасса, его огромного хозяйства. Сто тысяч киловатт, которые рождались сейчас в машинном зале электростанции, плюс большие энергетические мощности, введенные в строй еще в условиях военного времени, создавали новый энергетический запас, открывали перед Донбассом перспективы нового успешного движения вперед.

Вводом в строй стотысячной турбины завершался определенный и очень значительный этап в жизни Зугрэса. Я попросил инженера Юдина, директора Зугрэса, рассказать о первых днях восстановления электростанции. Юдин долго рылся в ящиках рабочего стола и достал, наконец, свернутый вдвое узкий и длинный лист грубой шероховатой бумаги.

— Вот, — сказал он, протягивая мне эту бумагу, — тут все описано.

Я думал, что это дневник инженера Юдина, в который он заносил свои мысли и наблюдения. Но это была обыкновенная докладная записка, написанная на одном листе. Бумага была грубой и

толстой с синими прожилками. Прочитать докладную записку мне в эти минуты не удалось: Юдина позвали в машинный зал.

Стотысячная турбина вступала в решающую фазу испытаний. В машинном зале была обычная предпусковая рабочая атмосфера. Все были уверены в хороших результатах испытания, но все-таки кое-кто нервничал. Это особенно отражалось на лицах заводских инженеров, создавших турбину. Они отвечали за ее благополучный пуск. Шеф-монтер завода и главный инженер Зугрэса Илья Борисович Копельян слушали работу машины. Я спросил Копельяна, где первая турбина в пятьдесят тысяч квт., которую пускали в условиях военного времени. Он показал на машину, стоящую на одной линии с новой.

— Тогда не было шеф-монтера, — сказал он, улыбнувшись.

Да, тогда многого не было... В обычных нормальных условиях, вот как в нынешних, послевоенных, нужен был шеф по монтажу пятидесятитысячной турбины, — он взял бы на себя всю ответственность за пуск, сдавая эксплуатационникам машину в готовом виде, так сказать, «франко-Зугрэс».

Главный инженер, усмехнувшись, повторил это слово «франко-Зугрэс», словно еще раз представил себе, что было на Зугрэсе в январе сорок четвертого года. Условия работы по тому времени были обычные — условия военного времени...

Сентябрьским утром сорок третьего года на берегу Крынки появился пожилой инженер в полувоенном костюме, с перекинутой через плечо полевой сумкой. В сумке хранился мандат, выданный инженеру Юдину и гласивший, что он является уполномоченным по снабжению электроэнергией в освобожденных районах Донбасса. Юдин спросил командира батареи, расположившейся на берегу: — В чьих руках Зугрэс?

— Условно наш, — весело и бодро сказал молоденький офицер.

Юдин некоторое время раздумывал, что делать, потом решительно двинулся к реке. Как человек штатский, он не вдумался в реальное значение военной формулы «условно наш». Он воспринял только одну часть этой формулы — наш. Зугрэс наш! И этого было достаточно, чтобы он пошел на Зугрэс.

Но Зугрэс в эти часы еще не был полностью наш. В этом инженер Юдин убедился, увидев стоявшие за стеной школы немецкие танки. И тут он сразу понял, какие опасности таит в себе это выражение «условно наш». Перейти обратно плотину он не решился: он не хотел дважды испытывать судьбу. Он пробрался к нашим передовым цепям, наступавшим с востока, и весь день и всю ночь провел на линии огня. Со стороны Зугрэса раздавались взрывы — они тяжело отзывались в душе инженера.

Утром, когда Зугрэс полностью уже был очищен от немцев, Юдин с группой инженеров прошел на станцию. По сохранившейся эстакаде он пробрался в машинный зал. Генераторы были взорваны. Котельное хозяйство было взорвано. Плотина была взорвана. Главный шит управления был взорван. О, немцы прекрасно понимали значение этой станции. Взрывая Зугрэс, они как бы погружали весь Донбасс во тьму, лишали его жизненных токов. В течение дня они обстреливали Зугрэс. Под огнем немцев наши саперы обезвредили двадцать семь тонн взрывчатки, которая еще оставалась в недрах Зугрэса.

На другой день к Зугрэсу подъехал открытый виллис. Машина вся была покрыта пылью. И человек в военной шинели, выбравшийся из виллиса, был весь в пыли. Инженер Юдин сразу узнал его — это был секретарь ЦК КП(б)У, член Военного Совета фронта Н. С. Хрущев. Он поздоровался с Юдиным и сразу спросил: — В каком состоянии Зугрэс?

Они вошли в машинный зал. Взорванные железобетонные глыбы преграждали дорогу. Хрущев спросил у Юдина: может ли он, если же сейчас, то завтра, и не позднее чем завтра, доложить о ближайших перспективах восстановления Зугрэса, и не предположительно, а с наибольшей точностью!

Докладная записка должна быть короткой и ясной: степень разрушения, возможности восстановления и — сроки, сроки!

Хрущев сел в виллис и сказал инженеру еще несколько слов. Ему, видимо, хотелось, чтобы Юдин лучше понял, чего от него хотят. Ведь докладные за-

писки пишутся по-разному — с душой и без души. Как большевик, как инженер, Юдин должен понять: возрождение этой станции определит возрождение Донбасса и сроки этого возрождения. Вот что он должен учесть, когда будет писать докладную записку.

Юдин снова обошел Зугрэс. Глазами инженера он всматривался в разрушения, мыслью большевика-руководителя он оценивал их. Он ходил по поселку, вспоминая те времена, когда он был парторгом этой станции и высаживал на улицах сорок пять тысяч молодых деревьев. Садовником тогда был Иван Афанасьевич Скиба. Молодые деревья привозили в поселок зимой на санях, закрепляли расчалками, чтобы ветер не погубил их, а весной снова окапывали и присыпали свежей землей. Она хорошо привилась, эта древесная молодежь — клен, тополь, ольха... Теперь начинать все сызнова.

Ночью Юдин писал докладную записку о возрождении Зугрэса. Что можно сделать и что нужно сделать. Карандаш у него был. Бумаги не было. На складе имелась бумажные мешки для цемента. Он взял один мешок и аккуратно нарезал длинные листы для докладной записки в двух экземплярах. Все в докладной записке было взвешено — чувства и мысли, которые жили в его душе, страстное желание снова увидеть Зугрэс таким, каким он был в мирные годы. Юдин писал ее так, как говорила ему совесть инженера-большевика. Он учитывал не только свои силы, но и силы тех рабочих, инженеров и мастеров, которые, как и он, хотят, чтобы Зугрэс был восстановлен в наикратчайшие сроки.

«Восстановление энергетического хозяйства Донбасса по результатам предварительного осмотра, — писал он, — осуществимо в пределах первоочередной мощности 200—250 тыс. квт. в срок до полутора лет с вводом первой мощности через три месяца с начала производства работ».

На другой день на Зугрэс снова приехал Хрущев. Никита Сергеевич читал докладную записку и в то же время прислушивался к отдаленному гулу артиллерийской канонады. Он бережно сложил записку, сел в виллис и уехал в западном направлении.

В машинном зале от одной из турбин

сохранился только фундамент и часть коммуникаций. По существу нужно было создать, «сложить» новую пятидесяти-тысячную турбину. Как это происходило?

Выхлопной патрубок прислали из Сталиногорска. Крышку цилиндра приспособили старую — ее выслали из Сибири. Ротор генератора доставили из тыла. Заводы Электросила и Хэмз оказали большую помощь в восстановлении, а по существу в создании первой пятидесяти-тысячной турбины. Наибольшую сложность представляли взорванные барабаны котлов. Н. А. Ефремов, старый мастер Зугрэса, разработал вместе с инженерами Теплотехнического института целую теорию сварки взорванных барабанов, которую они блестяще осуществили на практике.

В ночь на первое января 1944 года пятидесяти-тысячная турбина испытывалась в еще разрушенном машинном зале Зугрэса. Нужно было дать первоначальный толчок турбине. «развернуть» ее. И вот все энергопоезда Донбасса были на это мобилизованы. Выключив города и поселки, они свою энергию отдали Зугрэсу, где рождалась первая турбина.

Главный инженер Копельян взял слуховую трубку. Он приложил стальной стетоскоп к мощному телу машины, по тональности дыхания определяя точность и слаженность всех механизмов турбины. Достаточно было взглянуть на лицо главного инженера, чтобы понять, что происходит с машиной. Ровный, ритмичный звук работающего пара обычно говорит о хорошей работе. Но тут что-то тревожило главного инженера. Прислушивая лабиринтовые уплотнения турбины, он уловил какие-то еле слышные хрипы. В машине еще отсутствовало свободное дыхание.

Будущие историки, воссоздавая картину битвы за Донбасс, вероятно не пройдут мимо этого эпизода, когда все энергопередвижки Донбасса трижды отдавали свою энергию Зугрэсу, облегчая рождение первой пятидесяти-тысячной турбины. 9 января машину поставили на обороты, включили в сеть и двинули животворную энергию по высоковольтным передачам к поднимающимся из руин шахтам, заводам, городам и поселкам Донбасса.

В дни пуска первой турбины на Зугрэсе было получено письмо Степана Ганжи, раненого бойца Южного фронта. До войны Ганжа работал на Зугрэсе газосварщиком, старые кадровики должны его помнить... И вот он, Степан Ганжа, сообщал, что, будучи ранен и направляясь в тыл, он из своего санитарного вагона увидел под Батайском на девятом километре патрубков турбины, на котором стояла марка «Зуевская ГрЭС».

В Батайск немедленно был командирован один из работников Зугрэса Гавриил Сущенко. Огромный многотонный патрубок, брошенный немцами при отступлении, почти на треть врос в землю. Его вытягивали с помощью подъемного крана. Он был уложен на специальную платформу и прицеплен к литерному воинскому поезду, который направлялся в Донбасс.

Так в эти дни открылась возможность восстановления второй турбины.

После того, как первая прошла весь цикл испытаний и включилась в сеть, на Зугрэсе была получена сталинская приветственная телеграмма.

«Выражаю твердую уверенность, — писал товарищ Сталин восстановителям Зугрэса, — что Вы и впредь своим ге-

роическим трудом и напряжением всех сил обеспечите быстрое восстановление энергетических мощностей, которые дадут возможность в короткие сроки восстановить наш родной угольно-металлургический Донбасс».

Время войны и первых побед на фронте восстановления запечатлено в этой сталинской телеграмме. Читая сталинские слова, отлитые теперь в бронзе, я вспоминал докладную записку инженера Юдина, написанную в сентябре сорок третьего года, в первые дни освобождения Донбасса. Докладной запиской этой, написанной на шершавом листе, вырезанном из мешка для цемента, открывается книга жизни, которую творят люди Донбасса.

Утром я уехал с Зугрэса. На берегу Крынки я оглянулся, чтобы еще раз поглядеть на места недавних боев и недавних развалин. Первые лучи солнца горели пожаром в высоких окнах Зугрэса. Новая плотина шла ровной полосой вдоль водоема, она казалась розовой и глянцевитой в торжествующем свете восхода. Нельзя было уже видеть в ней тех железо-бетонных шпал, которые когда-то составляли перекрытия немецких укреплений на «Миусс-фронте», а потом были использованы зугрэсовцами как строительный материал.

ТИТО

ВЛАДИМИР ЛИФШИЦ

★

В край, где солнце в туманах не тает,
В край, где горы кругом — великаны,
Улетает мой друг, улетает,
Улетает мой друг на Балканы.

Были тюрьмы, побеги, походы,
Было горькое слово «чужбина».
Лишь Россия, отчизна Свободы,
В черногорце увидела сына.

А над Финским заливом светает.
Крики чаек да хлопья пены...
Улетает мой друг, улетает,
Улетает в родные Стийены.

Горделиво Невы течение.
И у северного гранита
Он раскрыл для меня значенье
Легендарного имени — Тито:

«По-хорватски звучит оно: Ти-то,
А по-русски звучало бы: Ты-то.
Я слуга своего народа.
Я умру за него. А вот ты-то?»

Это имя врагов наказует.
Это имя заспавшихся будит.
Это имя, как перст, указывает
На того, кто свой долг позабудет.

Так и в песнях юнацких пелось,
Так и в сказку войдет, и в повесть:
Имя Тито — оно как Смелость.
Имя Тито — оно как Совесть.

Он врагам воздает сторицей,
Знает братьев своих поименно.
И летят над рекой Златицей
Кровью крашенные знамена!..»

В край, где русская наша верба
В гордом буке узнала брата,
В край, где серп — на ладони серба,
В край, где молот — в руке хорвата,

В край, где тоже теперь светает,
Где уже заживают раны,
Улетает мой друг, улетает,
Улетает мой друг на Балканы!..

КОСТЕР

СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

★

Прошло с тех пор немало дней,
С тех стародавних пор,
Когда мы встретились с тобой
Вблизи саксонских гор,
Когда над Эльбой полыхал
Солдатский наш костер.

Хватало хвороста в ту ночь,
Сухой травы и дров,
Дрова мы вместе разожгли,
Солдаты двух полков,
Полков разноименных стран
И разных языков.

Неплохо было нам с тобой
Встречать тогда рассвет
И рассуждать под треск ветвей,
Что мы на сотни лет,
На сотни лет весь белый свет
Избавили от бед.

И наш костер светил в ночи
Светлей ночных светил,
Со всех пяти материков
Он людям виден был,
Его и дождь тогда не брал
И ветер не гасил.

И тьма ночная, отступив,
Не смела спорить с ним,
И верил я, и верил ты,
Что он неугасим,
И это было, Джонни Смит,
Понятно нам двоим.

Но вот через столбцы газет
Косая тень скользит
И снова застит белый свет
И свету тьмой грозит.
Я рассекаю эту тень:
— Где ты, Джонни Смит?

В уэльской шахте ли гремит
Гром твоей кирки,
Иль слышит сонный Бирмингам
Глухие каблуки,
Когда ты ночью без жилья
Бродишь вдоль реки.

Но уж в одном ручаюсь я,
Ручаюсь головой,
Что ни в одной из двух палат
Не слышен голос твой
И что в Париж Александер
Не взял тебя с собой.

Но я спрошу тебя в упор,
Как можешь ты молчать,
Как можешь верить в тишь, да гладь,
Да божью благодать.
Когда грозятся наш костер
Смести и растоптать?!

Костер, что никогда не гас
В сердцах простых людей,
Не погасить, не разметать
Штыками патрулей
С полос подкупленных газет,
С парламентских скамей!

Мы скажем это, Джонни Смит,
Товарищ давний мой,
От имени простых людей
Большой семьи земной
Всем тем, кто смеет нам грозить
Войной.

МАРСИАНЕ

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

★

Там, где звезды светятся в тумане,
мерным шагом ходят марсиане.

На холмах монашеского цвету
ни травы и ни деревьев нету.

Серп не жнет, подкова не куется.
Песня в тишине не раздается.

Нет у них ни счастья, ни тревоги —
все отвергли маленькие боги.

И глядят со скукой марсиане
на туман и звезды мирозданья.

Сколько раз, на эти глядя дали,
о величье мы с тобой мечтали.

Сколько раз стояли мы смиренно
перед грозным заревом вселенной.

У костров солдатского привала
нас иное пламя озаряло.

На морозе, затая дыханье,
выпили мы чашу испытанья.

Молча братья умирали в ротах.
Пели школьницы на эшафотах.

Было марша нашего начало,
как начало горного обвала.

Пыль клубилась. Пенились потоки.
Трубачи трубили, как пророки.

И солдаты медленно, как судьи,
наводили тяжкие орудья.

Дым сраженья и огонь возмездья.
На фуражках алые созвездья.

Спят поля, засеянные хлебом.
Звезды тихо освещают небо.

В темноте над братскою могилой
пять лучей звезда распространила.

Звезды полуночные России.
Звездочки армейские родные.

Телескопов точное мерцанье
мне сегодня чудится вдали:

Словно дети, смотрят марсиане
на Великих Жителей земли.

ПРИШЕДШИМ С ВОЙНЫ

МИХАИЛ ЛУКОНИН

★

Нам не речи хвалебные,
Нам не лавры нужны,
Не цветы под ногами —
Нам, пришедшим с войны.
Нет, не это. Нам надо,
Чтоб ступила нога
В хлебные степи,
В цветные луга.
Не жалейте,
Не жалуйте отдыхом нас:
Мы совсем не устали,
Нам — в дорогу как раз.
Не глядите на нас с умилением.

Не

Удивляйтесь живым, —
Жили мы на войне.
Нам не отдыха надо
И не тишины,
Не ласкайте нас словом
«Участник войны».
Мы трудом обновим
Ордена и почет.
Жажда трудной работы
Нам ладони сечет.
Мы окопами землю изрыли.

Пора

Нам точить лемехи
И водить трактора.
Нам пора

звон оружия —

на звон топора,

Посвист пуль —

на шипенье

Пилы и пера.

Ты прости меня, милая,
Ты мне жить помоги.
Сам шинель я повешу,
Сам сниму сапоги.
Я вернулся к тебе,
Но кольцо твоих рук —
Не замок,
Не венок,
Не спасательный круг.

ЖИЗНЬ В ЦВЕТУ

Кино-повесть

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО



В конце девятнадцатого века в Царском Селе по аллее дворцового парка прогуливался молодой царь Николай II. Это было летом. Царь был в штатском костюме с тросточкой и казался несколько несолидным и каким-то переодетым. Сзади, на почтительном расстоянии, шло несколько приближенных, а рядом, и тоже несколько позади, шел в надлежащей форме старый тучный министр земледелия и государственных имуществ и почтительно докладывал. В докладе было что-то, повидимому, неприятное царю. Министр заметил это и сделал тактичную паузу.

— Что-нибудь неприятное? — спросил царь.

— Да, ваше величество. В тысяча восемьсот девяносто втором году я имел честь докладывать усопшему в бозе августейшему батюшке вашего величества о гнусной кампании, поднятой в американской прессе по поводу нашего недостаточного, якобы, внимания к некоему садоводу Мичурину, именуемому у них великим селекционером... Сейчас, к большому прискорбию, шум повторяется.

— Что вы говорите? — изумился царь.

— Больше того, ваше величество. Стало известно, что, подвижные, без сомнения, коммерческим интересом, к этому Мичурину из Америки уже проследовали или, во всяком случае, следуют два видных американца, предположительно, тоже ученые. Кто знает?..

— Где он живет, этот господин? — спросил царь.

— В городе Козлове, Тамбовской губернии.

Царь вздрогнул от неожиданности и остановился.

— Ну, вы подумайте. В Козлове — ученый. Вот не ожидал! Хм! Все это очень неприятно. Что вы думаете по этому поводу?

— Я полагаю бы, ваше величество, что, может быть, действительно, а также принимая во внимание, что к нему едут эти... то, может быть, «Анну»...

— Абсолютно верно, — сказал царь. — Мне очень приятно, что наши мысли сходятся. Именно «Анну» 3-й степени или земледельческий крест. Это же очень неудобно. Бог ты мой, уже едут, говорите? Хм... Видите, уже едут... А что он там в Козлове делает, этот ученый?

— Селекционер-оригинатор, ваше величество, — многозначительно сообщил министр.

— Аа! — сказал царь тоном знатока. — Ну, тогда тем более «Анну». А если будут сманивать за границу, не пускать. Сообщите об этом тамбовскому губернатору. Хм... Ужасно неприятно.

— Чорт знает, что делается! — встревожился тамбовский губернатор, будучи внезапно извещен о происшедшем. Он купался, стоя по грудь в реке, и, то окунаясь и исчезая надолго под воду, то снова показываясь с фырканием и кряканием, недовольно кричал стоящим на берегу:

— Почему я, губернатор, должен узнавать в последнюю очередь, что у меня в губернии объявился ученый?

— Виноват, — взывал с берега председатель губернской земской управы, — но ведь это дело настолько неопределенное, хотя я, впрочем, неоднократно запрашивал... — С этими словами председатель губернского земства проколол насквозь взглядом стоявшего тут же

инспектора земледелия Марфина. Однако Марфин выдержал взгляд начальника и не потерял мужества:

— Простите, я докладывал неоднократно, что это дело чрезвычайно серьезное...

— Довольно! — фыркнул губернатор, вынырнув из воды, и тут же ляпнул себя ладонью по плечу, прогоняя овода. — Скалон!

— Слушаю! — отозвался молодой чиновник особых поручений Скалон.

— Спешно выезжайте в Козлов. Вручите садоводу награду, а этого Сквозник-Дмухановского, исправника Хренова, предупредите, что уже едут!..

Сказав это, губернатор набрал воздуха, закрыл пальцами нос и скрылся под водой.

В Атлантическом океане движется на восток пароход. Постепенно удаляясь к берегам Европы, он превращается в маленькую точку. Эта точка движется по земному шару через весь океан, через Западную Европу, через границу, по широкому русским просторам и останавливается в еле заметном провинциальном городке Козлове.

На увитой диким виноградом просторной веранде козловского городского головы Быкова сидело общество. Пили чай с вареньями и пенками. Дочь Быкова играла на пианино. В этот зеленый, душистый, ягодно-музыкальный мир вдруг врываются Быков и Хренов, Семен Семенович, местный исправник.

Быков. — Отрубите мне голову, ничего не понимаю.

Жена. — Что случилось?

Быков. — Прибыл чиновник особых поручений от губернатора с правительственной наградой, угадайте кому... Мичурину!

Все. — Мичурину?

Благочинный отец Христофор. — Как Мичурину? За что?

Председатель земской управы Полубояринов. — Подождите, подождите, позвольте...

Жена Быкова. — Каким образом? Почему?

Хренов, выпивая рюмку настойки. — За особые заслуги в деле садоводства.

Соколов-Орлов, предводитель дворянства. — Этого быть не может. Это какая-то ошибка.

Отец Христофор покрутил головой.

Полубояринов. — Абсолютно.

Соколов-Орлов. — Нет, нет... Господа! Я понимаю: сад купца Филиппова, Дюльню, наконец, сад отца Христофора!.. Отец Христофор!

Отец Христофор. — Содом и Гоморра.

Хренов вдруг засмеялся. — Завидно? Так я вам больше скажу... (Выпивая) Сейчас к нему едут из Америки два американца.

Полубояринов. — Что вы говорите?

Соколов-Орлов. — Что вы говорите?

Жена Быкова. — Американцы?

Хренов. — Да. Ученые... (К Быкову) Поехали!

Быков. — Подождите.

Жена Быкова (увидя на улице Мичурину). — Боже мой! Смотрите! Снова что-то тащит.

Быков. — Кто?

Жена Быкова. — Мичурин! (К исправнику) Семен Семенович, прекратите этот нигилизм хоть на три дня. Ведь это же могут увидеть иностранцы.

Хренов. — Но не могу же я ему запретить... Исчезаю!

Быков. — Подождите. Что-то надо сделать. Нельзя же ставить его в униженное положение перед иностранцами, если он ученый и кавалер орденов. Вот история!

Входит чиновник особых поручений:

— Здравствуйтесь, господа!

Проходя мимо усадьбы городского головы, Мичурин и его жена не слышали, что говорилось о них на увитой диким виноградом веранде. Они были настолько сосредоточены, что даже не заметили и самой усадьбы. Всю осень и весну они почти ежедневно «перевозили» сад на новое место, таская молодые деревья просто на спине. Они не были богаты. Сейчас они переносили остатки своей маленькой оранжереи.

— Тебе не тяжело?

— Нет, — сказала жена, — а тебе?

— Нет. Я все думаю. Все думаю, думаю, думаю... Ух!..

Промчался в пролетке исправник на великолепном рысаке.

На тихой, поросшей травой улице, против открытых ворот, ведущих в сад

к домику, остановились две извозчицы пролетки.

В одной из них сидели два американца, которых сразу можно было узнать по особой манере держаться спокойно и самоуверенно. Третий, тоже американец, сидевший в отдельной коляске, был лишен этой солидности, зато его американизм был подчеркнут смелой клетчатостью костюма, яркостью обуви и множеством карандашей в боковом кармане. Он весь пребывал в движении, словно все его чувства были поджарены на сковороде. Он был переводчиком со всех языков на все языки. И хотя, как водится нередко в таких случаях, ни одного языка он толком не знал, тем не менее взаимно-переводимые стороны его всегда отлично понимали, как понимают охотники всего мира натренированную нервную собаку по взвизгиванию, дрожанию мускулов и богатейшему выражению глаз.

— Хау ду ю ду! Слушайте! Хеллоу, хеллоу! Здесь живет мистер Мичурин? — громко спросил он, увидя человека в саду у раскрытых ворот.

— Говорю, что здесь. Чего кричать-то? — обиделся извозчик. — Вон сам стоит. Эка невидаль..

— Да, здесь, — ответил садовник и подошел к иностранцам.

— Господа, мы приехали, — сказал переводчик. — Плиз, пожалуйста! — переводчик указал подошедшему на заклеенные множеством ярлыков чемоданы и повел американцев во двор к дому. Человек взял чемоданы и пошел за ними.

Обойдя домик, они остановились перед небольшой верандой в саду.

— Плиз, можно видеть мистера Мичурина?

— Можно. Я Мичурин, — сказал человек с чемоданами.

Переводчик. — Вы господин Мичурин? Мистер Майер, этот человек говорит, что он господин Мичурин!

Первый американец. — Но?... Мистер Джон Мичурин? О, пардон, ради бога! Благодарю вас...

Переводчик. — Господин Мичурин, господин Майер извиняется. Он говорит, что он очень вам благодарен.

Майер. — Мистер Берд, ведь это Мичурин! Вы понимаете, как мы влопались! Боже мой!

Переводчик. — Они говорят, что вы Мичурин и что они влопались. Они сказали: боже мой, ах!

Мичурин. — Ну, ничего.

Переводчик. — Мистер Мичурин говорит: пожалуйста.

Второй американец. — О, тысяча чертей! Мистер Мичурин? Это оригинально, не правда ли, о!

Переводчик. — Господин Берд говорит, что это очень оригинально. Он сам тоже любит носить чемоданы. Он с этого начал карьеру.

Мичурин. — Да? Ну, что ж...

Первый американец. — Позвольте представиться — профессор Майер.

Переводчик. — Профессор Майер.

Первый американец. — Генри Майер из Соединенных Штатов Америки.

Переводчик. — Из Соединенных Штатов Америки, Юнайтед Стейс. Директор сельскохозяйственного института.

Первый американец. — Ес!

Второй американец. — О, ес!

Переводчик. — Да, да!

Первый американец. — Простите, вот мой друг — мистер Уоллес Берд!

Второй американец. — Берд!.. Уоллес Берд.

Переводчик. — Это мистер Берд, богатейший человек Америки.

Мичурин. — Да?.. Очень приятно.

Первый американец. — Смею думать, что вы читали мои брошюры. Я посылал их вам. Но сейчас я специально приехал...

Переводчик. — Мистер Майер приехал специально к вам на лучшем пароходе Америки.

Мичурин. — Я очень рад.

Первый американец. — Тенкью вери меч, блягодарью.

Второй американец. — О, тенкью.

Переводчик. — Они благодарят вас.

Первый американец посмотрел в сторону сада и даже снял шляпу, как перед великим произведением искусства. — Вот он. Как много я думал о нем... Мистер Мичурин...

Мичурин. — Прошу... Моя жена... Александра Васильевна, мой лучший друг и помощник.

Переводчик. — Мистер Мичурин говорит, что это его жена.

Оба американца. — Миссис Мичурин... Майер! Берд!

Мичурин. — Вы приехали смотреть мой сад. Прошу вас.

И Мичурин повел американцев в сад. Глубоко потрясенный стоял перед Мичуриным профессор Майер. Потрясен был и Берд. Они только что возвратились из сада.

Майер оглядывался по сторонам, не веря своим глазам и волнуясь тем волнением, которое переживает человек в присутствии великого человека.

— То, что я видел, гениально. Вы, мистер Мичурин, удивительный человек, и я никогда уже вас не забуду. Я счастлив быть вашим современником. Я говорю, стоило приехать из Америки, чтобы позвать вашу руку.

И профессор Майер пожал смущенному Мичурину руку. В голосе неутомимого искателя растений звучало такое подлинное чувство, что даже переводчик заволновался.

— Это грандиозно по силе и глубине замысла и перспективам, — говорил Майер. — Признаюсь, я не все еще понял. Но я впервые здесь ощутил, что может человек! Это почти сверхъестественно.

Берд был взволнован несколько поининому. Его поразила не сама идея, не поле благородных битв человека-творца с природой. Берд был человеком иного склада, человеком дела, как любил он говорить о себе. В саду Мичурина он увидел крупнейший бизнес и мысленно прикинул уже все возможности этого смелого начинания для фермеров северных штатов и Канады.

— Да, это поразительно, — сказал он с уважением. — Я приехал сюда, чтобы выразить вам благодарность всех садоводов Канады за вашу вишню. В этом году в Канаде вымерзли все вишни. Осталась только ваша. Это великолепно, не правда ли? — Берд посмотрел в сторону сада. — Это дело!

— Мистер Берд говорит, что это дело! — выпалил переводчик.

— Это победа!

— Ну что вы, право. Нет, тут еще все впереди, — сказал Мичурин, перебивая переводчика несколько раз. — Тут еще работы на полстолетие.

— Но объясните нам, — сказал Берд, оглядываясь на все стороны, — почему вы так одиноки? Почему мы не видим ваших лабораторий? Где ваши помощники? Почему такой маленький масштаб?

— Да, да. Мы не видим ни ваших рабочих, ни слуг. Где они? — спросил Майер. — Неужели ваше правительство...

— Мое правительство занято.

— Чем?

— Не знаю. В министрах не состою, — Мичурин нахмурился. — Одно лишь мне известно: садовым делом оно не интересуется.

В это время к беседующим быстро подошел чиновник особых поручений прибывший от тамбовского губернатора, и, остановившись перед профессором Майером, начал рапортовать:

— По высочайшему указу его императорского величества, государя императора Николая Александровича...

— Пожалуйста. Что вы хотите? — смутился профессор Майер.

— ... Имею честь вручить вам, господин Мичурин...

— Плиз... Вот Мичурин, — сказал переводчик.

Чиновник оторопел и повернулся к Мичурину. Для этого ему пришлось сделать поворот направо, два шага вперед и начать речь сначала.

— По указу его императорского величества, государя императора Николая...

— Ух, боже мой! — Мичурин из тихого и даже вялого человека превратился вдруг в разъяренного бойца. Но он овладел неожиданно вспыхнувшим гневом и застыл в напряженнейшей позе, словно кто-то пробил ему ступню гвоздем: чиновник стоял на сломанной лилии.

— ... государя императора Николая Александровича имею честь вручить вам, господин Мичурин...

— Что вам нужно?

— ... орден святой Анны третьей степени!..

Мичурин взял орден и, пряча его, сказал чиновнику очень почтительно и тихо, стараясь даже улыбаться, чтоб гости ничего не поняли:

— Слушайте. Во-первых, благодарю государя. Во-вторых, стойте и не двигайтесь, иначе я оскорблю вас действием. Чорт вас побери. Вы где стоите? Осторожно, вы наступили мне на сердце!

Растерявшийся чиновник сделал невольное движение.

— Осторожно!!!

У чиновника задрожали губы.

— Простите...

— Ни за что!... Терентий, проводи господина. Вот полюбуйтесь,—сказал он американцам, когда чиновник скрылся. Лилия была сломана у самого основания.

— Ах, какая досада... Это фиалковая лилия, господа, уникал. Видите... А запах! Сколько мир существует, люди не знают запаха лилии. И знаете почему? Его не было.

— Совершенно верно. Лилии не пахнут или пахнут гнилью.

— А вот понюхайте, а? — Мичурин оживился.

— О, мистер!

— То-то.

— Колоссально!

— Это целая история, — сказал Мичурин. — Я вывел ее из желтой и шарлаховой лилии Тунберга. Гибриды первого и второго поколения были желтые, в третьем поколении появились отдельные лиловые экземпляры, пыльца черная и, как видите, этот запах. Четыре новых признака! У предков этих признаков не было и в скрытом состоянии. Это, господа, новые качества, опровергающие закон Менделя.

— Закон Менделя? — удивился Майер.

— Да. Закон Менделя. Я начал заниматься лепкой нового растения, созданием новой породы. Беру для скрещивания растения разных видов и даже думаю попробовать разных родов. И по возможности из разных отдельных местностей.

— Почему?

— Сейчас объясню.

За кустами, облокотившись на часток соседнего сада, приложив к уху трубкой широкую ладонь и разинув рот — весь превратившись в слух, стоял отец Христофор. Он стоял здесь уже давно, с самого начала посещения. Услышав последние слова Мичурина, Христофор перекрестился.

— Послушайте меня, мистер Мичурин, — сказал Уоллес Берд. — Я все понял. Это не ваш масштаб. Вы погибнете здесь. Вам место в Америке.

— Нет.

— Иван Владимирович...—укоризненно произнесла жена, боясь внезапной категоричности и резкости этого «нет».

— Помолчи...

— Подумайте, — сказал Майер.

— Видите, профессор, — сказал Мичурин. — Это место мое. Я его знаю. Здесь работал мой отец, дед. Конечно, для опытов интересно иметь весь мир.

— Ну конечно...

— Минуточку...

— Пардон.

— Да. Нужен весь мир, чтобы понять до конца этот мой сад здесь вот. — Мичурин постучал палкой о землю.

— Подумайте.

— Нет, нет. Я останусь здесь...

— Иван Владимирович...

— ..Буду здесь ожидать, пока не выйдет по-моему. — Мичурин посмотрел на сад. На лице его появилось обычное выражение заботы и суровой задумчивости. — Тут, господа, расчет на опыт и терпение. А терпением я запасся на сто лет!

— Мистер Мичурин, я вам еще раз говорю, ваше место в Америке, — сказал Берд, когда переводчик умолк. — Мы всему этому придадим наш размах. Весь этот сад мы погрузим на пароход. — Берд говорил с такой спокойной уверенностью, словно сад уже погружали на пароход.

Мичурин отрицательно покачал головой.

— Вы увидите, как живет у нас мистер Бербанк. Вы будете иметь восемь тысяч долларов в год, лаборатории, сто помощников! — Берд пошел в атаку. — Я покупаю все это!

— Нет, — спокойно отказал Мичурин.

— Вам жалко расстаться с этим ландшафтом? Хорошо. Мы вам сделаем в Америке точно такой же.

— Нет.

— Хорошо. Я понял. Вы больше Бербанка.

— Не знаю. Не мерял, — сказал Мичурин и обратился к Майеру: — У Бербанка тепло. Воткнул палку в землю — цветет. Моя стихия — север. Холод. Плодоносящий мир я двигаю на север. А это — главное.

— Десять тысяч! — сказал Берд.

Майеру было, повидимому, стыдно за своего толстосума. Он был подлинный ученый, влюбленный в науку. Ему хотелось отвести разговор:

— Это поразительно! — сказал он Мичурину, еще раз оглядываясь на сад. — Я объехал всю планету. Я видел растительный мир, но самое главное о нем я познал здесь.

— Вы золотой человек! — не выдержал Берд. — Я говорю откровенно.

— Я русский человек, — тихо сказал Мичурин. — И нет таких ни денег на свете, господа, ни пароходов, которые могли бы поднять меня. Как же я увезу сад? Ведь это родина моя, это дело моего народа. У меня уже сотни последователей. Нет, это не то, господа... Приезжайте через двадцать лет. Будет виднее...

— Мистер Мичурин, еще... — сказал Берд.

— Нет... Зачем же.

— Мистер Мичурин говорит, что у него другой интерес.

— О простите. Очень жаль.

Американцы стали прощаться.

Вдруг раздался выстрел. Мичурин посмотрел в сторону сада и, попросившись наспех с гостями, скрылся в саду.

Сторож Терентий бежал с шомполкой вслед убегающим детям. Неумолимые садовые пираты — мальчики падали с яблонь, прыгали через плетень и убегали по пыльной дороге.

Перемахнув через плетень, Мичурин погнался за мальчиками. Вот он уже почти настиг одного.

— Ай-ай-ай! Не буду!!! — в ужасе завопил белоголовый малыш.

— О-о! Я тебе... — Мичурин споткнулся и упал на пыльную дорогу.

Измученный и усталый, стоял он у веранды перед сломанной, растоптанной лилией. Вечерело. В саду было тихо, как в покинутом царстве. Александра Васильевна сидела на скамеечке, подавленная, в глубоком горестном раздумье. Американцев уже не было. Мичурин долго смотрел им вслед, как смотрит одинокий островитянин на исчезающий в безбрежной морской дали корабль с белыми парусами надежды. И вдруг он совершенно ясно ощутил себя на земном шаре в этой затерянной дали от мировых путей глуши. На него нахлынул приступ гнетущей тоски и терпкой горечи. Он оглянулся.

— Чего ты на меня смотришь? Ну чего? Что? Ну что?

— Ничего, — ответила тихо жена.

— Ничего? Что ничего? Ну, что ничего? Ну?

— Оставь меня в покое.

— Оставь ты меня в покое! Все вы меня оставьте! Замучили!

— Кто тебя замучил? Я?

— Ты... Я знаю тебя. В Америку захотелось!

— Ты с ума сошел. Кто тебе сказал?..

— По глазам вижу... Что, замолчала? Ты чего молчишь? Чего ты молчишь? Пожалуйста, молчи. Можешь смотреть сколько угодно. Не страшно...

На глазах Александры Васильевны показались слезы.

— Что ты плачешь? Ну, что ты плачешь? Спасибо... Подожди, я тебе припомню эти слезы, американка!

— Ах, — простонала Александра Васильевна и, отвернувшись, закрыла лицо руками.

— Ага, ах?! Что ах? Ну, что ах?

— Глупый ты человек.

— Ну, конечно. Уж достаточно хотя бы того, что я на вас женился.

— Подумаешь, гений...

— Что? Как? Гений? Кто гений? Повтори, что ты сказала! Ну, повторите мне, что вы сказали!..

— Оставьте меня... Не кричите.

— Я не кричу, я стону! Подожди, я тебе покажу гения. Я тебе припомню... Боже мой, ну почему это ученые всегда женятся на каких-то, чорт их побери!.. Какие-то... Ай, какую лилию потоптали, ах!.. Терентий! — Мичурин склонился над лилией и начал бережно окучивать ее землей, бинтовать, подвязывать. Потом, успокоившись, он посмотрел на Александру Васильевну и улыбнулся.

— Ну, довольно плакать, Саша, слышишь? Поплакала и довольно... Ну ее, эту Америку, подумаешь... А как я им хорошо сказал, помнишь? Приезжайте, говорю, через двадцать лет. Я все время думал, что бы им такое сказать, чтобы они не рассчитывали на угощение. Кушать-то у нас сегодня в обрез. Какую лилию... Ты посмотри, что сделали с лилией...

Александра Васильевна молчала.

— Да-а, — ласково и немного заискивающе сказал Мичурин. — Как хорошо, однако, что наших ссор никто не слышит, а? Правда? Бог знает, что могли бы о нас подумать!

Александра Васильевна с укоризной посмотрела на мужа:

— Скажи, на ком женятся ученые? Ну, говори.

— Саша, это уже неблагородно. Довольно! Кончено... Терентий! Ага, давай, давай его!.. — закричал вдруг Ми-

чурин, увидя, как Терентий тянет атamana яблочных ворюшек — десятилетнего мальчика.

Увидя страшного барина, мальчик забился в руках Терентия, как тигренок, завертел ногами, руками, головой, коленями, закричал, завыл, и в таком состоянии был на руках принесен Терентием и поставлен перед Мичуриним и его женой с очень большим трудом. У Терентия градом катился пот — так силен и ловок был мальчик и так велика была страсть его отчаяния. Кто знает, сколько бы продолжалась эта борьба, если бы вдруг Мичурин не крикнул на мальчика:

— Замолчать!

Мальчик мгновенно умолк. Он был буквально загипнотизирован криком страшного барина. Раскрывши рот и глаза, из которых продолжали еще капаться яростные детские слезы, он застыл в горестном оцепенении перед грозным хозяином яблок.

— Пойдем пить чай, — сказал тихо, совсем по-дружески Мичурин и повел мальчика в комнату.

В маленькой столовой Мичурин усадил мальчика Павлушу за стол. Александра Васильевна начала наливать чай из самовара, поставленного на середину стола Терентием.

— Вот это тот самый сукнин сын, Иван Владимирович, — недовольно ворчал Терентий, вытирая пот. — Вот такой отец был прохвост, такие и дети.

— Не сопи, довольно. Смотри на меня! — сказал Мичурин мальчику. — Сегодня бить не буду. Ну-ка, посмотрим, чего это у тебя живот вздулся.

Мичурин вынул у Павлуши из-за пазухи яблоко.

— Вот видишь. Это что? Ну? Чего ж ты молчишь? Что это?

— Яблоко.

— Какое?

— Кислое.

— Зеленое!

— Ах, стервец! — не сдержался Терентий.

— Помолчи...

— Ну и молчу.

— Ну и молчи! — взбеленился вдруг Мичурин. Терентий махнул рукой и с лютой ненавистью посмотрел на мальчика.

— Молчу.

— Терентий!!!

— Тыфу, господи... Ну что? Ну, Терентий!

— Помолчи... что, тоже в Америку захотелось?

— Да на кой она мне ляд, ваша Америка? Сами не поехали, вот теперь злитесь на всех!

— Что? Что ты сказал?

— Молчу.

Мичурин посмотрел на Терентия взглядом полным ярости, но Терентий, к чести его надо сказать, выдержал этот взгляд. Это была непередаваемая безмолвная дуэль двух глубоко любящих друг друга тружеников, честных и благородных людей, у которых в повседневности было, к сожалению, множество поводов не быть ни тихими, ни добрыми.

— О чем это я хотел сказать?.. Ага... Да. Это яблоко, — обратился Мичурин к мальчику, словно возвратясь из трудного и далекого путешествия. — Это самый совершенный плод земли, мальчик. Смотри, какая красота, какая благородная форма. Какое богатство, как изящно скрыла природа семена жизни... Это целый мир. Да. Вот ты разрушил этот мир, испортил его. — Мичурин разрезал яблоко ножом и дал половину мальчику. Мальчик держал в руках полмира, и какое-то смутное оцепенение, словно предчувствие понимания, сковало его движения. Немигающими, широко раскрытыми детскими глазами глядел он на ученого.

— Смотри, — сказал Мичурин серьезно и проникновенно, — этому яблоку нет цены, понимаешь? Из семечек этих яблок я выведу такое дерево, какого мир не знал... Вот за ним уже из-за границы приезжают. Но я, нет! Я все это для тебя. Только сейчас это еще не готово. Понял? Придет время—все отдам. Приготовлю, поставлю столы на весь сад...

— Глупости, — сказал Терентий.

— Терентий!

— Господи! — перекрестился Терентий.

— Скажи всем мальчикам, — ласково обратился Мичурин к Павлуше, — что это все для вас, для будущего. Ну, вот... Да... Ну, а если уж невыдержка, крадите у батюшки.

— У батюшки красть грех, — сказал Павлуша.

— Чепуха. Я тебе больше скажу. Батюшкины яблоки, они, пожалуй, ни на что другое и не годятся. На, пей чай, вот

павидло... Ну, на... Что ж ты не берешь? Ну?

Мальчик вдруг замялся, потом закричал не своим голосом и молниеносно убежал из комнаты, догоняемый Терентием. Пробежав по саду, Павлуша перемахнула через забор в кусты, где его ожидал целый табун верных товарищей. Отбежав галопом от забора шагов на сто, табун расположился у реки послушать рассказ Павлуши.

— Ну что, сильно бил? — спросил у Павлуши белявый мальчишка.

— Здорово, небось, попало?

— Не бил... Никак не бил. Фу!..

— Не ври!

— Вот те Христос... Ты, говорит, поди, говорит, у батюшки крадь... Фу!..

— Вот старый колдун!

— А я, говорю, у батюшки, говорю, грех красть..

— Ну?

— Да. Так он тогда, как посмотрел на меня, да как набрал павидла, что мамка покупает крыс травить, да как положит перед мной, да как крикнет на меня — ешь! А я как крикну, да как прыгну в окно! Да как побегу! Их! А он как закричит — всех, говорит, вас перетравлю! Во!..

— Ух! Вот усатик!

— А что он про батюшкины яблоки говорил?

— Говорит, крадьте у него, говорит. От батюшки греха не бывает. Это все враки, говорит.

— Врет он, длинноусый!

— Врет, таракан!

— Врет! Мамка сказывала, что у батюшки только тронь, сразу рука усохнет.

— Ну?

— Вот те и ну...

Терентий на веранде смешивал различные сорта парниковой земли. За раскрытым окном в мастерской Мичурин усаживался за рабочий столик чинить часы. Столик Мичурина был завален часовыми принадлежностями.

— Эх, напрасно вы в Америку не согласились, Иван Владимирович, — вздохнул Терентий. — Я бы от этих дьяволов не то что в Америку, в Японию уехал бы. Напрасно.

— Не твое дело, — сказал Мичурин, не разгибаясь.

— Да не мое, конечно, а жаль... Все бы в Козлове от зависти передохли... Этих-то, небось, обругали, американски жителей?

Александра Васильевна сделала Терентию знак рукой, и он умолк.

Мичурин начал чинить часы. Перемешивая парниковую землю, Терентий вдруг тихо запел.

— Перестань петь, певец.

— А вот и не перестану, — рассердился Терентий. — Что за наказание господне! Не ходи, не стучи, не дыши, не пей, не пой! Не было такого уговора!

— Перестань петь! — сказала Мичурин, стиснув зубы. — Мне иностранцы страну ругают, а ответить нечего. Понял? Не пой, прошу тебя!

— А почему не петь? — сказал отец Христофор, появляясь на пороге. — Радоваться надо всему дому. Петь и ликовать, Иван Владимирович. Возвеличили вы град наш Козлов... Александра Васильевна, с кавалером вас царской милости орден...

— Спасибо, — сказала Александра Васильевна.

Мичурин только сейчас вспомнил, что у него в кармане «Анна». Он вынул ее из кармана и положил в шкатулку с часами часов.

— Кто здесь? — спросил Мичурин, не оглядываясь.

— Отец Христофор... — послышались голоса Христофора и жены.

— Что надо отцу Христофору?

— Насчет часов...

— Не лгите. Часы будут готовы через два дня, вы это знаете.

— Иван Владимирович!..

— Что вам надо?

— Ну, ничего. Допустим, просто зашел.

— Попы просто не заходят. Никого не крестим, не хороним... Подслушивать пришли, отец Христофор! Разведывать?

— Иван Владимирович, — вмешалась жена.

— Помолчи!

— Иван Владимирович, — сказал Христофор. — Я пришел объясниться.

— Объясниться! Скажите, какая сложная натура! — саркастически улыбнулся Мичурин.

— Не смейтесь. Двадцать пять лет тому назад был я не отец Христофор, а обыкновенный семинарист.

— Ну, слышал... А сейчас вы обыкновенный поп.

— Позвольте, не совсем... Нет. Пожалуйста, да. Кончил я учение, веровал, молился и возделывал свой сад. Но вот прочел я господина Дарвина... И вера моя, как бы сказать...

— Полетела в трубу, — подхватил Мичурин — Мир стоит без бога. А вам надо было служить, место брать, в акцизники поступать не хотелось, учиться лень...

— Не перебивайте меня, Иван Владимирович. Вы мне мешаете излагать мысли.

— Какие мысли? Разве это мысли?

— Подождите.

— Некогда мне ждать. Я занят. Кстати, вы сами мне мешаете вас слушать.

— То-есть как? Чем?

— Медленным изложением. И потом, все ваши так называемые мысли я давно знаю.

— Нет, вы послушайте, — сказал самодовольно отец Христофор, приготовившись, повидимому, к длительной и серьезной беседе.

— Ну?

— Да... И вот пришлось мне однажды прочесть Грегора Менделя, который скрещивал...

— Зеленый и желтый горох и доказал, что наследственное вещество непостижимо и недоступно никаким воздействиям?

— Вот именно.

— Дальше.

— Ну вот, сажаю, проверяю и убеждаюсь, что признаки, действительно, проявляются у потомства в неизменном виде. И каждый год у грядки утверждается моя вера в бога.

— А почему бог у вас каждую зиму сад вымораживает?

— Климат!

— Климат? Вот вам климат, — и Мичурин показал Христофору фигу. — А почему у меня не вымораживает? Климат. Умственная лень и косность, а не климат! Вот смотрите! — и Мичурин ткнул Христофору прямо под нос рисунок персика. — Персик. Так вот он у меня будет расти под Тамбовом.

— Персик? Под Тамбовом?

— Да!

— Каким образом?

— Беру монгольский бобовник и

скрещиваю с американским миндалем — амигдалос давидиана. А потом...

— Это блуд, а не персик!

— Что?

— Иван Владимирович, не кощунствуйте. Не превращайте божьего сада в дом терпимости! — вскрикнул отец Христофор гневным, дрожащим голосом.

— Эх, темнота! — сказал Мичурин с укоризной.

— Не искушайте меня. Вы змей! Вы развращаете народ! Александра Васильевна, Терентий! Вот нечестивый Дарвин!

— Куда мне до Дарвина.

— О, я вижу вас! Я вижу, кто движет вашей рукою, чтоб осквернить господню землю, пречистую мать всего живущего и растущего...

— Подождите, мыслитель, — Мичурин отложил часы и посмотрел на Христофора. — Уж если вы начали разговор о земле, так позвольте вам сказать, что земля в жизни растения никогда не играла полностью роли матери. Земной шар скорее отец, а не мать.

— Как? Так кто же тогда мать? — взялся за бороду отец Христофор.

— Кто мать? Внешняя среда природы. Вот кто. Она и есть настоящая мать-воспитательница. Понимать надо. Надо иметь фантазию!

— Но позвольте...

— Ничего не позволяю! — Мичурин рассердился. — Сядьте, богомолец!

— Иван Владимирович! Вы учиняете разврат в природе, созданной господом богом, — волновался Христофор.

— Знаете, лучше бы бог...

— Подождите, не перебивайте меня!

— Не перебивайте вы меня!

— Я говорю!

— Я говорю, не перебивайте меня, слышите?

— Кто вас перебивает?

— Не перебивайте меня! Ничего вы в природе не понимаете или ждете!

— Ну, знаете, пускай я не понимаю, но я все-таки скажу вам: вот это, — Христофор показал на рисунок персика, — это так же нелепо, невозможно, бессмысленно и греховно, как если бы в животном царстве спаривать собаку с жукой.

— Хорошее сравнение. Действительно, это очень отдаленные виды, но уж, знае-

те, по существу этого, видно, не с вами мне разговаривать.

— Ах, вот как!

— Да. Вот сделаю новое персиковое дерево и напишу в Академию наук.

— Это дело не Академии наук, а святейшего синода, — сказал Христофор.

— Саша, ты слышишь? — обратился Мичурин к жене.

— Иван Владимирович, истинно говорю вам, приближается час. Имею письмо... Грозное дело в святейшем синоде!

— Аа... Понимаю, — сказал Мичурин. — Вот оно что! Так знайте, что я тоже в святейший синод напишу!

— Что? — смутился вдруг Христофор.

— Я напишу, что вы в бога не верите.

— Как, как, как?

— Иван Владимирович!

— Саша, помолчи.

— Боже мой!..

— Александра Васильевна, будьте свидетельницей!

— Чего свидетельницей? — Мичурин поднялся и подошел вплотную к Христофору. — Вы, священнослужитель, осмелились заявить мне, прихожанину, в моем доме, что вы в бога не верите!

— Когда? Я ведь сказал о заблуждении юности! — испугался отец Христофор.

— Бросьте. Это не возвращается! Что с воза упало, то пропало. Нет у вас бога! Пустой вы человек. Синодский чиновник в рясе и больше ничего. Ученый! Горох разводит!

— Не смейте!

— О, тебя насквозь вижу. Он не верит в персик. Он ни во что не верит!

— Умолкни, атеист!

— Неправда! Я верующий. Вот моя вера! — Мичурин указал на сад и на рисунок персика.

— Доброго здоровьца, Иван Владимирович! — раздался голос почтальона.

— Тише, поди сюда.

Почтальон умолк и, подойдя на носках к Терентию, остановился.

— Вот как-а! Вот как! Так, так, — Христофор был бледен и чем-то страшен.

— Да. У Менделя ищешь бога! Не поможет!

— Александра Васильевна! Терентий! — побледнел Христофор. — Ох, как ты зол!

— Я суров.

— Ты угнетаешь ближних!

— Я служу дальним!

— Ты раб страстей своих и заблуждений!

— Я свободен. И если блуждает моя мысль в сомнениях, вера моя жива и движется, как мир. — Мичурин встал и, подойдя вплотную к отцу Христофору, спросил тихим низким голосом: — Кто ты? Почему при виде тебя мною всегда овладевает уныние, тоска, слабость?

— Аа... вот, вот, вот.

— Подожди, я не о том. Я не хочу чинить твоих часов. Уходи.

— Иван Владимирович! Довольно, — растерялся отец Христофор. — Погорячились, довольно.

— Уйдите! Вам не нужны часы. Ваше время не движется. Вы вечны, как космос.

— Иван...

— Оставьте меня. Оставьте.

Отец Христофор взял свои старые, испорченные часы и быстро ушел.

Мичурин заметался по комнате.

— Успокойте ваши нервы, Иван Владимирович, — сказал почтальон Федор Кузьмич Буренкин. — Здравствуйте! С добрым утром вас, с добрыми вестями!

— Здравствуйте. Садитесь, Федор Кузьмич.

— Плюньте вы на них. Вы посмотрите, сколько корреспонденции принес. Вся почта гудит, — радовался Буренкин, роясь в старой кожаной сумке.

Мичурин улыбнулся. Он очень любил этого скромного труженика, всегда приветливого и доброжелательного. Он привык к его задушевному голосу, к чудесной сумке, к очкам в металлической оправе, казавшимся совершенно ненужными на кончике носа, и уважал его слабость к иностранным словам, произносимым часто невпопад.

Федор Кузьмич не был простым почтальоном. Тридцать лет разносил почту покойный его отец Кузьма, и сам он разносит ее вот уже четверть столетия.

— Пустить бы меня вокруг света прямо на меридиану, уж сколько бы раз домой возвратился, — шутил над собой Федор Кузьмич, разнося людям вести о житье-бытье, об умерших на чужбине батраках, о биенных воинах, пролитых слезах. Носил газеты господам, и журналы, и письма, а простым людям преимущественно открытки, которые нередко

тут же и читал по просьбе неграмотных адресатов и участвовал в их обсуждении, в догадках и соображениях и даже составлении ответов. Не любил он носить телеграмм, как не любят их и получать простые люди, боясь скоропостижных несчастий. Любил он журналы — «Ниву», «Вестник знания». Вообще он любил свою профессию и никогда не чувствовал себя простым разносчиком почты. Он был общественный деятель.

У него была большая дружная семья, которую он также любил, а любимым его адресатом был Мичурин. Из каких только мест не приходили к нему письма!

— Сегодня, Иван Владимирович, мы с вами побили приз. Шестьдесят писем, шесть бандеролей и четыре заграничных, во! Прямо забирайте с сумкой. — все ваше. А вы волнуетесь. Нету у вас мудрости, хоть вы и ученый. Ведь все эти попы, купцы, исправники — весь этот город, поверьте, до ста лет не то что, а подохнут, и никто никогда не писал и не напишет им ни одного такого уважающего письма. Во! Вы посмотрите — Персия, ей-богу, видите? А вот Англия или Голландия, сейчас, подождите, леший ее знает, смотрите, марка, король какой, а? Красота! Вот дела! А вы волнуетесь да злитесь из-за пустяков.

— Ну, спасибо.

— Подождите, — радовался Федор Кузьмич. — Это еще не все. Тут еще Америка есть, на почте говорили...

— Да ну?

— Есть. Где же это она? Ага, вот марка. Вот эта барышня со свечой, это она, Америка. Что-то запрашивает! Э, Александра Васильевна, наша берет. Всем буду говорить!

В одном из заграничных конвертов Иван Владимирович обнаружил несколько семян.

Буренкин смотрел на них с восторгом, как на драгоценные камни.

— Дайте мне на минуточку подержать. Вот оно, семушко. Думало ли ты, что попадешь на русскую землю, принесешь свою тайну? Ну расти, расти, солнышко. Поживем, посмотрим, чем ты нас порадуешь... Порадуй, голубчик. Счастливейший день.

Мичурин и Александра Васильевна переглянулись. Никогда, очевидно, не узнав почтальону Буренкину, какую громадную радость, сколько силы принесли в этот дом простые его слова.

— Спасибо, Федор Кузьмич, — сказала Александра Васильевна. — Будет радость.

— Будет. Обязательно! К таким людям, как вы, радость должна притти по закону.

— Спасибо.

— И вам спасибо, господа, от всех добрых людей, — сказал Буренкин. — А марочки прошу подарить мне на память.

— Пожалуйста, — сказал Мичурин. — Коллекцию собираете?

— Иван Владимирович, — голос Буренкина слегка, казалось, дрогнул. — Жизнь прожить — не поле перейти. Когда мы с вами умрем, я хочу, чтобы дети мои видели, что их отец не даром переходил житейское поле. Я эти ваши марки в рамке под стеклом повешу! Будьте здоровы...

Федор Кузьмич ушел, а Мичурин с женой долго смотрели ему вслед, боясь повернуться друг к другу, чтоб не выдать глубоко охватившего их волнения.

Смутной чередой потянулись годы нужды и упорного труда.. Все, что можно было продать, было продано, все заработки исчерпаны, все было подсчитано, каждая копейка, и, наконец, был сделан вывод: так дальше жить нельзя.

— Самое ужасное, признаюсь тебе, Саша, — сказал Мичурин жене, — знаешь, в чем? Вот все, что мы ухлопали на добывание семян, на землю, сеянцы и опыты — это даже не половина, не четверть дела. Самое дорогое и трудное впереди.

— Ну вот, я ведь говорила тебе...

— Только, пожалуйста, без замечаний.

— Какие замечания? Что тебе...

— Ну вот, началось. Я тебе что говорю?

— Но ведь я же ничего не сказала, господи!

— Подожди. Я говорю, мне очень трудно. Поняла?

— Ну?..

— Так вот, понимать надо, а не сразу: «я тебе говорила да говорила».

— Ну, молчать тоже не буду.

— Нет, ты все-таки помолчи. Дай мне высказаться хоть раз за десять лет!

— Ну, высказывайся.

— Не хочу. Спасибо.

— Иван!

— Ладно. Только не перебивай меня.

Так вот что: все это не годится.

— Что?

— Вот это все, — Мичурин показал на сад. — Это все ошибка.

— Ты с ума сошел. Ты помнишь, что иностранцы говорили? В мире ничего подобного нет.

— Много они понимают, твои иностранцы.

— Ну, конечно, у тебя все дураки и бездари.

— Ну уж... Подожди, говорю, не зли меня, слышишь?

— Ну, изрекай.

— Саша, я прошу сострадания, а не критики. Поняла? Этот сад я решил перенести в другое место.

— Но ведь раз уже переносили.

— Не туда перенесли... Придется еще раз.

— Господи!..

— Ты согласна?

— Согласна.

— Ну вот. Слава богу, за десять лет хоть это поняла. Не смотри на меня такими глазами. Да, мне стыдно. Не то, что стыдно, голову разбил бы о дерево, так я себе надоел. Ну, что мне делать, если не хватает прозорливости сообразить сразу? Почва-то жирна! Вот она и балует гибриды. Они изнежены, как привередливые дети у богатей. А потом подрастут, чорт знает что из них получается. Вот так и здесь — холода боится, мерзнут.

Александра Васильевна поняла, что судьба сада решена бесповоротно и что ничего уже нет в мире, что могло бы изменить непреклонность намерения.

— А куда переносить-то? — тихо спросила она, глядя на мужа с покорной улыбкой.

— Куда? В Донскую Слободу, — оживился Мичурин. — Там этот казнокрад Агапов продает участок. Чудная почва — тощая, песочки, овраги, болотца. Там они у меня не побалуется.

— Но там ведь водой заливают.

— Не учи меня. Там уж если что выживет — так это будет дерево, а не тепличный паразит. Кстати, там и сарайчик есть. На первое время будет где пожить.

— А деньги? Ведь на хлебе сидим. Дети. Ваня, подумай же о детях!

— Я думаю о детях.

— Что ты думаешь?

— Я думаю, что может быть одному человеку в государстве простительно о них не беспокоиться.

— Боже мой, боже мой!

— Я думаю о детях. О ком же мне думать? — тихо сказал Мичурин, не сдыша тяжелого стоны жены. — Все, что я делаю, я делаю для детей. Когда-нибудь они придут в мой сад, подождите.

— Не знаю, о чем приходе вы говорите, но я, во всяком случае, в ваш сад уже пришел!! — раздался вдруг громкий хриловатый голос из-за куста, вслед за чем появился и сам говорящий — козловский исправник Семен Семенович Хренов. Это был упитанный исправник ноздревского типа, лет пятидесяти, багрово-розовый, седой, весь пропитанный табачно-алкогольным духом, всегда не то полупьяный, не то полутрезвый, весельчак и балагур для знакомых и Каин для подчиненных.

В вытянутой вперед левой руке он держал поводок охотничьей собаки, в правой — ремень. С подпоясанного тучного живота свисал тяжелый ягташ, наполненный дичью. Кроме того, добрый десяток уток висел у него прямо за поясом вокруг всей фигуры. Патронташ, ремешки, сетки, свистки, цепочки и болотные сапоги, при наличии цоган и форменных пуговиц — все придавало ему вид картинный и необычайно бравадный.

— Мое почтение, господа!

— Здравствуйте.

— Боже, какая благодать! — сиял Хренов, оглядываясь на деревья. — Вот уж, действительно, где всегда праздник, так это у вас, Иван Владимирович. Это «Эльдорадо»...

— Нельзя ли без издевательств...

— Клянусь... Ах, вы обиделись на «Эльдорадо»! Но ведь это обыватели ради злословия так окрестили ваш сад, сами, быть может, не понимая смысла... да... но я-то...

— Чем обязан?...

— Александра Степановна, не хотите ли парочку? Чудесные уточки!

— Нет.

— Я вас прошу. Не обижайте охотника... Тубо!

— Нет, нет.

— Боже мой, вот ненавижу эти принципы! Ну, хотите, в обмен? Уж, признаюсь, за этим и зашел.

— Не понимаю.

— За травкой монгольской...

— Ах? Клематис? Сейчас, — Александра Васильевна ушла.

— Боже, какая роскошь! Наливка с этой травкой, это китайская медицина. В Америке такой нет. Клянусь. Фуу! Где она? Тубо! Тубо!.. Это медицина, особенно после ершовой ухи... Сегодня мы на лугу закатали. Знаете, как это? Господи!.. Берутся ерши, отвариваются. Потом начинают их процеживать и отжимать, отжимать, чтобы все решительно, до капельки... Ух! Голубчики мои!.. Тубо!.. Потом, когда это уже отождествится...

— Прекратите. Вы мне что-то хотели сказать?

Хренов опомнился и сразу переменял тон:

— Я вам много хотел сказать... Но вы человек противный, колючий, как ерш, бог вас наказал, поэтому я помолчу.

— Не жалею и не жду похвал.

— Нет, почему. Вы умный, всю вашу переписку с заграницей и с нашими почтателями я знаю и все, что вы делаете, тоже знаю, поскольку это мне подлежит. Только ничего из этого не выйдет. Страна наша темная. «Фрукты в народ!». Какие фрукты? Был бы хлеб!

— Не единым хлебом...

— Знаю. Гордость вас заела, вот что. Заносчивость, несогласие! Вы посмотрите на меня. Вот я исправник. А я ведь не горд и не заносчив. Гордости у меня на грош нету! А уж кому бы, кажется, как не мне... Тубо, сволочь!

— Сейчас вам принесут травку.

— Потом болтаете зря.

— Что именно?

— Зачем вы отцу Христофору мысли открываете? Это человек лукавый, карьерист. Чорт его знает, что он о вас напишет в синод. Не смотрите на меня так. Вы думаете — исправник, так уже сукин сын. Я знаю, вы меня казнокрадом называете, Ноздревым, Собакевичем. Говорите, называли? Ага, то-то. А какой я Собакевич! Разве что собак люблю. Тубо!.. Вам все не так. Даже деревья растут не так.

— Не так.

— А по-моему так! — крикнул исправник. — Я, конечно, понимаю, что

можно кое-что там с чем-то, я сам окончил классы, но нельзя же до безобразия. Вы... Это оппозиция! Вы скоро скажете, что мир, этот прекрасный мир... — тут исправник воздел руки кверху и так патетически тряхнул широко расставленными ладонями, что все его утки затряслись вокруг пояса, готовые, казалось, улететь, — ... что он тоже построен не так...

— Я вам этого не сказал...

— Я понимаю.

— Но извольте знать, наконец, что это не оппозиция, а свойство мсей натуре.

— Как?

— Все, к чему я в жизни прикасаюсь, я стараюсь улучшить, — сказал Мичурин грустно.

— Оно и видно, — засмеялся исправник. — Уж куда лучше! Ах, боже мой... Ну, так вот что: кончено. За травку спасибо. А сад, поверьте мне, сдайте в казну, министерству земледелия, пусть оно устроит питомник, вот и работайте в нем. По крайней мере будете обеспечены и чего-то — травку с травкой там, цветочек с цветочком, это уж ваше дело — добьетесь. Премного благодарен, Мария Ивановна!

— Александра Васильевна! — угрюмо поправил Мичурин.

— Пардон... Тубо!.. — гаркнул Хренов, и собака увлекла его из сада.

На другой год Мичурин перенес свой сад в Донскую Слободу, расположив его, таким образом, на желанной суровой почве. Это был титанический труд. Сколько было выкопано ям, сколько поднято тяжестей, сколько замешано грязи, сколько поту пролито — об этом они с женою вспоминали долгие годы, удивляясь неистощимой своей силе и крепости воли.

Но не скоро пришлось порадоваться труженикам плодам своих трудов. Тяжелые испытания падали на их головы одно за другим, не давая ни отдыха, ни покоя.

Больше половины деревьев погибло при пересадке, много саженцев пропало от весеннего наводнения.

Бедность начала стучаться в дверь.

Мичурин сдался. Посоветовавшись с губернским инспектором земледелия Марфиным, человеком умным и благо-

родным, он обратился в министерство за помощью.

Долго влачила докладная записка Мичурина по канцеляриям департамента земледелия. Гонимый нуждой, Мичурин, наконец, не выдержал и, по прошествии двух с половиною лет, начал сам обитать пороги министерских канцелярий, возбуждая насмешки чиновников своим неказистым видом.

1-й чиновник. — Господа, гибрид идет!

2-й чиновник. — В следующую комнату.

3-й чиновник. — Ваши утверждения маловероятны.

4-й чиновник. — Слушайте. Ведь это же позор. Какие гибриды? Что за гибриды? Вы старый человек, стыдитесь!

5-й чиновник. — Мы не можем вас субсидировать.

Мичурин. — Почему?

5-й чиновник. — У вас нет ссылок на авторитеты. Это не имеет прецедентов в науке.

Мичурин. — Ну, и хорошо... Теперь наука их будет иметь.

5-й чиновник. — Это вы скажите кому-нибудь другому.

Начальник стола. — Кто вас прислал сюда?

Мичурин. — Слушайте. Когда то, что я задумал, осуществится...

Начальник стола. — Я вас спрашиваю, кто вас ко мне направил?

Мичурин. — Меня направил тамбовский инспектор земледелия, господин Марфин...

Начальник стола. — Марфин?

Мичурин. — Да, Марфин, академик Пашкевич, профессор Кичунов... Послушайте, когда все то, что я задумал, произойдет, вы понимаете, что это будет?

Начальник стола. — Господин Марфин будет уволен со службы.

Он же. — Господин Марфин, вы освобождены.

Марфин. — За что?

Он же. — За дерзкое вмешательство не в свои дела. Вы сколько лет протаскиваете этого подозрительнейшего человека? Мало того, что он занимается чорт знает чем, вы хотите, чтоб он разводил этот разврат в природе на государственные субсидии? Как вас понимать?

Марфин. — Но ведь это совсем не то...

Он же. — Вы свободны.

Мичурин. — Я повторяю в сотый раз, когда это произойдет, все то, что я задумал, — обживится земля. Это будет новый мир освобожденного человечества!

Начальник отдела. — Ладно, ладно. В следующую комнату.

Мичурин. — Нет?

Стол. — Нет.

Профессор Кичунов. — Профессор Кичунов.

Заместитель директора департамента земледелия. — Прошу вас.

Профессор. — Мерси.

Заместитель. — Надеюсь, вы не по делу Мичурина?

Профессор. — Именно по делу. Слушайте...

Заместитель. — Простите, но ему отказано категорически.

Профессор. — Но вы прочтите, что о нем пишут. Ведь это крупнейший селекционер-оригинатор.

Заместитель. — Как?

Профессор. — Селекционер-оригинатор, первый в мире. Это наша русская гордость.

Заместитель. — Я вас прошу не прекать меня гордостью. У меня тоже есть гордость, господин Кичунов. Директор департамента земледелия, господин Крюков, предложил ему пособие при условии принятия на себя постановки опытов по инициативе департамента, но он отказался! Он хочет...

Профессор. — Он хочет заниматься наукой.

Академик Пашкевич. — Я академик Пашкевич.

Директор департамента земледелия Крюков. — Чем обязан?

Академик. — Я прочел статьи садовода Мичурина. Кроме того, мне стало известно, что разваливается его питомник.

Крюков. — Вы пришли просить?

Академик. — Я пришел объяснить...

Крюков. — Прошу прощения, вы напрасно себя утруждаете.

Академик. — Вы так уверены? Вы знаете?

Крюков. — Это решено.

Академик. — Ну, тогда простите...

Академик Пашкевич перед группой научных сотрудников:

— Господа, дело Мичурина приобрело недопустимо позорный характер. Департамент земледелия категорически отказался поддержать его питомник. Но я полагаю, что независимо от этого и тем более мы обязаны оказать ему научную помощь. Профессор Карташев займется детальным изучением питомника.

Профессор Карташев. — Ну что ж. Если вы находите...

Академик Пашкевич. — Я не нахожу, а Академия наук оказывает вам эту честь.

Профессор Карташев. — Благодарю. Я очень польщен. Но я должен, однако, заявить, господа, что статьи господина Мичурина я не могу принять.

Академик Пашкевич. — Тем лучше. Значит, подойдете критически. Господа, все.

Отдел импорта семян и растений департамента земледелия США. На кафедре директор сельскохозяйственного института Франк Майер.

— Господа, моя экспедиция на поиски новых растительных форм на этот раз увенчалась особым успехом. Я привез полученный мною, в подарок целый ассортимент новых морозостойких культур исключительного значения. Они созданы в России передовым оригинатором и селекционером Мичуриным.

— Сколько стоит этот селекционер?

— Он не имеет цены. Он сообщил мне, что он презирает эту меру человека.

Кабинет козловского городского головы Быкова.

Быков. — Господин Мичурин! Вручая вам эту вторую награду — орден «Зеленого Креста», этот символ победы на поле труда, плодоношения, возделывания злаков и плодов земных, плодов и, так сказать... одним словом, я очень рад за вас. Я верю, что эта награда, как знак милости... Помните, Иван... Простите?

— Владимирович.

— Иван Владимирович... Только, пожалуйста, бросьте вы это. Я вас прошу. Ну зачем? Зачем, спрашивается, ну?

— Эх, Иван Владимирович, травка у вас — это большое дело. Монгольская! Слышите — большое дело. Одну рюмочку, и целый день, как ребенок. Удивительно! — расчувствовался Хренов.

Сад. К Мичурину снова приехал Майер.

— Я счастлив, что, наконец, хоть в третий раз...

— Чудесно, господин Майер. Я поражаюсь вашей энергии.

— Ага...Ес! Приехал к вам без переводчика.

— Как это благородно с вашей стороны.

— Я думал: разве я, рыцарь растительного мира, имену право притти в сердце этого мира, не зная русского языка?

— Спасибо, очень хорошо. Благодарю вас.

Майер переводит с английского:

— ... Дальше Дэвид Ферчилд пишет вам: «Если вы пожелаете продать всю коллекцию, будьте добры назначить цену, и мы решим, можем ли мы купить. Я уверен, что мы можем притти к соглашению, которое будет взаимно выгодно для России и Соединенных Штатов и для вас лично... Дэвид Ферчилд».

— Не понимаю, почему им все хочется купить, вашим американцам? Ведь это же противно. Всюду тычетесь с деньгами.

— Иван, прости меня, но теперь, после того, что произошло, ты можешь это сделать, не кривя душой, — сказала Александра Васильевна.

— Нет, Саша, это дело народа. А мы что, Саша, мы ведь рабочие... Даром — пожалуйста. Для дорогого гостя все что угодно без денег. Все это отраднее и проще.

— Вы меня тронули до глубины души, — сказал Майер. — Значит, фиалковую лилию, о которой я так много говорил в Америке, вы мне тоже дарите?

— Нет, господин Майер. Все, кроме лилии. Эта лилия, кажется, единственное, что я за всю жизнь посвятил своей жене.

— Простите.

— Простите и вы меня. Кажется, вот странно, я, кажется, впал в лиризм...

Фиалковую лилию! Нет, извините, ни за что на свете. Ведь она со мной всю жизнь на грядке. Жена моя. Весь мир ее на грядке! Нет, нет.

Прошли еще долгие годы. Началась тяжелая империалистическая война четырнадцатого года. Все, что делалось, писалось, говорилось в мире, — все, казалось, проходило незамеченным, мимо него: как трудно доставался хлеб и чай, как вырастали дети, и как отчаянные не раз стучалось в двери, и несогласие томилу душу домочадцев!

Все эти годы он просидел на грядках, все весны, лета, склоненный над произведениями рук своих. Иногда он погружался надолго в такое глубокое раздумье, что его будили, как спящего, и тогда он просыпался.

— Это ты, Саша? Вот странно. Какой мне приснился странный сон.

— Ну?

— Какая-то свадьба у нас. И мы выдаем замуж дочку. А она — вишня. И какое-то пение и музыка, музыка. Потом смотри, а она не вишня, а японская черемуха.

— Но это ты думал что-то.

— Я спал. Подожди. Это у нас что — сегодня или завтра?

— Это еще сегодня.

— Странно. Сегодня? — Мичурин нахмурился. — Ну, что тебе, что?

— Война объявлена, — сказала Александра Васильевна.

— Саша, прошу тебя. Да, война. Ну что же делать! Я уже не могу иначе... Поняла?

— Ты меня не понял. Германия объявила войну. Вильгельм!

— Ах, Вильгельм! Какой Вильгельм? Ах, это тот Вильгельм, немецкий? Ну, ничего. Россия страна немецупорная... — Мичурин поднялся и посмотрел на запад. Заходящее раскаленное солнце окрасило весь мир кровавым цветом. По небу плыли разорванные ветрами клочья багровых облаков.

Подошел Буренкин.

— Здравствуйте, Иван Владимирович.

Мичурин с удивлением посмотрел на Буренкина.

— Подождите, подождите, подождите...

— Очень важные вещи произошли в мире.

— Подождите.

— Сегодня впервые за двадцать пять лет вам нету писем.

— Чего нет?

— Писем. Нарушилось кровообращение жизни.

— С добрым утром, Иван Владимирович!

— С добрым утром, Кузьмич! — сказал он пришедшему Буренкину. — Какие вести?

— Худые. Сын без вести пропал в Карпатах.

— Жалко. Еще какие?

— Заболела дочка. Уж я теперь не письма, болезни разношу.

Мичурин разогнулся и застыл в изумлении.

— Так, значит, я пошла, — сказала Александра Васильевна. Она была чем-то очень встревожена. — Значит, часа в четыре ты пообедаешь? Что ты на меня так смотришь?

— У меня стеклянная голова. Я отсутствую. Поняла?.. Что тебе надо?

— Обедать.

— Будь он проклят, этот обед, я лучше травы здесь наемся!..

— Иван... Вы видите, Федор Кузьмич, — обратилась Александра Васильевна к Буренкину.

— Поди сюда... Ты посмотри, что делается! Видишь... — Мичурин срезал пару семянцев и поднялся над грядкой. Показав жене эти сеянцы, он молча бросил их наземь.

— Снова нет?

— Нет. Ошибка.

— Значит, все эти годы пропали даром?

— Как даром? Я ведь сказал — нет. Это очень много, милая моя. О, я теперь знаю, что нужно делать.

— Но...

— Что но? — почти простонал вдруг Мичурин.

— Ничего.

— Ошибка. Это очень много, милая моя. Ведь тысячи дураков, вроде меня, годами повторяют ее. Отчего? От косности своего ума, от вялости духа. Терентий!

— Иду!

— Это все этот мерзавец доктор Грелль подсунул, ученый осел. Акклиматизация! Чепуха. И вот знаю же, что ничего не получится, и сею. Какая сила инерции заложена в человеке, а, Саша! Не сердись, родная. Я, кажется, что-то снова не так сказал... Вот они, южные барчуки. Сколько отбора, сколько ухода. Вымерзли... — Мичурин с презрительной улыбкой показал жене и Буренкину вымерзшие сеянцы акклиматизируемых отборных южных пород.

— Волка сколь ни корми, он все в лес смотрит, — сказал подошедший Терентий. — Я ведь вам говорил, бросьте, говорю, все равно ничего.. господи, чего вы на меня так смотрите? Ну, не я вам говорил, вы мне говорили.

— Профессор!

— Фу ты, господи!

— Что же делать? — спросила Александра Васильевна.

— Я буду делать новые деревья, — сказал Мичурин, и произнесенные слова вдруг словно подняли его над землей и раскрыли перед ним потрясающе ясную видимость. К нему пришло наконец долгожданное понимание. — Совершенно новые! Довольно! Природа. Подумаешь, богиня красоты. Нагромождение слепых случайностей и анархической путаницы. Я человек, Саша! И не хочу расточать перед ней фициам. Человек должен создать новые растения лучше природы, вот. Понятно?

— Ты говоришь мне это в сотый раз.

— То было не то, То было другое, а это другое. Ты согласна?

— Да.

— Спасибо. Мне больше ничего не нужно.

— Только ты успокойся. Смотри, птицы летят. — Александра Васильевна подняла голову вверх. — Боже мой, летят...

— Ничего. Довольно расточать фициам. Все понял! — Мичурин смотрел вниз на весенние лужицы и видел в них небо.

Александра Васильевна и Терентий молча переглянулись. Им показалось вдруг, что Иван Владимирович впал в безумие.

У берега реки, среди прошлогодних сухих порослей осоки, вынырнула старая жаба. Она смотрела удивленными, на

выкате глазами и тоже, казалось, слышала и ужасалась.

— Так... Так, значит, я пошла исповедываться, — сказала Александра Васильевна.

— Иван Владимирович, говорят, в городе холера, — сказал Буренкин.

— Пожалуйста, пусть говорят! — машинально ответил Мичурин. Александра Васильевна и Буренкин переглянулись. Потом она ушла.

И никогда уже больше в саду она не была.

Она стояла в притворе храма у отца Христофора Протасьева, перед исповедью, бледная, взволнованная.

— Зачем вы терзаете мою душу? Зачем угнетаете? — В голосе Александры Васильевны послышался протест.

— В последний раз! — повысил голос Христофор.

— Что я могу? Слабая женщина.

— Блудодейные и богомерзкие скрещивания деревьев и злаков божьих сеют в народе плелелы безверия и безбожия! Смуть!

— Неправда. Зачем вы говорите эти слова? Вы образованный человек. Вы столько прочитали книг. Это несправедливо! Что мы вам сделали? Видит бог!

— Да. Не только видит, но и карает нас десницею своею — послал на нас войну, холеру!

— Нет! Не это у вас в мыслях. Нет. Что вам надо от нас?

— Иди! — загремел Христофор, устремив на нее злобный взгляд. — Иди и возвести в последний раз, дабы не проклял я учредителя Содомы и Гоморры в божьем саду.

— Неправда. Он мученик науки! И весь мир знает!

— Умолкни, блудница!

— Что мне делать, что мне делать? — простонала, сломившись, Александра Васильевна и, собрав, казалось, последние силы, попросила:

— Не давите меня этими страшными словами. Ведь я еще не умерла. Вы же наш знакомый. Ведь часы это пустяк. Скажите мне живым языком, ну что мне делать, господи!

— Александра Васильевна, — сказал Христофор бытовым тоном, — сегодня же запретите скрещивать, или я ни за что дальше не отвечаю. Я служу. Поняли? Будете прокляты.

Она вышла из церкви смертельно побелевшая от страшного потрясения и медленно пошла.

Прошла один переулок, другой... Постепенно ей начало казаться, что угроза проклятия уже превратилась в проклятие и, подобно холере, начала оказывать смертельное действие на мужа, который был для нее в этой труднейшей суровой жизни решительно всем. Она ускорила шаги. Выйдя за город, она бросилась бежать, громко и тяжело дыша. Она заболела. Ей слышалось грозное пение. От долгого бега ей показалось, что деревья зашатались в саду и комната, в которой работал Мичурин, тоже зашаталась и затрещала. Упали со стен часы, будильник и все, что висело, стояло на полках, полочках, хранилось в шкатулках, и сам Мичурин упал на пол и начал корчиться в смертельных муках под несмолкаемый звон набата и пение анафемского реквиема.

Вдруг все умолкло. Перед ней был сад, обычный, нетронутый, их сад, мичуринский. Но она уже не видела его. Оглядываясь по сторонам, она бросилась на узенький мостик, но, не пробежав до конца, зашаталась и упала в воду. Где-то закричали. Кто-то побежал.

Она лежала в постели блее подушки, отмеченная уже печатью смерти. Мичурин сидел у кровати на стуле.

— Умираю, Иван Владимирович, прощайте.

— Ну вот. Умираю, умираю... Терентий!

— Нету доктора. Уехали на охоту! — сказал вошедший Терентий.

— Тише. Скажите, что в саду?

— Осень Барометр...

— Я спрашиваю о птицах.

— Птицы улетели, — сказал Мичурин.

— Эх, Иван Владимирович, не убеждали мы...

— Уйди.

— Слушаю.

— Не шумите. Хочу тишины, — прошептала Александра Васильевна.

— Ну хорошо. Вот и лежи тихо... Ах! Вот прохвост патлатый, а?

— Тихо... прости его. Иди работай.

— Ничего. Немного посижу. Столько лет вместе трудилась. И вдруг вот... Ну что ты поделаешь...

Мичурину и впрямь не хотелось сидеть у постели жены. Погруженный в

сложнейшие наблюдения, он несколько дней подряд словно отсутствовал в обычной повседневности и все свое окружение воспринимал постольку, поскольку оно мешало движению его упорной маниакальной мысли. Он был занят. Болезнь жены встревожила его, но приближение смерти не проникло в его сознание, не передалось ему, не нашло, казалось, никакого отзвука. Александра Васильевна заметила это и улыбнулась жалостливой прощающей улыбкой. Она расставалась с ним навеки, оставляя его одного на тяжелом пути странствования в заколдованное царство. Вдруг она вспомнила о проклятии, и страх исказил ее лицо.

— Да плевал я на его анафему, — успокаивал Мичурин жену. — Плевал я на него со всем его синклитом, слышишь? Только успокойся.

— Ваня, умираю...

— Ну вот, началось... довольно... Тебе нужна тишина. Ну, попадись мне Христофор!

Тогда она собрала последние силы, все, с чем пришла к концу:

— Ваня, помнишь, когда мы были молодыми и любили друг друга, я всю жизнь об этом помнила и этим жила, как самым дорогим на свете...

— Ну...

— Помнишь, ты говорил мне...

Молодой Мичурин держит в нежных объятиях юную Александру Васильевну:

— Саша...

— Ваня... Иван...

— Саша, родная моя, я хочу сказать тебе...

— Да...

— Знаешь, Саня, я думаю...

— И я...

— Да... Поженимся с тобою и проживем всю жизнь не так, как все.

— О нет, не так. Боже сохрани! Совершенно иначе.

— Мы будем двигать науку и превратим всю землю в рай. Нашу ивовую да березовую Россию мы превратим в сад, такой прекрасный, какой никогда не снился человечеству. Ты слышишь, как бьется мое сердце?

— Да, да... Какой ты красивый...

— Какая ты красивая... И за всю жизнь нашу, Саша, мы не скажем друг

другу ни одного грубого, неласкового слова.

— Да...

— Никогда!..

— Никогда!

— Жизнь так прекрасна.

— Да.

— И так все ясно...

— Да...

— Правда?

— Да, да, все ясно, вот это самое главное в ней...

— Пронести наше вот это чувство, это понимание ее через все, все, что бы там ни было.

— Правда?

— Правда. Ведь страшно... Боже мой... Посмотришь вокруг на людей, до чего же...

— Ужас...

— Дай мне слово...

— Ваня, и ты...

— Да... Никогда... На всю жизнь...

— Да, только это...

Они поцеловались и стали целовать друг друга руки.

Они шли по цветущему саду, обнявшись.

Прорастали травы во влажной ночной тишине. Семена бобов, злаков, овощей, луковицы лилий разбухали от весенней жизненной силы и стебли вылезали из земли навстречу солнцу, распрямляясь, множась, обнимаясь и сплетаясь в таинственном непреодолимом движении роста. Рождались стебли из крошечных бледных спиралей, раскручивались листья, раскрывались побеги, почки, цветы. Вырастали плоды самых восхитительных форм, прекрасных и щедрых в своем разнообразии.

Царские часы попрежнему возвещали время, но уже в малиновый ампирный их звон врывались недобрые ноты далеких сигнальных труб и тоскливо-тревожного вальса «На сопках Маньчжурии». Заносило снегом деревья в саду, но весна-победительница снова брала свое, и благодатное лето клонило долу отягченные плодами, ветви яблонь и груш.

Деревья сгибались под тяжестью плодов, и плоды падали на землю и лежали на ней.

Они снова шли по саду, но уже не было объятий. Серая забота обременяла постаревшие их лица, и несогласие наложило печаль на их души.

Давно уже вышли они из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество. Много прекрасных человеческих движений растеряли и позабыли на жизненных дорогах. Многое отнято в неравных схватках у житейских преград. И уже не поднять их и не возвратиться к ним никогда. Другие веления жизни волновали их сердца.

Он. — Нет.

Она. — Что нет? Почему? Почему ты молчишь? Почему ты всегда молчишь, Иван?

Он. — Не спрашивай меня!

Она. — Не кричи.

Он. — Я не кричу. Я стону.

Она. — Я тебе мешаю?

Он. — Нет. Слушай! Неужели совместная жизнь существует для того, чтобы не жить, как всё невероятно трудно и сложно, и чем дальше, тем сложнее, труднее!

Она. — Было время, ты говорил: как все ясно.

Он. — То была любовь, цвет жизни, ее великий проблеск.

Она. — А разве я не люблю тебя? Разве любви уже нет?

Он. — Не нет, а некогда. Слушай, — Мичурин остановился и положил одну руку себе на сердце, другую на лоб. — Если здесь вот миллиард молекул, и из них девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч беспрестанно заняты здесь вот в жалком городе Козлове одним: вывести Россию из нищеты и косности, — что остается человеку? Милая моя, для любви нужен досуг. Что тебе нужно?

Она. — Я отдала тебе все.

Он. — Пустые слова, пустые слова. Набор слов... Что тебе нужно, я тебя спрашиваю?

Она. — Мне нужна твоя любовь.

Он. — А мне не нужно любви. Мне нужно сострадание к моему творчеству!

Она. — Какой эгоизм!

Он. — Да? Ну, если человек, поставивший себе целью жизни возвеличение своего народа средствами науки, — эгоист, тогда да... Какая женщина это поймет?!

Она. — Но разве я не помогаю тебе?

Он. — Мне многие помогают. Я не об этом!.. Еще что?

Она. — Иван, скажи, что ты меня любишь.

Он. — Да.

И, глядя вдаль перед собой, Мичурин поцеловал ее руку.

Осенний ветер сдувал со старых яблонь и груш пожелтевшие листья и кружил их в воздухе. Улетали птицы на юг, и поседевшие семена дикорастущих бурых трав уносились вдаль под завывание ветра. Выпал снег.

Александра Васильевна умирала. От воспоминаний ли, от ощущения ли своего безвозвратного ухода из жизни у нее на глазах блеснули слезы. От этого глаза стали большими и глубокими.

— Вот, Ваня, не вышла жизнь... Но пусть тебя бог простит. Великий ты человек и страдалец.

Мичурин понял вдруг все и стал перед ней на колени.

— Прости меня. Прости, что я всю жизнь принадлежал деревьям, а не тебе.

— Да, ты принадлежал деревьям.

— Да. Они — мои творения, и я принадлежу им.

— Прощаю, — прошептала Александра Васильевна. — Прости и ты всех по великости своей... И отца Христофора...

— Христофора? Нет!

— Ваня...

— Ни за что! — Мичурин встал и за метался по комнате... Потом он остановился, тяжело дыша:

— Саша!..

Потом через несколько минут он вышел в соседнюю комнату. Вид его был ужасен.

— Александра Васильевна скончалась, — сказал он Терентию и ушел.

— У, Каин... Каменная душа... Антихрист, — прошептал Терентий и горько заплакал.

Громадная христофорова семья бросила ужин. Все чада и домочадцы, услышав стук, пришли в тревожное движение, прячась друг за друга или убегая с трусливой оглядкой в соседнюю комнату. Сам Христофор, перепуганный больше всех, еле стоял на ногах, схватившись за нагрудный крест и защищаясь им как от приближения нечистой силы. Раскрылась дверь. Закрылась дверь. В столовую входил Мичурин с палкой. В подавляющей тишине подошел он к Христофору:

— Александра Васильевна умерла. Перед смертью она велела вас простить.

Повернулся и ушел. На ходу сказал, не оглядываясь:

— Идите отпевать.

— Мужайтесь, — прошелестел Христофор...

Мичурин оглянулся и остановил на Христофоре взгляд, полный такой тяжелой скорби, что Христофор схватился левой рукою за сердце и оцепенел, словно невидимая рука пронзила его копьем. У него застучала кровь в висках. Крупные капли пота выступили на лбу, и маленькая вялая его душа заняла вдруг в тяжелом ожиревшем теле. Страх и смещение и ненависть раба к господину потрясли всю его раздвоенную увядшую натуру. Ему надо было что-то сказать ушедшему, но слова утешения не шли на живые уста. Он завидовал нищему царю растений даже в печали его.

Подошла попадьья:

— Христофор, тебе нехорошо? Зачем ты расстраиваешься по всякому поводу?

— Уйди, проклятая!.. — крикнул Христофор и чуть не упал.

У изголовья покойницы горели свечи.

На стене тикали часы. Часов было много разной величины с разными маятниками. Маятники мешали один другому различием своих ритмов, и время спотыкалось в тревоге, шатаясь от упорного несогласия маятников.

— Вот часы починаю, часы. Старые часы починаю! Исправляю машинки! — Мичурин шел по городу и взывал дребезжащим голосом, подражая тряпичникам и точильщикам ножей.

Вот он вышел на главную улицу, неподалеку от городской управы. Городской голова Ивац Петрович Быков, поп Христофор, председатель земской управы Полубояринов со своими земгусарами и еще несколько городских чиновников, в том числе и знакомый уже нам местный исправник Семен Семенович Хренов — любитель охоты и разных напитков, — все смотрели в окно. С улицы доносился крик Мичурина.

На груди у него была «Анна». На глазах слезы.

— А напрасно вы его, батюшка, грозилась отлучить от церкви, право, напрасно, — сказал Христофору исправник Хренов. — Жена-то умерла! Боюсь я, знаете ли, как бы конфуза не случилось.

— То-есть? — смутился Христофор.

— Жаль, говорю. Наливки, знаете ли, батюшка, у него совершенно божественные. Куда там вашим! Далеко! Ну, правда, характер сволочной. Но, батенька мой, на всех ведь не угодишь!

— Семен Семенович!

— Потом, может быть, это у него наследственное. Я имею в виду характер. Вы же за наследственность? И я, человек хотя и грубый, полицейский, наследственность тоже признаю. Клянусь честью! Вы не волнуетесь, а? Что?

— Ах, негодяй! Вот негодяй! — взорвало вдруг городского голову Быкова, когда Мичурин проходил мимо управы. — Вы посмотрите. С ума съятил. Кричит, как старьевщик. Это же прямо вызов! Семен Семенович, придется как-то осадить!

В это время раскрылась дверь. В кабинет вошел высокий, немолодой уже человек, необычайно импозантной внешности. Седая голова, красивое лицо, уверенный властный взгляд, очки, походка, наконец, покрой костюма — все обличало в нем человека столичного, мыслящего и живущего в сфере высоких интересов. Он был похож на ученого.

— Простите, пожалуйста. Профессор Карташев из Петербурга. Честь имею представиться, — сказал вошедший.

— Чем можем служить? — спросил Быков. — Из Петербурга? Очень рад.

— Имею научные поручения к садоводу-самоучке Мичурину. Весьма прошу вас, господа, не откажитесь...

— О, с удовольствием! — сказал немного растерявшись Быков и стал представлять ему присутствующих. — Завтра мы вас к нему препроводим. Предводитель дворянства господин Соколов-Орлов.

— Очень приятно, Карташев. Я бы хотел...

— О, нет, нет!..

— Не обижайте главу города, батенька, хоть вы и ученый, — сказал с грубоватой фамильярностью исправник Хренов. — Тут к нам перед войной три амерджанца приезжали. Тоже, знаете ли, ученые. Так уж будьте уверены, долго Америка нас будет помнить, а, Иван Петрович? Как накачали! А тут еще кусочка... как раз, знаете ли, на ершову уху попали. Кипятится, знаете ли, вода, понимаете, то-есть, не вода, лавровый, понимаете, лист, перец, и вот берется, по-

нимаете ли, а, Иван Петрович? То-есть, с ума сойти, клянусь честью! Это сказка. Вы знаете, как это делается? Боже мой!

Тут исправник Хренов начал раскрывать перед профессором тайны приготовления ершовой ухи с таким тончайшим знанием дела, с такой любовью и таким глубоким упоением, что не только петербургский гость, но даже все присутствующие, слышавшие этот рассказ во всех его вариантах десятки раз и десятки раз поедавшие эту ершовую уху, и даже отец Христофор, также не чуждый чревоугодию, — все застыли в оцепенении, все были покорены. Прав был великий писатель, сказавший: «Талант, что деньги: у кого они есть, так есть. У кого нет, так нет».

У козловского исправника Хренова был талант. Он не зарывал его в землю, не пренебрегал им. Он развивал его много лет при всякой возможности, пренебрегая подчас даже служебными обязанностями, каковой недостаток, впрочем, также обличал в нем талантливую натуру. Он любил варить ершовую уху и, варя ее, забывал о всем на свете. Это было его призвание, его страсть. По страстности натуры он был первым лицом в городе после Мичурина. Но в умении рассказать, излить свой талант, преподнести его людям он далеко превосходил нелюдимого, лишенного артистичности Мичурина.

— То-есть, вы понимаете, господа, — буквально задыхался Хренов, глотая воздух и широко раскрыв глаза. — Вы понимаете, что делается, когда они уже сварены? Вы берете и начинаете их отжимать в котелок... чтоб все вытекло, все! Вот так вот... Ух! Аромат!.. Ай!!! Ну, ну как вам сказать?.. Ничего в мире, клянусь честью, ни в Америке, ни в Европе, куда им, боже мой! Сказка, слышите, сказка! Простите, как ваше имя, отчество?

— Евгений Григорьевич, — сказал профессор Карташев, облизываясь и делая глотательное движение.

— Что вы говорите? У меня шурин Евгений Григорьевич! Удивительнейшая вещь. Тезки! Вы слышали, господа?

Вскоре совещание у городского головы перенеслось к отцу Христофору, где после невообразимо сытного обеда и распросов о столице главным предметом разговора стал, конечно, Мичурин.

— Ну, конечно, очень интересный че-

ловек, — сказал Карташеву отяжелевший Быков, — но...

— Не все дома, — ляпнул председатель земской управы Полубояринов.

— Нет, не скажите, — вмешался предводитель дворянства. — Трудный человек и, конечно, опасный. Чорт его знает, ну ни с чем не согласен решительно, с какой стороны ни зайдешь. Все ему не так!

— Да, ей-богу же, господа, ну зачем! Обыкновенный чудак. Чудной. Случается ведь в жизни, — сказал добродушно Полубояринов. — Был у него сад, — объяснял он Карташеву, — так в одно прекрасное время он вдруг, что вы думаете? Перенес его на пустырь, на песок. Смеху было! Весь город смеялся. Это же придумать надо. Ну, половина сада, естественно, пропала.

— Вы расскажите, как он к вам в управу приходил, — сказал Хренов, обращаясь к Быкову.

— Да! — оживился Быков. — Перед тем, как переносить этот сад, приходит он как-то ко мне в управу. Ну, причмаю очень любезно, прошу садиться. Стоит. — «Я пришел к вам в качестве просителя». — Что вам угодно? — говорю. — «То, что я делаю, не нравится мне». — Тогда отец Христофор, который сидел тут же, и говорит... Отец Христофор, как вы сказали? Как-то очень красиво сказали.

— Я сказал ему, — отец Христофор поднял указательный палец. — Великий философ древности Эврипид сказал: «Ты будешь изменять жизнь и ничему не порадуешься. То, что перед тобою, не нравится тебе, и ты будешь отдавать предпочтение тому, чего нет. Вся жизнь человеческая скорбна».

— Чудесные слова! — подхватил Быков и, вытянув шею, переменял голос, явно изображая Мичурину: — «Он неправильно сказал. Я хочу изменить жизнь и радоваться».

— Абсолютно точно! — подхватил предводитель дворянства, поднося Карташеву раскрытый портсигар. — А я ему и говорю: вы меня, говорю, извините, но ваших произведений нельзя в рот брать. Они противны. «Это, — говорит, — пока не имеет значения». Как не имеет? Почему не имеет?

— Ну и что же он ответил? — спросил Карташев.

— «Это дело вкуса. А о вкусах не спорят». Клянусь честью.

— Меня это до того возмутило, — заволновался вдруг Быков и налился кровью. — Послушайте, говорю. Весь город смеется! А он мне, как он сказал, подождите... Ага: «А разве через сто лет кому-нибудь будет интересно, нравились городу мои плоды или нет? Важно, что я создал новый сорт. Открыл, — говорит, — тайну, как делать новое. А как из нового делать хорошее новое, это дело второго порядка. Важно движение мысли, материализованное в природе».

— Возмутительно, — сказала попадьа.

— Да. Но я повторяю, говорю, весь город, говорю, смеется над движением вашей мысли. Вы знаете, Евгений Григорьевич, что он мне ответил? — тут городской голова сделал паузу и, повидимому, так верно изобразил Мичурину, что все покатались со смеху: «Город будет уничтожен. На его месте будет новый город, и он будет гордиться мною». Меня чуть удар не хватил, ей-богу.

— Чорт его знает, — сказал предводитель дворянства и, вылив в чай рюмку коньяку, опрокинул стакан в рот. — Какая-то помесь Толстого, Кропоткина и Дарвина, прости господи.

— Присмотритесь хорошенько, — советовал Быков Карташеву, широко раскрыв глаза и собрав на лбу великое множество морщин.

— Да-а, — протянул Карташев.

— Какая ужасающая степень гордыни, — сказал отец Христофор и потянулся к буфету. — А теперь прошу вас отведать этих его гибридов. Специально держу для гостей.

Карташев взял у отца Христофора неудачный мичуринский фрукт, вкусил его и мгновенно весь перекосясь, чем и привел отцов города окончательно в благодушно-радостное состояние. Они смеялись, как школьники.

— Все это сушая чепуха! — сказал исправник. — Зато трапка у него маньчжурская или тибетская для настойки — куда вам! Боже мой!

Исправник выпил.

В тот же день, поздно вечером, в оранжерею к Мичурину неожиданно ввалился Терентий. Был он обычно всегда грубоват и ворчлив и еще кое-какие недостатки водились за ним, но одно самое драгоценное его качество, составлявшее

главную основу его сущности, ставило его в глазах Мичурина выше всех человеческих слабостей. Он был предан ему всей душой. Этот неграмотный человек любил науку. Он преклонялся перед ней. Он верил в Мичурина, как в святого. Он жил им. Мичурин был единственным предметом его разговоров с людьми, разговоров зачастую смешных и наивных, но всегда трогательных и восторженных.

— Мичурин?.. Да я за него, чтоб вы знали, в огонь и в воду. Это великий ученый, только его никто, кроме меня, не понимает, да. Мы с ним давно уже решили всю землю переделать. Ивы, ольху, березу, хлеб — все к черту! Довольно! Везде будут лимоны, орехи, липы, мед. Да. Персики, актинидии разные...

Однако в последнее время этой крепкой, казалось бы, незабываемой верности был нанесен сильный ущерб. После церковного проклятья образ Мичурина в сознании Терентия как-то раздвоился. Эта раздвоенность не давала Терентию покоя, особенно, когда он был выпивши. У него появлялись тогда страшные сомнения как насчет личности самого ученого, так и своей роли при нем и своей судьбы в загробной жизни.

— Что за стук? Кто там?

Мичурин выпрямился. Он не работал, как обычно по вечерам, не читал, не писал писем раскиданным по всему миру своим последователям и не починал ничьих часов. Он горько и страшно рыдал в одиночестве, заглушая рукою рыданья, чтоб не разбудить уснувших домочадцев.

— Саша, Саша моя, на кого ты меня покинула... мученица моя...

Смерть жены поразила его не сразу: медленно вползала тоска в суровое старое сердце, оседала в нем и подавляла его по ночам в одиночестве.

— Кто там? — повторил Мичурин и с удивлением посмотрел в сторону двери. Терентий еле стоял на ногах.

— Терентий, ты пьян?

— Ра... ра... ра... кто пьян? — молот, заплетаясь, Терентий и, пробежав, шатаясь как на корабельной палубе, оранжерею, упал Мичурину на грудь: — Ра... ра... ра... ик!

— Терентий, как ты смел?

— Ра-ра-разрешите э-э-э... шите... спр-пр!!!

— Ну?

— Э-э-э... я тебя спрашиваю, что — э... Наука одолевает... ик... пр... природу,

и-или природа пре-пре-преодолеывает науку, а? Ик...

— Слушай, где ты напился?

— Антихрист! — Терентий громко икнул: — Ик!

— Довольно.

— Вы дьявол, Иван Владимирович, слышь?.. Анафема... Вот дайте я на вас плюну... э... э...

— Ну довольно, Терентий..

— Я не Терентий!

— Ну... Пусти...

— Я.. Я не Терентий...

— Ну будет, не Терентий.

— Не Терентий! Я слуга дьявола... Вот вы дьявол и есть! Ик!..

— Глупости.

— Кто я был? Кто, я тебе спрашиваю? Я царю служил! Я защищал отечество!

— Терентий!

— А ты царе-царепадус, гибрид собачий. Из-за тебя я попал в ад... Вот... ты... Каин!

— Терентий! Говори, кто тебя напоял?

— Я не Терентий! Я пр-пр-приспешник анафемы!.. Бедная душенька наша Александра Васильевна... Голубушка, погубил тебя вот этот гибрид... Убью!..

Терентий вдруг набрал сил и схватил Мичурина за грудь. Мичурин еле вырвался из лап Терентия и бросился в мастерскую, захлопнув за собою дверь. Терентий долго стучал в нее изо всех сил, угрожая и кляня.

Но вот наступило утро. Мичурин у стола начал чинить гармошку.

— Терентий!

В комнату вошел Терентий. Он уже трезв. Он виноват. Это заметно в каждом его движении. Он готов на любые жертвы, лишь бы получить прощение и забвение «случая».

— Слушаю, Иван Владимирович!

— Ты боишься страшного суда?

— Да нет, Иван Владимирович, вот крест святой, не боюсь.

— Врешь, боишься. Ада боишься.

— А чего бояться? Я решил, уж ежели страдать, так с вами до конца. Пожалуйста. Живут же люди и в аду. Не все ведь праведные. Только, ради бога, простите меня, дурака.

— Да... Вот ты вчера называл меня Каином...

— Иван Владимирович, голубчик мой...

— Ну ладно. На, отнеси часы Петухову. Получи полтинник.

— Слушаю.

— Постой...

— Ну...

— Говори, где пил?

— У батюшки на кухне. У них вчерась приезжего профессора принимали.

Послышался звонок. Терентий бросился в переднюю открывать дверь.

Вошедший оказался Карташевым. Кивнув головой Терентию, Карташев спросил бархатным басом:

— Господин Мичурин? Здравствуйте.

— Никак нет, они там, — сказал Терентий, провожая Карташева к двери. — Только не советую вам, господин профессор, задавать им пустые вопросы. Они сегодня очень не в духе. Вы им сперва про науку... кгм... да...

— Разрешите. Профессор Карташев, Евгений Григорьевич, — сказал Карташев, войдя в мастерскую.

— Иван Мичурин, часовых дел мастер, — сказал Мичурин и жестом пригласил Карташева сесть. — С веселым похмельем вас.

— Ну как? — спросил городской голова Быков, когда Карташев возвратился от Мичурина. Все отцы города были в сборе.

— Что мне вам сказать! — многозначительно вздохнул Карташев и упал в кресло.

— Ага!

— Да? — встревожилась вся городская управа. — Но все же?..

— Я не понимаю этого человека.

— Ну вот! — развел руками Быков.

— Все это очень странно и ни на что не похоже.

— Царица небесная, — вздохнул Христофор.

— Но тем не менее, конечно, есть у него...

— Есть, говорите? — удивились присутствующие.

— Безусловно. Целый ряд опытов по селекции и отдаленной гибридизации заслуживает, безусловно, серьезнейшего внимания. Это обогащает садоводческую практику вообще и, в частности, на севере. Но, господа, теоретические претензии этого господина и та бесцеремонность, с которой он обращается с величайшими законами природы...

— Ну, это известно, — вздохнул предводитель дворянства.

— ... это не поддается описанию! — авторитетно закончил Карташев. У него был очень приятный баритон.

— Ах ты, боже мой! — не выдержал Полубояринов.

— Вот видите, я говорил. Подозрительнейшее дело! — зашипел Христофор.

— Нет, господа, — сказал Карташев с достоинством, — я ведь говорю, что кое-что безусловно есть, хотя при этом никакой научной базы. Сплошная голая эмпирика.

— Пропадет человек! — сокрушался городской голова. — Господа, может быть, обязать его передать все это под огороды для военного госпиталя?..

— Нет. Зачем же? Что вы! — насто-рожился Карташев.

— Но надо же как-то помочь ему исправиться! — сказал Быков.

— Горбатого могила исправит, — махнул рукою предводитель.

— Вы меня извините, господа, — вмешался вдруг Хренов, — но я вот долго наблюдаю за ним, и сам кое-что понимаю, кончил классы...

— Вы снова, Семен Семенович, за травку.

— Не в травке дело. Вы бы посмотрели на его переписку.

— Ну? — насторожился Соколов Орлов. — Какую?

— Со всем миром. Много знает! Очень много. Иногда читаешь, голова кругом идет. Наука, да какая наука! Кошмар! И все ему пишут на русском языке! — Тут Хренов поднял толстый палец и сделал артистическую паузу, чтоб проверить впечатление. — Вы, господин профессор, не верьте ему. Это он прикидывается этим, как вы сказали?

— Эмпириком?

— Да! Господа, осторожно. Уверю вас. Может быть, нам придется еще перед ним шапки снимать... Характер — да! Но я тоже не дурак. У меня он весь как на ладони.

— Господа, разрешите раскланяться! — Карташев встал. — Мне пора.

— Как пора? — удивился Хренов. — А уха?

— Не могу.

— То-есть, как не могу? Что не могу? Ухи не могу? Господа!

— Не могу, не могу, — сказал Карта-

шев и глянул на часы. — Батюшки! Опаздываю к поезду.

— Куда!!! — взревел вдруг исправник. — В Петербург?! Без ухи? Что же подумает о нас Академия наук?.. Задержат поезд!!!

Успокоив гнев, Хренов подошел к Карташеву и так при помощи мимики и непередаваемого движения пальцев левой руки изобразил прелесть вкушения и выпивки, что всё застыло во власти его таланта. Застыл и профессор Карташев.

Шли годы. Миллионы юношей умирали на фронтах империалистической войны. Страна обветшала и поверглась в печаль. Только природа блистала неизменной своей красотой. По безбрежным лугам, среди сонных лесов протекали тихие русские реки. Над вечным покоем цвели сады.

Цвели сады. Одни цветы сменялись другими, распускались и увядали, оставив семена в плодах, и снова ветки покрывались снегом и цветами, и полноценный плод падал тайком на землю, по закону.

Ничто не изменилось в природе, но многое изменилось в мире. Многое изменилось в саду революционера природы Мичурина. Изменился и сам Иван Владимирович.

Шел третий год революции — девянадесятый год.

Мичурин сидел под отягченным плодами деревом. Он очень постарел и поседел, но был он бодр и радостен, как никогда, казалось, за последние годы. Он принимал у себя старого почтальона Федора Буренкина, пришедшего к нему с целой гурьбою внуков и внучек.

— Чудесные плоды у вас, Федор Кузьмич, чудесные, душа радуется, — ласково говорил Мичурин, глядя на скромных красивых детей.

— Слава богу. Жаль только, что сироты. Сыновей-то война прибрала.

— Ничего. Теперь не пропадут. Ничего. А у меня сегодня особый праздник. Угадайте, зачем я вас позвал.

— Ну?

— Помните семечко? Принесли вы его мне в конверте с заграничной маркой, а ну-ка?

— О, сколько лет!

— Да. Так вот оно. То-есть, не про-

сто, конечно, не копия, а потомок в новом виде, в нашем более совершенном, гибрид... — Мичурин протянул Буренкину и детям чудесные яблоки.

— Какая благодать!

— Да, здесь была жестокая борьба, пока удалось найти правильные соотношения обоих супругов, выросших в большом отдалении друг от друга, познакомиться их, примирить характеры...

— Скажите, пожалуйста...

— О, это уже шестое плодоношение. И с каждым годом лучше. Смотрите, какая благородная прочная форма. Ах, какое щедрое дерево. Это не дерево, это статуя. Живой плодоносящий памятник науке. Сегодня я счастлив, Федор Кузьмич. Я увидел во сне свою жену. Проснулся и думаю, давай приглашу Федора Кузьмича вспомнить мечту. А, Федор Кузьмич?

Федор Кузьмич гладил внучку по русской головке и плакал, не замечая своих слез.

Вдруг загремел гром.

Они прислушались. Издалека, из-за реки, стреляли орудия. Что это? Снаряды уже начали падать в реку, взметая высокие фонтаны.

Вдруг задрожало дерево, и яблоки посыпались на землю. Гражданская война пришла в сад.

Преследуемые Красной Армией, через город мчались мамонтовцы с артиллерией. Бежали в беспорядке пешие и конные.

— Иван Владимирович! Ворота ломают! — закричал Терентий. Мичурин бросился из сада к воротам.

Белогвардейская батарея остановилась у ворот питомника. Молодой офицерик на коне давал приказания казакам. Казачишки бросились к воротам и начали их ломать, чтоб провести в питомник орудия.

— Стой! Стой! Назад! Куда? — кричал Мичурин, появившись на месте поваленных ворот.

— Уходи, дед! Уходи вон! — кричал офицерик.

— Дурак! С кем ты разговариваешь?

— Гоните старика к чертовой матери! — взревел офицерик.

— Мальчишка! Я тебе дам! — кинулся к офицеру Мичурин. Казаки бросились к нему с оружием. Мичурин схватился за винтовку и начал вырывать ее у казака.

— Граждане, не трогайте его! Он сумасшедший. Он несамостоятельный, граждане, помилуйте! — зывал Терентий. — Ребята, плюньте на него!... Стой, не бей! Ваше благородие, что вы делаете? Не бей, говорю тебе, сучий сын, он сумасшедший! Граждане! Спасите!!

Но видя, что расчет на неприкосновенность сумасшествия никакого успеха не имеет и что жизнь Ивана Владимировича повисла на волоске, Терентий бросился в атаку. Схватив за грудь самого здорового чубатого казака, он затряс его, как грушу, крича:

— Ты кого бьешь? Ты знаешь, кто это? Это ученый! Я тебе голову откушу!

В это время разъяренный Мичурин, помятый, в разорванном костюме, без шляпы, вырвал у казака винтовку и, бросив ее с картинным жестом перед собой и с криком — «через мой труп!», упал перед воротами на землю. Казаки опешили. Между тем, Терентий уже схватился за винтовку, и, кто знает, не потерял ли бы мир в это роковое мгновение двух великих мечтателей, если бы на заборе, как в кукольном театре, не появился новый казак Петруша Гнедых и не закричал:

— Большевики! Ваше благородие, большевики обходят!

Все исчезло.

Мичурин поднялся с земли и выпрямился. Был он в пыли и репейниках. Мокрые волосы сбились в жалкие клоуши, пот катился с него градом. Он был бледен от внутреннего огня. В единоборстве с противником он обнаружил такой накал ярости, что ему мог бы позавидовать любой великий артист или генерал. Его тощая грудь ходила ходуном, и взбудораженные бронхитные петушки пищали в груди нестройным хором, и пламенный взор метал искры благородного торжествующего гнева. Казалось, он крикнет: «За мной! Музыка! Огонь!».

Терентий смотрел на Ивана Владимировича с глубочайшим удивлением.

— Терентий, дай воды!... погоди, я тебе покажу сумасшедшего!! Будешь ты у меня долго помнить сумасшедшего. Я тебе... Аа! Мерзавцы...

Много еще обидных слов, много угроз наговорил победитель змея, но Терентий уже не слышал их. Он побежал за водой. Не слышал и сам говорящий.

Когда Терентий принес ему воду, он не стал ее пить, он не заметил ее. Он смотрел вслед бежавшему старому миру, и перед его духовным взором предстала вся восставшая родина. Труднейший долгий путь борьбы, огромный личный опыт и прозорливость великого естествоиспытателя озарили его сознание и сразу дали ему, не политику, почувствовать весь смысл происшедшего. Он понял, что пришла его пора. В человеческом обществе началась новая эра.

— Позвольте, Иван Владимирович. Все это хорошо и даже очень отлично, — говорил он сам себе, глядя в зеркало. — Но какая судьба ожидает ваш сад? Как бы не нарубали дров. Надо действовать, а? Как вы думаете?

Взволнованный и гордый, стоял он перед зеркалом в накрахмаленном воротничке и в своем праздничном сюртуке, надетом впервые чуть ли не со времени женитьбы. Он осматривал себя. Вот он поправил дрожащею рукою галстук.

— Иван Владимирович, — сказал Терентий.

— Ну?

— Теперь, после того, что случилось, я могу вам сказать одно.

— Да.

— Сад пропал.

— Сад?

— Да. И сад пропал, и мы с вами.

— То-есть?

— Помните вот того проквоста, — Терентий показал рукой на аршин от земли, имея в виду злодея, несомненно, маленького роста, — Павлуша звался, помните? Первый вор! Он у меня в самых печенках сидел. До сих пор жалею, что не пристрелил из дробовика. Сколько деревьев переломал!

— Ну?

— Так вот он теперь у них главный Мичурин засмеялся.

— Значит, у него тогда уже была склонность к эксперименту.

— Глупости.

— А сколько я переломал, вспомни! Не удалось дерево — под корень! Нет, Терентий, так нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. И слушать не хочу. Безобразие. Ну пусть уж я, дворянин. Твоя же власть пришла — чорт-те что болтаешь! Давай палку!

Он взял у Терентия шляпу, палку, и они пошли навстречу новой жизни.

Остановились они на главной улице у дома с надписью «Ревком». На втором этапе дорогу им преградил часовой:

— Стой! Заседание.

— Как заседание? Не успели войти в город, уже заседание! — волновался Мичурин. — Нехорошо! Не ожидал!

— Товарищ, у нас заседание, — сказал, проходя в дверь, член ревкома.

Когда Мичурин вошел в комнату, где происходило заседание, все встали. Они часто потом вспоминали об этом, смеясь и шутя и спрашивая друг друга, отчего же они встали, как школьники? Что было в этом старом человеке покоряющее, властное и было ль оно?

Они были все молоды и дышали отвагой и неисчерпаемой гожевностью к свершению добра.

Не встал только один Степан Рябов. Это был юноша величайшей честности и преданности делу революции, но у него был резкий характер и даже, пожалуй, не характер, а бедность, упавшая на весь его род лет двести, а то и триста тому назад, была так зла, что он долго не мог равнодушно глядеть ни на одну хорошо одетую личность. Он не был местным человеком и о Мичурине не слышал. В вошедшем старике он увидел врага. Мичурин же, увидя его сидящим, сразу решил, что перед ним председатель и бывший яблочный вор. Ему стало немного не по себе.

— Здравствуйтесь, молодые люди. Я Мичурин.

— Здравствуйтесь, товарищ профессор, — ответили ревкомовцы хором.

— Что надо? — спросил Рябов.

— Во-первых, я пришел приветствовать победу, так сказать, революционной, ну да, молодости... Во-вторых, я прошу вас, — Мичурин нахмурился, обращаясь прямо к Рябову. — Я прошу вас сказать мне точно и ясно, будете ли вы оберегать мой питомник или нет.

Тут Мичурин неожиданно так разошелся на себя, за нескладно начатую речь, что даже стукнул палкой о пол. Нет, не такую речь приготовился он провозгласить единственный раз в жизни перед комитетом революционеров-победителей. У него было много нерастрченных, подлинно красивых,

волнующих слов о величии борьбы, о новом мире, об освобожденном человечестве. Как естествоиспытатель, он был материалистом-диалектиком, поскольку подлинное естествознание влечется к диалектике. Об этом личном своем выводе ему тоже хотелось бы высказать закаленным в боях коммунистам много замечательных мыслей. Но этот прозаический Рябов испортил ему всю речь. И закаленных в боях коммунистов он тоже не заметил. Все оказалось не таким, как думалось. Какие-то юнцы, безусые, безбородые. Очевидно, и в ссылке никто не был, кандалов не носил.

— Прошу мне ответить!

— Конечно, будем, — раздался голос.

— А смотря для кого оберегать? — сказал откровенно Рябов. — Подумаешь, в сюртучок нарядился!

— Товарищ Рябов, призываю к порядку! — раздался вдруг звонкий голос.

Мичурин оглянулся. Перед ним стоял загорелый русский парень в обычной кожаной тужурке, один из тех типичных крепких телом и духом людей, которым суждено было войти в историю под именем поколения победителей. Это был член уездного ревкома Павел Синицын.

— Садитесь, Иван Владимирович.

— Нет, позвольте, — сказал Мичурин и снова повернулся к Рябову. — Я пережил трех царей и физически согнулся, как видите, в старой эпохе! Сорок четыре года я провел здесь в саду на грядках.

— И теперь жалко расстаться?

— С дураком не разговариваю! — вскипел Мичурин и повернулся к Синицыну. — Я начал сад на пустыре в поисках новых путей создания лучших плодов для России. Я поздно прочел Дарвина и Тимирязева и совершил здесь тысячи ошибок и заблуждений в поисках истины. Сегодня меня уже не интересует: мой будет питомник или не мой. А что мне лично важно, так это сохранить его для пользы всенародной. Поняли? Вот для этого и сюртук надел раз за сорок лет! А не для тебя! — рассердился еще раз Мичурин, глянув на Рябова.

— Да вы не сердитесь, Иван Владимирович, он у нас добрый, только шу-

мит очень, — сказал по-хорошему председатель ревкома. — Это у нас талант. Поверьте, он же первый голову положит, чтобы сохранить вас и ваш питомник для социализма!

— Много вы в социализме понимаете... — проворчал Мичурин.

— У тебя учиться будем, барин!... Товарищи, что за разговор? — вспыхнул Рябов.

— Ну, дай сказать человеку! — прервали Рябова товарищи.

— Нужно, чтоб народ труд полюбил, перестал смотреть на работу, как раб...

— Верно.

— ... чтоб не стали уваливать от физического труда. Боже сохрани! Физический труд ненавидят рабы и паразиты, — это вы себе заметьте, господа, на всю жизнь... Кушайте, пожалуйста.

И Мичурин начал раздавать членам ревкома великолепные яблоки, доставая их, как фокусник, из бездонных карманов своего сюртука.

Получил яблоко и Рябов. Получил и смутился. Ему казалось, что Мичурин обойдет его.

— Спасибо, Иван Владимирович, — сказал Синецын, улыбаясь и любовно глядя на яблоко. — Рябов, пиши охранную грамоту и приказ о принятии питомника на государственное снабжение.

— А ну что ж... принимаю, — поднялся со стула Мичурин. — Кстати, не забудьте прислать мне помощников, если на то пошло.

— Будут и помощники. Все будет. Все будет совершенно по-другому. Вот Рябов пойдет в помощники, сам пойду, дайте только наладить жизнь, — сказал Синецын и подошел к Мичурину.

— Ты посмотри, какой храбрый, — улыбнулся Мичурин.

— Да. А ведь я ваш давний знакомый, Иван Владимирович. Помните американцев? А я на яблоне был.

— Ай-яй-яй. Так это ты?

— Да. Терентий меня потом поймал... чай пил у вас.

— Ну, теперь сад пропал, — сказал Мичурин.

Все засмеялись.

— Не беспокойтесь, Иван Владимирович, с тех пор даже у попа не крал. Это на всю жизнь.

— Где же ты был все время?

— Много рассказывать. Спасибо, Ря-

бов. Вот бумажка, грамота, именем революции. Выдать продукты и бричку!

— И бричку! Господа... Товарищи, это я принимаю. Вот как! Понимаю. Благодарю вас, будьте здоровы.

— Да вы не торопитесь. Расскажите нам лекцию про вашу работу.

— Лекцию? Глупости. Я вам лекцию яблок пришлю. Коротко рассказывать — смысла нет, а долго — некогда, да и вам тоже. Стрельба не утихла. До свиданья, мне пора.

Возвращаясь домой на новой бричке: продуктами и охранной грамотой, Мичурин почувствовал себя помолодевшим на двадцать лет. Вдруг, откуда ни возьмись, пробежала цепь пехотинцев, за ней батарея. Мичурин с Терентием — по копыто. Подъезжают к питомнику гланы, отряд красноармейцев разрушает забор, снимая колючую проволоку и наматывая ее на барабан.

— Стой! Стой! Что вы делаете? — закричал Мичурин, соскакивая с брички и бросаясь в атаку на красноармейцев.

— Да вы, папаша, успокойтесь. Мы понимаем. Но ведь война! Батарею надо ставить, — успокаивал Мичурина молодой командир.

— Прекратите немедленно! Вот грамота!

— Какая там грамота! Навались, ребята! Гей, взяли!

— Через мой труп! — закричал Мичурин, бросаясь наземь в воротах.

— Посмотрите, что выковыривает старичок, а? Вот темнота... — сказал добродушный красноармеец, наматывая проволоку.

— Отставить! — послышалась команда.

Молодой командир взвода подошел к Мичурину и возвратил ему грамоту.

— Уходите! — разъярился Мичурин, потрясая грамотой.

— Да уйдем. Стерегу уж, раскудахтался!

Прогремела гражданская война, как весенний гром, и покатила далеко на юг, на украинские и кубанские просторы.

Однажды весной к Мичурину в сад пришел Рябов. Был он в поношенной солдатской шинели и в старой выцветшей студенческой фуражке. Мичурин трудился на грядке.

— Что надо?
 — Здравствуйте.
 — Ну?
 — Я Рябов.
 — Аа... Это тот Рябов. Какой Рябов?
 — А вы посмотрите! Уездный инструктор садоводства.
 — Зовут как?
 — Степан. А по отчеству...
 — Хорошо будешь и без отчества.
 Инструктор?

— Да.
 — Ну инструктируй. Бери лопату.
 — Это можно, — сказал Рябов и, взяв из рук Мичурина лопату, начал копать грядку. — Только я не инструктировать пришел к вам, а учиться.

— Так вот и не болтай.
 — А вы послушайте, это тоже бывает полезно старикам. Сначала покажите мне ваш садик. А во-вторых, я вам наперед скажу: все это не выдерживает критики. — С этими словами Рябов разогнулся и, улыбнувшись, показал рукою в сторону сада.

— Как?! — рассердился Мичурин. — Ты что мне тут, чорт-те что?..

— Это любительщина, а не сад, — сказал Рябов.

— Что?!
 — Вы не петушитесь. Это же, может быть, смешно. Это кустарщина. Это надо ставить на государственные рельсы. Поняли? Вот добыл для вас субсидию — 250.000 рублей! Пожалуйста.

— Сколько? — Мичурин в ужасе отшатнулся от протянутой бумаги. — Ты с ума сошел! Как же будет с отчетностью? Я запутаюсь в бумажках и попаду под суд!

— Не беспокойтесь.
 — Отнеси назад! Слышь? Сейчас же! Что мы с ними будем делать? Это же капитал!

Рябов потрянул чубом и посмотрел вдаль:

— Монастырскую усадьбу заберем — раз. На весну запланируем 130.000 единиц — два! Лабораторию — три! Выставку — четыре! Не хватит! — тут Рябов не выдержал и громко засмеялся.

— Не шуми! Чорт те принес на мою голову.

— Подождите, Иван Владимирович, дорогой. Вы еще не знаете меня. Я такой жадный... Моему воображению уже мил-

лиона мало! Это что?.. Это мы все движем на историческую дорогу! Я уже товарищу Ленину доклад написал!

Мичурин грозно смотрел на пришельца, еле скрывая пробудившуюся после долгого сна радость.

Базарный день в Козлове. Народ, кони, телеги, лотки. Обычный базарный шум, музыка, крики.

Несколько красноармейцев в памятных костюмах на свежих костылях напоминали, однако, что раны на трудовом народе еще не зажили. Красноармейцы устремлены к чему-то необычайно интересному. Это выставка достижений Мичурина. Прямо среди базара высажены кусты, цветы, разложены фрукты. Все это на дощатых подмостках возвышается над массой народа. Над выставкой полотнище с лозунгом: «Граждане, не ждите милостей у природы. Взять их у нее — наша задача».

У цветов и фруктов — словно помолодевший на несколько лет Терентий. Он горд и важен. Чтоб не терять времени в ожидании Мичурина, он объясняет народу достижения науки:

— Вот кандиль-китайка, ренклюд-реформа, парадиз, шафран-северный, бергамот-новик. А самое главное, черенки с объяснением! Смотрите, граждане! Известный ученый природы Иван Владимирович Мичурин правильно указывает, что кормиться надо достижениями новой жизни!..

— Чево? — раздался смех.

— Не смейтесь, граждане! Кто там смеется?! Надо абрикосами кормиться, виноградом! Гибриды разведем разные! — поучал Терентий.

— Зачем разводить? Грибы-то ведь сами родятся, был бы дождь, — сказал старенький, кошлатый крестьянин. Кругом засмеялись.

— Тише, граждане! Вот сам ученый Мичурин вам расскажет!... Большая несознательность, Иван Владимирович, — сказал Терентий подошедшему Мичурину.

— Да? Не может быть. Ты что-то тут наболтал уже? Кто тебе поручал разговаривать?

— Так не понимают.

— Этого быть не может. Граждане свободной России! — обратился Мичурин к народу. — Мне очень приятно

и радостно сообщить вам следующее: великий ученый Дарвин доказал и объяснил нам, как в борьбе за жизнь появились различные признаки у потомков общих родителей, видите ли.

— Ничего не видим. Каки родители?

— Непривычные мы к этому!

— А ты послушай! Попривыкнешь, — возмутились молодые красноармейцы на костылях, стоявшие в первом ряду. — Говорите, папаша, все пойдем! — обратились они к Мичурину. Глаза их светились прекрасным гневом, умом и жаждой знания.

— Благодарю вас, граждане-солдаты... Да... Долго боролась наука над вопросом, как же сделать нужные растения крепче, чтоб, примерно, не вымерзали, были богаче плодами, как скрестить их? И вот, граждане, работая над этим делом сорок четыре года, потративши множество трудов и лет на разные ошибки и заблуждения, я, наконец, открыл способ создания новых растений на основе отдаленной гибридизации, путем применения посредника.

— Ах, леший тебя задери, ничего не понимаю. Вот голова, а? — воскликнул старый человек не то в восторге и изумлении, не то в состоянии ядовитого презрения к себе.

— Сейчас объясню. Я скрещиваю растения, но не сразу друг с другом, — Мичурин начал сходить с подмостков к народу, держа в руках несколько черенков винограда. Он весь светился радостью. — Я скрещиваю их постепенно, подбирая близкие к каждому и по возможности близкие в различных по отдаленности местах, создаю гибриды-посредники, а потом уже, для получения искомого результата, скрещиваю...

— Чево?

— Тише, темнота... Продолжай, отец.

— Очень просто. Так вот уже создан из южного и дальневосточного таежного северный виноград. Вот смотрите. «Первая ласточка».

И, взяв из корзины гроздь винограда, Мичурин протянул ее старому Егору Жукову.

— Мы этим делом не интересуемся, — сказал Егор, беря неохотно виноград своими узловатыми, темными, как корни дерева, пальцами.

— А ты попробуй, — сказал Мичурин.

Старик Егор пожевал ягоду и сплюнул. Все взоры устремлены на старика, как на редчайшего дегустатора вин.

— Ну?

— Ну сказывай... жуешь...

— Сладкая, небось?

— Больно жидка. А вкус... это... — Егор замялся.

— Вода. То-есть она-то не плоха, только не наше это дело, — сказал Егор и передал кисть винограда внуку. — Нам надо что? Нам посадил весной, а летом кушай: картошка, репа аль свекла. А эту штуку посади, ходи за ней лет десять аль пятнадцать... — Егор посмотрел на Мичурину и по выражению его лица вдруг понял, что говорит неверно и глупо. Он хотел было тут же замолчать, чтобы не попасть впросак и не стать посмешищем народу, но природное упрямство взяло в нем верх, и он все-таки сказал:

— Да. Вот и ходи за ней, береги от мороза да прикидывай, каков будет вкус. Потом, она не успела родить, а тебе помирать пора. Вот те и фрукт. Кто-то будет кушать.

И вдруг на всю площадь словно гром раздался всенародный смех, перевернувший всю душу Егора.

— Ну и помирай! Без тебя съедят!

— Помирай, старый лапоть! — сказал молодой сердитый красноармеец-инвалид и подошел к старику, как к врагу.

— Теперь я тут же спрошу твоего внука, что он скажет о тебе, когда вырастет твой сад? Говори, малец! Сказывай народу!

Все посмотрели на егорова внука, десятилетнего Лукашку, стоящего с кистью винограда.

— Скажу, — прозвенел в наступившей вдруг тишине хрустальный голос Лукашки и стих.

— Говори!

— Скажу спасибо. Спасибо скажу, дед, добрая тебе память. Каждый день буду говорить.

— Верно, — сказал Мичурин, когда волнение на площади улеглось. — Старая, темная, лапотная Россия умерла и не воскреснет. Таков закон природы. Ему подчиняется все живое. Новая жизнь прорвалась к солнцу, к свету, к победе! Я вижу ее. Вижу наши города и села в садах. И в них кроме рябинушки ничего не цвело, зацветут

яблони, груши, абрикосы, персики... Какая будет страна! И все это так просто, абсолютно просто! — Мичурин с удивлением посмотрел вокруг и даже пожал плечами. — Вы понимаете, с каждым днем я все больше и больше удивляюсь, ну как мы могли так жить?!

— Это же как?

— Куда ни глянь — везде вербы, чорт ип подери, ольха, осина. Весь громадный наш север испокон веков цвета не видит! Яблоко — лакомство! Винград — сказочное слово! А мы сделаем советскую Россию яблонево́й, грушево́й, вишнево́й, персиково́й!.. Медово́й!.. Ведь, в сущности говоря, все это так просто. Нужно на каждый двор двадцать саженцев. И всё. И все будем богаты! Вот мой лозунг.

— Позвольте, а с кем вы этот лозунг согласовали, Иван Владимирович? — спросил Мичурина подошедший Рябов в сопровождении профессора Карташева.

— То-есть...

— То-есть, я спрашиваю, с кем вы согласовали ваш лозунг?

— Я его согласовал со здравым смыслом, и вот народ уже начинает понимать, — ответил Мичурин.

— Стало быть, другие лишены этого смысла? — не сдержался Карташев.

Профессору Карташеву показалось, что Мичурин своим ответом унизил перед народом авторитет Рябова. С другой стороны, ему захотелось сделать приятное Рябову, как представителю местной власти. Он только что приехал в Козлов. Подойдя к Мичурину, он тихо, но тем не менее так, чтобы Рябов слышал, сказал:

— Но вы сами ведь понимаете, что ваш лозунг неправильный? Здравствуй-те!

Мичурин нахмурился. Он сразу узнал Карташева, вспомнил его первый приезд в Козлов и все, что в связи с этим говорилось потом в городе, все басни, сплетни, насмешки обывателей из городской управы.

— Повторите, что вы сказали.

— Я сказал: здравствуйте, — смутился Карташев, поняв, что сделал ошибку.

— Нет. Что вы перед этим сказали?

— Я сказал, что существует ведь положение...

— Граждане! Вот перед вами ученый

попуга́й в науке и жизни! — вскрикнул вдруг Мичурин, бледнея от гнева.

— Иван Владимирович! Минуточку! Граждане, — вмешался Рябов, заглушая голос Мичурина и не находя еще нужных громких слов для выхода из внезапно создавшегося положения. — Граждане!

— Ну, знаете ли! За такие слова... Благодарю вас, — несмело возмутился Карташев.

— Можете подавать в суд. Лозунг кулацкий.. Кто бы мне это говорил! Приспособленец! — разъярился вдруг Мичурин.

— Иван Владимирович! Граждане, прошу вас! — волновался Рябов, вскочив на подмости. — Ах, Иван Владимирович, так же нельзя. Зачем это вы?..

— Дорогой мой, не учите меня.

— Да я не учу. Я ведь говорю.

— Вот и помолчите. Вы гражданскую войну кончили? Да? Так вот сейчас она начинается в науке. Понимать надо!

— Ну, Иван Владимирович, ведь профессора прислал вам Наркомзем в помощь, — сказал Рябов тихо, явно желая смягчить неприятный инцидент. — Ведь это же ученый. Он приехал изучать ваш опыт.

— Не верю. Он наблюдать за мной приехал. Ему нужны мои ошибки, а не опыт. Я помню его статьи о моем саде!

— Ну, что вы?

— Это несправедливо! — сказал Карташев.

— Не смею претендовать, — подчеркнуто тихо и отдельно ответил Мичурин. — Справедливость в этом городе, насколько мне помнится, всегда принадлежала вам и попу Христофору. Лозунг кулацкий! Аа!

— Вот срамота, — сокрушенно сказал старик Егор своему внуку Лукашке, который все время глаз не сводил с Мичурина, так поразили его детскую душу удивительные слова его.

Профессор Карташев чувствовал себя уничтоженным. Он с трудом скрывал растерянность, ощущая на себе взгляды толпы, хотя, собственно говоря, и ответить по существу ему было нечего: он сам не верил, что говорил Мичурину. Он просто хотел угодить Рябову, и так неудачно получилось.

— А ведь наш-то ученый, почитай, посурьезней тебя будет, — сказал ему с ехидной назидательностью Егор. — Как он тебя сразу прищучил. Ты ему ручку, а он тебе — раз! Вот и стоишь, поди. Да, он у нас крутой. Он у нас... Ты с ним, брат, осторожно. Виноград видал? Ага... Это, как всю Рассею заведем, тогда не шути... Эй, старик! — обратился вдруг Егор к Мичурину. — Отваливай-ка мне кореньев этих виноградных да яблок покрепче. Давай!

На проселочной дороге, среди березок и еловых порослей, вдоль реки, тихо плетется рыжая лошаденка.

Под веселым весенним солнцем она кажется отлитой из золота и столь приятной, словно приходилась она деду Егору и его внуку Лукашке не конем вовсе, а членом семьи. Они возвращались из города, преисполненные новых мыслей. Егор вертел в руках черенки винограда и упорно думал, у Лукашки была яблонька в руках.

— Учены-то как бранились, — сказал Лукашка.

— Учены, они тоже, вишь, разные. Одни ученые на деньги легки, други на мозоль. Вот и кто куды. Наш-то ученый, — старый Егор тряхнул черенком винограда, — почитай, партийный, а тот нет... Видал, какой важный, да... Вот они и бранятся. Время такое...

— Вырасту, тоже буду ученый, — мечтательно вздохнул Лукашка. — Уж таки винограды разведу...

— Ишь ты.

— Дед!

— Ну?

— Прогони меня из дому. Аль дай я сам убегу, как Ломоносов. Дома-то ничего ведь не высижу.

— И прогоню. Дорога теперь открыта.

— Уж я, дед, таки винограды разведу, таки яблоки...

— Только я те, Лукашка, так скажу... Раньше эти винограды действительно только в песнях намекались, да в сказках... А теперь, вишь, что делается. Этот старик ученой!.. Вот так и ты, как пойдешь, — Егор махнул черенком куда-то вдаль, на всю страну, — учись. Подрастешь, девка ли какая подвернется — гони, учись. Баловство ли како,

водка — учись. Комедии ли как — учись напролом. Понял?

— Уж я-то разведу винограды. Разведу...

Прорастали зеленые травы под добрым солнцем. Была весна в природе и в душах пробудившегося от сна народа. Шумели потоки.

В тысяча девятьсот двадцать втором году в Кремле, на заседании Совета Народных Комиссаров, при обсуждении проблем реконструкции сельского хозяйства страны, о Мичурине вспомнил великий Ленин.

Долгие опыты по получению новых культур растений были признаны имеющими громадное государственное значение. Мичурин был вызван в Москву, в Совнарком, для доклада.

В козловском исполкоме волновались, как никогда, не зная, что делать.

Степан Рябов был бледен и совершенно растерян. Он ходил по кабинету, грозя кулаками воображаемому протизнику:

— Отказался ехать. Вы видели что-нибудь подобное?

— Что вы говорите?

— Факт.

— С ума сойти!

— Ну, знаете!

— Товарищи!

— Подождите, делать-то что? Я устраиваю выставку, пишу докладные записки в Совнарком, чтоб придать этому делу государственный масштаб... Его вызывает Ленин! Этого быть не может!

— Отколол! Вот отколол! Ученый... Я бы таких ученых!..

— Он нездоров! Он болен. Он еле держится на ногах!

— Подождите, подождите, подождите. Тихо! Идет.

Вошел Мичурин. Посмотрев на своих питомцев и руководителей, он сразу понял всю их горечь.

Он, действительно, был болен. Но не только болезнь угнетала его. Его, никогда в жизни не покидавшего своего города, мучил страх внезапной смерти в дороге. Он не был готов к смерти. У него не были закончены исключительной важности опыты, требовавшие необычайного внимания и знания всех пройденных этапов. Он не мог приостано-

вить процесс, а передать наблюдение было еще некому. Все вокруг были так молоды. И, думая вот уже третий день об этой своей драме, о неудавшемся счастье встречи с великим человеком, решая в сотый раз на все лады мучительный вопрос — имеет ли он право рисковать жизнью, поставив под угрозу столь большой труд, он говорил наседавшим на него юнцам что-то совершенно несуразное.

— Иван Владимирович!

— Товарищи, нет.

— Что нет?

— Я знаю, что вы хотите. К Ленину? Нет.

— Но вы сознаете, что говорите?

— Да.

— Ведь он вас ждет!

— Слушайте, не учите меня.

— Но ведь он, Ленин, вас ждет!

— Ничего он не ждет, — сказал Мичурин тихо, словно Ленин был тут же рядом в другой комнате и он, Мичурин, боялся нарушить его покой. — Детское ваше воображение. Вы думаете, ему нечего делать, у него гибриды мои в голове? Ведь страна какая — полмира! Революция! Дышать ему некогда! Как же я появлюсь к нему и буду отнимать у него дорогое время? Что вы понимаете! Ведь он, очевидно, случайно вспомнил и из любезности, как хороший человек, написал: дескать, приезжайте. Понимать же надо. А я так вот и заявлюсь: здравствуйте, тамбовские приехали, гибриды. Ага, вот то-то. Мое дело грядка, а не доклады в Совнарком. Подумать только.. И потом, знаете... Нет, нет... Вот ты лучше, Рябов, сам поезжай в Москву, организуешь доклад в Академии там, для Наркомзема, не дальше, а к Ленину — довольно! Я запрещаю вам!

Был вечер. Он лежал в рабочем своем кабинете среди птиц и растений. Ему стало хуже. Он диктовал письмо. Писал Рябов:

— «Дорогой товарищ Ленин! Я был бы счастлив к вам приехать, но, увы, не приеду я к вам. Я опоздал. Я стар и нездоров, а недоделано так много, что я не в силах уже оторваться. Меня держат мои убогие произведения на грядке вот уже полстолетия. Да и какой я докладчик! Мне суждена грядка, а не трибуна. Будьте здоровы и благополучны. Приезжайте ко мне в сад от-

дохнуть и подумать о будущем человечества. Ваш Мичурин».

Так они и не увиделись.

Зима тысяча девятьсот двадцать четвертого года была снежная и необычайно суровая. Морозы достигали предельной, беспрецедентной лютости. Гуляли вьюги по широким равнинам, замерзали путники в дороге, и птицы падали на лету.

Словно предвестие беды сковало всю нашу землю.

Из прорубей глубоко промерзших рек клубился пар, как дым. Трещали деревья в лесах. Погибали сады. Мичурин лежал больной в занесенном снегом домике. Председатель райземотдела Рябов сам дежурил в питомнике, не выходя всю ночь из лаборатории. Что делать? Как спасти питомник, за который он будет отвечать перед Лениным? Как уберечь мичуринский сад, с которым он сроднился уже, и полюбил его, и вырос в нем духовно за несколько лет, учась и помогая неуживчивому старику во всем решительно, что было в его силах.

— Но ведь в саду морозостойкие гибриды?

— Есть всему предел. Не на эти морозы рассчитаны опыты. Это не мороз. Это бедствие.

— Выдержим.

— Но ожидается дальнейшее понижение температуры. Что делать? Как спасти?

— Зароем в снег поглубже хоть полсотни молодых деревьев и грядку сеянцев. Закроем соломой, чем можно!

— Хозяина спросили?

— Спит.

— Пошли.

— Товарищи, я вас прошу, — волновался Рябов, взяв лопату, — не жалейте сил. Ничего не жалейте. Это надо спасти. Не будем мы коммунисты, если не спасем!

— Степан Михайлович, ты не волнуйся, — сказал Терентий, взяв лопату, как оружие, и плюнув на ладонь: — Жесток мороз, ожесточусь и я.

В Мичуринском саду закипела работа. У молодых, самых драгоценных деревьев работали Рябов, Мешков, Дедушкин, Терентий и человек двенадцать рабочих заваливали деревья снегом.

— Ну и мороз! Огонь!

— Уж подлинно огонь! Таких морозов, почитай, по всему миру не сыщешь, — ворчал Терентий. — Хоть бы ученые что-нибудь придумали, безобразия! Даром деньги получают. Смотри, птица лежит.

Вдруг со стороны дома появился Мичурин. Он спешил, чем-то взволнованный. Таким еще в саду его не видели никогда. Он был без шапки и так бледен, что Рябов испугался.

— Иван Владимирович, что с вами? Кто обещал не выходить на холод?

Мичурин остановился. В руках у него дрожала шапка.

— Снимите шапки Ленин умер!

— Ленин!.. — вырвалось у всех, как стон.

— Ленин, Владимир Ильич Ленин умер в Горках, — сказал он тихо и раздельно.

Все сняли шапки. Терентий перекрестился по русскому обычаю.

Гудели гудки по всей стране, и неисчислимые народные слезы падали градом на осиротевшую советскую землю. Стонали заводы. Остановился, оцепенел на морозе весь мир.

— Ленин! — глухо простонал Мичурин. — За семь лет он принес человечеству больше добра чем все великие люди мира за десять столетий.

— Ленин... Владимир Ильич!.. — тихо затужили Синецын и Рябов. — Товарищи!..

Они молчали долгуго, незабываемую минуту.

— Природа равнодушна к жизни. Вот она отняла кого, Ленина! — Мичурин глубоко вздохнул и посмотрел вокруг на бесконечные снега взглядом, полным гнева. — Война, товарищи, война кругом. Холод и смерть против тепла и разума... Слушайте меня. — Мичурин выпрямился — В честь величайшего бессмертного человека, который вывел нашу страну на первое место в истории, приказываю прекратить работу!

И Мичурин надел шапку. Лицо его стало грозным и жестким, словно он собирался двинуться в бой.

Сподвижники смотрели на него в изумлении.

— Проверим силы на холоде, — сказал Мичурин. — Природа против нас. Пойдем и мы против нее в-открытую

за дело Ленина. Ведь он нас открыл. Проверим же себя — большевики мы или нет. Приказываю предоставить сад морозу!

Пошел снег. Скоро снежная пелена закрыла все, засыпала город, и степь, и сад, и домик в саду.

Наступила весна. Большие опустошения произвели морозы в садовом хозяйстве средней России. Изрядно пострадал и мичуринский сад. Но как бы ни были тяжелы потери, мороз принес Мичурину и открытия. Под одной погибшей от мороза грушей было обнаружено подлинное чудо, совершенно не тронутый морозом живой куст винограда.

Многие виды плодовых гибридов перенесли мороз и расцвели.

В саду кипела работа. Пели девушки на грядках, работали пионеры с граблями и лопатами. Среди цветущих деревьев, украшенных бумажными мешочками, надетыми на опыленные цветы, носились пчелы, весело жужжа.

Мичурин сидел на складном стуле возле небольшого деревца, наклонившись, словно врач над ребенком. В руке у него была лупа. Деревцо было гибрид — новая рябина. Мичурин видел одному лишь ему заметную борьбу генов в новом дереве, полученном из двух, жениха и невесты, которых он «поженил». Он разговаривал с деревцом вслух:

— Бунтуете? Вижу. Ух, как бурлят! Какая потасовка! Ничего, молодожены. Стерпитя — слюбится... Ага. вот уже новый признак свою физиономию показывает. Чудесно. Лет через шесть я вас совсем псмирю. Будете сладкие, крупные. Поедете на север, будете людей веселить. Человеческие детиски будут вам радоваться, красть будут вас, ломать, кушать... Э-э, боже мой, какая красота!..

Мичурин поднял лицо к солнцу и, счастливый, закрыл глаза и улыбнулся, словно видя победное шествие на север своих произведений.

Но вот к берегу причалил баркас. В сад вошла группа молодежи. Среди молодежи — профессор Карташев.

— В этой тиши я провел отшельником два гола, — не без самодовольства сказал он студентам, любясь садом. —

Да. Здесь я очень много работал над критическим освоением и подведением теоретической базы под довольно хаотическое эмпирическое построение Мичурина.

— А кто там болтает глупости?! — послышался вдруг голос Мичурина. — Терентий, кто это там? Не профессор ли Карташев?

— Так точно, Иван Владимирович, — сообщил Терентий.

— Здравствуйте, Иван Владимирович! — смутился Карташев. — Вот и мы.

— Приехали со студентами к нам на практику! — продолжал Терентий и, заметив, что его окружают студенты, сказал им. — Да, практика — большое дело. Товарищ Энгельс в своих писаниях пишет, что одна теория без практики — все равно, что конь без хомута. Вот! — и Терентий приподнял указательный палец.

Студенты засмеялись.

Кое-кто из студентов уже успел снять рубашку. Некоторые уже лениво разлеглись, отчего ландшафт мичуринского сада приобрел некоторый налет пошлости.

Мичурин шел к студентам по садовой дорожке. Ничего могущего порадовать студентов и Карташева не предвещало его приближение. Карташев пошел навстречу.

— Это ваши молодцы? — тихо спросил он Карташева, не сводя глаз со студентов.

— То-есть?

Мичурин подошел к студентам.

— Я Мичурин. Встать! Почему вы со мной не поздоровались? Господин профессор, почему ваши студенты со мной не поздоровались?

— Мы... Я думаю, это их личное дело.

— Нет, это ваше дело. А потом я не верю в искренность вашего ответа. Вы просто приспосабливаетесь к их невоспитанности. Извольте одеться! — приказал Мичурин студентам.

— Что за мелочность, ребята? — удивился вслух веснущатый студент в трусах.

— Я требую внешнего приличия, — сказал Мичурин тихо и раздельно. — Зачем мы игнорируем его? Почему наша новая жизнь вульгаризируется небрежением к учтивости? Когда мы, наконец, поймем, что всякое внешне приличие имеет свое нравственное основание?

— А что вы в нас увидели плохое? Что вы хотите?

— Я хочу, чтобы наш юноша обладал синтезом лучших качеств. Во всех смыслах!

— Но это еще как понимать! — возразил молодой веснущатый студент.

— Что вы сказали?

Мичурин повернулся к Карташеву и, отведя его несколько в сторону, с подчеркнутой вежливой настойчивостью заявил:

— Послушайте, я прошу вас немедленно увезти отсюда этих людей.

— То-есть, как увезти? — удивился Карташев. — Иван Владимирович, но ведь это Наркомзем посылает вам студентов на практику — Последние слова профессор Карташев произнес шопотом.

— Это не студенты. Вы меня мистифицируете. — сказал Мичурин.

— Что вы?

— Да. Я вас знаю давно. Раньше вы вертелись вокруг меня с этим пройдохой Христофором и городским головой, сейчас вы этих вот...

— Простите, — прошептал Карташев, — но это студенты второго курса, Иван Владимирович, ей-богу, нельзя же так, стыдитесь.

И Мичурин снова подошел к студентам.

— Скажите мне, если вы действительно студенты сельскохозяйственной академии, молодые люди, почему в ваших глазах я не вижу радости, удивления, я уже не говорю о благоговении? Вы вот приехали впервые в единственный в своем роде сад, на поле, так сказать, многолетних битв в удивительном мире растений.

— Безобразие! Понимать надо, коль уж в студенты вышли! — крикнул вдруг Терентий.

— Помолчи, профессор.

— Слушаю.

— Почему вы легли, почему вы кушаете, как дачники, почему, я вас спрашиваю? Почему вы не разошлись по саду, если уж я сам для вас не интересен? Подойдите ко мне. — сказал Мичурин, заметив жующего студента.

Студент перестал жевать и подошел.

— Как меня зовут?

— А в чем дело?.. — спросил студент, мысленно проваливаясь сквозь землю.

— Ленин знал мое имя-отчество, а вы не знаете. Потому что вы не талантливы и... ваш профессор тоже не талантлив, да!

Вдруг Мичурин увидел впереди за четвертой или пятой яблоней человека и сразу пошел к нему.

Студент Павел Синецын сидел на корточках возле небольшого странного дерева, глядя то на дерево, то на рисунок в книге. Мичурин подходил к нему сзади быстро и осторожно, как к диковинной птице на дереве, боясь ее спугнуть.

— Здравствуйте, молодой человек. Что вы рассматриваете?

— Здравствуйте, Иван Владимирович. Простите, не удержался. Рассматриваю гибрид черемухи и вишни. Удивительно.

— Что именно?

— Верхние два побѣга длиннее и толщина различная.

— О, тут, знаете, борьба, — сказал Мичурин таким хорошим, ласковым голосом, словно никакой Карташев к нему и не приезжал вовсе.

— Подвою черемухи пять лет, а глазок прививки мы взяли у четырехлетнего дерева. В этой борьбе черемухи с вишней руководит борьбой, стало быть, черемуха. Вот она в верхих сильнее, а внизу одолела вишня, видите.. Пойдите, я где-то вас, кажется, видел?

— И даже не один раз. Здесь я у вас когда-то яблоки крал. Помню, вы меня мерзавцем называли.

— Боже мой!..

— Да... А потом я был в ревкоме здесь. Грамоту вам выдал охранную, именем революции. Помните?

— Голубчик мой, так это вы! Господи, вот старею. Ну вы подумайте, почти каждый день вас вспоминаю. а вот встретил — не узнал. Так вы учитесь?

— Учусь.

— Учитесь, дорогой мой. Тут работы — сказать невозможно Тысячи опытов, десятки лет терпения.

— Иван Владимирович, я терпением запасаю у вас на всю жизнь С той поры, как вы мне сказали, что все это для меня, помните...

— Ну как же... Да! Что ж это мы? Зовите сюда ваших товарищей. Чудные, талантливые ребята. Господа!.. Товарищи, пожалуйте сюда!

Студенты и Карташев стали подходить. Совершенно вдруг изменившийся, добрый, сияющий Мичурин перешел к

соседнему деревцу и, сев на складной стул, с наслаждением посмотрел на молодень, на деревцо, на Карташева:

— Вот, обратите внимание — персик. Сколько лет бьюсь, и никак не выходит. Сотни сеянцев ежегодно, и ни одного морозоустойчивого гибрида. И расщепляется — то на миндаль, то на персик. Подскажите, что делать?

— Но не расщепляться они не могут. Иван Владимирович. Это закон, — сказал Карташев, придав голосу предельную мягкость и сделав при этом такое осторожное движение рукою, словно он расчесывал гриву льва. Тем не менее, лев начал рычать.

— Вы так обставили себя законами, что уже не можете ногою двинуть. Что делать? — спросил Мичурин, обращаясь к студентам.

— Продолжать опыты. Разберемся, — ответил Павел Синецын.

— Объявляю тебя профессором. Вот передаю ему, — Мичурин указал Карташеву на Синецына, — свою неудачу. Вспомните, народ поблагодарит его за северный персик, и вы будете потом подводить научную базу... Не обижайтесь, но ничем помочь не могу.

— Иван Владимирович, я предпочел бы, наконец, объясниться с вами наедине. И вообще прошу не оскорблять меня в присутствии студентов.

— Те-те-те-те-те.

— Прошу вас.

— Виноват. Степан! — обратился Мичурин к Рябову. — Займись со студентами, хорошенько покажи им все по порядку. Я буду занят с Евгением Григорьевичем. Прошу.

Карташев улыбнулся. Мичурин впервые назвал его по имени-отчеству. «Струсил, старый хрен», — подумал он и выпрямился.

Не успели они отойти от студентов и двадцати шагов, как послышался сзади грозный голос Терентия:

— Не расходиться! Куда побрели?!

Мичурин оглянулся. Терентий поучал студентов:

— Нету никакой моральности. Где вы находитесь? В академии чудес Ивана Владимировича. Здесь дышать нельзя, а вам хи-хи, ха-ха!

— Терентий! Поди сюда.. Терентий, я должен тебе сказать, ты совершенно не умеешь разговаривать с людьми.

— Это. я-то? — спросил Терентий,

почтительно остановившись перед Мичуриным.

— Подожди. Во-первых, ты всегда выптываешься не в свой разговор.

— Ну.

— Всех перебиваешь, не даешь человеку закончить мысль.

— Иван Влади...

— Помолчи. Так нельзя. Потом ты хвастлив, да. Хвастлив и груб с людьми.

— Ага, так, так, — поддакивал Терентий, кивая головой с непередаваемой укоризной и посматривая то на Мичурина, то на Карташева.

— Так нельзя с людьми обращаться. Ведь к нам приходят с большими жизненными запросами. Нужно говорить с людьми мягко, деликатно.

— Так, так, ага...

— Что, ага? Зачем ты кричал на студентов?

Тут уж Терентий не выдержал:

— Кто? Я на студентов? Вы кричали! Вы оскорбляли молодежь! Кушанье их вам не нравилось. На вытяжку перед вами не стали. Все вам не нравится! Ученых ругаете...

— Каких ученых?

— Карташева... Вот.

— Слушай, Терентий, и заметь себе раз и навсегда: я в жизни ни одного ученого ни одним словом не обидел... Понял? Никогда!

— А зачем вы меня профессором дразните? — быстро нашелся Терентий, чтоб отвести от Карташева лишнюю колкость.

— Подожди, подожди.

— Нет, уж теперь вы подождите!

— Терентий, не перебивай меня. У меня и так уже стеклянная голова. Да. О чем я говорю? Ага, неужели я ругал студентов? — удивился Мичурин. — Я ведь очень деликатно их встретил. Правда, когда они подошли ко мне целой гурьбой, я сначала немножко, признаться тебе, растерялся. Но потом, когда я овладел собой, я ведь очень деликатно им объяснил... Э-э, Терентий, нельзя, нельзя, иди... Что вы здесь меня подслушиваете?! — затопал он вдруг ногами, заметив ехидную улыбку Карташева.

— Извините.

— Терентий!.. Ай-яй-яй! Что же это я забыл. Ага... Стой! Слушай! Пойди сейчас же на восьмую грядку, восьмую! И снимай щиты, понял? Будьте любезны, прошу вас, — сказал Мичурин

и деликатно подчеркнутым жестом пригласил Карташева на лестницу. — Да, да, чтоб не терять даром времени, я буду заниматься опылением. А вы посмотрите мою стихийную эмпирику, и мы объяснимся.

Мичурин поднял с земли походную сумочку с приборами и полез на лестницу.

Профессору Карташеву пришлось по неволе влезть на другую лестницу. Таким образом, разговор по душам между двумя учеными происходил в самой гуще благоухающих цветов яблони, среди пчелиного жужжания и веселого щебетанья садовых птичек, а где-то в конце сада, на грядках, пели еще и девочки.

Из-за массы цветов они еле различали друг друга, и это помогало им быть открытыми до конца.

Мичурин. — Итак, вы мною недовольны.

Карташев. — Да. Я требую от вас того внешнего приличия, которого вы так добивались от моих студентов.

Мичурин. — Так. Вы уже имеете одно очко. Дальше.

Карташев. — А дальше мы продолжим наш старый спор.

Мичурин. — Я занят.

Карташев. — Иван Владимирович!

Мичурин. — Эмпирическое настроение! Это вы сказали студентам с таким оттенком, словно вы привезли их не ко мне, а к Терентию

Карташев. — Позвольте, когда у нас в академии говорят, что вы талантливый стихийный диалектик и эмпирик...

Мичурин. — А мне плевать, что вы там болтаете обо мне.

Карташев. — Подождите... Я хочу сказать, что я ничего здесь не усматриваю обидного. Вы, действительно, талантливый интуит, эмпирик-дедуктивист.

Мичурин. — А вы канцелярист!

Карташев. — Не оскорбляйте меня, нас могут услышать.

Мичурин. — Не беспокойтесь, здесь только пчелы, но они заняты. Сюда приходило много людей, понимающих дело, понимающих природу. Они шапки снимали в моем саду, а вы студентов привели, похожих на себя, и этого я вам никогда не прощу. Ведь это дети рабочих и крестьян!

Карташев. — А как вы были грубы с ними!

Мичурин. — Неправда! Они мне дороги, и я был с ними строг А вы? Они вам безразличны, поэтому вы с ними «добры» от умственной лени и равнодушия.

Карташев. — Неправда! Они меня любят.

Мичурин. — Чепуха Мою строгость они вспомнят, когда выйдут в жизнь, а не ваш бархатный баритончик.

Карташев. — Вы злы Я никак не думал, что единение с природой так ожесточило вас.

Мичурин. — Не единение, а борьба с природой и с любителями, вроде вас. Чего вы ко мне ездите? Что вас тянет ко мне? Почему меня не тянет в вашу затхлую академическую канцелярию?

Карташев. — Я честно хотел подвести научную базу под ваши...

Мичурин. — Не хочу. У меня есть уже кому подводить это самэе.

Карташев. — Это кто же?

Мичурин. — Мои ученики Вот Мешков, Синецын, Рябов. Их много. Я чувствую их приближение. Подождите, забегаете вы со своими гербариями, хранители мощей природы.. Природа вечна!.. — Передразнил он Карташева.

Карташев. — Я не говорю, что она вечна. Я говорю, она не делает прыжков.

Мичурин. — Пускай не делает. Я за нее сделаю.

Резким движением Мичурин сорвал цветок. — Вы думаете — этот цветок существует вечно? Чепуха. Измените внешние условия, и через тысячу лет эта яблоня превратится в сливу или что-либо другое. Хотите, я изменю его в пять лет? Ага! Вот вы и забегали, — а вдруг выйдет? Выходит. А, может, станет? Разоблачим! Не останавливается. Ну, тогда будем базу подводить научную! Фокусы эмпирика! Но через эти фокусы мир просвечивается по-другому. Страшно вам меня. Я угрожаю вам!

Карташев. — Вы слишком много на себя берете!

Мичурин. — Да. Я интуит. Я, стихийный продолжатель Дарвина и Тимирязева, взял на себя много. Я не любитель природы, не обожатель. Я деспот, творец! Все! Диспут окончен.

Карташев. — Позвольте!..

Мичурин. — Неинтересно. Неинтересно. Раньше, до революции вы были, во всяком случае, определеннее...

Карташев. — Ну, благодарю вас.

Я думал, что мы будем говорить как ученый с ученым. А все то, что вы мне сказали, и вся ваша запальчивость и сектантская нетерпимость, Иван Владимирович, игнорирующая всякие научные мнения...

Мичурин. — Не всякие!

Карташев. — ...к сожалению, лишний раз говорят мне, что все ваши гениальные эксперименты — вы, конечно, гениальны...

Мичурин. — Оставьте меня, пожалуйста... Слезайте!

Карташев. — Не грубите, не смейте!

Мичурин. — Пошел к чорту!

Карташев. — Не кричите, нас могут услышать! Что вы делаете? Ну, перестаньте, ей-богу!

Мичурин. — Слезайте! Или я вам голову обломаю этой веткой...

Карташев. — Ай! Меня укусила пчела!

Мичурин. — Болтовни захотелось среди цветов, а я веду здесь гражданскую войну! Слезайте с лестницы!.. Из-за вас я забыл проверить... Терентий!

— Я здесь, — тихо сказал Терентий.

Ученые глянули вниз и онемели. Все студенты, Мешков и Терентий, оказывается, давно уже сидели под деревом, не смея пошевелиться, чтоб не нарушить разговора Многие студенты записывали. Павел Синецын сидел с широко раскрытыми глазами, как на необычайном мировом процессе.

— Вам что здесь надо? — грозно спросил Мичурин, слезая с лестницы. Вдруг он почувствовал приступ страшной физической слабости. Он елс держался на ногах.

— Мы, Иван Владимирович, пришли вам сказать, — обратилась к нему от имени всех студентов скромная студентка Наташа Жукова, — что мы вас очень любим и уважаем, только мы, когда пришли в сад, сразу смутились, испугались вас и не знали...

— Ага, я понимаю, — жалостно улыбнулся Мичурин. — Я тоже. Когда вы стали было меня окружать, я, знаете, оробел и это.. и рассердился.

— Так вы нас простите?

— Что вы? Вы меня простите. Мы вот с Евгением Григорьевичем много о вас говорили. Прекрасный человек ваш профессор. Правда, он меня здесь сильно пробрал. Вы слышали? Но я не обижаюсь. Что верно, то верно. Отстал немно-

го по теоретической линии. Спасибо, Евгений Григорьевич! Извините меня, если вообще что-нибудь не так сказал. Вся жизнь ведь на грядке...

— Нет, Иван Владимирович, я виноват перед вами, — сказал вдруг Карташев, поняв что-то самое главное, что мешало ему приблизиться к этому человеку.

Мичурин взглянул на Карташева и тоже понял, что пришел конец нетерпимости.

— Я виноват, — повторил взволнованный Карташев, прикрывая рукою распухающий глаз.

— Пожалуй, что нет, — грустно сказал Мичурин и повернулся к студентам: — Прошу вас, пойдите вон туда. Степан, проводи студентов. Там вы увидите три яблоки, три чуда, которых я не променяю ни на что на свете.

— Такие вкусные яблоки? — восторженно спросила Наташа Жукова.

— Нет. Пока обыкновенные. Но они уже вызревают за пятьдесят восьмым градусом северной широты... Да, так пожалуй, что нет, Евгений Григорьевич...

— Иван Владимирович, я...

— Подождите. Вы всегда меня перебиваете. Что это я хотел сказать? Ага... Фу ты, боже мой... Терентий! Попроси ко мне назад студентов!

Подожли студенты.

— Послушайте меня. Когда я говорю: я сделал чудо — обычно думают, что я впадаю в бахвальство или саморекламу. Эта ошибка происходит у людей, чтоб вы знали, от отсутствия живого воображения и от неумения мыслить большими категориями. Я повторяю: вы увидите три чуда. Закройте глаза.

Тут Мичурин сам закрыл глаза и широко жестом руки прошелся по воображаемой необъятной карте родины:

— Представьте карту России. Проведите линии — пятьсот километров вот так вот снизу вверх и несколько тысяч слева направо, на восток. Подумайте, сколько миллионов детей никогда не видели там цвета плодовых. Прикиньте километры, тонны, столетия, радость миллионов, добро! Идите.

Студенты тихо ушли. Мичурин долго смотрел им вслед.

Ученые остались одни.

— Послушайте меня, — тихо и как-то грустно сказал Мичурин, обратившись к Карташеву, — То, что я вам сказал се-

годня вот там среди цветов, это все. Последний мой гнев. Последние, так сказать, крошки. Простите меня. Старость. Чувствую, что добрею с каждым днем.

— Но вы меня поняли? — сказал растроганный Карташев. — Очень трудно сразу соглашаться. Ведь я не студентом пришел к вам, а со своей громадной законченной картиной мира.

— Ну, знаете, я бы не сказал.

— Извините. Но я пришел. Вы покорили меня, и я благодарю вас.

— Спасибо. Но вы, Евгений Григорьевич, тоже меня поняли? Я ведь вначале криком неуверенность свою прикрывал. Потом привык. Потом не успел оглянуться — сады цветут, а жизнь прошла.

— Иван Владимирович, — сказал взволнованно вдруг подошедший Рябев. — К вам приехал председатель ВЦИК'а Калинин Михаил Иванович.

— Что вы говорите?!

— Факт. Вон уже идет.

— Боже мой!.. Ну что же это?.. Слушайте! Что вы со мной делаете?!

Они шли по садовой дорожке навстречу друг другу — президент юной земли Советов и ученый земли, всматриваясь издали друг в друга и сдерживая сложнейшее душевное волнение, сопровождающее редкие встречи личностей исключительных. Сады цвели в таком, казалось, восторге, как никогда. Пели птицы, прославляя весну, и девушки-опылительницы перекинулись с птицами на своих высоких лестницах среди благоухающих ветвей, помогая цветам совершать сокровенные свои деяния по разумной воле человека — творца во имя лучшего.

Природа прекрасна. Она не знает бесвкусицы ни в сочетаниях цветов, ни форм. Нет в ней ни места, ни времени, когда бы земля не гармонировала с небом или вода с землей. Нет некрасивого дерева, и цветов некрасивых нет и не будет. И как бы ни царил в природе анархия случайностей, как бы ни была она инертна и неподатлива к усилиям человека, она всегда будет дорога ему. А степень любования извечной ее красотой всегда будет отличать природы талантливые, возвышенные, как благодарность человеческой души за обилие даров при счастливом рождении. И сколько будет стоять мир, даже когда человеческий гений познает и подчинит себе

все ее тайны, и тогда не станет она менее прекрасной, и никогда не иссякнет поток благородной радости от созерцания и овладения ею. Наоборот, поток будет глубже, шире и чище. Какие рощи, заросли, дремучие леса — что может сравниться в красоте с цветущим, возделанным рукою человека садом?!

Расцвел мичуринский сад. Все восемьсот видов и разновидностей плодовых, ягодных, огородных, декоративных растений, собранных из Северной Дакоты, Канады, Японии, Маньчжурии, Кореи, Китая, Тибета, Персии, Индонезии, Балкан, Франции, Англии и необъятного советского великого Союза республик, — все сорок пять сортов яблонь, двадцать сортов груш, тринадцать сортов вишен, пятнадцать сортов слив, все, какие ни на есть в мире крыжовники, земляники, актинидии, рябины, орехи, абрикосы, миндали, айвы, виноград, малины, дыни, розы, томаты, лилии, табаки — все, что было и чего не было до сих пор на земле, все слилось в одну удивительную цветущую семью в этом удивительном саду.

— Удивительно! Вот точно таким я вас себе и представлял, — сказал Михаил Иванович Калинин, протягивая издали руку. — Здравствуйте, Иван Владимирович!

— Здравствуйте, Михаил Иванович! Вы тоже совершенно такой, каким я вас себе представлял.

— Какая благодать, — сказал Михаил Иванович, радостно оглядывая сад. — Вот прошел по одной дорожке, и уже десять лет с плеч долой. Как радостно!..

— И радостно, и порою очень грустно.

— Ну что вы?

— Да! Поспешил родиться, Михаил Иванович. Только сейчас глаза раскрылись, а день повечерел.

— Иван Владимирович, не клеветите на себя. Что вы? Ведь все сейчас только начинается.

— Вот поэтому и грустно. Природа, Михаил Иванович, так же, как и общество, пребывает, к сожалению, пока в очень черновом чертеже.

— Это правда, но зато как радостно знать, что перестройка человеческого общества и перестройка природы, глубоко скрытых ее основ, началась именно в нашей стране, — сказал Михаил Иванович, всматриваясь в Мичуринскими своими

добрыми крестьянскими глазами. — Владимир Ильич часто вспоминал о вас.

— Что вы говорите?

— Да. Как жаль, что он не мог посетить ваш сад, какой бы это был для него источник вдохновения!

При упоминании имени Ленина Мичурин снял шляпу и какое-то мгновение словно отсутствовал.

— Да, — сказал он тихо, в раздумье, — перед его величием склонились не только люди, но и природа. Она впала тогда в леденящее отчаяние. Птицы замерзли на лету и людские слезы...

Мичурин показал Михаилу Ивановичу все свои достижения, все образцы новых деревьев, все смелые начинания, объясняя попутно сложнейшую многодесятилетнюю методику работ и раскрывая перед ним удивительные биографии и судьбы отдельных деревьев. Увлекаясь пересмотром своего сложного творческого пути, Мичурин так увлек Михаила Ивановича, что они забыли о чае, обеде и даже ужине, не замечали назойливых вездесущих фотографов, не слышали почтительных и робких приглашений отдохнуть и подкрепиться.

Их видели в тесной паре, наклонившихся друг к другу, на всех дорожках, грядках, на берегу реки, среди молодых деревьев. Иногда они ходили быстро, увлеченные движением высоких мыслей. Иногда садились на ветхую садовую скамью и говорили тихо, как будто в руках у них была живая модель земного шара и они рассматривали в лупу все его несовершенства. Они мечтали о добре.

— Вы правы, Иван Владимирович, — говорил Калинин, — вы совершенно правы. Наша родина должна превратиться в социалистический сад.

— И она будет садом!

— Это не фантазия.

— Нет.

— Это все в наших руках.

— Факт. Безусловно. Безусловно.

— К большому только сожалению, многие люди, в том числе и многие наши ответственные работники, не понимают зачастую природы числа, как бы вам сказать. Не научились еще мыслить большими категориями.

— Понимаю.

— Это, очевидно, в природе человека такая инерция мышления.

— К сожалению, да.

— Скажем, тысячу чего-либо человек уже плохо видит конкретно, а уже миллион, десять миллионов...

— Вот, вот, вот. Туман.

— Совершенно верно. Нечто неестественное, отвлеченное. Но в самом деле, представим себе, что каждый наш земледелец вырастил два плодовых дерева...

— О, Михаил Иванович!

— Одно для себя, другое для воображаемого городского товарища, лишнего счастья возделывания земли. Это значит 200.000.000 фруктовых деревьев.

— Через пятнадцать лет это полмиллиарда.

— Это проблема питания...

— Питания, пейзажа, климата!

— Мало того, а какая красота, — сказал Михаил Иванович. — Я представляю себе, как расцветут лучшие качества нашего народа при нашем воспитании в этой обстановке.

— О! Удивительно.

— Какое большое дело вы делаете, Иван Владимирович! Как смягчатся, облагородятся нравы, характеры, манеры.

— Да, понимаю. Так вот посмотришь, бывало, кругом — ивы, осины или фруктовая дичь, копейка цена. Подумать только! Позор и недоразумение.

— Да. Кстати, мне передавали ваше мнение об орехе. Это очень интересно и совершенно неожиданно.

— Я абсолютно убежден, Михаил Иванович, что хлеб будущего — это не только пшеница.

— Что же вы имеете в виду?

— Орех. Я имею в виду один американский сорт. Поразительное дерево, — оживился Мичурин.

— Ну-ну...

Они стояли перед этим деревом.

— Создать рощи таких деревьев от самого нашего юга до Москвы по всем географическим долготам, вы представляете себе...

— Все понятно. Это значит дать богатейший многолетний даровой продукт. Собирай и живи.

— Да, Михаил Иванович, и это будет!

— Будет. Будет.

— Да! Не будет уже нас с вами в живых, но это будет. Я сделаю этот орех... Я реконструирую его для нашей среды.

Жаль, что я поздно прочел Дарвина и Тимирязева и много лет убил на ошибки... Что бы уже было!

— Ничего, Иван Владимирович, мы всё вам дадим, правительство, решительно все, — тихо, но убежденно сказал Калинин, — вы только скажите, что вам надо.

— Пятьдесят лет жизни, — улыбнулся Мичурин, немного помолчав.

— Нет, — тихо сказал Михаил Иванович. — Этого, к сожалению...

— Знаю.

— Не имеем сами.

— Знаю.

— Мы умрем так же, как и вы.

— Преждевременно.

— Да. Но я уверен, что именно благодаря вам наши внуки по-другому будут разговаривать на эту тему. Это фаустовская вечная тема. И вы ее решаете, поверьте мне.

— Верю. Мы с вами ее решаем.

Вдруг вдалеке на садовой дорожке появились две беспокойные фигуры.

— Ой! Уйдем отсюда скорее. Фотографы!

— О, господи. Сюда, за куст. Михаил Иванович, ложитесь.

— А, несчастье. Вот наказание!

— Ушли... Да. Странный у меня характер, Михаил Иванович.

— Вы не любите сниматься? Я тоже.

— Терпеть не могу. Снимут тебя и как нарочно все морщины выпячивают. Да. О чем это я? Ага. Я всю свою жизнь как-то, ну, как бы вам сказать...

— Ну...

— К чему бы я ни прикоснулся, я всегда вижу, как это можно улучшить.

— Понятно.

— Всю жизнь. И всю жизнь я совершенствовал вокруг себя все, к чему я прикасался. И поэтому со мной людям неприятно, беспокойно как-то. Вам не кажется? Вы не заметили этого?

— Нет, что вы, нет. Наоборот, — сказал Михаил Иванович.

Они помолчали. Послышалась песня. В цветущем саду пели девушки.

Группа студентов стояла у берега реки. Они думали.

— Слушайте, — сказал один студент. — Сегодня мы вели себя, как дураки. Возражения есть?

— Нет.

— Но этот день уже стал началом нашей жизни.

— Понятно. Из этого сада мы все равно уйдем профессорами на север, и на восток, и на запад, все до одного.

— Да.

Потом они запели.

— Как хорошо поют, — тихо вздохнул Калинин.

— Это студенты со студентками... Чудесные ребята. Не знаю, жил бы еще сто лет для них, не слезая с грядки, — сказал Мичурин.

— Да, великое, великое дело. Владимир Ильич говорил: будут праздники цветов, цветения, и праздники плодов. В социалистическом саду сомкнется полный цикл человеческой жизни — и благородное трудовое воспитание ребенка, и отрадное, по мере сил, трудовое бытие старости.

— Великая мысль, — сказал Мичурин. — Я тоже думаю об этом десятки лет.

Была уже ночь. Залитые лунным светом деревья стояли в цвету, как невесты в ожидании женихов. Пели соловьи в кустах. Тихо протекала Воронеж-река. А над рекою разносились широкие русские песни.

Они просидели на скамье всю ночь, А утром, прощаясь, Михаил Иванович сказал:

— Мне приятно подарить вам этот резной шкаф. Не примите это за акт благоволения лица власти.

— Спасибо. Ну что вы? Я буду хранить в нем семена.

— Это просто мое искреннее желание хоть чем-нибудь подчеркнуть уважение и симпатию к вам. Будьте здоровы.

Нужно было свершиться Великой Октябрьской революции, чтобы Мичурин, после сорока с лишним лет прозябания, стал наконец известен широким народным кругам. В этой области Октябрь совершил такое же чудо, как и в других: за какие-нибудь пять лет в Козлове пребывал весь садоводческий Советский Союз.

Садоводы-одиночки и целые делегации садоводов Урала, старые, молодые, начальники политотделов, комсомольцы, селекционеры Америки, Англии, Голландии, журналисты — множество народа потянулось к Мичурину.

С тех пор, как великий Ленин в 1922 году потребовал в Совнаркоме доклад о деятельности Мичурина, карта распро-

странения мичуринских растений совершенно изменилась. Делу был придан невиданный размах. Чикаго — Квебек — Вашингтон — Томск — Омск — Самара — Пятигорск — Ереван — Украина — Забайкалье — Дальний Восток — Маньчжурия — Персия — Алтай — Франция! Посылались экспедиции за новыми растениями, организовывался научно-исследовательский институт в Козлове, появились научные сотрудники, профессора, селекционеры, генетики, биологи, ботаники, морфологи, систематики, агрохимики, почвоведы. Город Козлов становился мировым центром передового садоводства.

Иван Владимирович не страдал уже от одиночества. Его замучили экскурсанты.

Встречи, экскурсии, интервью:

— Скажите, господин Мичурин...

— Простите, кто вы?

— Я голландский садовод и писатель. Я объехал весь мир. Я ничего подобного не видел. Откуда у вас все это?

— Не знаю. Я сидел всю жизнь на грядке и смотрел вниз.

— Но ведь многие смотрят вниз.

— Да, только одни видят лужи, другие — звезды. Это как кому.

— Как хорошо вы сказали.

— Что касается меня, я так «этого» сильно хотел, так жаждал, что оно само постепенно стало являться ко мне в снах.

— Я вас понимаю, — сказал писатель.

— Да. Только сны эти очень трудно было зарабатывать. Бывало, один сон за десять лет, а то и меньше. Вся жизнь на грядке, как циркач на проволоке.

Окруженный детьми, позировал художнице:

— Как вы смотрите на искусство?

— Вы художница?

— Да.

— Я бы хотел, чтобы люди останавливались перед талантливыми растениями с таким же затаенным дыханием, как перед знаменитыми картинами и статуями.

— Какова ваша цель жизни? Ваше заветное желание?

— Вы авиатор?

— Да. Я перелетел через полюс.

— Я бы хотел, чтобы люди останавливались перед лучшими растениями в таком же гордом восторге, как перед вашей машиной.

Приходили к нему гордые агрономы-экспериментаторы.

— Какая проблема перед вами главная, конечная?

— Конечная? О конечной проблеме я еще только догадываюсь. Кто вы?

— Я доктор агрономических наук.

— А я фельдшер.

— Простите.

— Прощаю. Для меня уже дело не в личном решении главной проблемы. Нехватило жизни. Я размахнулся не по годам. Но мечта осталась... Я бы хотел, чтоб в социалистическом нашем государстве были созданы плоды, мякоть которых содержала бы в себе решительно все химические вещества, необходимые для человека. Тот, кто это сделает, будет велик.

— Почему птицы сядят на плечи?

— Они охраняют меня от кабинетных ученых.

— Скажите, как быть? Не вышло.

— Откуда?

— Магнитогорские. Не получается, Иван Владимирович. Все ваши морозостойкие сорта, оказывается, вот, труба!

— Где, на Урале? Ну, конечно, померзнут. Ваше дело трудное и длительное. Думаете, привезли мичуринских, посадили, и уже в саду? Нет. Нужно там, на месте, выводить новые сорта на основе моего метода. Это Урал!

Когда подходила к нему экскурсия учителей, он вдруг заволновался и громко сказал:

— Идите скорее! Почему вы опаздываете? Я жду вас столетия.

— Что нам делать? — тихо спросили подошедшие.

— Обучайте детей садоводству во всех школах страны так же, как обучаете их родному языку и арифметике. Исцелите людей от древобоязни, древоненавистничества и равнодушия. Украсится мир.

— Вы писали как-то, что среди цветущих деревьев человек не может быть

грубым и злым, не может убить человек человека.

— Это был афоризм. Я сам долгие годы мечтал среди цветов об убийстве одного профессора, ну дело, правда, обходилось больше руганью.

— А сейчас?

— Это вы его спросите. Вот он там работает, — Мичурин указал на профессора Карташева, склонившегося с лупой над гербарием. — Оба мы уже постарели и подобрели.

— Я хочу вывести многолетнюю пшеницу.

— Попробуйте скрестить пшеницу с пыреем. Хотя я все же думаю, что хлеб будущего — не пшеница, а орех. Когда человечество это поймет, кончится проклятие Адама — «в поте лица добывать хлеб свой».

— Товарищи экскурсанты! Сейчас выйдет величайший садовод мира Иван Владимирович Мичурин. Убедительная просьба не кушать в его присутствии яблок. Он не может этого видеть!

— Вот те и на!

— Это его оскорбляет.

— А чего оскорбляться-то? Развел фрукты...

— Тише, ребята...

— Вообще, у кого какие фрукты на руках, лучше спрятать... Вот он идет. Товарищи, очень прошу вас, помните, потом будете кушать сколько угодно.

Приходили к нему репортеры.

— Скажите, а зачем у вас иконы? И птицы в клетках?

— Они мне не мешают.

— Но это пережитки варварства.

— Нет, это пережитки детства.

— Уверяю вас, варварства.

— Возможно. Отсутствие учтивости — тоже пережиток варварства, а вот живем и терпим.

— Почему вы ненавидите, когда в вашем присутствии кушают яблоки? Объясните.

— Это необъяснимо.

— А что вы скажете о нас?

— О ком это?

— Колхозники мы.

— Я думаю, что в истории земледелия всех времен и народов вы — самое

поразительное явление нового. Жизнь земледельца стала полна общего смысла и перспектив. Все растения и животные преклонятся перед нами.

— Дайте указание.

— Пусть каждый в стране вырастит по одному плодovому дереву. Лучше по два. Одно для себя. Другое для неизвестного друга, лишенного счастья возделывания земли.

— Слушайте, ради бога, уберите от меня эти экскурсии! Жить не могу, ни работать, ни думать, ничего не могу! Когда это кончится?.. И откуда они только берутся, боже мой!

— Здравствуйте, Иван Владимирович!

— Здравствуйте. Очень приятно!

— Привет вам от наших краев...

— Премного благодарен. Заходите, пожалуйста.

— Не помешаем?

— Нет, что вы? Как раз во-время пришли... и т. д.

— Дорогой Иван Владимирович! Скажи нам что-нибудь такое, что бы мы могли передать детям солнечной Грузии, как твою мудрую заповедь.

— Передайте детям, что русский народ обижен.

— Чем??? — вскрикнули представители виноградных республик, готовые броситься на воображаемого обидчика.

— Морозами.

— Ах!!!

— Русский народ хочет иметь виноград.

— Русский народ может быть спокоен. Мы, как братья, разделим с ним свое вино. Мы снабдим вином всю Россию!

— Весь Советский Союз!

— Приятно и радостно пить братское вино, — сказал Мичурин, — но еще радостней возделывать свой виноградник.

— Но виноград — это не яблоня. Наши мусульмане в Аджарии говорят: виноград это пища Аллаха. А Аллах, к сожалению, там, где теплее.

— Это заблуждение. Поставьте на стол наш русский виноград. Все десять сортов!

И когда поставили на стол десять полных корзин винограда, добродушные горцы онемели от восторга.

Тогда он сказал:

— Смотрите и расскажите детям: пока это только модели. Но они выдержали уже сорок градусов мороза. И когда модели пойдут в производство по всем колхозам России, опьянеет мир и возселится.

Все радовались и пели. Птицы перестали бояться людей и клевали ягоды из полных корзин посреди стола.

Долгая жизнь среди природы, привычка к уединению, к созерцанию, несомненно, влияют на человека, придавая ему черты, несвойственные жителю шумного города с его динамическим напряженным пульсом жизни и с особым состоянием всегда возбужденных нервов. Жители больших городов кажутся ярче, духовно свежее, но самые долголетние люди — садовники и пчеловоды.

— Иван... — послышался тихий призыв.

Мичурин остановился. Что за голос? Кто позвал его? Мичурин начал оглядываться и увидел невдалеке под деревом Терентия. Он лежал среди собранных яблок, какой-то совершенно, казалось, иной, прозрачный. Он чем-то напоминал давно созревший, отвалившийся, высушенный плод.

— Иван, подойди ко мне.

Мичурин понял, что Терентий умирает. Он в первый раз назвал его на «ты» и без отчества. Не спеша, чтобы не выдать охватившего его волнения и не нарушить тишины, Мичурин подошел к Терентию.

Они были оба так стары, что уже трудно было различить, кто из них ученый, кто чернорабочий. Время, казалось, стерло с них все подробности бытовых различий, оставив лишь то общее, то человеческое, главное, что зарабатывается долгими трудами во имя добра к самому концу жизни.

— Что, Терентий?

— Умираю. Сложи мне руки, брат.

Мичурин опустился перед Терентием на колени и, сложив на груди рабочие его руки, наклонился над ним.

— Спасибо.

— И тебе спасибо.

— Ну, Иван, поработали. Пора, — сказал Терентий сильно ослабевшим голосом. — Прощаю тебе все, и ты прости меня. Ты никогда не давал мне говорить, но я был счастлив с тобою всю жизнь. Сколько я посадил, вырастил... радости. Сколько земли перебрал. — Терентий

пошевелил высохшими, похожими на корни, пальцами. — Сколько саженцев, цветов да плодов земных. Прощай... Земля есмь и отхожу в землю.

Последних слов уже не было слышно. Это были уже не слова, а последние чувства в угасающей его душе.

Мичурин поцеловал Терентию руку и поднялся.

— Евгений Григорьевич, — обратился он к подошедшим Карташеву и ученикам. — Попрощайтесь. Умер неосуществленный русский ученый, заслуженный деятель наук — Терентий, мой друг.

В сентябре 1934 года вся страна праздновала юбилей восьмидесятилетия жизни и шестидесятилетия творчества Мичурина. Свыше тысячи колхозников всех братских республик приехали чествовать героя труда. Рабочие и колхозники города устроили в честь него торжественную демонстрацию. Правительство присвоило ему звание заслуженного деятеля науки и родной его город Козлов переименовало в Мичуринск.

Об этом ему сообщили с искренней сыновней радостью Рябов, Синицын, Жуков и председатель исполкома — молодой Мешков.

— Одевайтесь скорее, Иван Владимирович, — радовались его ученики, как дети. — Народу! Полный театр.

— И вся площадь. Такого еще никогда не было в нашем городе.

— Город переименовали вашим именем!

— Скорее!

— Мичуринск. Город Мичуринск! Столица русского садоводства! — повторял Павел Синицын. — Иван Владимирович, я счастлив. Ну, я поехал. Скорее... Ждем!

Мичурин улыбался:

— Интересно... Мичуринск, говорит? Что ж это? Ну ладно... Спасибо, то-есть... Пойду, обязательно пойду посмотрю, что за город такой... Никогда не бывал. Запущенный, очевидно, дрянь городишко?

— Что вы! Чудесный город! — волновались ученики. — Мы счастливы, что вы, Иван Владимирович, дожили до такого почета.

— Мы поняли, что такое счастье!

— Да? — машинально ответил Мичурин, завязывая перед зеркалом галстук и всматриваясь в глубокие следы вре-

мени на своем лице.

— Господи, как я ненавижу эти морщины! — подумал он вслух и тяжело вздохнул. — Как это некрасиво... Ужасно. Все бы отдал — академию, звания и город самый лучший в мире, не то что Козлов, и почет весь, и ордена. Эту всю суету. Лишь вернуть бы мне хоть пятнадцать коней вороных... Нет. Умчались из сада лета и никогда уже... А сколько осталось незаконченного, сколько совсем непонятого. Так Мичуринск, говорите? Пусть будет.

Потом он вышел в сад, остановился возле фиалковой лилии и снял шляпу.

— Ну, Саша, вот мы с тобой и пошли.

Мичурин сорвал лилию и поместил ее в петлице сюртука.

Ему не хотелось ехать. Он пошел пешком по городу. За ним на почтительном расстоянии шли люди. Впереди людей машина «Газик». Только веселый рой мальчишек вился около самого Мичурина.

Вот он прошел одну улицу, другую, взволнованный и задумчивый. С изумлением глядели на него люди, так недавно, казалось, питавшие к нему равнодушие.

Заврайземотдела со своим заместителем и Рябов шли рядом с «Газиком». «Газиком» правил оскорбленный шофер, давно ненавидевший Мичурина за нежелание пользоваться машиной. Рябов тоже чувствовал себя не в своей тарелке: он опаздывал. Прогулка Мичурина угнетала его, как прихоть неуживчивого старика. Он посмотрел на часы.

— Ой!.. Великий человек, но до чего же... Уже опоздали.

— Говорят, знаменитые люди все такие. Нету дисциплины, понимаешь?

— Ну что ты поделаешь!

Мичурин шел точно в первый раз по городу. Он посматривал по сторонам и не отвечал на поклоны людей. Он их не видел. В этот заветный свой час он видел всю страну, мир. Он снова явственно ощутил себя на земном шаре, как давно когда-то после отъезда американцев, только чувства иные волновали его гордую душу.

— Мичуринск... шестьдесят лет... О, русская земля.. Спасибо, спасибо вам всем, всем, всем..

Вдруг, как на зло, впереди перед до-

миком двое мальчишек нагнули и слома-ли дерево

— Пусти дерево! Пусти! Сорванец!

Мичурин бросился к мальчишкам. Мальчишки убежали. Один из них прыгнул в окно ближайшего домика. Подбежав к дереву, Мичурин вынул секатор и начал подрезывать сломанные ветки. В открытом окне появилась пара, повидимому, муж и жена.

— Безобразиие! — закричал Мичурин.—Куда смотрите? Деревья калечат!

— А тебе что, жалко? На то оно дите! Раскудахтался, — заявили родители.

— Варвары! Чей это? Говори, чей это?

— Тебе-то какое дело? Чего пристаешь к детям?

— Я спрашиваю, чей это мерзавец?

— Можешь не спрашивать, наказывать не будем. Наше дитё, что хочет, то и делает. — сорвалась вдруг как с цепи мамаша. — Подумаешь, хозяин нашелся!

— Вон! Вон отсюда! — вскричал Мичурин.—Вон из моего города!

— Из какого это твоего? Вы смотрите, уже город его!

— Помещик объявился!

— Граждане! Забейте двери и окна и сожгите это страшное гнездо!!! Я вам приказываю! — повелительно взмахнул Мичурин деревянным своим жезлом, трясаясь от оскорбления и гнева. Эта чудовищная символика тысячелетней косности вызвала в нем взрыв такого страдания, что он был близок к смерти. Но этого никто не видел и не понимал, кроме одного, может быть, Рябова. На глазах его показались слезы.— Рябов! Я приказываю вам уничтожить этот дом! Он не нужен в моем городе!

Папаша. — Ты с ума сошел! Граждане, призываю в свидетели!

Мамаша. — Спаси-тите!

Рябов — Успокойтесь! Товарищи, спокойствие! Иван Владимирович, ну что вы, право!

Мичурин. — Я отказываюсь от этого города! Слышите? Я никуда не пойду! Никуда не пойду! Не пойду!

Рябов — Иван Владимирович, успокойтесь. Актив ждет. Делегации приехали. Что вы делаете?

Мичурин. — Не желаю!

В это время подлетел новый «Газик». В одно мгновение из него выскочили три фоторепортера и, бросившись к Мичурину, завертелись вокруг него с

такой быстротой, что Мичурин невольно застыл, не зная, что делать. И, так как все вокруг внезапно притихло, Мичурин почувствовал, что он позирует, и это еще больше смутило его и обезоружило.

Когда Мичурин появился в президиуме на сцене городского театра, весь зрительный зал забушевал такими овациями, какие не снились никогда самым великим артистам.

Громкое, тысячеголосое ура, несмолкаемые аплодисменты, музыка, радостные возгласы, полные благодарности и трогательного почтения, потрясли театр.

Словно на чрезвычайный съезд советов или на торжественный международный праздник, сюда съехались представители всех братских республик, всех академий, садоводы всех областей: дальневосточные, сибирские, алтайские, уральские, волжские, ивановские, сталинградские, закавказские, украинские — старые, и молодые и совсем юные, мужчины и девушки, огородники, ягодницы в ярких нарядных костюмах, сами похожие на цветы и плоды.

И когда прибыла приветственная телеграмма от товарища Сталина, все загремело с удвоенной силой, все встало и сорадовалось триумфу ученого глубокой всенародной радостью. И когда ошеломленный и страшно вдруг обессилевший Мичурин сел в кресло, зал долго еще не мог угомониться, долго еще выкрикивали ему славу молодые голоса на всех языках

Великий преобразователь природы сидел за торжественным столом, отдельный от всех. Он выпил из терпкой чаши признания поздно, на самом закате преклонных своих лет, и сидел уже среди потомков, очищенный от гордости, тщеславия, соревнования и ненависти к своим противникам, которых он ненавидел всю жизнь ненавистью страстной, неугасимой, забывая в силу этой великой страстности своей природы, что противники зачастую были всего лишь навсего ограниченными недаровитыми людьми. Природа не дала ему спокойствия великана-дуба, что тихо и величаво господствует своей высокой кроной над лесом ясеней, осин, кленов и яворов, мечтательных и гихих, задумчивых верб.

Он был яростным львом среди без-

мятежных стад, орлом в клетке, полководцем без армии. Долгие годы пожирала его ясность завоевательской цели, но величие триумфа победы, предугаданной его гением, раздирало его душу своей почти сказочной отдаленностью и полстолетия придавало ему вид маньяка.

И вот, наконец, он увидел свою армию. Она пришла, примчалась, прилетела к нему, многочисленная, молодая, пылающая страстью наступления. Она одержала уже ряд блистательных побед в небольших стычках с противником и, приветствуя своего полководца, сверкала радостью, мня себя уже у вершины завоеваний. Но, как и почти все дорогое в жизни, армия пришла слишком поздно. Не ему уже вести ее в походы, не ему громить противника с академических трибун. Изберут борцы других, уже менее опытных, но крепких духом командиров и пойдут в великий поход на природу, унося с собой, быть может, одно лишь его имя. Для завершения похода нехватало всего лишь навсего пятидесяти лет.

Мичурин сидел задумчивый, равнодушный к приветствиям. На престарелом его лице не сияла радость, и победный огонь не блистал в усталых глазах. Мудрая грусть завершения жизни, которой, увы, хватило лишь только на то, чтоб приоткрыть узенькую щелочку в тайны природы, тихая печаль угасания окутала его своими сумерками. На минуту он закрыл глаза, и морщины, глубоко всплававшие вдоль и поперек его лицо, вдруг напряглись и скрестились одна с другой, словно победы с ошибками, и никому уже не прочесть было, как и когда и отчего легла морщина, какая лучше или хуже. Все были одинаково трудны, все привели к торжеству.

Зал гремел от торжественных рукоплесканий.

Всю свою долгую жизнь он был почти равнодушен к признаниям. Но неудачи, непонимание, непризнание и отрицание всегда жестоко ранили и угнетали его. Он прожил жизнь исключительно трудную и мучительную не только по причинам посланных ему судьбой лишений, но и в силу именно этой особенности своей натуры. Он не был приятным человеком, он не заботился об этом нужном и дорогом человеческом качестве. Ему было некогда всю жизнь. Обычная ограниченность

окружения раздражала его именно потому, что тормозила движение его мысли. Видение вещей в природе приобретало иногда такую предельную ясность, что непонимание окружающих казалось ему преступным и низменным. Тогда он был несправедлив к людям и жесток. Он терял способность отличать главное от несущественного, делался придирчивым, мелочным и резким и, утомив за день преданных своих сотрудников, измученный и обессиленный, убегал спасаться в одиночестве к своей возлюбленной противнице — природе. Но уже прибегал он к ней не как узурпатор и воин, требующий повиновения, а как немощный блудный ее сын и слуга, как ничтожно малая ее частица, мимолетная, почти мгновенная в бесконечном движении жизни.

И, опускаясь тогда на колени, падая на целебные травы среди ночных кустов, он шопотом лепетал обрывки давно забытых детских молитв, перемежая их с несовершенными своими стихами. Но были тщетны все словесные его усилия, и он умолкал в мучительном глубоком самосозерцании, оглядываясь на все четыре стороны света. И тогда слезы восторга душили его, и ему, принявшему мимолетное старческое воспоминание детства за реальность, казалось на мгновение, что есть в мире бог, с которым он пребывал в непримиримой войне... И тогда, сокрушаясь и плача от умиротворения и ощущения великого мирового единства, престарелый русский Микель-Анджело природы прощал всё и всех на свете.

А на утро, работая снова в саду, он с огорчением вспоминал свою слабость и даже обходил это место, как бы стыдясь растений своих, безмолвных свидетелей падения, которым он всю жизнь угрожал своей волей воина и завоевателя.

Ораторы сменялись на трибуне музыкой и гром аплодисментов. Знаменитые ученики, стяжавшие уже известность во всем научном мире, академики, благодарили его за науку и блистательный жизненный пример.

Мичурин молчал. Но когда вышли на сцену совсем юные мичуринцы-комсомольцы и пионеры в пионерских галстуках и возвратили ему, своему детушке, с любовью его яблоки, — самые совершенные плоды земли всех братских республик, — он тихо заплакал и,

взойдя с яблоком в руках на трибуну, сказал, поклонившись всем:

— Я благодарю вас. Затем я желаю сказать, что сущность этого собрания, несомненно, заключается в том, что огромное по своей неизмеримой важности садовое дело наших колхозов победило.

Я счастлив. Я говорю, пусть каждый колхозник вырастит своим трудом одно дерево.

Я хочу еще сказать, что только при Советском правительстве я получил возможность осуществить свои многолетние планы. Великие люди Ленин и Сталин дали мне все. Спасибо, спасибо. Я вижу будущее нашей родины величественным и прекрасным, полным безграничных возможностей.

Я стар. Но пока я жив, я иду вперед. Помните, кто не идет вперед, тот неизбежно остается позади. И еще скажу. На протяжении всей истории человеческой культуры дети впервые нашли

свое место в колхозном саду для полезного приложения своих сил и способностей.

Мне кажется, я работал всю жизнь для них.

С глубокой радостью я буду передавать и впредь свои знания коммунистическим детям, пока в моей груди бьется человеческое сердце.

Вскоре он умер. Он был так стар и так много сделал, что по нем никто не плакал, и смерть его вызвала в сердцах потомков одно лишь тихое раздумье благодарности и преклонения перед великим подвигом человеческой жизни.

Ему поставят памятник. Он будет изваян не согнувшимся, каким он был в старости, а прямым и открытым, с обнаженной головой, ласково задумчивым. В протянутых вперед его руках будут плоды — его дар человечеству. И на граните его пьедестала будет написано слово — ДОБРЫЙ.

*Перевод с украинского
Киев — Москва
1941—1946*

СЕМЬЯ ИВАНОВА

Рассказ

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ



Алексей Алексеевич Иванов, гвардии сержант, убывал из армии по демобилизации. В части, где он прослужил всю войну, Иванова проводили, как и быть должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и вином. Близкие друзья и товарищи поехали с Ивановым на железнодорожную станцию и, попрощавшись там окончательно, оставили Иванова одного. Поезд, однако, опоздал на долгие часы, а затем, когда эти часы истекли, опоздал еще дополнительно.

Возле выходной стрелки станции стояла будка стрелочного поста. На скамейке у той будки сидела женщина в ватнике и теплом платке; она и вчера там сидела при своих вещах и теперь сидит, ожидая поезда. Когда вчера Иванов был на вокзале, он подумал, не пригласить ли и эту одинокую женщину, пусть она тоже переночует у медсестер в теплой избе, зачем ей мерзнуть всю ночь, неизвестно — сможет ли она обогреться в будке стрелочника. Но пока он думал, попутная машина тронулась, и Иванов забыл затем о женщине.

Теперь та женщина попрежнему неподвижно находилась на вчерашнем месте. Иванов подошел к ней; может быть, ей тоже не так будет скучно с ним, как одной.

Женщина обернулась лицом к Иванову, и он узнал ее. Это была девушка, ее звали Маша. Иванов изредка за время войны встречал ее, навеваясь в один БАО, где эта Маша служила в столовой помощником повара по вольному найму.

В окружающей их осенней пустой природе было уныло и грустно в этот час. Поезд, который должен увезти отсюда

домой и Машу, и Иванова, находился неизвестно где.

Иванов разговорился с Машей, и ему стало хорошо. Маша была милостива, проста душою. Она тоже возвращалась домой и думала, как она будет жить теперь новой, гражданской жизнью; она привыкла к своим военным подругам, привыкла к летчикам, которые любили ее, как сестру. А теперь Маше непривычно, странно и даже боязно было ехать домой к родственникам, от которых она уже отвыкла.

Иванов и Маша чувствовали себя сейчас осиротевшими без армии; однако Иванов не мог долго пребывать в уныло-печальном состоянии: ему казалось, что в такие минуты кто-то издали смеется над ним и бывает счастливым вместо него. Поэтому Иванов быстро обращался к делу жизни, то-есть он находил себе какое-либо занятие или утешение и тем выходил из своего уныния.

Он придвинулся к Маше и попросил, чтобы она по-товарищески позволила ему поцеловать ее в щеку.

— Я чуть-чуть, — сказал Иванов, — а то поезд опаздывает, скучно его ожидать.

— Только поэтому, что поезд опаздывает? — спросила Маша и внимательно посмотрела в лицо Иванова.

Бывшему сержанту было на вид лет тридцать пять; кожа на лице его, обдуряемая ветрами и загоревшая на солнце, имела коричневый цвет; серые глаза Иванова глядели на Машу скромно, даже застенчиво, и говорил он, хотя и прямо, но деликатно и любезно. Маше понравился его глухой, хриплый голос пожилого человека, его темное грубое лицо и выражение силы и беззащитности на нем.

Иванов погасил огонь в трубке большим пальцем, нечувствительным к тлеющему жару, и вздохнул в ожидании разрешения. Маша отодвинулась от Иванова.

— Вообразите, что я вам дядя.

— Я вообразила уже... Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя.

— Вон как!.. Так вы позволите...

— Отцы у дочерей не спрашивают, — засмеялась Маша.

Позже Иванов признавался себе, что волосы Маши пахнут, как осенние павшие листья в лесу, и он не мог их никогда забыть... Отойдя от железнодорожного пути, Иванов разжег небольшой костер, чтобы приготовить яичницу на ужин для Маши и для себя.

Ночью пришел поезд и увез Иванова и Машу в их сторону, на родину. Двое суток они ехали вместе, а на третьи сутки Маша доехала до города, где она родилась двадцать лет тому назад. Маша собрала свои вещи в вагоне и попросила Иванова поудобнее заправить ей на спину мешок, но Иванов взял ее мешок себе на плечи и вышел вслед за Машей из вагона, хотя ему еще оставалось ехать до места более суток.

Маша была удивлена и тронута вниманием Иванова. Она боялась сразу остаться одна в городе, где она родилась и жила. Мать и отец Маши были угнаны отсюда немцами и погибли в неизвестности, а теперь остались у Маши на родине лишь двоюродная сестра и две тетки, и к ним Маша не чувствовала сердечной привязанности.

Иванов оформил у железнодорожного коменданта остановку на два дня и остался с Машей чувствуя себя хорошо с нею, но не зная, что дальше будет; пока он не желал ничего лучшего. По чести, ему нужно было бы скорее ехать домой, где его ожидали жена и двое детей, которых он не видел четыре года. Однако Иванов задерживался в пути, откладывая радостный и тревожный час свидания с семьей. Он сам не знал, почему так делал, — может быть потому, что после семейных радостей наступят долгие заботы, а он хотел погулять еще немного на воле.

Маша не знала семейного положения Иванова и по девичьей застенчивости не спросила его. Она доверилась Иванову по доброте сердца, не думая более ни о чем.

Через два дня Иванов уезжал далее, к родному месту. Маша провожала его на вокзале. Иванов поцеловал ее и обещал вечно помнить ее образ, а когда-нибудь он обязательно встретится с нею вновь, чтобы уже никогда не расставаться.

Маша улыбнулась ему в ответ и сказала:

— Зачем меня помнить вечно? Этого не надо, и вы все равно забудете меня...

— Дорогая моя Маша!.. Где вы раньше были, почему я давно-давно не встретил вас?

— Я до войны в десятилетке была, а давно-давно меня совсем не было...

Поезд пришел, и они попрощались. Иванов уехал и не видел, как Маша, оставшись одна, заплакала, потому что никого не могла забыть, ни подруг, ни товарищей, с кем хоть однажды сводила ее судьба.

Иванов смотрел через окно вагона на попутные домики городка, который он едва ли когда увидит в своей жизни, и думал, что в таком же домике, но в другом городе, живет его жена Люба с детьми Петькой и Настей, и они ожидают его; он еще из части послал жене телеграмму, что он без промедления выезжает домой и желает как можно скорее поцеловать ее и детей.

Любовь Васильевна, жена Иванова, три дня подряд выходила ко всем поездам, что прибывали с запада. Она отпрашивалась с работы и по ночам не спала от радости, слушая, как медленно и равнодушно ходит маятник стальных часов. На четвертый день Любовь Васильевна послала на вокзал детей — Петра и Настю, чтобы они встретили отца, если он придет днем, а к ночному поезду она опять вышла сама.

Иванов приехал на шестой день. Его встретил сын Петр; сейчас Петруше шел уже двенадцатый год, и отец не сразу узнал своего ребенка в серьезном подростке, который казался старше своего возраста. Отец увидел, что Петр был малорослый и худощавый мальчуган, но зато головастый, лобастый, и лицо у него было спокойное, словно бы уже уставшее от житейской заботы, а маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно. Одет, обут Петруша был аккуратно: башмаки на нем были поношенные, но еще годные, штаны и куртка старые, переделанные из отцов-

ской гражданской одежды, но без про-
рех — где нужно, там заштопано, где
потребно, там положена латка, и весь
Петруша походил на маленького небо-
гатого, но исправного мужичка. Отец
удивился и вздохнул.

— Ты отец, что ль? — спросил Пет-
руша, когда Иванов его обнял и поце-
ловал, приподнявши к себе. — Знать,
отец!

— Отец... Здравствуй, Петр Алексее-
вич!

— Здравствуй... Чего ехал долго? Мы
ждали-ждали.

— Это поезд, Петя, тихо шел... Как
мать и Настя: живы-здоровы?

— Нормально, — сказал Петр. —
Сколько у тебя орденов?

— Два, Петя, и три медали.

— А мы с матерью думали — у тебя
на груди места чистого нету! У матери
тоже две медали есть, ей по заслуге вы-
дали. Что ж у тебя мало вещей — одна
сумка!

— Мне больше не нужно.

— А у кого сундук, тому воевать тя-
жело? — спросил сын.

— Тому тяжело, — согласился отец. —
С одной сумкой легче. Сундуков там ни
у кого не бывает.

— А я думал — бывает. Я бы в сун-
дуке берег свое добро: в сумке сломается
и помнётся.

Он взял вещевой мешок отца и понес
его домой, а отец пошел следом за ним.

Мать встретила их на крыльце дома;
она опять отпросилась с работы, словно
чувствовало ее сердце, что муж приедет
сегодня. С завода она сначала зашла до-
мой, чтобы потом пойти на вокзал. Она
боялась — не явился ли дсмой Семен
Петрович: он любил заходить иногда
днем; у него есть такая привычка — яв-
ляться среди дня и сидеть вместе с пяти-
летней Настей и Петрушей Правда,
Семен Петрович никогда пустой не при-
ходит, он всегда принесет что-нибудь для
детей — конфет или сахару, или белую
булку, либо ордер на промтовары. Сама
Любовь Васильевна ничего плохого от
Семена Петровича не видела; за все эти
два года, что они знали друг друга, Се-
мен Петрович был добр к ней, а к детям
он относился, как родной отец, и даже
внимательнее иного отца. Но сегодня
Любовь Васильевна не хотела, чтобы
муж увидел Семена Петровича; она при-
брала кухню и комнату, в доме должно

быть чисто и там не должно быть посто-
роннего. А позже, завтра или послезавтра,
она сама расскажет мужу всю правду,
как она была. К счастью, Семен
Петрович сегодня не явился.

Иванов приблизился к жене, обнял ее
и долго стоял с нею, не разлучаясь, чув-
ствуя забытое и знакомое тепло любимого
человека.

Маленькая Настя вышла из дома и,
посмотрев на отца, которого она не пом-
нила, начала отталкивать его от матери,
упершись в его ногу, а потом заплакала.

Петруша стоял молча возле отца с
матерью, с отцовским мешком за плеча-
ми; обождав немного, он сказал:

— Хватит вам, а то Настька плачет,
она не понимает.

Отец отошел от матери и взял к себе
на руки Настю, плакавшую от страха.

— Настька! — окликнул ее Петру-
ша. — Опомнись! Кому я говорю! Это
отец наш!...

В доме отец умылся и сел за стол. Он
вытянул ноги, закрыл глаза и почувство-
вал тихую радость в сердце и спокойное
довольство. Война миновала. Тысячи
верст исходили его ноги за эти годы,
морщины усталости лежали на его лице,
и глаза резала боль под закрытыми ве-
ками — они хотели теперь отдыха в су-
мраке или во тьме.

Пока он сидел, вся его семья хлопота-
ла в горнице и на кухне, готовя празд-
ничное угощение. Иванов рассматривал
все предметы дома по порядку — стен-
ные часы, шкаф для посуды, гермометр
на стене, стулья, цветы на подоконниках,
русскую кухонную печь... Долго они жи-
ли здесь без него и скучали по нем. Те-
перь он вернулся и смотрел на них, вновь
знакомясь с каждым, как с родственни-
ком, жившим без него в тоске и ожида-
нии. Он дышал устоявшимся родным за-
пахом дома — тлением дерева, теплом
от тела своих детей, гарью на печной за-
гнетке. Этот запах был таким же и преж-
де, четыре года назад, и он не рассеялся
и не изменился без него. Нигде более
Иванов не ощущал этого запаха, хотя он
бывал за войну по разным странам в
сотнях жилищ; там пахло другим духом,
в котором не было свойства родного
дома. Иванов вспомнил еще запах Ма-
ши, как пахли ее волосы: но они пах-
ли лесною листвою, незнакомой заросшей
дорогой, не домом, а снова тревожной
жизнью. Что она делает сейчас и как

устроилась жить по-граждански? Бог с ней...

Иванов видел, что более всех действовал по дому Петруша. Мало того, что он сам работал, он и матери с Настей давал указания, что надо делать и что не надо, и как надо делать правильно. Настя покорно слушалась Петрушу и уже не боялась отца, как чужого человека; у нее было живое сосредоточенное лицо ребенка, делающего всё в жизни по правде и всерьез, и доброе сердце, потому она и не обижалась на Петрушу.

— Настька, опорожни кружку от картошечной шкурки, мне посуда нужна!..

Настя послушно освободила кружку и вымыла ее. Мать меж тем поспешно готовила пирог-скородум, замешанный без дрожжей, чтобы посадить его в печьку, в которой Петруша уже разжег огонь.

— Поворачивайся, мать, поворачивайся живее! — командовал Петруша. — Ты видишь, у меня печь наготове. Привыкла копать, стахановка тоже!

— Сейчас, Петруша, я сейчас, — послушно говорила мать. — Я изюму положу — и всё, отец ведь давно наверно не кушал изюма. Я давно изюм берегу.

— Он ел его, — сказал Петруша. — Нашему войску изюм тоже дают. Настька, чего ты села — в гости, что ль, пришла? Чисть картошку, к обеду жарить будем на сковородке... Одним пирогом семью не укормишь!

Пока мать готовила пирог, Петруша посадил в печь большим рогаком чугунок со щами, чтобы не горел зря огонь, и тут же сделал указание и самому огню в печи:

— Чего горишь по-лохматому — ишь, во все стороны ёрзаешь — гори ровно! А ты, Настька, чего ты щепу как попало в печь насовала, надо уложить ее было, как я тебя учил. И картошку опять ты чистишь по-толстому, а надо чистить тонко.

— Чего ты, Петруша, Настю-то все тебишь, — кротко произнесла мать. — Чего она тебе? Разве споровится она столько картошек очистить и чтоб тебе тонко было, как у парикмахера, нигде мяса не задеть!.. К нам отец приехал, а ты всё сердчаешь!

— Я не сердчаю, я по делу...

Иванов не знал, что у него вырос такой сын, и теперь сидел и удивлялся его разуму. Но ему больше нравилась маленькая кроткая Настя, тоже хлопочу-

щая своими ручками по хозяйству, и ручки ее уже были привычные и умелые. Значит, они давно приучены работать по дому.

— Люба, — спросил Иванов жену. — Ты что же мне ничего не говоришь — как ты это время жила без меня, как твое здоровье и что на работе ты делаешь...

Любовь Васильевна теперь стеснялась мужа, как невеста, она отвыкла от него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней, и лицо ее, как в юности, принимало застенчивое, испуганное выражение, которое столь нравилось Иванову.

— Ничего, Алеша... Мы ничего жили. Дети болели мало, я растила их... Плохо, что я дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном заводе работаю, на прессу, ходить туда далеко, идешь-идешь...

— Где работаешь? — не понял Иванов.

— На кирпичном заводе, на прессу. Квалификации ведь у меня не было, сначала я во дворе разнорабочей была, а потом меня обучили и на пресс поставили. Работать хорошо, только уходишь рано, приходишь поздно, дети одни и одни... Видишь — какие выросли! Сами всё умеют делать, раньше времени умными стали, — тихо произнесла Любовь Васильевна. — К хорошему ли это, Алеша, сама не знаю...

— Там видно будет, Люба... Теперь мы все вместе будем жить...

Иванов встал и прошелся по горнице. — Так, значит, в общем ничего, говоришь, настроение здесь было у вас?

— Ничего, Алеша, всё уже прошло, мы претерпели. Только по тебе мы сильно скучали и страшно было, что ты никогда к нам не приедешь, что ты погибнешь там, как другие...

Она заплакала над пирогом, уже положенным в железную форму, и слезы ее закапали в тесто. Она только что смазала пирог жидким яйцом и еще водила ладонью по тесту, продолжая теперь смазывать праздничный пирог слезами.

Настя обхватила ногу матери руками, прижалась лицом к ее юбке и исподлобья сурово посмотрела на отца.

Отец склонился к ней.

— Ты чего?.. Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня?

Он поднял ее к себе на руки и погладил ей головку.

— Чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня, ты маленькая была, когда я ушел на войну...

Настя положила голову на отцовское плечо и тоже заплакала.

— Ты что, Настенька моя?

— А мама плачет, и я буду.

Петруша, стоявший в недоумении возле печной загнетки, был недоволен.

— Чего вы все?.. А в печке жар прогорает. Сызнова, что ль, топить будем? Давай, мать, тесто, пока дух горячий не остыл.

Петруша вынул из печи большой чугунок со щами и разгреб жар на подду, а Любовь Васильевна торопливо, словно стараясь поскорее угодить Петруше, посадила в печь две формы пирогов; забыв смазать жидким яйцом второй пирог.

Странен и еще не вполне понятен был Иванову родной дом. Жена была прежняя — с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом, и дети были те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как оно естественно и быть должно. Но что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения всем сердцем — вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых близких, родных людей. Он смотрел на Петрушу, на своего выросшего первенца-сына, слушал, как он дает команду и наставления матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо и со стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему как к сыну, недостаточно. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к Петруше от сознания того, что Петруша нуждался в любви и заботе сильнее других. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петруши сложился такой характер.

За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как можно скорее приниматься за дело, то-есть поступать на работу и помочь жене правильно воспитывать детей, — тогда постепенно всё пойдет к лучшему и Петруша будет сидеть за книжкой, за школьной тетрадкой, а не командовать с рогаком у печки.

— А ты что плохо кушаешь? — спросил за столом отец у маленькой Насти. — Ты на Петра, что ль, глядишь?..

Ешь как следует, а то так и останешься маленькой...

— Я выросла большая, — сказала Настя.

Она съела маленький кусок пирога, а другой кусок, что был побольше, отодвинула от себя и накрыла салфеткой.

— Ты зачем так делаешь? — спросила ее мать. — Хочешь, я тебе маслом пирог помажу?

— Не хочу, я сытая.

— Ну ешь так... Зачем пирог отодвинула?

— А дядя Семен придет! Это я ему оставила. Пирог не ваш, я сама его не ела. Я его под подушку положу, а то остынет...

Настя сошла со стула и отнесла кусок пирога, обернутый салфеткой, на кровать и положила его там под подушку.

Мать вспомнила, что она тоже накрывала готовый пирог подушками, когда пекла его первого мая, чтобы пирог не остыл к приходу Семена Петровича.

— А кто этот дядя Семен? — спросил Иванов жену.

Любовь Васильевна не знала, что сказать, и сказала:

— Не знаю, кто такой... Ходит к детям один, его жену и его детей немцы убили, он к нашим детям привык и ходит играть с ними.

— Как играть? — удивился Иванов. — Во что же они играют здесь у тебя? Сколько ему лет?

Петруша проворно посмотрел на мать и на отца; мать в ответ отцу ничего не сказала, только глядела на Настю грустными глазами, а отец по-недоброму улыбнулся, встал со стула и закурил папиросу.

— Где же игрушки, в которые этот дядя Семен с вами играет? — спросил затем отец у Петруши.

Настя сошла со стула, вошла на другой стул у комода, достала с комода книжки и принесла их отцу.

— Они книжки-игрушки, — сказала Настя отцу. — дядя Семен мне вслух их читает: «Вот какой забавный Мишка, он игрушка, он и книжка...»

Иванов взял в руки книжки-игрушки, что подала ему дочь: про медведя Мишку, про пушку-игрушку, про домик, где бабушка Домна живет и лён со внучкой прыдет...

Петруша вспомнил, что пора уже вьюшку в печной трубе закрывать, а то тепло из дома выйдет.

Закрыв вьюшку, он сказал отцу:

— Он старей тебя — Семен Петрович.

Глянув на всякий случай в окно, Петруша заметил, что там на небе плывут не те облака, которые должны плыть в сентябре:

— Чтой-то облака свинцовые плывут, — проговорил Петруша, — из них, должно быть, снег пойдет! Иль наутро зима спозаранку станет? Рано бы еще!.. Ведь что ж тогда нам делать-то — картошка вся в поле, заготовок в хозяйстве нету... Ишь положение какое!..

Иванов глядел на своего сына, слушал его слова и чувствовал свою робость перед ним. Он хотел было спросить у жены более точно, кто же такой этот Семен Петрович, что ходит уже два года в его семейство, и к кому он ходит — к Насте или к его миловидной жене, но Петруша отвлек Любовь Васильевну хозяйственными делами:

— Давай мне, мать, хлебные карточки на завтра и талоны на прикрепление. И еще талоны на керосин давай — завтра последний день, и уголь древесный надо взять.

Говоря свои слова, Петруша одновременно заметал пол возле печки и складывал в порядок кухонную утварь. Потом он вынул из печи чугунок со щами.

— Закусили немножко пирогом, теперь щи мясные с хлебом будем есть, — указал всем Петруша. — А тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и военкомат сходить, станешь сразу на учет.

— Я схожу, — покорно согласился отец.

— Сходи, не забудь, а то утром пропиши и забудешь.

— Нет, я не забуду, — пообещал отец.

Свой первый общий обед после войны, щи и мясо, семья съела в молчании; даже Петруша сидел спокойно, точно все боялись нарушить нечаянным словом тихое счастье вместе сидящей семьи.

Потом Иванов спросил у жены:

— Как у вас, Люба, с одеждой, наверно пообносились?

— В старом ходили, а теперь обновки будем справлять, — улынулась Любовь Васильевна. — Я чинила на детях, что было на них, и твой костюм, двое твоих штанов, и всё белье твое перешила на

них. Где было взять? Лишних денег у нас не было, а детей надо одевать...

— Правильно сделала, — сказал Иванов, — детям ничего не жалею.

— Я не жалела, и пальто свое продала, теперь хожу в вагнике.

— Ватник у нее короткий, она ходит — простужается, — высказался Петруша. — Я скоро кочегаром в баню поступлю, полочку буду получать, тратить ничего не буду и справлю ей пальто. На базаре торгуют на руках, я ходил — приценился, там есть подходящие...

— Без тебя, без твоей полочки обойдемся, — сказал отец.

После обеда Настя надела на нос большие очки и села у окна штопать материнны варежки, которые мать надевала теперь под рукавицы на работе: уже холодно стало, осень во дворе.

Петруша глянул на сестру и осерчал на нее:

— Ты чего балуешься, зачем очки дяди Семена надела?..

— А я через очки гляжу, я не в них.

— Еще чего! Я вижу! Вот испортишь глаза и ослепнешь. И брось варежку штопать, мать сама заштопает, или я сам возьмусь, когда отделаюсь. Бери тетрадь и пиши палочки — забыла уж, когда занималась!

— А Настя, что, учится? — спросил отец.

Мать ответила, что нет еще, она мала, но Петруша велит Насте каждый день заниматься, он купил ей тетрадь, и она пишет палочки. Кроме того, Петруша учит сестру счёту, складывая и вычитая перед нею тыквенные семена, а буквам Настю учит сама Любовь Васильевна.

Настя положила варежку и вынула из ящика комода тетрадь и вставочку с пером, а Петруша, оставшись доволен, что всё исполняется по порядку, как он указывает, надел материн ватник и пошел во двор колоть дрова на завтрашний день; наколотые дрова Петруша обыкновенно приносил на ночь домой и складывал их за печь, чтобы они там подсохли и горели затем жарко и хозяйственно.

Мать вышла во двор, чтобы помочь Петруше носить дрова, но Петруша не велел матери работать; он сказал, что сам управится, и коснулся матери маленькой рукой.

— Мама, а ты любишь меня?

— Люблю, — ответила мать.

— Я тебя больше всех люблю, и ты меня люби больше всех.

Мать склонилась к Петруше и поцеловала его, а Петруша блаженно улыбнулся ей в ответ и снова поднял с земли топор на работу.

Вечером Любовь Васильевна рано собрала ужинать. Она хотела, чтобы дети пораньше уснули и чтобы можно было наедине посидеть с мужем и поговорить с ним. Но дети после ужина долго не засыпали; Настя, лежащая на деревянном диване, долго смотрела из-под одеяла на отца, а Петруша, легший как обычно на русскую печь, где он всегда спал, и зимой и летом, ворочался там, шептал что-то и не скоро еще угомонился. Но наступило позднее время ночи. и Настя закрыла уставшие глядеть глаза.

Петруша спал чутко и настороженно: он всегда боялся, что ночью может что-нибудь случиться и он не услышит — пожар, залезут воры-разбойники или мать забудет затворить дверь на крючок, а дверь ночью отойдет и всё тепло выйдет, наружу. Нынче Петруша проснулся от тревожных голосов родителей, говоривших в комнате рядом с кухней. Сколько было времени — полночь или уже под утро — он не знал, а отец с матерью не спали.

— Алеша, ты не шуми, дети проснутся, — тихо говорила мать. — Не надо его ругать, он добрый человек, он детей твоих любил...

— Не нужно нам его любви, — сказал отец. — Я сам люблю своих детей.. Ишь ты, чужих детей он полюбил! Я тебе аттестат присылал, и ты сама работала; зачем тебе он понадобился, этот Семен Петрович? Кровь, что ль, у тебя горит еще!.. Эх ты, Люба, Люба! А я там думал о тебе другое. Значит, ты в дураках меня оставила...

Отец замолчал, а потом зажег спичку, чтобы раскурить трубку.

— Что ты, Алеша, что ты говоришь! — громко воскликнула мать. — Дети ведь у меня. Я их воспитывала.

— Ну и что же! — говорил отец. — У других по четверо детей оставалось, жили неплохо и ребята выросли не хуже наших. А у тебя вон Петруша что за человек вырос — рассуждает, как дед, а читать, небось, не умеет.

Петруша вздохнул на печи и захра-

пел для видимости, чтобы слушать дальше.

— Зато он всё самое трудное и важное в жизни узнал! — сказала мать. — А от грамоты он тоже не отстанет.

— Хватит тебе зубы мне заговаривать, — сердчал отец. — Кто он такой, этот твой Семен?

— Он добрый человек.

— Ты его любишь, что ль?

— Алеша, я мать твоих детей...

— Ну, дальше! Отвечай прямо!

— Я тебя люблю, Алеша. Я мать, а женщиной была давно, с тобою только, уже забыла когда.

Отец молчал и курил трубку в темноте.

— Я по тебе скучала, Алеша... Правда, дети при мне были, но они тебе не замена, и я все ждала тебя, долгие страшные годы, мне просыпаться утром не хотелось.

— А кто он по должности, где работает?

— Он служит по снабжению материальной части на нашем заводе.

— Понятно. Жулик.

— Он не жулик. Я знаю... А семья его вся погибла в Могилеве, трое детей было, дочь уже невеста была.

— Неважно, он взамен другую готовую семью получил — и бабу еще не старую, собой милovidную, так что ему опять живется тепло.

Мать ничего не ответила. Наступила тишина, но вскоре Петруша расслышал, что мать плакала.

— Он детям о тебе рассказывал, Алеша, — заговорила мать, — он детям говорил, как ты воюешь там за нас и страдаешь... Они спрашивали у него: а почему? — а он отвечал им: потому, что ты добрый...

Отец засмеялся и выбил жар из трубки

— Вот он какой у вас — этот Семен! И не видел меня никогда, а одобряет. Вот личность-то!

— Он выдумывал нарочно, чтоб дети не отвыкли от тебя и любили отца.

— Но зачем, зачем ему это? Чтоб тебя поскорее добиться?.. Ты скажи, что ему надо было?

— Может быть, в нем сердце хорошее, Алеша, поэтому он такой. А почему же?

— Глупая ты, Люба, или хитрая... Прости ты меня, пожалуйста. Ничего без расчета не бывает.

— А Семен Петрович часто детям приносил что-нибудь, каждый раз приносил, то конфеты, то муку белую, то сахар, а недавно валенки Насте принес, но они не годились — размер маленький. А самому ему ничего от нас не нужно. Нам тоже не надо было, мы бы, Алеша, обошлись без его подарков, мы привыкли, но он говорит, что у него на душе лучше бывает, когда он заботится о других, тогда он не так сильно тоскует о своей мертвой семье. Ты увидишь его — это не так, как ты думаешь...

— Всё это чепуха какая-то! — сказал отец. — Не задуривай ты меня!.. Я четыре года ждал там жизни — и вот она!

— Живи с нами, Алеша...

— Я с вами, а ты с Сенькой будешь?

— Я не буду, Алеша. Он больше к нам никогда не придет, я скажу ему, чтобы он больше не приходил.

— Так значит было, раз ты больше не будешь?.. Эх, какая ты, Люба, все вы женщины такие.

— А вы какие? — с обидой спросила мать. — Что значит, все мы такие? Я не такая... Я работала день и ночь, мы огнеупоры делали для кладки в паровозных топках. Я стала на лицо худая. Мне тоже было трудно, и дома дети одни. Я приду бывало — дома нетоплено, не варено ничего, темно, дети тоскуют, они не сразу хозяйствовать сами научились, как теперь: Петруша тоже мальчиком был... И стал тогда ходить к нам Семен Петрович. Придет — и сидит с детьми. Он ведь живет совсем один. «Можно, — спрашивает меня, — я буду к вам в гости ходить, я у вас отогреюсь?» Я говорю ему, что у нас холодно и у нас дрова сырые, а он мне отвечает: «Ничего, у меня вся душа продрогла, я хоть возле ваших детей посижу, а топить печь для меня не нужно». Я сказала: «Ладно, ходите пока, детям с вами не так боязно будет». Потом я тоже привыкла к нему, и всем нам бывало лучше, когда он приходил. Я глядела на него и вспоминала тебя, что ты есть у нас... Без тебя было так грустно и плохо; пусть хоть кто-нибудь приходит, тогда не так скучно бывает и время идет скорее...

— Ну дальше, дальше что? — поторопил отец.

— Дальше ничего. Теперь ты приехал, Алеша.

— Ну что ж, хорошо, если так, — сказал отец. — Пора спать.

Но мать попросила отца:

— Обожди еще спать. Давай поговорим, я так рада с тобой.

«Никак не уgomонятся, — думал Петруша на печи, — помирились и ладно: матери на работу надо рано вставать, а она все гуляет — обрадовалась не вовремя, перестала плакать-то».

— А этот Семен любил тебя? — спросил отец.

— Обожди, я пойду Настю накрою, она раскрывается во сне и зябнет.

Мать укрыла Настю одеялом, вышла в кухню и приостановилась возле печи, чтобы послушать — спит ли Петруша. Петруша понял мать и начал храпеть. Затем мать ушла обратно, и он услышал ее голос...

— Наверно любил. Он смотрел на меня умильно, я видела, а какая я — разве я хорошая теперь? Не сладко ему было, Алеша, и кого-нибудь надо было ему любить.

— Ты бы его хоть поцеловала, раз уж так у вас задача сложилась, — по-доброму произнес отец.

— Ну вот еще! Он меня сам два раза поцеловал, хоть я и не хотела.

— Зачем же он так делал, раз ты не хотела?

— Не знаю. Он говорил, что забылся и жену вспомнил, а я на жену его немножко похожа.

— А он на меня тоже похож?

— Нет, не похож. На тебя никто не похож, ты один, Алеша.

— Я один, говоришь? С одного-то счёта и начинается: один, потом два.

— Так он меня только в щеку поцеловал, а не в губы!

— Это все равно!

— Нет, не все равно, Алеша!.. Что ты понимаешь в нашей жизни?

— Как что? Я всю войну провоевал, я смерть видел ближе, чем ты...

— Ты воевал, а я по тебе здесь обмирала, у меня руки от горя тряслись, а работать надо было с бодростью, чтоб детей кормить и государству польза против неприятелей-фашистов! — мать говорила спокойно, только сердце ее мучилось, и Петруше было жалко мать; он знал, что она научилась сама обувь чинить себе и ему с Настей, чтобы дорого не платить сапожнику, и за картошку исправляла электрические печки соседям.

— И я не стерпела жизни и тоски по тебе! — говорила мать. — Мне нужно

было почувствовать что-нибудь другое, Алеша, какую-нибудь радость, чтоб я отдохнула. Один человек сказал, что он любит меня, и он относился ко мне так нежно, как ты когда-то давно...

— Это кто, опять Семен этот? — спросил отец.

— Нет, другой человек. Он служит инструктором в райкоме нашего профсоюза, он эвакуированный...

— Ну чорт с ним, кто он такой! Так что случилось-то, утешил он тебя?

Петруша ничего не знал про этого инструктора и удивился, почему он не знал его. «Ишь ты, а мать наша тоже бедовая», — прошептал он сам себе.

Мать сказала отцу в ответ:

— Я ничего не узнала от него, никакой радости. и мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала, а когда он стал мне близким, совсем близким, я была равнодушной, я думала в ту минуту о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобою я могу быть спокойной, счастливой и с тобою отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться, нельзя спасти себя для детей... Живи с нами, Алеша, нам хорошо будет!

Петруша расслышал, как отец молча поднялся с кровати, закурил трубку и сел на табурет.

— Сколько раз ты встречалась с ним, когда бывала совсем близкой? — спросил отец.

— Один только раз, — сказала мать. — Больше никогда не было.

— Зачем же ты говорила, что ты мать наших детей, а женщиной была только со мной, и то давно...

— Это правда, Алеша...

— Ну как же так, какая тут правда? Ведь с ним ты тоже была женщиной?

— Нет, не была я с ним женщиной, я хотела быть и не могла... Я чувствовала, что пропадаю без тебя, мне нужно было — пусть кто-нибудь будет со мной, я измучилась вся, и сердце мое темное стало, я детей своих уже не могла любить, а для них, ты знаешь, я все стерплю, для них я и костей своих не пожалю!..

— Обожди! — сказал отец. — Ты же говоришь — ошиблась в этом новом своем Сеньке, ты никакой радости будто от него не получила, а всё-таки не пропала и не погибла, целой осталась.

— Я не пропала, — прошептала мать, — я живу.

— Значит, и тут ты мне врешь! Где же твоя правда?

— Не знаю, — шептала мать.

— Ладно. Зато я знаю, я пережил больше, чем ты, — проговорил отец.

Мать молчала. Отец, слышно было, часто и трудно дышал.

— Ну вот я и дома, — сказал он. — Войны нет, а ты в сердце ранила меня... Ну что ж, живи теперь с Сенькой! Ты потеху, посмешище сделала из меня, а я тоже человек, а не игрушка...

Отец начал в темноте одеваться и обуваться. Потом он зажег керосиновую лампу, потому что электричество не горело, сел за стол и завел часы на руке.

— Четыре часа, — сказал он сам себе. — Темно еще. Правду говорят, баб много, а жены одной нету.

Стало тихо в доме. Настя ровно дышала во сне на деревянном диване. Петруша приник к подушке на теплой печи и забыл, что ему нужно храпеть.

— Алеша! — добрым голосом сказала мать. — Алеша, прости меня!

Петруша услышал, как отец застонал и хрустнуло стекло; через щели занавески Петруша видел, что в комнате, где были отец и мать, стало темнее, но огонь еще горел. «Он стекло у лампы раздал», — догадался Петруша.

— Ты руку себе порезал, — сказала мать. — У тебя кровь течет, возьми полотенце в комод.

— Замолчи! — закричал отец на мать. — Я голоса твоего слышать не могу... Буди детей, буди сейчас же!.. Буди, тебе говорят! Я им расскажу, какая у них мать! Пусть они знают!

Настя вскрикнула от испуга и проснулась.

— Мама! — позвала она. — Можно я к тебе пойду?

Настя любила приходиться ночью к матери на кровать и греться у нее под одеялом.

Петруша сел на печи, спустил ноги вниз и сказал всем:

— Спать пора! Чего вы разбудили меня? Дня еще нету, темно во дворе! Чего вы шумите и свет зажгли?

— Спи, Настя, спи, рано еще, я сейчас сама к тебе приду, — ответила мать. — И ты, Петруша, не вставай, не разговаривай больше.

— А вы чего говорите? Чего отцу надо? — заговорил Петруша.

— А тебе какое дело — чего мне надо! — отозвался отец. — Ишь ты, сержант какой!

— А зачем ты стекло у лампы раздавливаешь? Чего ты мать пугаешь?

— А ты знаешь, что мать делала тут? — жалобным голосом, как маленький, вскричал отец.

— Алеша! — кротко обратилась Любовь Васильевна к мужу.

— Я знаю, я все знаю! — говорил Петруша. — Мать по тебе плакала, тебя ждала, а ты приехал, она тоже плачет. Ты не знаешь!

— Да ты еще не понимаешь ничего! — рассерчал отец. — Вот вырос у нас отрок!

— Я все дочиста понимаю! — отвечал Петруша с печки. Он прилег на свою подушку и нечаянно неслышно заплакал.

— Большую волю ты дома взял! — сказал отец. — Да теперь уж все равно, живи здесь за хозяина, пока другого мать не привела...

Утерев слезы, Петруша ответил отцу:

— Эх ты какой, отец, чего говоришь, а сам старый и на войне был... Вон пойди завтра в инвалидную кооперацию, там дядя Харитон за прилавком служит, он хлеб режет, никого не обвешивает. Он тоже на войне был и домой вернулся. Пойди у него спроси, он всем говорит и смеется, я сам слышал. У него жена Анюта, она на шофера выучилась ездить, хлеб развозит теперь, а сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила, ее угощали там. А один знакомый ее с орденом был, он без руки и главным служил в магазине.

— Чего ты городишь там, спи лучше, скоро светать начнет, — сказала мать.

— А вы мне тоже спать не давали... Светать еще не скоро будет. Этот без руки сдружился с Анютой, стало им хорошо житься. А Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет и закуску ест, а Анюта плачет, не ест ничего. Ругался, ругался, потом уморился, не стал Анюту мучить и сказал ей: «Чего у тебя один безрукий был, ты дура-баба, вот у меня без тебя и Глашка была, и Апроська была, и Маруська была, и тезка твоя Нюшка была и еще на добавок Магдалинка была».

А сам он смеется. И тетя Анюта смеется, потом она сама хвалилась — Харитон ее хороший, лучше нигде нету, он фашистов убивал и от разных женщин ему отбоя нету. Дядя Харитон все нам в лавке рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. А теперь они живут смиренно, по хорошему. А дядя Харитон опять смеется, он говорит: «Обманул я свою Анюту, никого у меня не было — ни Глашки не было, ни Нюшки, ни Апроськи не было и Магдалинка на добавок не было; солдат — сын отечества, ему некогда жить по-дурацки, ему воевать надо было! Это я нарочно Анюту напугал»... Ложись спать, отец. Потуши свет, чего огонь коптит без стекла!..

Иванов с удивлением слушал историю, что рассказывал его Петруша. «Вот какой! — размышлял отец о сыне. — Я думал, он и про Машу мою скажет сейчас. Он правду знает, ишь как точно помнит все про Харитона».

Петруша сморился и захрапел; он уснул теперь по правде и вскоре начал говорить слова в сновидении: «Мама, мама, возьми меня на ручки, я уморился!», — и голос его во сне был жалкий и нежный, такой же, как его детская душа, когда она была не тронута заботой.

Проснулся он, когда день стал совсем светлый, и испугался, что долго спал, ничего не сделал по дому с утра.

Дома была одна Настя. Она сидела на полу и перелистывала книжку с картинками, которую давно еще купила ей мать. Она ее рассматривала каждый день, потому что другой книги у нее не было, и водила пальчиком по буквам, как будто читала.

— Где мать-то, на работу ушла? — спросил Петруша.

— На работу, — тихо ответила Настя и закрыла книгу.

— А отец куда делся? — Петруша огляделся по дому: в кухне и в комнате. — Он взял свой мешок?

— Он взял свой мешок, — сказала Настя.

— А что он тебе говорил?

— Он не говорил, он меня в рот и в глазки поцеловал.

— Так-так, — сказал Петруша и задумался.

— Вставай с пола, — велел он сестре, — дай я тебя умою почище и одену, мы с тобой на улицу пойдем...

Их отец сидел в тот час на вокзале. Он уже выпил двести граммов водки и пообедал с утра по талону на путевое довольствие. Он еще ночью окончательно решил уехать в тот город, где он оставил Машу, чтобы снова встретить ее там и, может быть, уже никогда не разлучаться с нею. Плохо, что он на много старше Маши. Однако там видно будет, как оно получится, вперед нельзя угадать. Все же Иванов надеялся, что Маша хоть немножко обрадуется, когда снова увидит его, и этого будет с него достаточно; значит, и у него есть новый близкий человек, и притом прекрасный собою, веселый и добрый сердцем. А там видно будет!

Вскоре пришел поезд, который шел в ту сторону, откуда только вчера прибыл Иванов. Он взял свой вещевой мешок и пошел на посадку. «Вот Маша не ожидает меня! — думал Иванов. — Она мне говорила, что я все равно забуду ее, и мы никогда с ней не увидимся, а я к ней еду сейчас навсегда».

Он вошел в тамбур вагона и остался в нем, чтобы, когда поезд пойдет, посмотреть в последний раз на небольшой город, где он жил до войны, где у него родились дети... Он еще раз хотел поглядеть на оставленный дом; его можно разглядеть из вагона, потому что улица, на которой стоит дом, где он жил, выходит на железнодорожный переезд, и через тот переезд пойдет поезд.

Поезд тронулся и тихо поехал через станционные стрелки в пустые осенние поля. Иванов взялся за поручни вагона и смотрел из тамбура на домики, здания, сараи, на пожарную каланчу города, бывшего ему родным. Он узнал две высокие трубы вдалеке; одна была на мыловаренном, а другая на кирпичном заводе; там работала сейчас Люба у кирпичного пресса; пусть она живет теперь по-своему, а он будет жить по-своему. Может быть, он и мог бы ее простить посредством рассуждения в уме, но что это значит? Все равно, его сердце ожесточилось против нее и нет в нем прощения человеку, который целовался и жил с другим, чтобы не так скучно, не в одиночестве проходило время войны и разлуки с мужем.

Иванов собрался было уйти из тамбура в вагон, чтобы лечь спать, не желая смотреть в последний раз на дом, где он жил и где остались его дети; не надо

себя мучить напрасно. Он выглянул вперед — далеко ли осталось до переезда, и тут же увидел его. Железнодорожный путь здесь пересекала сельская грунтовая дорога, шедшая в город; на этой земляной дороге лежали пучки соломы и сена, павшие с возов, ивовые прутья и конский навоз. Обычно эта дорога была безлюдной, кроме двух базарных дней в неделю; редко, бывало, проедет крестьянин в город с полным возом сена или возвращается обратно в деревню на пустой телеге. Так было и сейчас; пустой лежала деревенская дорога; лишь из города, из улицы, в которую входила дорога, бежали вдалеке какие-то двое ребят; один был побольше, а другой меньше, и больший, взяв за руку меньшего, быстро увлек его за собою, а меньший, как ни торопился, как ни хлопотал усердно ножками, а не поспевал за большим. Тогда тот, что был побольше, волочил его за собою. У последнего дома города они остановились и поглядели в сторону вокзала, решая, должно быть, идти им туда или не надо. Потом они посмотрели на пассажирский поезд, проходивший через переезд, и побежали по дороге прямо к поезду, словно захотев вдруг догнать его.

Вагон, в котором сгоял Иванов, миновал переезд. Иванов поднял мешок с пола, чтобы пойти в вагон и лечь спать на верхнюю полку, где не будут мешать другие пассажиры. Но успели или нет добежать те двое детей хоть до последнего вагона поезда? Иванов высунулся из тамбура и посмотрел назад.

Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Бóльший из них поднял свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда, в сторону Иванова, махал рукой к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему.

Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших обесилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, словно он внезапно коснулся жизни обнажившимся сердцем.

Он еще раз поглядел со ступенек вагона в хвост поезда на своих детей. Он уже знал теперь, что это были его дети, Петруша и Настя. Они, должно быть, видели его, когда вагон проходил по переезду, и Петруша звал его

домой к матери, а он смотрел на них невнимательно, думал о другом и не узнал своих детей.

Сейчас Петруша и Настя бежали далеко позади поезда по песчаной дорожке возле рельс; Петруша попрежнему держал за руку маленькую Настю и воло-

чил ее за собою, когда она не успевала бежать ногами.

Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю, а потом спустился на нижнюю ступень вагона и спрыгнул с нее на ту песчаную дорожку, по которой бежали ему вослед его дети.



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Рассказ

АЛЕКСАНДР ПИСЬМЕННЫЙ



Казалось невероятным, что человек, несколько часов назад засыпанный землей, все еще жив. Один из бойцов подозвал товарищей, и они откопали Шурыгина.

В сознание Яков Шурыгин пришел в палатке медсанбата. В армейском госпитале ему ампутировали ногу выше колена, а руку, раненую в предплечье, оставили, и она причиняла ему много горя, так как рана долго не затягивалась.

Долго лечили Шурыгина в разных госпиталях, и много времени прошло, прежде чем его выписали на вольную жизнь.

Он ехал из Ярославля через всю страну, и весь долгий путь его не оставляли мысли о том, как он будет жить дома.

До Актюбинска с Яковым в одном вагоне ехал молодой паренек с Ленинградского фронта. Это был совсем молодой человек с удивленными и раз навсегда испуганными глазами. Влажные светлые волосы падали ему на лоб. Паренек тоже только что выписался из госпиталя с ампутированной ногой. Прошло немало времени после операции, а он все не мог забыть свои страдания. Два дня он ни с кем не разговаривал, лежал на верхней полке и даже ел там у себя наверху. В Рузаевке паренек вышел, раздобыл на станционном базаре пол-литра водки, напился и стал буянить.

— Где мои золотые горы? — замысловато выкрикивал он, рвал на себе гимнастерку, бросал костыль в припадке отчаяния и падал на землю, заливаясь горячими слезами.

Насупив тонкие выцветшие брови, Шурыгин мрачно глядел из окна вагона. Он

не испытывал жалости к этому пареньку. «Нет, таким я не буду, — думал он. — Только не стать таким...»

Упитанная проводница покинула свой пост у вагонных ступенек и, смахивая слезы с белых наливных щек, подошла к пареньку. Всю дорогу она орала на пассажиров, сердилась, что они мусорят, что слишком много пьют воды, которую приходилось ей таскать из кипятильников. Теперь даже она расчувствовалась. Но Шурыгину было стыдно глядеть на пареньку, ему было стыдно человеческого унижения, его страшила мысль, что и он мог бы так себя вести.

Проводница и помощники из пассажиров принялись тащить пареньку в вагон, было уже два звонка, а инвалид все упирался, все отмахивался. Гимнастерка его задралась, рубашка выпросталась из брюк, обнажился живот с белой, трепетной кожей. Размазывая слезы по лицу, пьяным языком паренек лепетал, что дома у него молодая жена, она не примет его: кому с калекой жить интересно.

— Жизнь — копейка! — выкрикивал он. — Цена у ней дешевая, сдачи не требует!

И потому, что паренек выбалтывал те же горькие мысли, которые мучили Шурыгина, он вызывал в его сердце еще большую неприязнь. «Нет, — твердил про себя Яков, — таким я не буду. Все что угодно, только не стать таким!..»

Яков Шурыгин вышел из поезда на той станции, откуда нужно было добираться на попутной машине к родному поселку. Украдкой поглядывал он на встречных — не окажется ли кто-нибудь из знакомых? Смешанное чувство беспокоило его: ему

и нетерпелось встретить кого-нибудь из старых знакомых, расспросить, что слышно в родных местах, услышать что-нибудь о семье; его и страшила такая встреча. Он боялся соболезнований, сочувствия, даже в том случае, если это отношение не будет высказано прямо. Образ паренька с влажными волосами все время стоял перед ним.

На привокзальной площади Шурыгин оглядел старый фонтан, поломанную изгородь палисадника, деревья с запыленной листвой. Все было таким же, как в ту ночь, когда он уезжал. Так же лежал плоский камень у фонтана, среди деревьев бродили белые козы, старый карагач с дуплом, запломбированным бетонной пробкой, попрежнему разбрасывал свои жесткие ветви над сухой и пыльной землей. Ничто не изменилось здесь. Изменился Шурыгин, и поэтому эта площадь казалась ему теперь меньше, чем была, деревья более редкими, чем были, фонтан не таким красивым, как был.

И Шурыгин снова стал думать о том, как встретят его дома. Об этой встрече каждый солдат мечтает всю войну. Мечтал об этой встрече и боялся ее все время после ранения солдат Шурыгин.

В мирной жизни он был охотником-ондатроловом большого Сыр-Дарьинского хозяйства. Это было новое и многообещающее дело. Рыжевато-каштановый зверек величиной с небольшого кролика—ондатра, или мускусная крыса, обладала легким, теплым, прочным мехом, была неприязнительна в пище, очень плодовита и обитала в угодьях, не имеющих никакой ценности, в болотных, озерных краях, на бросовых землях. Из-за этих качеств и завезли ее в Советский Союз из Северной Америки. Но профессия ондатролова была трудна. Она требовала от человека, чтобы он умел крепко стоять на ногах. А как быть, когда одна нога отрезана?

На старом месте, где до войны Яков останавливался, чтобы поймать попутную машину, он скинул заплочный мешок. Рядом, в тени белой акации остановились колхозники — женщина в белом платке и широкополой старомодной юбке и мужчина в сапогах и брезентовом пыльнике. Шурыгин исподлобья взглянул на них. Нет, это были незнакомые люди.

За поворотом послышался шум машины, она вылетела на прямую, колхозник поднял руку, шофер затормозил.

Женщина торопливо опустила в кузов

свою кошелку и ухватилась за борт, чтобы вскарабкаться в машину. Тут же она взглянула на Шурыгина и помедлила.

Ухватившись за борт машины, Яков перебросил через него вещевой мешок, и взобраться в кузов не сумел. Плохо слушалась левая рука, мешал костыль. Он подпрыгнул, уронил костыль. Женщина поддержала Шурыгина под руку. Она проделала это молча. Колхозник сам, по своему разумению, с другой стороны подхватил Якова. С бешенством и ненавистью взглянул Шурыгин на женщину на ее спокойное, доброе лицо с домашней родинкой на щеке, и рванулся плечами, чтобы освободиться. Не отпуская Шурыгина, женщина удивленно взглянула на него. Мужчина молча убрал свою руку.

Шурыгин сам подпрыгнул и сам перевалялся через борт. Женщина подняла костыль, бросила его в кузов и влезла в машину. Колхозник вскочил в машину на ходу.

Мимо пронеслись рисовые поля, разграфленные черными полосами арыков. Белая пыль клубилась на шоссе позади машины. Шурыгин сидел на тюке спиной к шоферской кабинке и смотрел в сторону. «На машину не мог взобраться!.. На машину не мог взобраться!..», — с ожесточением и яростью твердил он про себя. Женщина заговорила с мужчиной о том, как они продавали телку.

Так наступило мгновение, которого Шурыгин ждал всю войну и которого боялся после ранения, — он был дома.

С бьющимся сердцем он толкнул калитку и вошел во двор. Незнакомая казахская овчарка с обрезанными ушами молча бросилась на Шурыгина. Он отступил к калитке и приподнял костыль.

Первое, о чем подумал Яков Шурыгин: в его доме живут чужие. И он спросил себя: «Где же сын? Где жена?»

Поверх головы молчаливо следящей за ним собаки Шурыгин оглядел двор. Он был чисто подметен. Между деревьями на веревке сушилось белье.

Из кустарника у противоположной стороны дувала вышел мальчик лет шести. Это был Павлик, его сын, но Шурыгин узнал мальчика не раньше того, как узнал синий ситцевый передник жены среди выстиранного белья. Шурыгин увидел этот синий передник и в следующее мгновение

понял, что шестилетний мальчик перед ним — его сын.

— Вам кого, дяденька? — спросил Павлик, отгоняя собаку.

Шурыгин внутренне улыбался, но на его черном, жестком лице не шевельнулся ни один мускул. Молча он шагнул к сыну. Со страхом глядя на его лицо, на костыль, на обрубок ноги в подвернутой штанине, мальчик отступил.

— Павлик! — произнес Шурыгин серыми губами и протянул руку.

Мальчик повернулся и побежал.

— Кто там, Павлик? — услышал Шурыгин голос жены, но не сдвинулся с места. Голос Ольги прозвучал, словно из другого мира.

С руками, мокрыми от стирки, Ольга показала из-за угла дома, приостановилась и с неясным вскриком бросилась к Якову.

Она и виду не показала, как больно ей было встретить мужа без ноги. Только жена могла сделать так, точно она не ждала его другим, точно он и не должен был вернуться другим, точно она знала, что он вернется измятым солдатом, чернотлицым, серогубым, молчаливым и злым.

И все же хитрая женская чуткость не успокоила настороженное сердце Шурыгина. Он не пытался разобраться в своих ощущениях. Как бы ни отнеслась к нему жена: плакала бы она по поводу его увечья, делала бы вид, что не замечает его, жалела или пыталась бы рассеять мрачные мысли, — как бы она ни вела себя, предвзятое недоверие к себе она не могла истребить у Якова.

Шурыгин вошел в родной дом с несознанным, но больным, натруженным ожесточением. Оно прочно утвердилось в нем, и ничто не могло его смягчить — ни сочувствие, ни равнодушие, ни жалость, ни любовь.

По вечерам в дом к Шурыгиным приходили друзья и знакомые. Иногда Яков с женой отправлялся в гости. Много было выпито водки, изрядно сказано было приятных слов. Каждый в меру своей душевной склонности расспрашивал Шурыгина о войне, о немцах, о том, как его ранило, долго ли болел, как доехал. Любезное отношение администрации ондатровой конторы и районных властей, внимание товарищей, нежность жены, сына — все чудесные и

целительные проявления человеческих чувств не могли, однако, смягчить истрадавшееся сердце человека.

Шурыгина мучило всеобщее внимание, — в маленьком поселке он был первым, вернувшимся с войны: его тяготило безделье. С ним иногда заговаривали сослуживцы о работе. Заведующий промысловой конторой предлагал ему командные должности. Это не успокаивало Шурыгина. Проходили дни, а он, томимый сознанием обездоленности, томимый безделием, все не решался что-нибудь предпринять.

И однажды наступил день, когда Яков отправился в контору ондатрового хозяйства. Он хотел занять прежнее место. В мирной жизни он хотел начинать с того, что покинул для войны,

Замкнутый, решительный, суровый, он вошел в контору. Он мог бы заведывать участком. Нашлось бы для него место и в самой конторе. Складом заведывать, например, чем плохо? И так как Шурыгин сам в душе сомневался, справится ли он с прежней работой, то ожесточенный заранее, заранее непримиримый, шел он требовать старого, только старого места, чего бы это ни стоило, хоть к прокурору итти.

Все было так, как ожидал Яков. И заведующий, и плановик, и начальник самого крупного производственного участка наперебой стали отговаривать его, убеждать, что должность охотника будет для него тяжела: «Ведь нельзя забывать, — говорили они, — ты еще совсем большой человек, хоть в зеркало на себя погляди».

И потому, что Шурыгин ожидал этого, он продолжал настаивать.

С детских лет Яков Шурыгин привыкал к трудному и просторному охотничьему ремеслу. Никто лучше его не знал, с какими неожиданными затруднениями встречается человек на охоте. Но вот, хотя бы, однажды перед самой войной он заблудился на лодке и неделю не мог выбраться из камышевых зарослей.

Произошло это чрезвычайно просто. Он заночевал на озере. Ночью поднялся сильный ветер, и сплавины, или купаки, как их называли здесь, державшиеся раньше у берегов или на мелях, были сорваны со своих мест, и вся конфигурация камышевых зарослей изменилась. Узкие протоки между камышами перемести-

лись, старые, по которым он мог бы проплыть с завязанными глазами, закрылись, а рядом образовались новые, ведущие не туда, куда ему было нужно. На третий день у Якова кончился хлеб, сахар, соль. В ночь на четвертый опрокинулась лодка, и он остался без спичек и без пороха. Он ел сырое кабанье мясо, мерз по ночам, потому что ночи стали холодные, а огонь нечем было развести.

Сумеет ли он теперь выдержать такое испытание?

И другой случай вспомнился Шурыгину, когда потребовалась от него ловкость и быстрота. Ему было восемнадцать лет в ту пору. Однако он отлично помнил все подробности. С отцом и старшим братом он ехал однажды в районный центр. При переезде через безымянную протоку, каких так много было в том краю, спугнутая плеском воды и людскими голосами из камышей вышла самка барса с детенышем. Брат и отец повернули коней. Яков очутился прямо перед барсом. Зверь присел, скаля пасть. Яков успел соскочить с лошади в тот момент, когда самка прыгнула на него. Пригнувшись и закрывая локтем лицо, Яков с размаху пропорол ей ножом брюхо от глотки до паха.

Сумел ли бы он сделать это теперь, на одной ноге?

И еще вспомнился ему случай, когда потребовалась от него сила. Он охотился с товарищем на кабанов. Заночевали они в камышах. На ночь товарищ решил «насторожить» ружье на кабана. Этот запрещенный способ охоты состоял в том, что на кабаньей тропе устанавливается заряженное ружье со взведенным курком. Кабан задевает на своей тропе насторожку, курок спускается, и происходит выстрел.

Шурыгин проснулся от выстрела. Товарища рядом не было. Шурыгин позвал его. Никто не ответил. Шурыгин начал искать товарища. Спустя некоторое время он услышал стон в продолговатой куртине куги. Товарищ лежал на кабаньей тропе. Весь заряд крупной дробью угодил ему в живот. Он сам напоролся на свою насторожку. До поселка было километров двенадцать, но Яков не решился оставить тяжело раненого человека в камышах. Пробираясь по заросшим тропам, на себе он протащил това-

рища, его ружье, свое ружье и вещевые мешки.

Сумел бы теперь он все это проделывать?

На рассвете следующего дня, тайком от жены, Шурыгин собрал провизию. Еще с вечера он одолжил у старого приятеля его брезентовую лодку. Она весила не больше семи—восьми килограммов, а могла поднять двух человек и сто килограммов груза. Устроена она была просто: на деревянный остов натягивался брезент, который затем тщательно олифили и красили. В два приема Шурыгин перенес в лодку связку капканов, которая хранилась у него на чердаке, вещевой мешок и ружье. Не сказав никому ни слова, он тронулся в путь.

Знакомое и прекрасное, но давно не испытываемое чувство покоя охватило Якова, когда лодка въехала в камышые заросли и, задевая брезентовыми бортами за кромки купаков, поплыла в узком извилистом проходе среди колыхающихся, серебристо позванивающих, высоких камышевых стен.

Он долго плыл, перебираясь из одного водоема в другой, чтобы уйти подальше от жилых мест. В одном из узких извилистых водоемов Шурыгин услышал впереди себя громкий всплеск, точно кто-то веслом плашмя ударил по воде. За ним послышался другой и третий. Это была ондатра, которую Шурыгин вспугнул при своем приближении. На берегу у самой воды он разглядел среди камышей маленькое пространство, заваленное обгрызанными стеблями и кусочками корневищ. Это была кормовая площадка ондатры.

На этом месте ставить капкан Шурыгин не захотел и поплыл дальше, осматривая свои владения. Ондатры было много в этот год. За время войны промысел на некоторых участках понизился, зверьки размножились в огромном количестве. Шурыгин еще не видел ни одной ондатры. Зверьки скрывались при его приближении, но следы их он обнаруживал везде. То он замечал хатки, поднимающиеся на плавающих купках, то кормовые площадки, то «уборные», — ондатра чисто плотное животное и естественные потребности она всегда справляет на одном и том же специально выбранном месте.

Шурыгин тихо выплыл на простор обширного водоема с небольшими, кое-где плавающими купаками. Здесь он приостановился. Впереди он увидел двух зверьков, греющихся на солнце. Они сидели на маленьком купаче возле своей камышовой хатки, отряхивались и чистились. Коричневато-бурые шкурки их блестяли на солнце. Посторонний шорох привлек внимание зверьков. Одна ондатра обернулась, другая поднялась на задние лапки и настороженно поглядела в сторону Шурыгина. Яков замер в своей лодке. Зверьки успокоились. Тот, что был покрупней, видимо, самец, ткнул мордочкой свою подругу и лизнул ее. Самка деятельно принялась прихорашиваться. Самец еще раз поглядел по сторонам и нырнул с тихим всплеском. На поверхность воды взлетели пузырьки. Тонкая пузырьчатая дорожка указала направление, куда поплыл зверек. Через минуту самец вынырнул с комком перегной в зубах. Он вернулся к своему купачу, взобрался на него и прилепил перегной к стенке хатки. Затем он снова нырнул и принес новый комок. Второй зверек последовал его примеру. Натаскав перегной, обе ондатры принялись собирать стебли камыша и листья с поверхности водоема.

Минут двадцать сидел Шурыгин не двигаясь. В эти минуты любознательность натуралиста, свойственная каждому охотнику, заглушила в нем пристрастие добытчика.

Вскоре что-то испугало ондатру. С громким всплеском, предупреждая подругу, самец бросился в воду. Самка последовала за ним. Разошлись круги по воде, поверхность водоема успокоилась, но зверьки не появлялись. Тогда Шурыгин размялся, подплыл к купачу, на котором зверьки строили хатку, и поставил свой первый капкан.

Когда все капканы были расставлены, Шурыгин пробрался к берегу через молодую камышевую поросль, выбрал удобное место, разжег костер, бросил кошму на согнутые стебли и, пока варились обед, лежал на кошме и глядел в высокое чистое казахстанское небо. Шурыгин чувствовал, как расправляется его смятенная душа.

Перед закатом он снова сел в лодку. Тени камышей косо лежали на воде. В узких протоках начинало темнеть.

Солнце сверкало среди камышевых кисточек, как раскаленные угли далекого костра. Светлые водяные жучки проворно скользили по темной поверхности протоки.

Не торопясь, Шурыгин объехал все места, где были расставлены капканы. Только в пяти он нашел добычу. Это его не огорчило. Шурыгин знал, что лучше всего зверьки идут в капканы ночью.

Он заново установил капканы, вернулся в свой лагерь, быстро снял шкурки, обезжирил их и развесил сушить на палках среди камышей. Ему было приятно смотреть на свою первую послевоенную добычу.

Когда солнце село, Шурыгин начал второй объезд. Часов в одиннадцать он снова объехал участок. Промысел шел как нельзя лучше.

В последний раз он осматривал капканы на рассвете. Вернувшись с добычей в лагерь, он зажег фонарь, сделанный из бутылки, снял шкурки с пойманных зверьков и улегся спать.

Он был возбужден тем приятным возбуждением, какое испытываешь после хорошо проведенного дня. Занималась заря. Над камышовой стеной на востоке небо посветлело. Это выглядело так, точно за большой чистой простыней, развешанной для просушки, засветили вдали сильную лампу. Было холодно. Шурыгин закутался в тулуп и некоторое время курил, глядя по привычке в темное небо. Звезд уже не было.

Проснулся Шурыгин поздно. Солнце стояло над головой. Шкурки вчерашнего улова просохли. Он снял их с проволочных правил и уложил в мешок.

Днем он подстрелил двух фазанов и небольшого кабанчика. Фазанов он приготовил на обед, а свинью разделал и присыпал солью, чтобы отвезти домой.

Снова, как и вчера, Шурыгин днем расставлял капканы и на первый осмотр выехал перед закатом солнца.

Дней пять Шурыгин ловил на одном участке. На шестой день он перекочевал в новое место. Лов всюду был очень хорош. Шурыгин чувствовал, что к нему возвращается душевный покой, способность радоваться, быть счастливым.

После третьего объезда он возвращался на место стоянки и неловко повернул лодку. Лодка застряла в узкой протоке. Была ночь, Яков на ощупь определил,

что старые сухие стебли цепко впились в брезентовые борта лодки. Шурыгин приподнялся и сильно уперся в берег веслом. Ему удалось немного сдвинуть лодку, но от этого она еще больше застряла, осев носом на обломанный, крепкий, скрытый под водой камышевый куст.

В темноте трудно было точно определить свое положение. Шурыгин бился полчаса. Лодка не двигалась. Борты ее прогибались, скрипел остов, на который был натянут брезент, трещали камышевые стебли, но усилия человека не имели успеха. Яков немного передохнул, затем поднялся снова и, напрягая все силы, налег на весло. Новая попытка осталась безрезультатной. Весло уходило в вязкий берег, немалого труда стоило вытаскивать его обратно. Шурыгин очень устал, пот катился по его лицу и шее. Все же он не терял надежды освободить лодку. Передохнув, он снова принимался за работу. «Чуть больше бы силы», — думал он. Но силы было мало, и на одной ноге трудно было стоять в качающейся лодке, и ему все казалось, что костылем он проткнет брезент.

Только на рассвете ему удалось сдвинуть лодку. Она качнулась, черпнула бортом, Яков потерял равновесие и неловко упал на борт.

Боли Шурыгин не почувствовал. Он поднялся, вывел лодку из узкой протоки и направился к стоянке. Совсем немного оставалось ему плыть, когда он почувствовал странную теплоту под рубашкой. Он положил весло, сунул руку за пазуху. Кожа на боку была мокрая. «Неужели так вспотел?» — удивился Шурыгин и вытащил руку. Она была в крови.

Ну да, этого можно было ожидать. От чрезмерного ли напряжения, когда он сталкивал лодку, или от того, что неловко упал, рана в предплечье открылась. Что же теперь делать?

Он стянул рубашку. Рана теперь сильно болела; это всегда бывает, когда человек увидит свою кровь. Он не мог пошевеливать рукой. Шурыгин почувствовал отчаяние. Бросить промысел? А как он доберется домой? Он даже бинта с собой не взял. Все было так хорошо. Вот уж не везет человеку, господи боже мой!

Он положил весло и сидел в лодке, комкая правой рукой рубашку. Кровь тек-

ла из раны, щекотала бок, он не вытирал ее. Бросить промысел? А дальше что?

Он перестал думать о том, как доберется домой. Он не жалел в эти минуты, что пропадет заработок, удачный промысел, который на полгода обеспечил бы его семью. Он даже не жалел о капканах, потому что и капканы пропадут, если он не сумеет их собрать.

Сознание, что он действительно не годен для дела, было горше всего. Как он мечтал доказать и себе и другим, что его ранение не помешает ему быть таким же, каким он был до войны! Значит, прав был тот паренек, с которым он ехал в поезде. Попробуй не стать таким!.. Попробуй не отчаяться.

Однако состояние безнадежности не могло продолжаться бесконечно. Нужно было что-то предпринимать. Яков разорвал рубашку, забинтовался кое-как, затем здоровой рукой разматал веревку, привязал ее к веслу, на другом конце сделал петлю и накинул себе на шею. Работая одной рукой, натягивая веревку шеей, он начал грести. Лодка слушалась очень плохо. С великим трудом добирался он до стоянки, долго преодолевая путь, на который раньше потребовалось бы полчаса. Подконец все же он приновился грести, и лодка пошла быстрее.

В эту ночь капканы остались неосмотренными. Не разжигая огня и не ужиная, Яков Шурыгин лег спать и несколько часов проспал тяжелым сном.

Утром он разматал повязку. Рана кровоточила, болела. Благоразумие требовало возвращаться домой.

Но Шурыгин заставил себя подняться и сесть в лодку. Он еще ничего не решил. Он только знал, что должен подняться и сесть в лодку.

И тогда Шурыгин захотел сперва собрать капканы. Во всех капканах была добыча.

Благоразумие требовало возвращаться домой, а он наперекор здравому смыслу не стал собирать капканы. Напротив, он снова их установил. Будь что будет, а промысла он не бросит, пока есть силы грести.

Над узкими протоками, освещенными багровым закатом, и между куртинами камыша с тонким писком пиясала в воздухе мошкара. Утки с пронзительным свистом взлетали над озерами.

Шурыгин сидел у костра. В небо поднимался высокий столб белого дыма. Он собирался чистить на ужин только что пойманную щуку, как вдруг услышал далекий всплеск весла и голос жены, выкликающий его имя где-то за камышами. Через секунду раздался выстрел, за ним другой, третий. «Меня ищут!», — догадался Шурыгин. Он бросил недочищенную щуку в котелок и по кабаньей тропе сошел к берегу.

Лодка с женой и товарищами выплывала из главной протоки на чистую воду.

Еще не успев ступить на берег, заведующий конторой принялся отчитывать Шурыгина. Яков не стал его слушать. Он обхватил здоровой рукой жену и повел ее к костру.

— Мальчика строишь? — кричал заведующий, выбираясь из лодки. Он пошел, грузно ступая, позади них. — Весь район на ноги поднял! Ищи-свищи, видишь ты, демобилизанта сгинул!

Могучее тело заведующего не помеща-

лось на узкой тропе. Сухие стебли царапали его старую охотничью куртку и ломались с тупым треском.

— Не шуми, Степан Антоныч, ондатру распугаешь, — ответил Шурыгин.

Он потянулся к костру за головешкой, чтобы прикурить, и убедился, что уже не чувствует обычной боли в плече. Рана затягивалась. И тогда Шурыгин снова вспомнил о пареньке, с которым ехал в поезде. «Где мои золотые горы!» — этот крик паренька и сейчас стоял у него в ушах. Шурыгин усмеялся. «Нет, таким я не буду!», — подумал он и ничего не сказал своим товарищам. Жена принялась чистить щуку. Заведующий конторой и начальник промыслового участка таскали камышевую солому к костру, так как решено было перед отъездом поужинать. Прохлаждаться было некогда. Уже опускалось в красном тумане солнце за камыши. В густой чаще раздался треск — это кабаны пробирались к водопою.

ИЗ СЛАВЯНСКИХ ПОЭТОВ

УПРЯМЫЕ СТРОФЫ

РАДОВАН ЗОГОВИЧ

★

Посвящается иностранцу, который сердито сказал: «Вы забываете, что вы малая страна».

РАДОВАН ЗОГОВИЧ. До войны был известен как один из наиболее передовых поэтов Югославии. Особенно хорошо был принят прогрессивными кругами цикл его песен о крестьянах Косово и Метохии. Всю войну провел в рядах партизан. Работал редактором партизанских газет. В дни войны написал ставшую широко известной биографическую поэму о маршале Тито и сборник стихов «Лирическая хроника».

Радован Зогович — депутат Народной Скупщины Югославии.

Малая страна?
Спросите немца-зверя:
— Где же
 добирался он до края?
Мерю
 для плоского пространства
 не измерить гор.
И — гордость края,
 где герой,
 живя и умирая,
охраняет волю,
 право, счастье.
У веков спроси,
 пронесших бури:
 — Где они копытами
 споткнулись,
где они крылами
 облопались:
на равнинах ли
 земли бескрайной?
Или
 о гранитные вершины —
 черные, упрямые, крутые?
Где они взнеслись —
 и где пропали?
Малый?
 Объясните — по-славянски
 значит ли прозвание
 малолетка?
Наш Триглав
 не хочет чуждой власти:
воздух над горой —
 орлам не клетка.

Отчего же
 гордость горной выси
 дразнит вас
 под небом необъятным?
 Разве мы по мерке
 в рост не вышли?
 Наша родина
 как раз
 подстать нам.

Скроена по славе
 и отваге:
 ни тесна, ни коротка —
 свободна.
 Правда — на тропе
 двоим нет места:
 может, для людей
 и ного шага —
 для чужих
 она
 непроходима.

Малая?
 Но сердце —
 вся ей мера —
 родине моей —
 в любви и в песне.
 Вы — своим довольны королевством,
 нам же —
 родиной дышать не тесно:
 широко
 в республике свободной.

Станем же,
 как рекруты, мы рядом
 на вербовке —
 и измерим сердце:
 разве ваше сердце
 шире и отрадней?
 Или в нашем
 радости не больше?
 Или наше сердце
 бьется мельче,
 оттого что
 земли наши меньше?

По чьему ж должны —
 скажи —
 приказу
 измерять мы
 честь свою и гордость?
 Как не терпит кривды
 здравый разум,
 так учить себя
 мы не позволим.

Не позволим
 право нашей чести
 мерить
 человека недостойной
 мерой метра,
 звонкою монетой.
 Для свободных
 этой меры нету.

Малая?
 Лишь пролитая щедро
 кровь за родину —
 ее мерило,
 для путей,
 границ ее.
 И — славу
 мерой сердца
 доблесть утвердила.

Измеряй страну
 ты славным следом
 наших дел, —
 вслед вражеским отрядам.
 Края крови нет,
 край славы,
 лишь пределом
 он пролёт
 с отвагой нашей рядом.

Нет,
 не мерой,
 годной для пространства
 плоского, —
 не метром, не аршином
 меряй ты страну,
 но с л а в н ы м с ы н о м,
 одолевшим бури
 и невзгоды,
 вставшим,
 будто горы, —
 и с п о л и н о м.

Перевод с сербского Дмитрия Петровского

**СТОЯНКА,
МАТЬ КНЕЖЕПОЛЬСКАЯ,
ВЗЫВАЕТ К МЕСТИ,
ИЩА СВОИХ СЫНОВЕЙ,
УБИТЫХ В БОЮ
С ФАШИСТАМИ
НА ГОРЕ КОЗАРЕ**

СКЕНДЕР КУЛЕНОВИЧ

★

СКЕНДЕР КУЛЕНОВИЧ. Родился в городе Травник. Начал литературную деятельность до войны в прогрессивных журналах Загреб. Известность приобрел во время народно-освободительной борьбы в связи с появлением его поэмы «Стоянка, мать кнежепольская» (вышла во многих изданиях). С начала народно-освободительной борьбы Куленович находился в партизанских отрядах. Был членом редакции нескольких подпольных партизанских газет и журналов. Сейчас Куленович — художественный руководитель Сараевского государственного театра. Поставил на сцене этого театра много пьес, среди которых и ряд советских.

Вы все трое играли на моей
материнской груди. —

Срджан мой,
Мрджан мой,
Млáджан мой!
Где вы?
Я теплые ваши пеленки стирала,
вы — три года жизни моей,
трое суток, тяжелых и сильных,
порожденные чревом моим,
кнежепольский росистый трилистник,
расцветший под сердцем моим,
трое Обиличей¹ вы,
трое сосен, шумевших на склоне Козары,
трое титовых барсов!
Где вы, мои сыновья,
где вы, первые ружья Козары,
где вы, последние слезы мои?

Сбила ноги свои,
по кровавым пятнам ступаю,
вопрошаю Козару,
вопрошаю Просару:
— Где, Козара, дети мои?
— Где, Просара, орлята мои?
Я зимой отводила их в школу,
я искала дорогу
на завейных снегом крутых берегах.

¹ Милош Обилич — один из героев серб.кого богатырского эпоса.

Трое барсов,
 трое лютых метелей моих,
 трое последних моих целований!

Где ты, Срджан?
 Рукав заверни,
 дай мне узнать твою родинку,
 темную, как ежевика!

Где ты, Мрджан?
 Матери голень свою покажи,
 затвердевший на холоде шрам,
 оставленный вражеской пулей.

Где ты, Младжан?
 Ледяная вода у меня на ладони.
 Позабудь, что убили тебя,
 улыбнись.
 Я бы сразу узнала тебя —
 по твоей горделивой улыбке...

Где вы?
 Омывают ли вас
 воды Млечаницы,
 воды Грачаницы,
 воды Моштаницы.
 или в проклятых немецких окопах
 черви сосут ваши отверстые очи?

Встаньте, дети мои,
 на Кнежеполье взгляните.
 В эту осеннюю пору —
 где пшеница червонная?
 Где косари,
 где загорелые жницы?
 Где дымящийся круглый пирог
 из крупчатки первых помолов?

В эту пору
 от Козары до Савы,
 как солдаты в строю, кукуруза стояла,
 колыхалась пшеница,
 спелые сливы синели,
 как коровы, лежали холмистые земли,
 урожаем чреватые.
 Где теперь их добрый хозяин,
 где мужская рука?

Дети мои,
 не браните меня, что печалю вас,
мертвых.
 Руки раскинув, родитель ваш старый
 на Градшинской старой дороге
расстрелян лежит.

Дядю вашего Радоя
 погубили в неволе,
 кума Илию убили.
 одна я на свете осталась...

Кнежеполье пустое простёрлось,
свинцовая мгла удушила его.
Только порой забредет одичавший
теленок

в пустое жильё,
тычется в черные стены,
как из могилы мычит...

Кто же будет косить в эту осень?
Кто же будет ракию варить?
Жирное сало кромсать?
Ох, неужто о н и?
Ох, неужто прыщавые щеки
будут пухнуть от сладкой баранины
нашей?

Ох, неужто их челюсти песьи
будут хлеб наш пахучий жевать?
Ох, неужто наша река Орленка
в и х поганые горла прольется?
Ох, неужто после нашей кончины
сытые, пьяные будут о н и валяться
на этой траве
прохладной?

Кто их будет судить?
Кто сожжет вурдалаков?

Ох, Козара, Козара, Козара!
Кто, скажи, отомстит
за плечистого Срджана,
за высокого Мрджана.
за пригожего Младжана?

Ты, Козара, зеленая сестрица,
соколятам моим, орлятам —
мать вторая!
Далеко тебя видно,
далеко тебя слышно.
На тебя глаза подымаю —
в твоём гнезде
молодые птенцы.
Не пустеешь, сестрица Козара,
в косах своих зеленых
прячешь юнаков.
Слова не вымолвишь,
брови темные хмуришь,
в сердце твоём, как в раскаленном котле,
месть кипит.

Отомсти за сына моего Срджана,
отомсти за сына моего Мрджана,
отомсти за сына моего Младжана,
отомсти за меня, сестра моя,
кровь за кровь и око за око.

Говорил мне пригожий Младжан:
«Как погибну я в битве, мать Стоянка,
отомстит за меня мать Козара,

отомстит за меня мать Россия, —
 ждать придется недолго,
 будет слышен повсюду шум великий».

Слышишь ли, Козара, шум великий
 с той стороны, где восходит солнце?
 Исполняется слово сыновье,
 Красное войско
 надвигается, как половодье.
 А над войском,
 над половодьем —
 красное облако —
 красное знамя.
 А на облаке этом,
 на знамени —
 молнии огненные скрестились —
 серп и молот.

А под облаком этим,
 под знаменем —
 Сталин.

Вся земля гудит,
 надвигается войско кремлевское,
 содрогаются черные двери темницы,
 скрежещут ржавые зубья
 проволоки колючей,
 наши люди гибнут в неволе,
 ждут свободы.

Козара, Козара, сестрица Козара,
 расплетай зеленые косы,
 посылай на битву юнаков, —
 пусть окрасят кровью немецкой
 три ледяные реки!

Стало бы чрево мое молодым,
 снова бы я породила
 Срджана,
 Мрджана,
 Младжана,
 я бы трех сыновей породила,
 на лютом лоне вскормила,
 тебе подарила!

Ты взмахни косою партизанской,
 грянь из всех своих пулеметов,
 приготовь Кнежеполье
 для нового сева.

Осень пришла кровавая, —
 да будет счастлива жатва!

1946 г. февраль.

*Сокращенный перевод с сербского
 Арсения Тарковского.*

ВИТЕЗЛАВ НЕЗВАЛ

★

ВИТЕЗЛАВ НЕЗВАЛ (р. 1900) — принадлежит к числу виднейших современных чешских поэтов. Он выступил на литературное поприще после первой мировой войны, причем субъективно-индивидуалистические мотивы его поэзии не встретили широкого отклика, но чрезвычайное изящество и оригинальность его образов произвели большое впечатление и оказали влияние на дальнейшее развитие чешской поэзии. В годы, непосредственно предшествовавшие гитлеровскому нашествию, и во время войны в произведениях Незвала широко звучали общественные и патриотические мотивы. Из произведений этого периода можно указать на сборник «Швабы» и на «Историческую картину», которая рисует страну под властью оккупантов.

КАТАФАЛК

Снова за стеною до рассвета
Звуки молотка.
Словно заколачивают где-то
Кости бедняка.

Звезды виснут на ветвях дубовых,
До земли их гнут.
Мимо дома этой ночью снова
Черный гроб везут.

Потеряв о времени понятие,
Бьют всю ночь часы,
Словно безъязыкое проклятье,
Где-то лают псы.

И, вскочив как от удара палки,
Я к окну встаю...
Там везут на черном катафалке
Родину мою.

1943 г.

ЗНАМЕНА ДЕВЯТОГО МАЯ

Небо, небо — цвет свободы, цвет
лазури и победы,
Через Прагу крестным ходом,
как на пасху, едут танки,
Окна улиц повернулись и бегут за ними
следом.
Прага, Прага превратилась в золотую
маркитантку.

Я влюблен в тебя, в такую, мы такой
тебя забыли.
Пусть еще стреляют немцы из проездов
и подвалов,
Но железом и камнями от разрушенных
Бастий
Мы с тобою вместе, Прага, их накормим,
как бывало.

Возле танков, где на башнях едут
пыльные Мессии,
У домов, еще звенящих ранеными
зеркалами,
И в глазах, где, пролетая, отражается
Россия,
Золотая маркитантка — Прага пляшет
вместе с нами.

1945 г.

★

С богом!¹ Ну что ж! Как ни странно, мы
оба не плачем.
Да, все было прекрасно. И больше об
этом ни слова.
С богом! И, если мы даже свиданье
назначим,
Мы придем не для нас. — для другой
и другого.

С богом! Пришла и ушла — как пере-
мена погоды.
Погребального звона не надо — меня
уж не раз погребали.
Поцелуй, и платочек, и долгий гудок
парохода,
Три — четыре улыбки... И встретимся
снова едва ли.

С богом! Без слов — мы и так их
сказали с избытком.
О тебе моя память пусть будет простой,
как забота,
Как платочек наивной, доверчивой, как
открытка,
И немножко поблекшей, как старая
позолота.

С богом! Ну что ж! В самом деле? Ну
да, в самом деле.
Мы не лжем, как врачи у постели,
смертельно больного.
Разве мы бы прощались, если б
встретиться снова хотели?
Ну, и с богом! И с богом!... И больше
об этом ни слова!

*Вольные переводы с чешского
Константина Симонова*

¹ С богом: по-чешски — прощай.

РОМАНС О КАРЛЕ ЧЕТВЕРТОМ

ЯН НЕРУДА

★

ЯН НЕРУДА (1834—1891) — один из наиболее выдающихся чешских писателей прошлого века. В прозе он сыграл большую роль, как мастер реалистической, часто сатирической, новеллы, всегда посвященной заботам и горестям «маленьких людей» (лучшие сборники его прозаических произведений—«Арабески» и «Малостранские повести»; последний издан недавно в русском переводе). В поэзии его справедливо относят к числу чешских классиков, так как он не только преобразовал чешский стих, дав ему легкую и звучную форму, но и сумел наполнить свои произведения глубоко человеческим, последовательно демократичным и неизменно патриотическим содержанием. Неруда до сих пор остается одним из наиболее читаемых чешских поэтов. Многие его песни положены на музыку.

Старый Карл и Бушек из Вилгартец
За дубовый стол, дубовый стол засели.

Много кубков в горло они влили,

Много песен во все горло спели.

— Эй, подай нам, паж, другие кубки...

«Кубки... Кубки...» — стены вторят

эхом.

— Ты сейчас узнаешь новость, Бушек,—

Бушку говорит король со смехом.

— Эти грозди черные впервые

Наше солнце чешское согрело,

Чешское вино по чешским глоткам

Нам пускай в утробу льется смело.

Карл, хлебнув, поставил кубок:

— К чорту!

«К чорту! К чорту!»—стены повторяют.

— Эта дрянь, как терн, мне зубы

сводит,

Кислотой шею мне ломает!

— Сто коней загнав, лозу везли мне

Прямо из Бургундии из самой

Для того, чтобы она польнью

Стала в этой Чехии упрямой,

Персик посади — взойдут здесь фиги.

«Фиги! Фиги!» — повторяют стены.

— Розу посади здесь — и в насмешку

Вырастет репейник непременно.

— Что земля тут, что народ—все то же,
Хоть пришли сюда святых сто тысяч!
Проповедь невпрок упрямым чехам,
Им недолго и святого высечь!
В ступе воду я толку здесь, верно.
«Верно! Верно!» — Карлу стены вторят.
— Я при жизни их переупрямлю —
Так они посмертно переспорят!

Стало жарко королю от гнева.
Со зла залпом допил он всю кружку,
Протянул пажу ее, не глядя,
Вытер рот и повернулся к Бушку.
Но упрямый Бушек из Вилгартец
В третий раз уж брал вино на пробу,
Полоскал им рот, мочил в нем губы,
Языком валял и тискал к нёбу.

— Будь вам пусто, — начал Карл
ворчливо,
Но опять за кубком потянулся
И, чтоб утопить дурное слово,
Выпил все до дна и улыбнулся.
— Что ж, я должен умереть от жажды?
«Жажды! Жажды!»—стены повторили.
— Паж, ты верно слеп! Налей нам
кубки!
Мы ведь лишь пригубили, не пили.

— Пей, мой Бушек, и не будь печален,
Видишь, как вино по кубку бродит.
Мой язык на вина привередлив,
Но как будто это мне подходит.
Только знать его характер надо!
«Надо! Надо!» — стены загремели.
— Терпкое покажется вам сладким,
Если вы в нем толк понять сумели.

— Да, ты прав, мы, чехи, все такие! —
Королю ответил Бушек. — Что же —
Может, мы на вкус и грубоваты,
Может, на бургундцев не похожи,
Но прильни губами к кубка краю.
«Краю! Краю!» — стены подтвердили.
— Губ своих весь век уж не отнимешь,
Сколько бы вина они ни пили!

*Вольный перевод с чешского
Константина Симонова*

ВОРОНЕЖСКОЕ ЛЕТО

Из дневника

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ



МАЛЬЧИКИ

Заповедный лес на реке Усмани под Воронежем — последний на границе донских степей. Он слабо шумит — прохладный, в запахе трав, но стоит выйти на опушку — и в лицо ударит жаром, резким светом, терпким воздухом чебреца, и до самого края земли откроется степь, далекая и ветренная, как море.

Откроются ветряки, что машут крыльями на курганах, и коршуны, и острова старых усадебных садов, раскинутые в отдалении друг от друга.

Но прежде всего откроется небо — высокое степное небо с громадами сивеватых облаков. Их много, но они почти никогда не закрывают солнца. Тень от них изредка проплывает то тут, то там по степи. Проплывает так медленно, что можно долго итти в этой тени, не отставая от нее и прячась от палящего солнца.

В степи, недалеко от старого липового парка, поблескивает в отлогой балке маленькая река Каменка. Она почти пересохла. Только в небольших бочагах налита чистая прогретая вода. По ней шныряют водяные пауки, а на берегах сидят и тяжело дышат — никак не могут отдышаться от сухой жары — сонные лягушки.

Липовый парк, изрытый блиндажами, разрушенными и заросшими дикой малиной, слышен издали. С рассвета до темноты он свистит, щелкает и звенит от множества синиц, щеглов, малиновок, иволг и чижей. Птичья сутолока никогда не затихает в кущах лип. — таких высоких, что от взгляда на них может закружиться голова.

У подножья деревьев прячется в тени маленький белый дом. Он некогда принадлежал почти забытому писателю Эртелю, современнику Чехова. Сейчас здесь небольшой дом отдыха.

С птицами в парке у меня были свои счеты. Часто по ранним утрам я ходил на Каменку ловить рыбу. Как только я выходил в парк, сотни птиц начинали суетиться в ветвях. Они старались спрятаться и обдавали меня дождем росы. Они с треском вылетали из зарослей и опрометью неслись в глубину парка. Должно быть, это было красивое зрелище, но я промокал от росы и не очень им любовался. Я старался итти тихо, бесшумно, но это не помогало. Чем незаметнее я подходил к какому-нибудь кусту, переполненному птицами, тем сильнее был переполох и тем обильнее летела на меня холодная роса.

Я приходил на Каменку. Подымалось солнце. Блестела пустынная росистая степь. Вокруг не было ни души. Даже самый зоркий глаз не мог бы заметить никаких признаков человека. Но стоило мне закинуть удочку, как тотчас из балки выныривали белоголовые совсем маленькие босые мальчишки.

Они подходили сзади широкой дугой, но так осторожно, что я иногда узнавал об их появлении только по сосредоточенному сопению у себя за спиной.

Мальчишки молчали, сопели и, не отрываясь, смотрели на красные поплавки. Изредка кто-нибудь из них чесал одной ногой другую.

По старому опыту я знал, что при таких обстоятельствах рыба перестает клевать. Это было необъяснимо, но верно. Стоило даже одному мальчишке остановиться за спиной и уставиться на поплавок, как клев наглухо прекращался.

Сначала я решил откупиться от мальчишек. Я роздал каждому из них по золоченому крючку, но с тем, что они уйдут и не будут мешать мне удить. Мальчишки взяли крючки, поблагодарили шопотом и честно ушли. Но через полчаса появилась толпа совершенно новых мальчишек. Уже издали они кричали:

— Дяденька, дай крючка!

Я понял, что совершил грубейшую ошибку.

Нужно было найти верное средство, чтобы избавиться от мальчишек. Тогда я вспомнил слова писателя Гайдара. Он уверял меня, что на детей сильнее всего действуют загадочные разговоры. И вот, когда на следующий день мальчишки окружили меня, начали сопеть и рыба снова перестала клевать, я сказал мрачным голосом, не оглядываясь:

— А вы знаете, ребята, что за это полагается штраф в сто рублей?

— За что?—неуверенно спросил самый шустрый мальчик.

— А вот за это за самое,—ответил я.

Мальчишки переглянулись и, не спуская с меня глаз, начали медленно и осторожно пятиться. Так, пятясь, они прошли шагов тридцать, потом сразу повернулись и бросились врассыпную в степь. Самый маленький бежал сзади, спотыкался, потом вдруг заревел басом. Шустрый мальчишка схватил его за руку, шлепнул и поволок за собой. Мальчишки исчезли.

Я сам не меньше мальчишек был поражен тем, что случилось. Я засмеялся. В ответ за кустом лозняка кто-то хихикнул.

Я заглянул за куст. Там, уткнувшись лицом в траву, лежали и тряслись от смеха два белобрысых мальчика с длинными веревочными кнутами.

— А вы чего остались?

— Нам нельзя, — сказал мальчик постарше. — Мы пастухи. У нас стадо тут за бугром.

— А если бы не было стада?

Мальчишки, ухмыляясь, встали. — Не!—сказал он. — Все одно, мы бы не убегли. Мы большие. А те — махонькие. Что им ни посули—они все-му поверят. Теперь забоялись, долго не прибегут.

Так началась моя дружба с пастухами Витей и Федей. И начались необыкновенные наши разговоры.

— Вы кто? Писатель?—спросил меня сразу же Федя.

— Да, писатель.

— А вы давно заступили в писатели?

— Давно.

— Что-то не видно,—сказал Федя и подозрительно посмотрел на меня.

— Почему это не видно?

— Рыба клюет, а я гляжу, вы все зеваете.

— Что-то ты путаешь,—сказал я.— Рыба здесь не причем.

— Ну да,—обиженно заметил Федя. — Как это так не причем?

Тогда в разговор вмешался младший пастушок, Вита.

— Запрошлое лето,—сказал он, торопясь и захлебываясь,—тут два писателя тоже рыбу ловили. Дядя Жора и дядя Саша. Так дядя Саша как-ак закинет удочки, как-ак у него возьмет, как-ак он дерганет, как-ак вытащит.—вот такого окуня! В локоть! Раз за разом. А дядя Жора — так тот не мог. У дяди Жоры не получалось. Сидит-сидит весь день — и вытащит плотичку. Худую, мореную.

— Тоже лезешь!—сердито сказал Федя. — Дурной совсем. Так ведь дядя Жора вовсе и не был писателем. Понятно? А дядя Саша, так тот писатель. Он двадцать книг написал.

Тогда я, наконец, понял. В представлении Федей, настоящий писатель был существом легендарным, безусловно талантливым во всех областях жизни. Он был своего рода волшебным мастером «золотые руки». Он должен был все знать, все видеть, все понимать и все великолепно делать. Мне не хотелось разрушать эту наивную веру маленького деревенского пастуха. Может быть потому, что за наивностью этой скрылась настоящая правда о подлинном писательском мастерстве, та правда о какой мы не помним и к осуществлению которой не всегда стремимся.

Почему-то стало стыдно. И даже

малом деле — в рыбной ловле — я с тех пор поклялся себе не прозевать ни одной поклевки, — особенно при Феде. Это уже как будто становилось делом чести. Сейчас, в Москве, это кажется мне немного смешным. — то, что я думал тогда, на Каменке, но я не мог допустить мысли, что Федя кому-нибудь скажет:

— Дядя Костя? Да какой же он писатель! Он подсекать не умеет. У него рыба все время срывается.

С тех пор при встречах с Федей я был настороже. Ему нужно было все знать. Он задавал мне множество вопросов. Но не на все его вопросы я мог ответить. Как все пастухи, Федя хорошо знал всякие травы, цветы, растения и любил о них поговорить. Я тоже кое-что знал о растениях, но здесь, под Воронежем, было много таких трав и цветов, какие не встречались у нас, в более северной полосе России. Поэтому я был очень доволен, что захватил с собой из Москвы определитель растений.

Я приносил из степи, с берегов Усмани, из запovedного леса охапки разных цветов и трав и определял их. Так постепенно благодаря Феде я погрузился в заманчивый мир разнообразных листьев, венчиков, лепестков, тычинок, колосьев, в мир растительных запахов и чистых красок. Моя комната стала похожа на жилище деревенского знахаря. Связки сухой травы висели на стенах, и лекарственный дух степных растений так прочно поселился в ней, что его не мог вытеснить даже запах цветущих за окнами лип.

И вот, наконец, наступил час моего торжества.

По берегу Каменки цвели хрупкие цветы топтуна. Они были похожи на маленькие белые звезды.

Однажды я пришел на Каменку на рассвете. Тотчас появился и Федя. Он подсел ко мне, достал из кармана хлеб, начал жевать его и спрашивать меня о всяких обстоятельствах жизни.

Небо было закрыто мглой. В серой воде неподвижно стояли яркие поплавки. Рыба клевала ярче.

Я взглянул на цветы топтуна у своих ног и заметил, что все они закрыты.

— Будет дождь, — сказал я Феде.

— Откуда вы знаете?

— По цветам.

Я показал ему на закрытые цветы. Федя наморщил лоб и долго думал.

— А зачем они перед дождем заворачиваются?

— Чтобы дождь не сбивал пыльцу.

Я начал рассказывать ему о пыльце, об опылении, о том, что по цветам можно определять время дня. Пока я рассказывал, у меня клонула плотва, но я прозевал. Федя даже не заметил этого. Он был взволнован моим рассказом.

— Откуда вы это все взяли? — спросил он. — Из школы?

— Из книг.

— Ну, если бы я так-то знал... — протянул Федя и замолчал.

— Что ж? Перестал бы пасти коров? Уехал бы в Воронеж?

— Нет! — сказал Федя. — Мне тут привольно. Вырасту большой, сделаюсь председателем колхоза вместо Силантия Петровича, заведу у себя в деревне парники, цветы. Чего-чего только я тут ни придумаю. Медовую фабрику открою.

Одинокая капля дождя отвесно упала в воду. От нее пошли тонкие круги. Потом сразу вокруг нас зашевелилась, зашептала трава, вся вода покрылась маленькими кругами, и слабый, но внятный звон поплыл над омутом. Шел тихий теплый дождь.

Далеко в разрывы мягких туч светило солнце широкими лучами, и степь дымилась и блестела. Сильнее запахла трава, хлеба и земля. Из-за бугра потянуло парным молоком — там паслось стадо.

— Гляньте, — сказал мне Федя, — так это же стеклянная трава!

Ворсистые стебли топтуна были сплошь покрыты каплями дождя. И все это маленькое растение так сверкало у наших ног, будто оно было действительно сделано из хрустала.

Звон над омутом не затихал, и теперь уже казалось, что звенит не только дождь, но и вот все эти хрустальные травы.

Спрятаться от дождя было негде, и мы сидели, накинув на головы федин ватник.

— Доброе лето! — серьезно сказал Федя.

Эти слова он, должно быть, слышал от кого-нибудь из деревенских стариков, очевидно, от своего деда. Лето было, действительно, полно неуловимой

доброты — и в легком шуме дождей, и в теплоте рек, и в слабом качании мирнад полевых цветов, и в запахе зреющей пшеницы — предвестнике урожая.

АННУШКА

Вторую неделю дул суховей. Косари жаловались: трава в парке пожухла, зарубела, как проволока, и косить ее нет возможности. — то и дело приходится отбивать косы.

Звон отбиваемых кос, душный ветер, столбы пыли по степным дорогам, — тяжело выдалось лето! Земля потрескалась, вода в пруду отошла и обнажила дно, рябое от телячьих следов. Никак не верилось, что есть еще на свете прохлада и дожди.

Косари подрядились косить траву в парке при доме отдыха. Они старались, обкашивали каждый куст, но обошли маленький холмик под липой. Обошли потому, что холмик этот, заросший желтыми колосьями, был могилой девушки Анны.

Из сбивчивых и многословных рассказов косарей об этой могиле выяснилось, что сто лет назад обитал в здешних местах воронежский мещанин Иван Саввич Никитин. Он держал на Задонской дороге постоялый двор и, бывало, записывал на досуге в толстую конторскую книгу песни своего сочинения. По словам косарей, Иван Саввич собственно-ручно спилил ветку, на которой удавилась Анна, а спиленное место покрасил белой краской. Сколько лет прошло, а коаска не сошла! И сейчас еще на лице видно белое пятно на том месте, где росла эта ветка.

Анна была актеркой у помещика Шлихтинга. Помещик этот держал знаменитых коней. — вороных и гладких, «как ласточки». Овес для этих коней поставлял ему Иван Саввич.

Однажды Иван Саввич приехал к Шлихтингу взыскивать долг за овес, попал на представление в помещичьем доме и увидел Анну. О чем он с ней говорил, — никто не знает. Только известно одно: пришел он к Шлихтингу и просил, чтобы отпустил помещик Анну в Москву играть в столичном театре, потому что у нее был великий дар.

Просил и так и этак, и по-человечеству, и по-божески, и долг за овес обещал начисто скостить — а долг был тяжкий, многолетний — и сулил Шлих-

тингу народную ³благодарность. Но Шлихтинг был сухопарый немец, неуважительный, хоть и был он шутлив и бегал по своей земле вприскочку.

Он усадил Ивана Саввича у себя в кабинете в мягкое кресло, сам сел напротив, крепко сжал Ивана Саввича за коленки, посмотрел ласково в глаза и сказал:

— Напрасно ты полагаешь, будто я так разорился, что польщусь из-за Анны на твои овсяные рубли. Получай эти рубли и езжай с богом. В овсе твоим я теперь не нуждаюсь.

Он открыл ящик стола, а стол был с перламутром, и выложил Ивану Саввичу пук ассигнаций. «Я, — говорит, — всех коней и усадьбу продал и Анну беспрременно продам князю Орлову — он на таких падкий. А сам уеду в город Ригу, где и буду житьствовать. Так что, — говорит, — запоздал ты со своим представтельством. Да оно и ни к чему, потому что, ежели бы не продал и никуда бы не отпустил. Что мое — то мое, а что твое — то твое. Ты в мои кошельки и дела не суйся!» Встал Иван Саввич и сказал: «Ну, видно, нет у вас ни чести, ни сердца, и есть вы рыжий немецкий пес!» И ушел, сдержался, чтобы не прикончить Шлихтинга на месте. А Анна в ту же ночь удавилась на молодой липе.

Парк при доме отдыха был обнесен валом. Косари отдыхали на валу, — там всегда дул из степи крепкий ветер, сушил мокрые рубахи, потные лбы.

Сначала косари молчали, смотрели, прищурившись, как ветер широкими полосами кладет седые овсы, потом, отдышавшись, закуривали, и тогда ночной сторож при доме отдыха, старый Семен — человек робкий, с желтым лицом — говорил:

— Мою тоже Анной зовут. Только век нынче не тот!

— Чего? — переспрашивал кто-нибудь из косарей. Они несколько раз уже слышали рассказ Семена об актерке Анне и о дочери Семена, тихой девушке Анне, но никогда его не останавливали — то ли от лени, то ли от деревенской сво-

ей любви к длинным и складным житейским историям.

— Век нынче, говорю, не тот! — повторял Семен. — Время прояснилось. Ты только гляди!

Семен начинал свой рассказ, и косари слушали, почесывая грудь и поддакивая. Что уж говорить, не было у Семена сынов, так не обидела судьба — дала милую дочь. Это уж верно, тут ничего навстречу не скажешь.

Когда Семен замолкал, кто-нибудь из косарей обязательно спрашивал:

— Так, говоришь, навесить скоро придет?

— А как же! — торопливо отвечал Семен и виновато улыбался. — Отписала: приеду после Петрова дня. Мне бы только дождать!

— Доживешь, — лениво успокаивали его косари.

— Да надо бы, — неуверенно говорил Семен. — Вот только дыхания у меня маловато.

Он наклонялся и начинал перевязывать лапоть. Дышал он трудно, со свистом. Косари молча переглядывались, а потом кто-нибудь весело говорил:

— Покурили, как на войне перед атакой, да и пошли махать. Небось, до Петрова дня управимся.

Во время войны дом отдыха был закрыт. Сразу стало пусто и тихо и в комнатах, и в парке. Дорожки заросли, и на них целыми толпами безнаказанно грелись на солнце красные жуки с черными пятнами. Их звали «солдатиками». Пылились книги на полках, портьеры, старая мебель. Пересохли букеты, забытые отдыхающими в кувшинах, и в комнатах стоял гниловатый запах застоявшейся цветочной воды.

Семен все никак не мог привыкнуть к безлюдью. Как и до войны, он бродил каждую ночь по парку со старым ружьем, рассуждал сам с собой, удивлялся, что мальчишки перестали трясти в саду вишни-скороспелки; закинув голову, долго слушал, как проходили в вышине невидимые ночные самолеты, и гадал, чьи они — ихние или наши?

Семен жил с дочерью Аннушкой в селе Привалове, в трех километрах от дома отдыха, и приходил сторожить только к вечеру. А весь день и дом и парк стояли забытые всеми и пустые.

Потом до парка начала достигать ка-

нонада, и в доме появились новые хозяйки — военные. В парк вползли горячие и пыльные танки, укрылись под сенью лип и кленов. Бойцы начали рыть блиндажи. Они рыли их в самых глухих и живописных уголках, в гуще зарослей. Может быть, бойцам казалось, что в зарослях безопаснее. Конечно, это было неверно, но непроницаемая зелень над головой и ветки дикой малины, закрывавшие вход в блиндаж, — все это было особенно мило бойцам и создавало у них спокойное настроение.

Аннушка перед самой войной окончила семилетку и поступила на работу в бобровый заповедник, что в лесу, за рекой Усманью. Когда подошли немцы, всех бобров выпустили из вольеров в реку. Но один старый бобер ни за что не хотел уходить, остался в вольере, и когда сотрудники заповедника эвакуировались, то Аннушке поручили его кормить. Она ходила из Привалова в заповедник, срезала для старого бобра осинового ветки, рвала крапиву. Каждый раз бобер, завидев Аннушку, становился на задние лапы и начинал трясти проволочную решетку — радовался человеку.

Работы в колхозе было много — от зари до зари, но Аннушка не пропускала ни одного дня, чтобы не покормить бобра. Каждый день к вечеру она шла в заповедник через сырой заглохший лес, через лавы на Усмани, и ей казалось, что она идет по нежилой земле, — так пустынно было в лесу. Только далеко, все на одном месте, где-то под самым Воронежем, гремели пушки. От сознания, что рядом война, идут тяжелые бои и враг стоит на самом пороге ее полей, ее избы, родная земля казалась Аннушке все милее и ближе, может быть, потому, что с нею придется прощаться. Аннушка по дороге кивала, как старым знакомым, то гнезду жаворонка — он по беспечности свил его в придорожной канаве, — то цветам дикой мальвы около пня на пригорке, то семье молодых березок с теплой корой, то обороненной какой-нибудь школьницей старой измятой ленточке из косы. Аннушка ее не подбирала.

К зиме в Привалове в помещении школы открыли госпиталь. Аннушка начала в нем работать. Она тревожилась за старого бобра, но Семен заготовил бобру запас осинового чурок, и бобер,

поворчав, залег на зиму, — к нему уже не надо было ходить каждый день.

Однажды в госпиталь приехали артисты из Москвы. Они устроили концерт в школе, а потом, по просьбе раненых, Аннушка тоже спела несколько песен. Высокая седая артистка в полушубке расцеловала Аннушку и сказала, что у нее редкий по красоте голос. Аннушка не могла поднять глаз от смущенья. Бойцы сильно хлопали и кричали «бис».

Высокая артистка пошла вместе с Аннушкой в избу к Семену и начала его уговаривать отпустить Аннушку с ней в Москву, в театральную школу. Семен растерялся, ничего толком не понял и все повторял:

— Вам, городским, виднее. А я Аннушку от хорошей жизни в подпол не прячу.

Когда артистка ушла, Семен долго сидел на лавке и дергал вату из разорванного треуха. Аннушка стояла у стены бледная, сердце у нее колотилось и слезы все текли и текли. Она никак не могла их унять. Она смотрела на серые волосы Семена, на худую его шею, обмотанную зеленым шарфом, и плакала от жалости и от того, что не могла решить, что же ей делать.

— Мать Марфа померла, — сказал, наконец, Семен. — Слабая была женщина. А ты что же? Крепче ее, что ли? Колосок ты, а не человек. Надорвешься. Там жизнь, в Москве, вся в суете.

— Как хотите, папаня, — шопотом ответила Аннушка.

— Мое хотение простое, — ответил Семен. — Как тебе лучше — так и мне. Езжай. А я уж тут доковыряюсь один. Вроде как твой бобер.

Он встал и пошел из избы. Аннушка бросилась за ним. Ночь была черная, ледяная. Из степи завивалась поземка. Семен остановился в открытых дверях, сказал:

— За мной не ходи.

Аннушка вернулась в избу, села на лавку и сидела, ждала. Семен пришел не скоро — весь в снегу, тихий, постаревший. Он неловко погладил Аннушку по волосам и опять сказал:

— Езжай! Я свое на земле отработал. Мои годы — остатние. Только греха на себя не бери — не забывай...

Аннушка схватила голову Семена и припала губами к его шершавым мокрым от снега волосам.

Через день Аннушка уехала с артистами, а вскоре, в одночасье, наши сдвинули немцев страшным напором и прорвали на запад.

Сошли снега, озимые пошли из земли густые, как щетка. Май установился прохладный и ясный. И в один майский день, когда небо зеленело от холода, пришло великое известие, что мы победили и окончена война.

Прошел год, а Аннушка все не ехала. Снова открыли дом отдыха. Семен по-прежнему сторожил парк при доме и по-прежнему любил рассказывать отдыхающим про смерть девушки Анны и про стихотворца и прасола Ивана Саввича. Но про свою Аннушку он отдыхающим ничего не говорил, боялся, как бы не подумали, что вот, мол, пустой старик, брехливый, а, может, кое-кто и посмеялся бы над тем, что у московской актрисы такой невидный из себя отец. Кто их знает, этих отдыхающих. Разные попадают люди. И своим, колхозникам, Семен тоже ничего не рассказывал, — они и без него знали, что Аннушка в Москве и учится там при хорошем театре.

Однажды директор дома отдыха позвал Семена и велел ничего не рассказывать отдыхающим и про смерть Анны.

— Это чего же? — обиделся Семен. — Я, небось, не вру. Дело всем известное, стародавнее.

— Нечего тебе языком молотить, — сказал директор. — Народ теперь нервный. Днем ты им напоешь, а вечером от около этой липы проходить боятся. Сплить ее, что ли?

— Грех пилить, — сказал Семен. — Уж лучше я помолчу.

Все подошло так, что не с кем было и поговорить. Кончался июнь, лето переломилось, а Аннушка не ехала. Все дул суховей, не давал дышать. По ночам зарницы мигали над степью, над курганами — зарили хлеб.

Семен отпросился у директора, пошел в дальнее село на телеграф — надумал послать Аннушке телеграмму. Вышел он к сумеркам, когда спала жара, — днем идти не было возможности. Но все равно идти было тяжело. Семен брел, часто присаживался на обочину, трудно дышал, мля в пальцах пыльную пыль, нюхал ее, — ему казалось, что от этого становилось легче. Он долго смотрел, как степь синела к вечеру, как на небе

загорались закатным огнем облачные снеговые горы и острова и тихо стояли над усталой от богатых хлебов, остывающей землей, ждали прохладной ночи.

«Что там за этими облаками?» — думал Семен. — Неужто рай? А, может, вся эта наша земля, вся степь — и есть рай?».

Летали бражники. Серый ветряк на кургане покрылся темной позолотой.

— Эх, Аннушка, — сказал Семен и с трудом поднялся, — вот бы ты поглядела! Небось, выросла здесь, избегала всю степь, босоногая, а теперь где? Не видеть тебя и не слышать.

Ветряк стоял невдалеке от дороги. На пороге сидел человек в солдатской гимнастерке, с костылем. «Мельник-то новый», — подумал Семен и пошел к ветряку. Ему хотелось покурить с новым человеком, поговорить о своем деле. Может, это было и не дело, а обыкновенное его горе, но Семен отгонял от себя это слово, боялся о нем и подумать. Да и какое горе, когда дочь у него в Москве, учится, утешает отца, а что вот не приезжает и давно не писала — так мало ли что! Москва велика, и работа московская — не ихняя сельская работа. Там, надо быть, люди по суткам не спят, все некогда. Да и как иначе управиться с таким государством, — ведь тысячи и тысячи километров одних хлебов, лесов, степей.

Человек около мельницы курил махорку. Синий дымок струился прямо вверх, под крыло мельницы. «Все к добру!» — подумал Семен, поздоровался, сел, закурил, пригляделся к новому мельнику: человек, видно, хороший, молодой, недавно с войны.

— Вот иду, — сказал Семен, — дочке телеграмму давать.

— Чего ж это? — спросил мельник.

— Не миновать телеграммы. Ты слухай. Какие, значит, дела.

Семен начал, не торопясь, рассказывать. Мельник курил, усмехался. А Семен все говорил. И говорил он уже не о том, что случилось с Аннушкой, а вспоминал ее — вот была девчонка со светлой косой, тихая, как мотылек. И ходила легко. Бывало, шагу ее не услышишь. Люди говорили — красавица! Да не в этом суть. Суть в том, что ласковая была и работающая и отца вот как

уважала. Всего двое их было на свете, а лучше бы жить и не надо. А вот какая теперь — неизвестно.

— Радоваться, отец, надо, — сказал мельник. — Об себе, выходит, надо, забыть, не обижаться.

— Да я об себе много не понимаю, — сказал Семен. — Радость-то радость, а горе свое берет. Добро бы их было у меня несколько, а то одна. Будь она неуважительная или ветрогонка какая — тогда уж ладно. Тогда и жалости нет. А то ведь сердце у нее, как огонек. Чистое сердце. Ну прощай. К утру мне, брат, надо назад поспеть, ко двору.

Семен попрощался, ушел. Темнело. Молодой месяц повис тонким и нежным рогом над дальней рощей. За рощей подымался сухой туман. Потом с юга затемнело, далеко проговорил что-то свое грозное гром, небо передернуло зловещим пламенем.

Семен пошел быстрее. От быстрой ходьбы он все чаще останавливался, с натугой кашлял. От кашля жар бросался в голову и в глаза, на глазах наворачивались слезы.

А небо все чернело, будто чугунная стена подымалась из-под земли, и гром уже, как хозяин, грохотал: и впереди, и справа, и слева. Белая пыль, освещенная месяцем, бежала, неслась по степи навстречу Семену. «Не дойти!», — подумал Семен. Зашумели хлеба, травы, степь будто расселась от небесного грома, и далеко в балке жалобно закричал стреноженный конь.

А потом пошло польхатать раз за разом. От тучи дохнуло ледяным ветром, и грозно зашумел, набегая, темный ливень.

Утром грузовая машина подобрала Семена в степи — промокшего, в лихорадке. Телеграмму он так и не успел послать.

Женщина-врач из дома отдыха выслушала Семена, покачала головой. Приходила она в избу к Семену по два раза на день, но Семен знал, что напрасно, что теперь ему уже не выжить. Приглядывала за Семеном соседка-старуха. Семен лежал в избе, но в ней было душно, и он переполз в сени. Старуха настелила ему сена у порога, и он лежал около открытой двери под полушубком, смотрел на до-

рогу, все ждал и никак не хотел уходить из сеней в избу.

По ночам было легче, чем днем, потому что издали был виден свет редких машин. Каждая машина могла быть с Аннушкой.

Свет появлялся у далекого леса, как белая звезда, медленно полз навстречу, погасал за бугром, потом снова возникало серебряное его свечение, и было слышно ночное спокойное журчание мотора. Семен шевелился, подымал голову. Свет бил ему в глаза, пробегал по сенцам и уходил, подрожав на стене,—все мимо, дальше, в степь. Семен закрывал глаза, слушал. Много ночью в степи всяких голосов. Не поймешь.

Далеко чуть слышно кричал паровоз. «Может, пассажирский пришел, запоздал», — думал Семен и прикидывал: вот она вышла из вагона, вот рядится на грузовую машину, вот машина вошла в лес, прошла у жордона, через мост, по краю заповедника («А бобер-то, небось, тоже лежит, дожидается», — думал Семен), вот дошла до околицы. Семен стонал, приподымался, слушал. Но в степи было тихо, так тихо, что казалось, звезды поплескивают в ведерке с водой. Ведро это стояло рядом и в нем плавал деревянный ковшик. Потом за селом в балочке кричал дергач, и все сразу, по всем дворам, как оглашенные, начинали горланить петухи. И опять все затихало.

Семену казалось, что у него за спиной сидит немец Шлихтинг, посмеивается, говорит: «Я в овсе твоём, Семен Евсеич, теперь не нуждаюсь». «Время твоё кануло, — шептал в ответ Семен. — Пальцы у тебя поотбили. Мы теперь своей волей живём, старый пес». Шлихтинг замолкал, исчезал неведомо как, а в сенцах появлялась девушка из отдыхающих, школьница Леля, и, наморщив лоб, давала Семену горькую воду и все журила, что он не хочет перебираться в избу. И Семен замечал с удивлением, что уже день, и степь за бугром что-то сильно гудит. «Неужто комбайны? — думал он. — Неужто хлеб созрел, а ее все нету?».

— Обманул я Аннушку, — говорил он Леле. — Обещал дожить, да не осилю я даже малое время. Я дышу в одну десятую часть.

Семен все хотел попросить Лелю по-

слать телеграмму Аннушке, но было неловко. Ночью он как-то составил в уме эту телеграмму: «Живи за отца чисто, по правде, а на могилку, смотри, приезжай, — и под землей ждать буду». Но только не примут такую телеграмму. Там, на телеграфе, народ толполивый, больше все числа передают. Им не до глупого деда. Жил-жил, а толком ничего объяснить не умеет.

Днем к Семену приходили разные люди — и докторша, и отдыхающие, и директор, и соседи, но Семен закрывал глаза, прикидывался, будто спит, — это ему было легко, он очень ослаб. Семену было стыдно людей. Раззвонил повсюду, что дочь у него в Москве и что любит его крепко и обязательно к нему приедет. А вот никак не едет, и люди наверняка теперь думают, что и дочь у него плохая, да и сам он всем надоед со своими разговорами.

Жара убывала, дело шло к осени. Однажды ночью забормотал по листьям, по крыше дождь. Тьма лежала глухая, теплая, и из тьмы потянуло запахом прибитой дождем пыли, крапивы. Капли позвякивали по разбитому чугуну — он валялся во дворе, из него Семен кормил кур. Семен послушал, усмехнулся, — чугуно-то Марфа купила в городе, радовалась, а теперь никому он больше не нужен.

Дышать от дождя было легче, и Семен задремал. Пролежал он так неведомо сколько, а очнулся от белого света, бившего прямо в лицо. Около избы, стоя на месте, рокотала машина. Семен оперся на дрожащие руки, привстал, крикнул: «Аннушка, ты?» — и упал, затих, а Аннушка с глазами, полными слез, схватила его нечесанную голову, припала к ней губами, гладила костлявые его плечи, шершавые щеки. И от рук ее шел дивный запах, должно быть ночной травы.

— Ну вот, — говорила она, — ну вот, что ж ты? Что с тобой стряслось?

— Ничего, — бормотал Семен. — Это я так. Ослаб малость. Жить без тебя мне — не путь, Аннушка. Невозможно так существовать.

Кто-то засветил в избе огонь. Люди о чем-то говорили, спорили; потом внесли Семена в избу, уложили на широкую лавку, где Аннушка постелила чистую простыню — откуда только взялась,

Люди уехали. Аннушка напоила Семена крепким чаем, а потом просидела рядом до света, не отпускала его руку и все улыбалась, отгоняла слезы.

Семен смотрел на нее, не отрываясь: какая красавица, и платье на ней городское, легкое, такие одевать только в праздник, — а все осталась прежняя его Аннушка, ласковая, и сердце у нее, как огонек.

В сентябре Семена похоронили рядом с могилой девушки Анны. Новую могилу обложили дерном, полевыми цветами, а потом осень засыпала ее палым листом так густо, что совсем не стало видно сырой, рыжей глины. Похоронили Семена в парке на любимом его месте, по просьбе Аннушки. Каждое утро она приходила на могилу, и отдыхающие, заметив Аннушку, переставали шуметь и переключаться и старались незаметно пройти мимо, чтобы ее не тревожить. А она сидела на скамейке около могилы — смотрела в степь, думала. В ясности неба, в осеннем его холодке летели на юг птицы. Звенели в сухих головках плодов созревшие семена. Ветер косо нес прозрачные на свету желтые листья. По вечерам над степью залегала гряда холодных синеватых облаков.

Перед отъездом Аннушка пошла в заповедник проведать бобра. Она шла и, как прежде, шутливо кивала старым своим знакомцам — сестрам-березам, лавам на Усмани, соснам.

Старый бобер сидел все в том же вольере. Аннушка окликнула его. Бобер тяжело засопел, стал на задние лапы и начал трясти проволочную решетку — узнал Аннушку.

Вскоре Аннушка уехала. А на следующее лето косари опять косили траву в парке, но уже без Семена, и рассказывали отдыхающим две истории о двух Аннах. Одна история была стародавняя, пожалуй, что и не так уж интересная, а вторая была у всех в памяти. В пересказе косарей выглядела она, примерно, так:

«Проводил он ее, Семен, с одной котомкой. Увезла она в Москву только голос. Голос был звонкий, чистый — откуда только берутся на свете такие голоса. А вернулась она — не узнать. Красавица. Повезло Семену на дочь. Ждал ее, ждал, не чаял дожидаться, —

болезнь у него открылась трудная, безвыходная болезнь. А ее все нет. Не едет. Ну, конечно, бабы начали шуршать: вот, мол, она — дочерняя благодарность. Вот, мол, занесся старик, а его за гордость и стукнуло. Выходит, что он вроде как пустобрех. «Ей теперь, говорят, не до его лаптей. Ей теперь подавай крепдешин и какао». Ну сами знаете, бабы, они бьвают острые на язык. Пристыдишь их — смолкнут, а не пристыдишь — такой разгон возьмут, что пушкой не остановишь. Да-а, а она-то приехала. И привезла Семену полную избу гостинцев. И хоть недолго ему оставалось жить, а прибрала она его, выбелила избу, как игрушку. Бабы, конечно, притихли и ударились в другой край. — не наглядятся, не нахвалятся Аннушкой. Как она выйдет на улицу, так по всем избам только и слышно, что бабье пение да умиление. Непоследовательный народ! Завидовать начали Семену. А чему завидовать! Человек вот-вот погаснет, как свеча. Ветер дунет — его и нет. Но, правда, умер в счастья. И вот подумайте, как это радость крепко действует, — Семен-то даже начал помалу ходить. Хоть и трудно, а нет-нет, да и выползет из избы, на Аннушку опирается. Отдыхающие, значит, дознались про все и стали просить Аннушку, чтобы она сделала им уважение и спела бы у них в доме. Аннушка была обходительная, — она, конечно, согласие дала. И вот был концерт. Мы на нем все были. Посетителями. Все село явилось. Ведь Аннушка не только семенова, — она наша, деревенская. За Семеном директор прислал лошадей. То, бывало, у него лошадей не допросишься, очень уж экономный мужик, а тут — пожалуйста! Сам за Семеном приехал. Пришли мы, а весь дом пылает, — столько ламп, свету, а кругом — одни букеты из листьев осенних. И все отдыхающие, как в праздник, — женщины в тонких платьях, все шуршат, у всех блеск, духами удивительно пахнет. «Ваша Аннушка, говорят, наша гордость». А вчера еще, можно сказать, гусей пасла. Вот она какая нынче жизнь! Живем во всю силу возможностей. Ежели талант, то ему дорога не к князю Орлову, а на весь белый свет. Да-а. Вошла Аннушка в зал с Семеном, и встретили ее! Уж неведомо кого так встречают. За-

труднительно даже сказать. Как принцессу. Конечно, принцесс теперь нету, но для нас она, как своя принцесса. Пела она так, что слушаешь — весь дрожишь. А Семен, чудак, сидит, слез не вытирает. «Мне, говорит, за труд моеї жизни теперь облегчение». Жалко, не удалось ему даже малость пожить, — умер он через неделю. Уснул — не проснулся. Легкая смерть. Хоронили его, день был ясный, тихий и до того теплый. — бабочки над пажитями так и вились, играли. А взглянешь на небо —

паутина, как пряжа. Бабье лето! Реки, пруды, стоят чистые, синие, и воздух над землей такой чистый, будто его и нет совершенно. И весь парк, как золотой какой-то собор. Весь в сухости листа, в солнце. Легкая смерть! Да-а... Уехала Аннушка, и посулили мы ей светлой жизни, — иначе оно и быть не может.

Косарь, что рассказывал эту историю, замолчал. Молчали и все. Только высоко на вековой липе осторожно свистела изолга, будто соглашалась: «Так и будет! Так и будет!»



ПОРКА

Рассказ

АННА САКСЕ



Утром 27 июня Юрис Паберз, направляясь на работу, дошел до шоссе Свободы, но сейчас же повернул обратно. Видимо, что-то произошло. По шоссе все время двигались вереницы автомашин, и все в одном направлении — за город.

«В такое время лучше всего сидеть дома возле своего добра...», — старался он внушить себе, чтобы успокоить совесть, которая напоминала ему, что Юрис Паберз всегда был исправным работником и за двадцать лет ни разу не опаздывал на службу. Только единственный раз, и то с разрешения начальника, он вернулся домой задолго до полудня. Это случилось в прошлом году, когда в Ригу вошли советские танки и на сердце у Паберза стало неспокойно: «Бог знает, чем все это кончится». В то утро в течение получаса он старался аккуратно вписывать цифры в рубрики железнодорожных накладных, но перепутал графы, неправильно разнес цифры и увидел, что больше работать не может. Случай из ряда вон выходящий; начальник, наверно, поймет самогo исполнительного из своих подчиненных, и все-таки Паберз долго не решался постучать в его дверь. Он долго переминался с ноги на ногу, кряхтел, поправлял галстук, приглаживал волосы, пока, наконец, начальник, выходя из кабинета, чуть не сбил его с ног. Юрис Паберз отскочил в сторону и, смутившись, не решился начать разговор. Но он не ушел, продолжая переминаясь и дергать галстук; начальник, возвращаясь обратно, опять увидел его у своих дверей.

— Вы ко мне? — вопросительно взглянул на него начальник. — Подписать?

— Да... То-есть... — неловко начал Паберз. — То-есть, я хотел с вами поговорить по личному делу...

— Прошу, — начальник открыл дверь и, первым войдя в кабинет, сел за письменный стол.

Паберз вошел вслед за ним. Остановившись у двери, он начал неловко тереть пальцами складку брюк.

— Ну выкладывай, что у тебя там, — подбодрил его начальник, перелистывая бумаги.

— Видите ли, господин начальник, — начал Паберз, — как бы это сказать, пора такая наступила... особенная... — и замолчал.

— Какая еще пора, — начальник бросил взгляд в открытое окно, — пора стоит летняя, все залито солнцем.

— Пора, действительно — лучше не придумаешь, — Паберз тоже бросил взгляд в окно. — Только, видите ли, события очень серьезные, исключительные события. Ожидаются перемены... И, господин начальник, примите во внимание, я всегда работал старательно. Вы знаете, что за мной не числится ни одного опоздания. Как говорится — у государства не украл ни одной минуты. Вот мне и хотелось попросить господина начальника, чтобы он был настолько любезен отпустить меня сегодня домой. Осмотреться... На сердце у меня неспокойно... В такое время, видите ли, лучше побыть дома, возле своего добра...

После этого объяснения Паберз вытер со лба пот. Ну и жара!

— Вам, наверно, нездоровится, — начальник внимательно посмотрел на

раскрасневшееся лицо Паберза. — Идите домой. Пусть Калнынь постарается сегодня справиться без вас.

Бормоча слова благодарности и пятась, Паберз очутился за дверью. Сдав документы своему помощнику Калныню, он бросился к трамваю. И опомнился только тогда, когда сошел с него на углу Боярской улицы. Все на своем месте! На углу четырехэтажный дом Тырума, магазин открыт, преспокойно входят в него и выходят покупатели. И тут же, на Боярской, зажатый между двумя домами строит его беленький домишко с зеленой крышей, обсаженный кустами сирени. По сторонам усыпанной гравием дорожки так же, как и вчера, и позавчера, тянутся вишневые деревца со зреющими на солнце ягодами. Жена Ирма, одетая в легкое, открытое для загара платье, подвязывает к палочкам кустики помидоров, а сын Висвалд катается на деревянном велосипеде по садовой дорожке. Все на прежнем месте. Ничто не изменилось. И Паберзу стыдно за свое беспокойство и страхи. Увидев отца, сынишка испуганно вскрикивает: «Папа!», и этот возглас заставляет встрепенуться жену. Она даже бледнеет — до того необычен приход мужа в такой ранний час.

— Что с тобою, Юри? — спрашивает она. — Ты нездоров?

— Да, немножко, — бормочет Паберз, сознавая, что похож на глупую корову, которая убежала с пастбища; чтобы поглядеть, не исчез ли из хлева ее теленок.

Так же сильно он встревожился за судьбу своего дома, когда был объявлен декрет о национализации крупных домовладений.

Паберз тщательно и кропотливо изучал в тот день газету, обошел дом с метром в руках, снаружи и изнутри измерил стены, высчитал квадратуру и кубатуру. Хотя его домишко был маленький, Паберз сильно волновался. Успокоение пришло, когда дом Тырума и другие большие соседние дома были национализированы, а его собственность осталась при нем.

Это доставило ему глубокое удовлетворение. Дома соседей, особенно большой доходный дом Тырума, мозолили ему глаза, каждую минуту напоминая о том, что его домик посреди них — только жалкая лачуга. Но что поделаешь!

На выплаченную братом часть наследства не построишь большого дома, а из жалованья, как ни скопидомничай, кроме как на то, чтобы поесть немного повкусней в воскресенье и праздничные дни, не выделишь ни копейки. Откуда только люди нагребли столько денег? Вот Тырум. Закончив постройку доходного дома, тут же начал строить другие, поменьше — сначала для первой дочери, затем для второй, для третьей. Надо полагать, первый дом сразу стал возвращать владельцу деньги, затраченные на его постройку. И вот глядите, какая судьба постигла большого дома! По заслугам! Скажи пожалуйста, где нахватал ты столько денег? Заработал? Рассказывай эти сказки кому-нибудь другому, только не Юрису Паберзу, который двадцать лет изо дня в день прилежно выполняет свою работу, а без отцовского наследства так бы и не построил себе маленького домика!

К действительности Паберза вернула трескотня винтовочных выстрелов, начавшаяся где-то неподалеку, со стороны шоссе. «О боже, неужели война докатится и до моего дома?», — простонал Паберз. Он хотел было выйти на балкон, поглядеть, что происходит, но жена потащила его назад. Бессильно опустился он на диван. Жена права — будь что будет, лучше оставаться дома. Жить и умереть в своем доме — таково решение, принятое им давно, когда он еще только строил дом.

От оглушительного взрыва встряхнуло диван, на котором сидел Паберз. Жена и сын свалились на пол, и Паберзу показалось, что дом рушится. Прошли минуты, прежде чем он пришел в себя. Да, он жив, дом цел, и надо принять меры, чтобы привести в чувство Ирму и Висвалда. Паберз бросился в кухню, но никак не мог найти стакана. «Спокойно, спокойно, — шептали его губы, — хладнокровие прежде всего! Куда запрятала Ирма эти стаканы? Но, конечно, в буфет! Как хорошо, что у каждой вещи есть свое предназначенное место». Наполнив стакан холодной водой, Паберз вернулся в комнату. Ирма уже сидела на полу. Висвалд обхватил руками ее шею.

Когда жена выпила холодной воды, Паберз подошел к окну. Толком ничего нельзя разглядеть. Все же ему показалось, что с домом Тырума не все благо-

получно. Он не в силах был совладать со своим любопытством и, опасливо поглядывая на Ирму, попытался к дверям. Рука его нащупала дверную ручку, и он тихо шагнул в переднюю. Если жена крикнет, чтобы он не выходил на улицу, можно сделать вид, будто он пошел взять какую-нибудь вещь, ну хотя бы домашние туфли, брошенные в передней под зеркальным шкафчиком. В передней он немного задержался, даже покряхтел. Но Ирма разговаривала с Висвалдом. Паберз тихо выскользнул на балкончик. Так оно и есть! В доме Тырума снаряд снес угол третьего этажа.

«Вот и строй большие дома!», — подумал Паберз, но так как к этой мысли примешалось и злорадство, он придал своему лицу сочувственное выражение. Не следует радоваться чужому несчастью, ибо, пока жизнь не склонилась к закату, неизвестна и твоя собственная судьба. Судьба — безжалостный шутник, вроде дьявола, который, по преданию, сидел в алуксненской церкви и записывал на телячьей шкуре имена улыбавшихся прихожан. Стоило кому-нибудь из безгрешных алуксненцев улыбнуться на одну из дьявольских шуток, как он тут же попадал в списки грешников. Да, с судьбой шутки плохи.

Из соседнего дома вышли три человека с узлами в руках: муж, жена и девочка. Это семья Целма, бригадира с завода ВЭФ. Они шли по направлению к шоссе Свободы. Лица серьезные, глаза опущены. Паберз стоял в своем садике, неподалеку от тротуара. Живя по соседству, они давно познакомились и при встречах обычно здоровались. А сейчас Целм молча прошел мимо, словно чем-то подавленный. У Паберза тоже нехватило духу заговорить с ним.

«Вот чем кончается вся эта стахановщина...», — хотелось сказать ему. Но, поймав себя на тайной радости по поводу того, что сам он за этот советский год ничем не выказал рвения на работе и поэтому может спокойно сидеть дома, Паберз постарался эту радость растворить в сочувствии к людям, которым приходится бросать свое добро и с одними узелками в руках отправляться неизвестно куда. Жаль этого Целма, право, жаль! За последний год обзавелся более или менее приличной мебелью, а раньше еле перебивался. Книжки держал в ящиках, поставленных один на дру-

гой. Сколько раз говорил ему Паберз: «Не покупай столько книг, лучше купи основательный книжный шкаф. Совсем другой вид был бы у комнаты». К чему ему теперь книжный шкаф или книги, если их нельзя унести с собой? Самое лучшее — делать свое дело, быть аккуратным и при новой власти не подымать головы выше, чем при старой. Откуда знать, долговечна ли власть? Да и легче срубают те головы, которые возвышаются над другими. Вот так и с Тырумом. Построй он двухэтажный дом, снаряд пролетел бы над крышей — и все. Но ему двух этажей мало, надо строить третий! Конечно, это выгодно, кто же этого не понимает. Но тут-то приходит испытание господне. Взять того же Целма. Работай он спокойно на своем месте, кто бы его в чем-нибудь упрекнул? Если ты тихо-мирно, в поте лица, зарабатывал свой хлеб и при Ульманисе, и при большевиках, никто в тебя камнем за это не бросит. А теперь поди пошатайся по свету с женой и ребенком: узнаешь, везде ли густо намазывают масло на хлеб!

А эти потоки машин и людей на шоссе. И о чем только думают людишки, оставляя свой дом на произвол судьбы? В такие времена воры всегда распоясываются, обуздать их некому. Вон и машина с милиционерами уезжает. Право, надо с ума сойти, чтобы в такое время бросить свой дом!

На следующий день к Паберзу прибежал сосед-домовладелец и пожаловался, что нянька Целмов, которой они оставили ключ от квартиры, выносит одежду и все, что может унести. Как теперь быть — смотреть на это сквозь пальцы или прилупить старуху?

«Вот так оно и получается, — рассуждал Паберз. — Какое она имеет право присваивать имущество своего хозяина? Вот ненасытные создания! Еще ветер не успел смести следы человека, а чужие люди уже делят его добро».

Домовладельцы так и не решили, что им предпринять. А вечером квартиру Целма навестили вместе с нянькой и лавочница, и замужняя дочь Тырума. Паберз с соседом поглядели вслед им, когда они тащили узлы с одеждой, радиоприемник и велосипед Целма.

«Пригодился бы Висвалду! — словно шепнул кто-то на ухо Паберзу. — Сколько времени хнычет мальчишка:

купи да купи ему велосипед. Но всякий раз находятся более неотложные нужды: то потек водопровод, то надо купить новый рукав для поливки сада. И этот Целм! Как будто считался другом. Мог бы перед уходом крикнуть: «Эй, послушай, дружище, я сейчас уйду и если тебе подойдет что-нибудь в моей квартире — возьми на память». Так нет же. Вероятно, думает: если у меня имеется домишко, то все остальное как с неба падает. Я для него богач и плутократ. Вот он и отдал ключи от квартиры какой-то старухе, только потому, что она несколько лет нянчила его ребенка. «На, бери, что хочешь, или сама носи, или продай». В конце-концов, это нужно прекратить. Если дошло до таких безобразий — нужно вмешаться общественному мнению. Иначе, чем кончится? Не надолго выйдешь с семьей, а в это время какой-нибудь тип вытасит у тебя из дому узлы с добром. А соседи будут только руками разводиться. Если уж эти коммунисты не ценят своего имущества, если оно им не нужно, пусть государство забирает его и отдает, кому полагается. Надо, чтобы во всем были порядок и справедливость, и не дело, чтобы кто-нибудь наживался за счет беспечных людей».

Когда на следующий вечер старушка с двумя какими-то женщинами снова направилась к квартире Целма, Паберз взял в руки трость и пошел к соседу. Поднявшись в квартиру Целма, они застали женщин на кухне, где те упаковывали в корзины посуду.

— Вы что здесь делаете? — окликнул их Паберз грубым голосом.

Но женщины его окрика не слишком испугались. Увидя, что перед ними не представители власти, а обыкновенные люди, они спокойно продолжали свое дело. Только одна из них проворчала: «Что делаем, то и делаем».

Паберз попытался им втолковать, что они расхищают государственное имущество, которое по справедливости надлежит получить тем, чьи квартиры разрушены бомбардировкой, или ближайшим родственникам и друзьям Целма. Но его нравоучения не поколебали женщин, и оба ревнителя законности, ничего не добившись, молча проводили их, когда те удалились из квартиры, взвалив на плечи корзины.

Пока бывшая няня запирала дверь

на ключ, Паберз заметил на полу совершенно новый проволочный мат для вытирания ног. Уже давно он хотел приобрести такой же, чтобы в непогоду не заносить в переднюю грязь. Правда, жена расстилала у дверей тряпку, но ее приходилось часто мыть, тратить время, силы да еще расходовать мыло. А этот мат был такой удобный и, главное, совершенно новый. О чем было беспокоиться Целму? О водопроводе заботился домовладелец, он же ремонтировал дом. Все деньги, кроме расходов на питание, Целм мог вкладывать в обстановку. Правом, следовало бы взять этот мат. Конечно, не ради корысти — какое это имущество! — а просто, как память о человеке. Как-никак, почти каждый день виделись друг с другом. Однажды Паберз навестил Целма, чтобы взять несколько книжек для своего Висвалда. Позже мальчишка и сам стал забегать к нему — у Целма ведь книг было, как в библиотеке. Надо завтра переговорить со старушкой, пусть передаст книги Висвалду. На память от старого друга.

Как только сосед вошел в свою квартиру, Паберз тихими шагами снова поднялся на верхний этаж и взял проволочный мат. «Все равно, другие бы взяли» — успокаивал он себя, будто кто-то его упрекал за это.

Через несколько недель Паберз наблюдал в окно, как Тырум возит к себе в дом новую мебель. Еще через некоторое время его дочери появились в накидке из чернубурх лисиц.

— Удивительно, как некоторые умеют наживаться! — ворчал Паберз, провожая взглядом проходившую по тротуару младшую дочь Тырума, с плеч которой свисали пушистые лисьи хвосты.

— Чему тут удивляться, если оба зята по ночам ходят громить евреев, — с досадой возразила жена. — Если теперь, в такое время, мужчина не сумеет одеть свою жену, ей в старости придется ходить голой.

— До чего же докатятся люди, если начнут уничтожать друг друга? — попробовал отмахнуться Паберз. В тоне жены ему что-то не понравилось. Сверкающим от злости взглядом следила она за удаляющимися лисьими хвостами, и Паберз не мог определить: то ли она сердится, увидев приобретенный дурным

путем наряд, или же дуется на собственного мужа за то, что он не может достать ей чего-нибудь получше.

— Вот и лавочница носит осеннее пальто жены Целма, — продолжала сердиться жена. — Друзья не сумели спрятать... Мебель присвоил полицейский. У него будто бы разрушена квартира в доме Тырума. Что там у него разрушать! Засыпало известкой старое барахло, а кровать расползлась потому, что он часто валялся на ней пьяный. Теперь даром получил все самое лучшее. Ну да, не зря и пословица говорит, что дурака и в церкви порют.

Паберз понимал, что эта поговорка здесь ни к селу, ни к городу, а жена привела ее только для того, чтобы обозвать его дураком.

Доля правды в ее словах, конечно, есть. Такие наряды, как у жен фабрикантов или богатых домовладельцев, он ей не мог покупать. Когда строился домик, они каждый грош перевертывали в пальцах раз по пяти, раньше чем выпустить его. До сих пор жена отдает перешивать девичьи платья по новым фасонам, при этом каждый раз другой портнике, потому что к прежней ходить стыдно. Но чтобы громить из-за этого евреев! Нет, уж пусть его без гроба хоронят, но такой ценой покупать свое благополучие он не станет. Говорят, кто один раз участвовал в расстреле, тот больше не может отвязаться. Посылают чуть не каждую ночь. И целиться в детей... Ох нет, для этого нужны какие-то особые люди. Конечно, такого, как старый Шмушкин, проучить стоило бы. Однажды Паберз страшно на него обозлился. Он тогда искал по магазинам на Маринской улице пальто. Хотел купить подешевле, торговался до беспамятства и, наконец, купил. А потом оказалось, что такое же пальто и за ту же цену можно было купить у Ванага.

Жена все еще сердилась и дулась, а Паберза угнетала мысль, что он не способен быть таким, как другие мужья. Только позже, когда ни за какие деньги нельзя было достать продукты и он привез с хутора от брата порядочный мешок свиного сала и масла, ему удалось путем обмена получить у дочери Тырума подержанный мех чернубурой лисы.

— Хоть зять Тырума и получил ее за расстрелы евреев, я приобрел это

честно, — оправдывался он, будто в груди у него сидел судья и колот тупым шилом ему в сердце.

Паберз остался на старой службе и обязанности свои выполнял так же усердно, как при всех прежних властях. Он сердился на весовщиков и рабочих пути, которые часто задерживали работу. Отечески их пробирал:

— И зачем вы артачитесь, зачем играете с огнем, словно вам от этого будет легче? Все время сыпятся вычеты из зарплаты, сажают в карцер. На латышей начинают смотреть, как на каких-то бунтовщиков. Я считаю, что у каждого народа именно то правительство, какое он заслужил. Работай честно, тогда тебе будет все равно — немец над тобой властвует или турок. Рабочие всем нужны.

— Ты хочешь сказать, рабы? — перебил его Тяутис.

— Почему рабы? — Паберз оглянулся, не слышит ли их кто-нибудь, кому не следует. — Разве ты не получаешь заработную плату? За что ее немцы тебе платят?

— Да ведь здесь не немецкая земля! — вспыхнул Тяутис. — Пусть живут в своем фатерланде. Кто их просит искать добычи в чужих местах!

— Нам не к чему заниматься мировой политикой, для этого существуют головы поумнее... — Паберз не успел закончить свою мысль, как Тяутис снова перебил его:

— Вроде Гитлера, что ли?

— А разве Гитлер без ума пришел к власти? — ответил Паберз вопросом на вопрос. — Разве дурак сумел бы завоевать Европу и дойти до Москвы?

— Ну поглядим, хватит ли у него ума вернуться оттуда, — с яростью отозвался весовщик. — Напорется на русский штык, так на нем и останется.

— Ну и что же? Придет другая власть, ей тоже нужны будут весовщики. Разве тебя прогонят за то, что ты исправно работал? А ты за это время хорошо заработаешь, кое-что отложишь про черный день...

— Для немца я стараться не буду, а на его пфенниги плевать хотел. Это награбленные деньги, такие же кровавые, как те наряды, которые носят сейчас кой-какие женщины.

Паберзу показалось, что камешек брошен в его огород: Тяутис намекает на покупку чернубурой лисы. Он уже приготовился к длинной отповеди, но в это время его позвали к начальнику. Так ему и не удалось доказать свою правоту. Весь день он рылся в сундуке своей житейской мудрости, доказывая самому себе, что чернубурая лиса приобретена вполне законно, и ничего нет позорного в том, что жена ее носит.

Этот спор, вероятно, навел на более глубокие размышления и Тяутиса, потому что на следующий день он не вышел на работу, даже не прислал свидетельства о болезни. Посланный за ним рабочий сообщил, что весовщика Тяутиса нет дома.

— Вот ведь какой упрямец! — ворчал Паберз. — Теперь его загонят в Саласпиский концлагерь. Там уж его вылечат от лени.

— Так он и дался им... — усмехнулся рабочий.

В контору вошли кондукторы и машинисты, приехавшие с курземским поездом. Обступив железную печурку и грея замерзшие руки, они поглядывали на Паберза. Они казались расстроеными.

— Ну что вы сегодня так насупились? — обратился к ним Паберз. Ему хотелось видеть веселые лица, слышать искрящиеся шутки.

— Выходит, нас опять будут обрабатывать арапниками. Затанцуют теперь по нашим спинам палки! Ну да подождите, голубчики! — всердцах сплюнул машинист.

— Что за шум? — Паберз уже начал сердиться на то, что люди без конца ругаются и все видят только в черном свете.

— На, прочитай, — машинист бросил на стол какую-то бумажонку. — В Курземе расклеили уже на стенах, завтра-послезавтра такая же будет красоваться и у тебя здесь.

Паберз вынул очки, надел их на нос. Он не нуждался в них, но имел обыкновение надевать очки каждый раз, когда предстоял спор. Возясь с ними, то приподнимая их на лоб, то опуская, то протирая носовым платком стекла, он выгадывал время для обдумывания ответа.

Прежде чем начать читать, он со всех сторон осмотрел платок и вскинул очки выше:

«Снабжение фронта требует от каждого немца и местного служащего наивысшего личного старания и всемерного напряжения всех сил. За каждую небрежность по отношению к своим служебным обязанностям, как-то: невыход на работу, опоздание на службу, пьянство в рабочее время, невыполнение служебных приказов, — для местных служащих устанавливается усиленное наказание:

а) за первый проступок — 15 палочных ударов;

б) при повторном проступке — 20 палочных ударов.

Подлинный подписал

И. Ф о н Б а л к.

Дочитав бумагу, Паберз поднял верху глаза и снова поправил очки.

— Что же тут плохого? — спросил он деланно-простодушным тоном, повернувшись к машинисту. — Не опаздывай на работу, делай все, что велят: кто тебя тогда будет бить?

— Мямля, — резко процедил сквозь зубы машинист. — Разве уже одно то, что осмеливаются стращать такими наказаниями, не есть оскорбление для латышей? За кого они час принимают? В их глазах мы как были латышскими свиньями, так и остались ими.

— А что прикажешь делать с послушниками? — вспылил и Паберз. — Взять хоть этого Тяутиса. Вычтут у него из заработка, он только усмехается, говорит, плевать мне на их пфенниги! Сначала саботировал, а сегодня и совсем не вышел на работу. Он не боится: дома его нет. Скажи, пожалуйста, где он шатается? Как же правительству не обижаться на такого?

— Тебе первому надо бы выпать. Может, поумнел бы, а то у тебя вместо души какое-то болото, — начал ругаться машинист. — Наверно, ты себя причисляешь к немцам, на них ведь эти наказания не распространяются. Они только для нас — туземцев.

— Я в жизни ни разу не опаздывал на работу, не причинил государству никакого ущерба, — гордо произнес Паберз и снял очки. — И даже эти минуты, что сейчас потратил на болтовню с вами, честно отработаю в неурочное время.

— Без мыла лезет, — презрительно прошипел кондуктор Бриедис. — Как бы только не перестарался...

— Немцам давно пора ввести строгости. Без них порядка не будет, — веско закончил Паберз, пропустив мимо ушей ядовитое замечание кондуктора. — На немцев эти наказания не распространяются, и это совершенно справедливо. Немец аккуратен, он знает, что теперь военное время.

— Ну, если только они не уберут эти листки с курземских станций, мы начнем забастовку. Вот как ответят на это латыши.

— Говорят, начиная с завтрашнего дня, это положение введут по всей Латвии, то-есть Остланду, — добавил Бриедис.

— Пусть, пусть вводят, мы только этого и ждем, — грозил машинист, взволнованно шагая по конторе. — Паровозы остановятся там, где их застанет объявление всеобщей забастовки.

— Забастовка? — у Паберза от испуга расширились глаза.

— Да, забастовка!

— Ну как вы не понимаете: это еще больше раздражит немцев! — Он в полном отчаянии глядел на сослуживцев.

— Пусть они хоть лопнут от злости, а мы не выйдем на работу. Торчи здесь один, как огородное пугало.

— Если хочешь, беги жаловаться!

— В премию тебе выдадут деревянные туфли! — крича вперевой, железнодорожники вышли, с шумом захлопнув за собой дверь.

Жаловаться Паберз не пошел. Какое ему дело до других? Он никогда не жаловался. Пусть каждый отвечает сам за себя. Он посмотрел на часы, отметил, сколько минут потратил на разговоры с мятежными сослуживцами, спрятал очки в футляр, засунул его в карман и уткнулся в бумагу.

Идя домой, Паберз почувствовал усталость. Не от работы. Его испугал дух сопротивления рабочих. Добром это не кончится, ох, не кончится! А что с ними поделаешь? Как говорят старики, что рот заработал, то спина уплатит. Отсчитают какому-нибудь прохвосту пятнадцать ударов, тогда и другим не повадно будет. И о забастовке забудут. Чепуха все это, не те времена, когда забастовку оплачивал профессиональный союз. Пусть выбирают, кому что нравится. К таким, как я, постановление о порке

не относится, нечего мне и думать об этом. Я могу предаться более приятным мыслям.

И Паберз переключился на размышления о доме, где его ждет Ирмэ с горячим обедом. В животе у него заурчало. Ирма обещала на сегодня мясное, и он уже заранее, от одного предчувствия того, как в дверях ему ударит в нос запах лука и лаврового листа, испытывал чувство благодушия. Но он не спешил. Совсем наоборот. Чем сильнее хотелось ему есть и чем ближе он подходил к дому, тем больше замедлял шаги, даже отанавливался, чтобы поглядеть на витрину. Он называл это духовным спортом, самодисциплиной, подчинением тела духу. «Только тот, кто умеет управлять собой, может управлять и другими», — такую запись сделал он однажды в своем карманном календаре. Он считал эту мысль источником мудрости и часто поучал своего сынишку, когда тот, не будучи в силах дожидаться обеда, хватался за куски хлеба. В действительности это было, конечно, только искусственным разжиганием аппетита.

Наконец он открывает калитку, входит в садик, но еще медлит нажать дверную ручку. Кто-то, внося дрова, рассыпал щепки. Он нагибается и собирает их. Никак не приучат себя люди к военной экономии! Туго бы им пришлось без меня, — самодовольно улыбнулся Паберз.

Накопившееся за день дурное расположение духа испарилось. Осталась только гордость за свое положение главы семьи и довольство от сознания, что у него хороший домик, построенный им самим, если не считать полученной от брата части отцовского наследства; что у него крепко привязанная к дому жена и сын, которому не придется мучиться с постройкой дома, не придется ранним осенним утром бродить по росистой траве за коровами. Все-таки его жизнь похожа на тихий солнечный день. Эти треволения при большевиках, на которые теперь можно взглянуть издали, в конце концов оказались пустяками, маленькими облачками на горизонте, которые хотя и тревожат во время сенокоса порядочного хозяина, но, в конце концов, дождя не приносят.

И вот он открывает двери и входит в переднюю. Медленно снимает калоши, пальто и ждет, когда Висвалд выбежит ему навстречу. Потом, взявшись за ру-

ки, они войдут в столовую, где стол уже накрыт на троих.

Но Висвалд не появился. Бросив через дверное стекло взгляд в столовую, Паберз видит, что стол еще не накрыт. Голод дает о себе знать жгучей болью в животе. Только что еще миролюбиво настроенный человек вдруг чувствует, как у него начинают дрожать руки и ноги. Даже не от злости, а от чувства тяжелого оскорбления. Ты трудишься ради семьи, работаешь, как негр, даже черную лису жене купил, сыну обеспечил безмятежное детство и будущее, а когда приходишь домой голодный, как собака, тебе еще придется ждать обеда!

Сжимая в руках подобранные щепки, Паберз направляется прямо в кухню. Ну, конечно, Ирма только еще чистит картошку! В суп еще не положен лук, это легко определить по вырывающемуся из кастрюли запаху.

— Не бережете вы дров! — выдавил из себя Паберз вместо обычного приветствия, и с силой швырнул щепки на пол перед плитой.

— Это все твой сын!.. — недовольным тоном ответила Ирма, срезая толстый слой кожуры с картофеля.

— Ах, вот как! Когда он сделает что-нибудь хорошее, тогда он для тебя «мой сын», а когда набедакурит, то «это твой сын». Значит, все дурные качества от меня? Это, что ли, ты хотела сказать?

— И чего ты придираешься? Еще войти не успел, — буркнула Ирма вместо ответа и срезала толстый слой кожуры, что вовсе непозволительно в военное время.

— Я придираюсь? — почти кричит Паберз. — Гляди, какую кожуру срезаешь, разве один человек может па вас наготовиться? Или деньги на меня с неба падают?

В эту минуту Висвалд, заслышав голос отца, приоткрыл дверь в кухню. Он хотел было снова ее захлопнуть. Но отец заметил его и приказал войти.

— Кто так разбрасывается дровами? — строгим голосом обратился Паберз к сыну.

— Право, совсем отбилась от рук, — пожаловалась Ирма и, поднявшись со скамейки, стала промывать картошку. — Неизвестно откуда достал роман Уоллеса и уткнулся носом в книгу на весь день. Я ушла в очередь за мясом. Перед уходом говорю, чтобы за это время на-

бил и натаскал дровишек. Прихожу домой, мальчишка сидит, как сидел, о дровах и не подумал. Теперь пока сварится обед, подойдет время ужинать.

— Ах, вот каким ты у меня растешь? — злость его направилась на сына. — Думаешь, у тебя в жизни никаких обязанностей не будет? Рассчитываешь все готовеньким получать! Не такие теперь времена. Вон на железных дорогах вводят порку. Каждый должен точно выполнять свои обязанности. С завтрашнего дня у нас на стенке будет висеть такое же положение, что и для железнодорожников.

Испугавшись, вероятно, что муж сейчас же прибежит к новой системе наказания, Ирма выхватила из кастрюли сварившийся кусок мяса и, бросив его на тарелку, попыталась успокоить мужа:

— Присядь, закуси, пока сварится картошка. Скоро поспеет.

Паберзу хотелось выдержать характер. Но от дымящегося мяса исходил такой приятный запах! С каждым кусочком, который он глотал, его упрямство таяло. В конце концов он почувствовал даже что-то вроде стыда за ссору, начатую без всякого повода.

— Висвалд! — крикнул он. — В наказание завтра ты встанешь в поливине седьмого и до восьми будешь поливать со мной дрова. А теперь я пойду немного сосну. Суп все равно не поспеет скоро.

Он вошел в спальню, снял пиджак и жилет, аккуратно повесил их на спинку стула и хотел уж прилечь на кровать, когда вспомнил, что не прочел еще сегодняшней газеты. Лучше пойти в столовую на диван, там светлее.

Незаметно для самого себя он уснул и не слышал, как через комнату прошел Висвалд, взял со спинки дивана роман Уоллеса и проскользнул в спальню. Бросив взгляд на часы, он представил себе раннее вставание, пилку дров в темном, холодном сарайчике. По телу у него пробежала дрожь. Но велика власть книги, велика врожденная тяга к приключениям. А, может быть, в нем просто заговорила лень, нежелание вставать раньше обычного. Висвалд решил на борьбу с отцом. А так как у него не было такого оружия для этой войны, как ремень и розги, то ему оставалось положиться на стратегическую хитрость. И он без всяких угрызений совести и размышлений о последствиях перевел на

час назад стрелки будильника, который стоял на ночном столике. Затем, вынув из отцовского жилета серебряные часы, привел их стрелки в полное согласие с будильником.

На следующее утро, не подозревая ничего дурного, Паберз провалялся в кровати до половины седьмого, удивляясь, что ему не спится в такой ранний час. Видимо, вчерашняя схватка с сослуживцами, а затем и ссора с женой плохо отозвались на его нервах. Физическая работа пойдет на пользу как ему, так и Висвалду.

Полтора часа он провозился с дровами, не уставая втолковывать сыну, сколько благословен заработанный собственными руками кусок хлеба; сам он, будучи сыном хуторянина, привык вставать рано, и знает, как это полезно и здорово.

Завтрак прошел в благодушии. Стремясь загладить свою вину, Паберз старался быть приветливым.

Из дому он вышел в обычное время и дорогой радовался, что дни становятся заметно длиннее. Можно будет сэкономить и на электричестве. На трамвае он сэкономил по несколько марок в месяц, а так как ходил все время в калошах, то подметки почти не снашивались. Везде, как в большом, так и в малом, нужен расчет, тогда в жизни не будет ошибок.

На улице Свободы он, как обычно, взглянул на витрину часовщика, чтобы сверить часы. Половина десятого. Эти часы, наверно, остановились. Он расстегнул пальто и пиджак, вынул часы, подаренные ему еще отцом. Половина девятого. Какой неаккуратный мастер: приставил к часам картонку с надписью «Точное время», а сам вводит в заблуждение публику. Ведь человек, у которого нет своих часов и который привык доверять выставленным в витрине, может нарваться на неприятность. А в теперешних условиях, как, например, у них на железной дороге, такое упущение со стороны мастера может иметь своим следствием порку. Но, в конце концов, разве он обязан обо всех заботиться?

Дойдя до Гертрудинской улицы, Паберз снова остановился. Башенные часы гертрудинской церкви показывали без двадцати десять! Паберз даже очки надел, чтобы лучше рассмотреть стрелки. Ей-богу, правда! На сердце похолодело. Он еще раз вынул свои всегда такие

точные часы, поднял на лоб очки. Как ни гляди, показывают без двадцати девять. Он снова надвинул очки на глаза и поглядел на башенные часы. Они безжалостно показывали прежнее время. Словно примерзший к ледяному асфальту, стоял Паберз, держа в руке свои часы. Наконец, ему пришло на ум справиться у прохожих. Навстречу шел долговязый юноша в поношенном пальто. На вопрос Паберза он остановился и удивленно посмотрел на него.

— Разве вы не видите, что без двадцати десять?

— Да, но мои часы показывают без двадцати девять, — возразил Паберз.

— Значит, ваши часы остановились, — равнодушно ответил юноша и собрался итти дальше.

— Не может этого быть. Я еще вчера их завел. Каждый вечер перед сном я завожу часы. И вот эти, и будильник.

— Тогда не знаю, в чем причина, — пожал плечами прохожий.

— Может, вы скажете, сколько показывают ваши? — голос Паберза звучал жалобно, будто он просил помилования, выслушав смертный приговор.

— У меня больше нет часов, — угрюмо ответил юноша. — Я выкупил на них своего брата из концлагеря в Саласпиле. — Затем он зашагал так поспешно, как будто за ним по пятам гнались агенты гестапо.

— С таким лучше не связываться, — Паберз проводил его сердитым взглядом.

Он подождал, пока к нему приблизится тучный господин в пальто из довоенного материала с каракулевым воротником. Не могло быть никакого сомнения, что у этого господина часы найдутся, и Паберз, приподняв фуражку, вежливо справился у него о точном времени. Господин взглянул на башенные часы, ничего не сказал, вынул свои и произнес:

— Секунда в секунду.

— Но как же это... На моих еще нет девяти... — растерянно ответил Паберз.

— У меня часы абсолютно точные, — господин поклонился и пошел.

Что теперь делать? Опоздал на целый час. А сегодня положение о порке вступает в силу. И с Юриса Паберза — с первого — снимут штаны, уложат его на скамейку, отсчитают пятнадцать ударов. Как во сне, перед его глазами про-

плыло вчерашнее насмешливое лицо кондуктора, прозвучали его слова: «Такому бы первому всыпать...» Порка — само собой, а как перенести стыд! Юрис Паберз, самый аккуратный, примерный работник, и вдруг первым получает порку! Пожалуй, еще и в газетах напечатают другим на острастку. Нет, уж лучше веревку на шею, пусть пропадает и домик, только не этот позор!

Но что делать, что предпринять? Итти домой и сказаться больным? Тогда придется вызвать врача. Но у него нет ни одного мало-мальски знакомого, который по дружбе выдал бы свидетельство о болезни. Проклятое мужицкое здоровье!

И как это могло случиться, что и часы и будильник отстали на целый час? Ведь он не трогал стрелок, только завел часы, как это делал в течение многих лет. Может, кто-нибудь вздумал над ним посмеяться? Никого из чужих, кто бы это мог сделать, вчера в доме не было. На Ирму можно вполне положиться, она таких шуток себе не позволит. Висвалд?.. И внезапно словно кто-то ударил его молотком по лбу: да, это могло быть проделкой Висвалда, которому не хотелось вставать рано и пилить дрова. Вот прохвост! Кто только его так избаловал? Ну, тут только и остается, что пороть, пороть, хотя бы он после этого неделю пластом лежал!

Паберз круто повернул назад, чтобы попасть в трамвай, который подходил к остановке на углу Столбовой. Он даже пробежал немного, но снова остановился. Нет, домой итти нельзя. Туда уже наверняка кого-нибудь послали со службы справиться, и тогда он получит порку раньше Висвалда. Домой — ни в коем случае. На службу тоже нельзя итти. Вдруг эти сумасшедшие уже начали забастовку, и тогда подумают, что и Паберз принял в ней участие. Прямо с ума можно сойти, когда собственный сын вонзает тебе нож в сердце.

У Паберза на глаза навернулись слезы. Боже правый, для кого же он всю жизнь так старался, пот проливал, как не для сына, чтобы обеспечить ему легкую жизнь? В торговую школу хотел определить, думал открыть свою лавчонку. Теперь мальчишка испортил жизнь и себе, и отцу. Хоть бы утром сказал, признался. Разве Паберз не простил бы родному сыну? Он весь в мать, такой

же упрямый, вспылчивый, своенравный. На ту тоже временами находит — хоть кол на голове теши. Да, всего и предусмотрит. Правда, до женитьбы он пытался получше присматриваться девушкам. Но когда они, как воробушки, наперебой щебечут, они кажутся одна другой милее. Ирма ему понравилась больше остальных потому, что и бегала по театрам и кино, и в комнате у нее каждый столик, каждая спинка стула были покрыты скатертями и покрывалами собственной работы. «Вот эта сумеет экономить, эта будет держаться за свой дом», — решил он тогда сложный вопрос женитьбы. Но волк его знает, что только с этими женщинами происходит: как только обручальное кольцо у нее на пальце — начинает каркать на мужа, как ворона. Разве так воспитывают ребенка? По утрам спит до тех пор, пока на стол не подадут завтрака. А потом подымается возни: она его щекочет и балуется с ним, принесет теплой воды умыться и даже ботиночки ему почистит. Сколько раз с ней твердил: «Надо ребенку закалять характер», а она только одно в ответ: «Еще маленький, подрастет — вырастет и характер». Характер, конечно, рос, но какой характер... Вырастила отцеубийцу! Да, живым он не может показаться ни на службу, ни домой.

Все же надо что-то предпринять, постоять же так на месте. Прохожие начинают как-то странно поглядывать на него. Но куда итти? Итти некуда... Нет ни одного друга, у которого можно укрыться, хотя бы на время, чтобы обдумать дальнейшее. Родственники крестьянствуют в Земгале, а с горожанами он до сих пор не сумел сдружиться. Правда, кое-кто из сослуживцев приглашал его в гости, на рюмку водки, но он всегда отказывался. Если начать ходить по гостям, придется приглашать и к себе, а во что обойдется такое приглашение? Родственники... Самым близким был брат. Он жил на отцовском хуторе — осенью, когда поспевают яблоки, Паберз иногда навещал его. Когда брат приезжал в Ригу продавать свиней и другие продукты своего хозяйства, он ночевал у него. Ей-же-ей, совсем не плохой у него брат... Разве двинуться к нему на хутор? Кому придет в голову искать его там? Брата он не стеснит, он честно отработает ему за харчи. А как сооб-

щить об этом Ирме? Писать неблагоразумно — цензура. Надо будет попросить брата, чтобы поехал в Ригу известить жену. А жена пусть несколько денечков побеспокоится, больше будет ценить мужа. И мальчишка тоже — забудет, как шутки шутить.

Воздух посвежел. Ноги уже не чувствовали тяжести тела, и Паберз быстрыми шагами зашагал к железнодорожному мосту.

Подойдя к Даугаве, он остановился. Не опрометчивый ли шаг это бегство из Риги? Ведь он задумал бросить дом, с которым его связывает множество мелочей. Твой дом, твоя мебель, твоя жена! Субботним вечером перед ванной скажешь бывало: «Ирмусенька, согрей мне кроватку», а потом выйдешь из ванны распарившимся и заберешься в теплую постель. Где еще найдешь такую жизнь? Ты ведь не молодой парень, который на все может махнуть рукой и сказать, что перед ним открыт целый мир. Первым делом смотрят, есть ли у тебя под ногами твердая почва. Голоштанников никто не уважает. Взять хотя бы брата. Работай для него за харчи, пока сил хватит. А потом взбредет ему что-нибудь в голову — уходи, скажет, старый хрыч! В своей семье дело другое: сын подрастет, обзаведется своим дельцем, а старикашка, если не другим чем, то хоть своими советами будет приносить пользу. Даже по закону дети должны содержать своих родителей. Нет, швыряться своим будущим и спокойной старостью не годится. Слов нет — порка дело неприятное; самое главное — стыда не оберешься. Ну а мало ли людей, которые перенесли еще больший стыд, даже в тюрьме сидели? Может, позже это обернется тебе же на пользу.

Но мальчишку все же надо проучить, иначе вырастет сорванцом и отцу не станет уступать дорогу. Ходи тогда по адвокатам и выпрашивай у сына кусок хлеба на старости. Ирме тоже надо дать понять, что она главная виновница его несчастья. Не могла лучше присмотреть за мальчишкой? Бить он ее не будет, ни разу руки на нее не поднял, но есть ведь и другие способы воздействия. Притащится домой, сгорбленный и малоподвижный, ни слова не проронив, войдет в спальню. Обедать не станет, а попросит принести мокрое полотенце и чистое белье. Разденется, оголит свое истерзанное тело и скажет:

— Вот, гляди на свою жертву...

Она испугается, начнет выпрашивать, а он ничего больше не скажет. Наденет чистое белье, положит на спину компресс и ляжет спать. Ужинать тоже не будет. Всю ночь будет стонать. Только когда Ирма хорошенько намучается, он на утро подзовет к себе Висвалда и скажет ему:

— А теперь, часовых дел мастер, принеси-ка ремень!

И тогда он велит Ирме самой выпороть избалованного мальчишку.

— Пятнадцать ударов, — скажет он, — столько же, сколько ты навлек на отца.

Увидев казенное здание, куда он привык ежедневно входить с поднятой головой, Паберз все же скис. Навстречу ему шел железнодорожник-весовщик. Он приложил три пальца к козырьку и не то с удивлением, не то с чуть заметной усмешкой разглядывал опоздавшего на работу чиновника. Паберз почувствовал, как в груди у него заколотилось сердце.

— Не надо было приходить... Не надо было приходить... — А вот и надо, — возразил он на это, открывая дверь в свою рабочую комнату.

Перевод с латышского Яна Шумана

МОГИЛА СОЛДАТА

Рассказ

АНАТОЛИЙ РУССОВ

I

Две голые березы перед усадьбой старика Сарапу тоскливо скрипели от ветра; моросил густой, белесый дождь; голодные галки, топорща мокрые перья, каркали на ветвистых сучьях. С деревьев срывались последние листья—на скользкой черепице они казались пятнами ржавчины.

Сырой ветер с Рижского залива с шорохом обегал бревенчатые строения; он гнал по земле туман и рябил коричневую воду в колеях проселка перед усадьбой старика Сарапу.

Поселок тянулся от лесозавода, раскинувшегося в сосняке на холмах; подле баронской мызы он сбегал в котловину, где на берегу заплесневелого болотца зябко жались друг к другу крытые щепой хижины рабочего поселка.

Выбираясь из котловины на бурое травянистое плоскогорье и минуя усадьбу арендатора Сарапу, проселок поворачивал в поле к одинокой плакучей березе. Ее голые ветви касались намогильного креста, на темном дубе которого чья-то рука выжгла скупую надпись:

«Здесь в июле 1941 года погребен неизвестный русский солдат.

Он погиб за свободу эстов. Да пребудет слава и память вовеки».

Могилу покрывали рыжие пряди травы; желтая листва венком обрамляла ее, шурша под дождем и ветром.

Маленький «оппель», свернув в полдень с шоссе на проселок, вылутился из тумана, точно черный блестящий жук. По рытвинам он пробирался медленно, какой-то утиной походкой, но, когда проселок стал ровным, прибавил ходу.

У березы машина вдруг визгнула тормозами и остановилась; из нее вылез

горбатый старик в черного драпа пальто и коричневых, до колен, ботинках.

Опираясь на тонкую трость, горбу проковылял к могиле. Торопливо придерживая на ветру шляпу, он сказал шоферу надтреснутым голосом:

— Рудольф, позовите моего арендатора... если он жив.

Шофер зашуршал клеенчатым плащом и, точно налим, выскользнул из машины; тихо ругаясь, он краем дороги побежал в туман на блеск черепичной кровли. Он застал арендатора в полутемных сенях. Сидя на корточках, Сарапу плотничал, покуривая прямую короткую трубку.

Когда фигура вошедшего заслонила свет, арендатор поднял голову. Щеки старика Сарапу дрогнули, он отложил топор и поднялся, тяжело и медленно, сосновая щепка под его ногами хрустнула точно сухарь.

Шофер приподнял клетчатый картуз.

— Узнаешь? — спросил он хрипловатым тенорком.

Рыжие усики его шевельнулись; было что-то нагловатое в повадке и голосе его. Сарапу брезгливо подумал: «Вижу, вижу, «кадака сакс»¹...

— Как не узнать... Корову по вымени видно, падаль — по воронью...

Он видел, как враждебно сузил Рудольф глаза.

— Слушай, коровник, — процедил Рудольф, воткнув руки в карманы плаща, — господин барон фон Ахенберг возвратился из Германии. Он желает видеть тебя и ждет у машины...

Шофер смерил старика злобным взглядом, вытащил из кармана коробку,

¹ Прозвище эстонцев, выдающих себя за немцев.

оклеенную свинцовой бумагой, вынул сигарету «Оверштольд» и, чиркнув зажигалкой-пистолетом, закурил. Выпустив дым через нос, он вышел.

Сарапу побледнел; он ждал и боялся этой минуты, этого известия. Теперь что-то оборвалось в нем... Рослый, плечистый, он перешагнул порог, стертый от времени, как точильный брус, и вышел в туманную мглу.

Ступая за шофером, Сарапу старался не смотреть в его спину; по скользкому плащу Рудольфа стекала противная вода. Сарапу вспомнил прошлогодний отъезд барона фон Ахенберга и почувствовал, как сразу прошла тоска нынешнего дня; он даже замедлил шаги — ему хотелось удержать возникшее в душе тепло.

Ему вспомнились первые дни Эстонской Советской Республики и те предвечерние часы погожего дня, когда толпа народа стеклась на мызу, чтобы выдворить барона. Здесь были женщины и мужчины с лесозавода, старухи, снедаемые любопытством, пронирыливые подростки, старики, подвыпившие на радость, — весь рабочий поселок и крестьяне с окрестных ферм. Даже поселковые дворняги примчались на мызу; возле конюшен они встретили господских псов и остановились, встопорщив шерсть; тогда механик Тоомпу, человек большой силы и дерзости, положил четыре пальца в рот и свистнул так, что зазвенели стекла господских окон, — началась собачья свалка...

Сарапу и друг его, столяр Пент, стояли в стороне, где начинался баронский парк, и долго молчали, привалившись спинами к стволу обомшелой сосны; в небе зажглась первая звезда, — казалось, она вспыхнула в мохнатой лапе дерева и повисла в хвое, мерцая радужно и неторопливо...

Довольная улыбка тронула губы старика Сарапу; он тихо сказал Пенту: «Гляди, старина, сколько лет человек жил шерстью наружу: себе холодно и другому не теплее, а вот жизнь вывернула наизнанку... и стало тепло»...

Баронский дом глядел на толпу черными стеклами окон, его крыша как бы впивалась в небо множеством острогранных башенок.

По гладкому бетону сквозь толпу прополз автомобиль и остановился у подъезда.

Механик Тоомпу пробрался к машине

и развязно сел на подножку; через плечо взглянув на шофера, он с притворным вздохом осведомился:

— Ты не вернешься, Рудольф?.. Я вижу — нет... А когда же я сверну тебе башку, никудашный?.. А?.. Не слышу, не слышу, что говоришь ты, «кадака сакс»...

Когда старый горбун покинул усадьбу, в парке разошлись костры; три паренька сильными и чистыми голосами, под звуки гуслей и скрипки запели старинную песню о двух березах под окном, — и все замерли, точно вдыхали давно отнятое, что было бесконечно дорого и близко.

Когда под соснами на песчаной аллее девушки и парни отплясывали «тульяк», около старика Сарапу остановился Тоомпу.

— Что делает с нами политика! — сокрушенно сказал он и сплюнул. — Вывезли горбатого, как ценность!..

...Потеряв нить мыслей, старик вздохнул и остановился: перед ним стоял барон.

— Добрый день, сударь...

Барон, свалив маленькую голову на плечо, беззвучно шевельнул бескровными губами; взгляд его ощущал арендатора. На голове Сарапу была нахлобучена лисья шапка, истрепанная, истертая до черных плешин; старый песочного цвета пиджак плотно лежал на широких плечах; к сапогам налипла грязь.

Фон Ахенберг вспомнил, что год назад Сарапу говорил ему «ваш слуга»; сегодня он говорит «добрый день»...

Недобрая улыбка покривила губы старого немца, и желчный голос его, забытый стариком Сарапу, глухо произнес:

— Сколько лет, сколько зим, Сарапу!

— Да, сударь...

— Я вернулся, Сарапу, — сказал барон и переступил с ноги на ногу, чавкнув грязью. — Приятно видежь свою землю, возвращенную мне славной немецкой армией...

Арендатор внимательно разглядывал березу, серо-зеленые лишаи на ее рябоватом стволе.

— Ваша правда, сударь...

— Но здесь, Сарапу, меня встречает ужасная погода и... неприятные новшества...

Как будто понимая огорчение барона, старик развел руками — ладони

его были широкие, точно лопухи, и шероховатые, как сосновая кора.

— Завтра новолуние, сударь, погода, бог даст, переменится...

Голос старика Сарапу был сочен и густ, но слова текли медленно, как сырое тесто, в них не было ни приязни, ни сочувствия.

Барон вздернул плечи, и пальто над горбом собралось в мешок.

— Меня интересует, мои ли это лофштели¹ лежат вокруг?

Лицо барона, безбровое, изрытое морщинами, застыло; поджав губы, он выжидательно мигнул правым глазом.

Глаза старика Сарапу сухо усмехнулись из-под нависших бровей.

— Конечно, сударь, — сказал он, — теперь все лофштели опять принадлежат вам...

Тонкой тростью горбун резко ткнул в могилу.

— Я надеюсь, это не ваша работа на моей земле?

— Это не по моей части, сударь — медленно ответил Сарапу, сосредоточенно глядя на могилу.

— Сегодня же, Сарапу, вы сравниваете могилу с землей и бросите крест в болото.

Старик встревоженно приподнял брови.

— Вы слышите, Сарапу?

— Да, да, сударь, — невнятно произнес он. — Я слышу...

Барон дернул плечом и заковылял к машине; покосившись на шофера, он указал тростью на придорожную канаву — там, в грязи, валялся моток ржавой колючей проволоки.

— Прах русской армии, — сказал он и засмеялся жестяным смешком. — Не так ли, Сарапу?

— Ваша правда, сударь, — сказал Сарапу, — колючий прах...

А горбун, все еще сотрясаясь от смеха, вразумительно сказал арендатору:

— Делу еще не конец, но обстоятельства стали иными, Сарапу! Клянусь честью, каждый из нас при своих! Держи ухо остро, Сарапу, — вот в чем дело!

Дверца машины захлопнулась, автомобиль помчался дорогой на мызу; туман быстро поглотил машину.

Из осеннего леса на дорогу ветер при-

нес волну пряного смолистого запаха, на ферме хлопнула калитка...

Сарапу, тяжело вздохнув, прислушался к тревожному шороху ветра и покоился на могилу.

— Дела-а... — задумчиво сказал он.

— А ты не пугайся, — вдруг спокойно произнес кто-то сзади.

Сарапу вздрогнул и, глянув через плечо, пробормотал в удивлении:

— Тоомпу?..

— Помалкивай, папаша Сарапу. Ты меня не знаешь и не видел...

Тоомпу заткнул палец за серый клетчатый шарф на шее, потянул его, крутнув головой, и, облегченно вздохнув, тихо засмеялся:

— Ты не пугайся... Погода сегодня слякотная... Вот у тетки в гостях был. Еле вырвался, потому что, слышу, немцы по мне скучают.

Сарапу в сомнении повел головой.

— Помнится, что тетки раньше у тебя не было... А немцы так скучают по тебе, что даже деньги сулят за твою голову.

Тоомпу радостно изумился:

— Вот это любовь!.. Ну, ты им скажи... — тут он склонился к уху старика. — Ты им скажи, что Тоомпу живет... Впрочем... — Он оборвал свою речь, отстранился и, приглядываясь к старику, вздохнул. — Впрочем, ты ведь ни им, ни нам...

Сарапу внимательно рассмотрел мозоль на пальце, скусил ее и, сплюнув, промолвил:

— Молодой — на битву, а старый — на думу... Стариковское дело, парень, — это покой.

Тоомпу всунул руки в нагрудные карманы пиджака и сурово проговорил:

— Забыл ты, старик, что добрая слава дороже богатства?

Старик хмуро шевельнул бровями; досадно было — безусый парень, белую шапку не надевал¹, а рассуждает, лезет в душу. Не скрывая досады, Сарапу сердито кашлянул.

— У тебя давно ли штаны просохли, желторотый? Я не второе ли более твоего жил? «Забыл!» Из доброй славы, механик, масла не собьешь и шубы не сошьешь. Жизнь это не винтик — открутил да в карман. Говорят, нога споткнется — голова побьется.

¹ Немецкая земельная мера в Эстонии.

¹ То-есть не был студентом.

Тоомпу, мельком глянув по сторонам, деловито сказал:

— Ты меня извини, папаша Сарапу. Не сердись. Нам-то с тобой делить нечего... На машине кто ехал? Горбун?

— Он.

— Ругался? «Что тут за кладбище? Кто сделал?..»

— Вроде этого...

— Значит, могилу на снос... Ну, я пойду, папаша Сарапу. А то держу тебя тут, под дождем. Ты встречу нашу забудь. Ладно?.. Только помни, папаша Сарапу, нынче — время войны и нынче — время суда...

Старик угрюмо, но беззлобно проговорил:

— Ступай, ступай, теленок...

Пока Тоомпу не скрылся в тумане, Сарапу исподлобья смотрел ему вслед, потом, с трудом отодрав ноги от вязкой земли, побрел к ферме.

В сенях старик поднял сосновую щепку, соскоблил комья грязи с сапог и выкинул щепку далеко наружу; пошаркав ногами о половичок из мешковины, он вошел в кухню, — звякнула посуда в маленьком буфете за многоцветными стеклами дверок; пахло дымком и сухими коровьими шкурами, повешенными на жердь под деревянным потолком; пылал старый камелек. Перед его жаркой пастью пятилетний внук старика, Эндель, сыпал в берестяные торбики золу. Дочь старика, Марта, худенькая женщина, сидя на корточках возле сына, чистила золой кастрюлю.

Старик неторопливо разделся и потоптался на месте, мельком взглядывая на Марту. Будто шаря по карманам трубку, он ладонью похлопал себя по животу и груди, потом деловито прошел в горницу и там ни к чему побродил из угла в угол. На стене, в темном дубовом ящике, тикали старые часы; по стеклам широкого, в четыре створки, окна тревожно стучала низкорослая голая ветла; тускло белела изразцовая печь; со стола, накрытого цветной вязаной скатертью, на старика смотрела маленькая фарфоровая королева; ее подарил Пент, когда привез с ярмарки из Васьжарвы лет восемь назад...

Сарапу вернулся в кухню, кашлянул, потом с наигранным радостным удивлением сказал Марте:

— А ведь похоже, в пекле нынче от немцев тесно...

Она откликнулась, не поднимая головы:

— Я к двери подходила... слышала...

С каким-то остервенением она принялась тереть кастрюлю, потом разогнула спину, вытерла потный лоб кистью руки и спросила:

— Зачем он звал тебя?

Сарапу вдруг тихонько и старательно засмеялся, закрутил головой и всплеснул темными руками:

— Времена-а! Мертвецам покоя нет... Убери, говорит, могилу, а крест — в болото...

В светлых глазах Марты метнулась тень тревоги.

— Ты хочешь это сделать? — спросила она.

Старик пожал плечами.

— Что же... Ну, уберу... — И добавил жестко, внушительно: — А мертвому солдату — все равно. Да и могила безымянна... Тут, у дороги, вроде даже и не место...

Старик вдруг понял что-то и тяжело вздохнул.

Озлобясь, он вдруг закричал Марте: — Ты что смотришь?! Ты делай свое! Нынче мигнуть не успеешь — вздернут! Болтаться в петле — мне это как раз не подходит...

Старик, сердито поддернув штаны, вышел в сени и принес слюдяной фонарь с огарком свечи.

— Глупа, — говорил он себе, думая о дочери. — Жизнь понимать надо. Как она обернется — это кому дано знать?..

Он покрутил фонарь перед глазами, однако в сарай, где стоял заступ, не пошел, а вздохнул и сел на скамью против камелька.

В прошлую осень, в слякотную сумеречную пору, Сарапу так же садился у огня и коротал время, покуривая трубку. Тогда вспоминались ему вечера детства, краснолицые старики у огня, их неторопливые и страшные были о старине, о вероломстве ливонцев. Мысленно одобряя жизнь, он говорил себе:

— Теперь ты утвердился. Под ногами — твоя земля...

А сейчас он мрачно и горестно проговорил:

— Эх, жизнь — орешек... — И свирепо сплюнул в огонь.

Старик ясно ощущал на душе холодок липкого, точно плесень, страха и думал: «Сохранишь чужую могилу — выроешь собственную. Тут иначе не будет...»

Сумерки на дворе сгустились — и тьма застыла в кухонном окошке; старик поднялся, подобрал тонкую лучинку и, сунув ее в пылающий камелек, зажег фонарь. Потом нахлобучил шапку, накинул пиджак и вышел во двор через вторую, новую половину дома.

В пятне света лежала мокрая земля и блестели черные лужи, покрытые рябью мелкого дождя; свет коснулся старой выдолбленной колоды. — на обглоданных лошадей краях ее белели пятна птичьего помета; из тьмы выступил бревенчатый сруб колодца и заброшенный фургон без передка; наконец, желтое пятно уперлось в дощатую дверь сарая, в стропила, выступавшие из-под навеса соломенной крыши. Сарапу открыл дверь, нагнулся и взял заступ.

Он стоял посреди сарая и уныло смотрел в угол. Конское стойло было пусто. Недоставало в тишине сарая сытого конского фырканы, хруста овса на зубах, мягкого, требовательного ржания и глухого стука подков о деревянный, закиданный соломой настил. Когда Сарапу вошел сюда, летучие мыши не оторвались от стропил под кровлей, не кинулись на свет фонаря, тихо и торопливо посвистывая перепончатыми крыльями, и дикие голуби не встрепнулись на поперечных балках...

У старика защемило душу: когда немецкие фуражиры увели с фермы гнедую трехлетку, не он, Сарапу, обеднел — обеднела вся жизнь. Когда немцы сожрали корову его, не он, Сарапу, стал нищим — обнищал хлев, обнищала жизнь...

Сарапу задул фонарь и вошел в кухню; от огня в камельке на стенах вздрагивали расплывчатые блики; тоскливые звуки роились в трубе. Маленький внук прошептал, прислушиваясь:

— Тондид!...

Марта зажгла свечу и мешковиной занавесила окно. Старик, глядя на заступ, зажатый в руке, постоял у порога в сени. Оставалось только переступить порог, но Сарапу стал медленно раскуривать трубку; потом он выбил табак о дверной косяк и стал чистить ее обрез-

ком тонкой проволоки. Исподлобья глянув на Марту, он поймал косой взгляд непонятную улыбку. Сдерживая злость, старик вышел из дому, сунув руки в рукава пиджака.

Дождливый мрак окружил Сарапу. Ветер бил в лицо холодными ключьями, плотными, как тряпки. Сарапу, задыхаясь, с трудом добрался до могилы.

Он наткнулся на нее в темноте и остановился в нерешительности. Над головой в ветвях березы дико свистел ветер. Вдруг гибкая ветвь больно хлестнула старика по лицу, — вздрогнув от неожиданности, он отшатнулся. В душу старика проник страх, но он отогнал его, вдруг решив:

— Баста!.. Сам выкопаешь, сударь...

Он погрозил кому-то во мрак и яростно крикнул:

— Не буду-у!..

Свирепый ветер заглушил крик...

II

Когда Сарапу опустился на скамью, ужин стоял на столе.

Он макнул хлеб в миску с толокном и, положив кусок в рот, стал жевать медленно и лениво.

Эндель, сидя на коленях матери, лопотал что-то, понятное только ему; он орудовал большой ложкой, проливая на стол толокно.

Все это шло мимо глаз и ушей старика. Он думал о том, как завтра в его дом ворвутся солдаты с мызы; наследив подкованными сапогами, они выволокут его наружу... Он сам будет копать себе могилу, обивая с лопаты налипшую землю... Наверное он уже не услышит ружейного залпа. Эхо, как гром, прозвучит над окрестными холмами. Это будет восемнадцатым убийством за четыре месяца...

Старик почувствовал, как отяжелели ноги, потом стеснилось дыхание, наконец, каждое движение рук стало связанным, тоска словно пеленала его.

Старик перестал есть и с минуту оставался неподвижным. Выйдя из-за стола, он сел у огня. Медленно набил трубку табаком, вытащил из камелька золотую крошку угля и, подкинув ее на ладони, как будто прикидывая вес, положил уголь на трубку. Старик утерев локтем в колено и, положив подбородок

¹ Домовой.

на ладонь, долго и задумчиво смотрел на внука. Оконные стекла тревожно дребезжали под ударами дождя и ветра...

— Теперь спать? — спросил Эндель у матери.

Снимая сына с колен, женщина засмеялась:

— Ты думаешь, мы будем плясать?

Эндель подошел к старику.

— Мы будем спать вместе, да?

Старик слабо улыбнулся.

— Зачем же вместе? Разве у тебя нет своей маленькой вооди¹?

Малыш засунул руки в карманы штанов и, подумав о чем-то, согласился:

— Есть... А у тебя есть большая вооди. Я вырасту — у меня тоже будет большая вооди. Потом еще больше! Потом еще! А у тебя не будет. Это у тебя — вимневооди². Да?

Лицо старика покоробилось, как береста от жара; он завозился и встал. Вдрагивая, точно от холода, и делая много лишних движений, он оделся и покинул дом. Его знобило; он то и дело поскальзывался, взмахивая свободной рукой, словно ловил во мраке невидимую опору.

Вытянув руку вперед, старик шел, как слепец. В непроглядной тьме он потерял могилу.

— Потеха... — хрипло проговорил он и круто повернул к дороге.

Но дороги тоже не оказалось. Верь он в чертовщину, он мог бы принять это за лешачьи шутки; однако старик ничего не почувствовал, кроме озлобления. Вдруг позади себя, в этой окаянной свистопляске, Сарапу услышал отчетливый скрип, так могло скрипеть лишь дерево. Старик бросился в ту сторону... Буря обманула его. Через несколько шагов старик понял, что заблудился.

Он вовсе не испытал страха при этом. Напряженно, до рези в глазах старик всматривался в черную пустоту... Он стиснул зубы и в приливе злобы швырнул заступ. Что-то глухо звякнуло, ударяясь о дерево. Сарапу не сделал и трех шагов, как натолкнулся на крест. Ползая на четвереньках в грязи, он стал то ропливо ощупывать землю, невольно отдавая себя во власть непонятного тупо-

го злорадства. Найдя заступ, он встал. Железо вонзилось в сырую землю легко, как ложка в творог.

Каждый взмах Сарапу был полон ожесточения. Когда железо заскрежетало по обломку валуна, мысли старика впервые обратились к погребенному... Сарапу испуганно попытался подавить смущение, стараясь не думать о том, что он делает...

Его трясло, когда с решимостью отчаяния он раскачивал крест. Волоча тяжелую ношу к болоту, Сарапу со страхом ждал, что упадет от охватившей его вдруг слабости. Через несколько десятков шагов старик уронил крест и обессиленной, шаткой поступью направился к усадьбе.

III

Всю ночь не унималась буря. Старик лежал, не смыкая глаз.

Несколько раз просыпался за перегородкой Эндель, тоненько кричал, — и тотчас пробуждалась Марта, сонно говорила ему ласковые слова и пела негромко грустным голосом:

Ходят волны в синем озере толпой,
Ветер мнет верхушку старую сосны,
Твой отец сидит с винтовкой под сосной.
Пусть тебе, малыш, расскажут это сны...
Твой отец в краю далеком, но родном,
В черный час ночной вздремнул,
закончив бой.

Спи, малыш, отец к тебе вернется в дом.
Спи, малютка наш, сегодня я с тобой...

Непогода утихла неожиданно; казалось, дом вдруг провалился в тишину, как в пропасть. Наконец проснулась Марта; она сняла мешковину с окна, и рассвет серым пятном проник в комнату. Старик поднялся с постели, вяло натянул штаны, рубаху, вязаный жилет и сел на скамью перед окном.

За окном, по двору фермы, волоклись клочья тумана; сквозь изгородь, меж темных от влаги жердей, туман проползал в поле. Старику казалось, что так же сиротливо и медленно влачится над землей время. День впереди был пуст, как опорожненная бутылка.

Ему вспомнились первые дни июня. Память нарисовала теплый сумрак хлеба; первые лучи солнца струятся в узкие окна в бревенчатой стене; слегка курится пар над свежим навозом, и, мерно вздымаясь и опадая, светится ры-

¹ Кровать.

² Последняя кровать, переносное: гроб.

жий упитанный бок «датчанки»; корова поворачивает плосколобую морду и косит на дверь большим и влажным, бутылочного стекла, внимательным глазом; с ее губ, мокрых, мягких, тянется густая слюна; под крышей, на потолке хлева — пыльный сеновал; две сухих зеленых травинки пробились оттуда в щель и свисают, колеблясь в солнечном луче. Коричневый воробей суматошно порхает под невысоким потолком. В воздухе — аромат сухого сена, запах пыли, острый навозный дух. Коротко и густо мычит «датчанка». Дочь приносит жестяные ведра, и звякают, падая, дужки. Подоткнув полосатую юбку, Марта сонно и хрипловато говорит: «Не шали, Эмма!» Пальцы скользят по упругим бледнорозовым соскам. Белые струи молока бьют в жестяное дно ведра: «День пришел! День пришел!..»

Чтобы хоть как-нибудь отвлечь себя от тягостных мыслей, Сарапу придумывает работу.

Все утро он сидит в маслоделке на полу, раскинув ноги в полосатых носках, окружив себя широкозубыми шестеренками и гаечными ключами.

Около полудня в дверь просунулось испуганное лицо Марты; она торопливо подошла к старику и, вытирая передником руки, мокрые и красные от холодной, воды, шепнула непослушными губами:

— Пришел барон...

Горбун был в черном дождевике с капюшоном, в широких охотничьих сапогах. Он стоял у порога и опирался на трость с серебряным набалдашником.

— Я полагаю, Сарапу, — вкрадливо произнес фон Ахенберг, — вы должны были исполнить мое желание и убрать могилу...

— Да, сударь. Я убрал ее...

Горбун странно засмеялся, точно кто-то встряхнул мешок с кровельными обрезками.

— Я хочу посмотреть. Покажите...

В просьбе этой было что-то неладное... Старик не знал, что делать. Он натянул сапоги, снял с гвоздя шапку и, нахлобучив ее, первым вышел из дому.

Автомобиль стоял против дома; Рудольф, сидя на подножке, чему-то улыбался.

Сарапу, взглядываясь в плывучий ту-

ман, увидал могилу. Он побледнел. Не веря глазам, он медленно шел к ней.

Могила была такой же, как вчера, как неделю и месяц назад, только холмик теперь был обложен свежими плашками дерна.

Подойдя к березе, старик облизнул пересохшие губы.

— Что вы можете сказать, Сарапу? — спросил барон за его спиной, махнув тростью.

Старик повернулся и забормотал:

— Я, право, сделал все, что вы, сударь, требовали... Господь свидетель, это свежая могила...

Слова застряли в горле старика, но палец его, вздрагивая, показал на прилипшую к кресту грязь и на дерн.

— Я вижу это, — со сдержанным гневом заметил горбун. — Но, не правда ли, Сарапу, могилы — не грибы? Они не растут от дождя. Кто мог приложить здесь руку после вас?

Сарапу медленно пожал плечами:

— В толк не возьму, сударь...

Горбун вдруг втянул голову в плечи, точно его стукнули по темени, и в зловещем безмолвии заковылял к машине. Когда автомобиль исчез в тумане, Сарапу негромко проговорил, осипнув на последних словах:

— Это сделали люди, сударь... Это сделали люди...

Он съежился, точно стоял теперь перед лицом этих сильных, честных людей. Он согнулся и побрел к дому.

Не раздеваясь, не снимая шапки, он сел на скамью. Он долго оставался неподвижным, слепо глядя в редяющий туман, тяжело опустив плечи; потом брови старика взметнулись, он подался вперед и принял лицом к стеклу.

Под ветвями старой березы две серые фигуры торопливо ковыряли лопатами могильную насыпь; немецкий солдат торчал поодаль, сторожа их; четыре женщины из поселка со связками хвороста на плечах приостановились на дороге...

Старик отвернулся, потер лоб рукой, точно хотел стереть морщины, и, хлопнув ладонями по коленям, поднялся и пошел в горницу. Марта вытирала мокрой тряпкой его следы на полу. Тогда, придерживаясь за стену, Сарапу нагнулся и стянул сапоги...

Так застал его худой и длинный столляр Калью Пент.

— Скоро ветер подует с Пейпси-
зрв¹, — сиповато сказал Пент, притво-
ря за собой дверь.

В глазах старика Сарапу появился
вонек оживления.

— Старина еще не забыл дряхлого
друга Сарапу?

Затаив хитринку во взгляде, Пент
ухмыльнулся:

— Как можно! — и вытащил из кар-
мана бутылку водки.

Сарапу горестно улыбнулся:

— Вот старый грешник! Нашел вре-
мя...

Легко ступая длинными худыми нога-
ми в старых сапогах с хлопающими по
краям голенщиками, Пент прошел к сто-
лу. Он сел на скамью, поставил перед
собой бутылку водки и, сохраняя
серьезность, нажал на столе несуществу-
ющую кнопку.

— Ну-ка, прейли² — сказал он, об-
рашаясь к Марте и подмигивая, — спу-
стись в подземелье...

Марта выжидательно взглянула на
лица. Он поощрительно кивнул; тогда
она быстро вышла из комнаты, направ-
ляясь в хлев, где в подполье были
припрятаны от немцев мука, масло и
мясо.

Пент посмотрел в окно и задумчиво
пробормотал:

— Глубоки нынче будут снега: летом
во жнивьемышь высоко свивала гнездо.

Старик Сарапу в горестном сомнении
покачал головой:

— Эта мышшь, Калью, видно не хоте-
ла захлебнуться в крови...

Взгляд Пента стал сеобезным и при-
стальным. Некоторое время они молча
смотрели друг на друга, потом столяр
вздыхнул, сказав:

— Я тебя понимаю, старина.

Далекий был осенний день, когда они
тодружились, — день сельского празд-
ника, где они состязались в перетягива-
нии палки. С тех пор минуло много лет.
Озеро в низине заросло травой, друзья
успели, следуя обычаю, сломать ложки
на свадьбах, овдовели, поседели — и
теперь без слов понимали друг друга.

Пент выложил на стол берестяную
габачницу, вынул пожелтелую фарфо-
ровую трубку и стал набивать ее таба-
ком.

— Ты знаешь, что сказал как-то ме-
ханик Тоомпу? — Пент сделал лукавые
глаза и коротко рассмеялся. — Он ска-
зал: «Преуспеть может лишь тот, кто
использует на благое дело даже мину-
ту». Тоомпу сказал это голосом пасто-
ра, и многие тогда не поняли его. Но
когда он скрылся из поселка и на до-
роге нашли труп немца, я его понял...

Сарапу подумал, глядя на Калью:
«Насквозь тебя вижу... Ты всегда был
верхогляд... Ты и сейчас готов сломать
себе шею»... И сказал внятно, стараясь
убедить:

— Пойми, Калью: Тоомпу — не при-
мер мне. Человек он мастеровой, лег-
кий — встал да пошел, нет у него ни
очага, ни хлева, ни коровьего соска...

— Чуда-ак, — засмеялся Пент. —
Я ведь что говорю? Я говорю: помыс-
лы — помыслами, но и дело в уроч-
ный час.

Он встал и отошел прикурить к огню
камелка. Сарапу сказал:

— То-то и есть. Башку себе свернуть
никогда не поздно... Друг перед другом,
Калью, мы в чувствах своих прямы.
Однако, по нынешнему времени, о чув-
ствах надо помалкивать...

Он долго еще говорил словами осто-
рожного, осмотрительного человека:
Пент, сидя на корточках у огня, поку-
ривал, ухмылялся.

Возвратилась Марта, поставила на
стол темную оловянную тарелку с соле-
ной салакой, с желтым кирпичиком сы-
ра и с куском кровавой колбасы; наре-
зав того и другого, она встала у сте-
ны, сложив руки под передником.

Пент подошел и, наливая водку в же-
стяные кружки, сказал:

— Лежачий камень пинают чаще...

Сарапу, склониив голову на плечо, на-
смешливым глазом посмотрел на друга
из-под нависшей брови.

— Твои мысли, Калью, торопливы,
как воробьиное племя... Ты подожди:
может быть и мы со стороны сделаем
что-нибудь... Садись. Давай выпьем...
Пусть прах неизвестного солдата обре-
тет покой...

Пент сел и, с явным сомнением пово-
див головой, улыбнулся:

— Ну, тут выпивкой не поможешь.

Сарапу перегнулся к столяру:

— А если сегодня к полуночи ты сде-
лаешь крест?..

¹ Чудское озеро.

² Барышня.

Пент потер висок чубуком трубки и с усмешкой сказал:

— Что ж, выпьем, старина...

Сарапу отвалился от стола и, потеряв колени, пробормотал:

— Наше дело — жизнь дожить со спокойной совестью, справедливо... — И посмотрел на Пента, не поднимая головы.

Потом он взял кружку, выпил и, закусив сыром, поморщился, то ли от вина, то ли от мыслей своих.

— Ведь экий подлый народ... Нашли в могиле какую-то жизнь, какую-то каплю жизни. Даже эту каплю, старик, им тоже надо убить...

— Это так, — убежденно сказал Пент.

Выпив, он вышел в горницу, откуда принес шахматную доску и дубовые глянцевиные кружочки для игры в кабе.

Когда они начали играть, Пент вновь промолвил:

— Это так, старина, они действительно увидели в этой могиле что-то живое...

Пент прищурился и, попыхивая дымом трубки, посмотрел на Сарапу так пристально, будто хотел схватить сразу все сложное существо его.

Сарапу сказал:

— Не знаю, Калью. Только ты не думай, что я хочу насолить горбуну... Может, другой какой славу бы в этом сыскал. Я этого не хочу. Нам почета не нужно, потому что у нас есть совесть. Это наше богатство, Калью. Пусть горбун заберет весь мой скарб до последней чурки — это не делает его человеком. А что будет с нами, если мы отдадим совесть нашу?.. Этот солдат лег в могилу, однако он остался честным парнем. После этого наша совесть, Калью, стала дороже. С этим русским солдатом нас три узла связали: его кровь да наша свобода и земля...

Пент засопел трубкой, потом сказал, вздохнув:

— Не знаю, старина, нужно ли тут много слов... Ежели нам собраться вместе, взять какие ни есть ружьишки да пойти на мызу, совесть бы у нас была чище новой кроны.

Сарапу раздраженно спросил:

— А на ферму, на семью — плюнуть? Ты, Калью, хочешь, чтобы я приноравливался к Тоомпу? Я в землю эту врос, Калью. Меня здесь корни держат...

Калью Пент опустил к полу глаза, спрятав пронизательный взгляд, и сказал:

— Злости у тебя малость нехватает. Ты в ярме у горбуна полвека ходил: понятно, холка твоя — одна мозоль. От злости, я слышал, и мозоли сходят...

IV

Полуночный мрак был тих, над землей стояло холодное и настороженное безветрие, только изредка хлопали крыльями невидимые галки на старых березах, и в сонном крике птицы невольно чудилась тревога. Под ногами Пента и Сарапу стеклянно хрустел тонкий ледок, пугая и заставляя вздрагивать, и, пока они достигли могилы, Сарапу несколько раз отер со лба выступивший пот,

Они вкопали крест и, ползая на коленях, сложили насыпь из мерзлых комьев земли.

— Ну прости, солдат, — прошептал Сарапу, поднимаясь и отряхивая колени.

Пент, не расслышав, спросил:

— Ты о чем, старина?

— Я говорю: пойдем, Калью, — ответил Сарапу и облегченно вздохнул, мы сделали свое...

Никогда не испытывал старик Сарапу такой легкости на душе.

— Калью! — воскликнул он вдруг. — А ведь нам еще рано отойти на покой!

Из мрака донесся тихий и сдержанный голос Пента:

— Я думаю так же... Только не ориво всю глотку... Ежели нас услышат, мы отойдем на покой, даже не помешкав...

Ушли они осторожно; тихо скрипнула калитка на ферме, будто вздохнула о чем-то.

Утром, когда слух о таинственном возрождении могилы обошел в поселке каждую хижинку, ветер подул с Пейпсиярв, на землю посыпалась мелкая снежная крупа.

— Прекрасная работа, — говорил фон Ахенберг, стуча тростью по кресту и нервно моргая глазами. — Это делал мастер...

— В поселке осталось немного столбов, сударь, — вкрадчиво сказал Рү-

дольф, — в том числе этот длинный столяр с вашего завода...

— Да? Ну что ж... возвращайтесь, Рудольф. Скажите лейтенанту: заложником надо взять именно этого мастера. Я буду на ферме... Поторопитесь.

Нетерпеливо махнув тростью, горбун заковылял к дому арендатора Сарапу.

Когда фон Ахенберг открыл дверь, Сарапу сидел у запорощенного стужей окна; оловянная миска стояла на его коленях; он размешивал толокно в кислом молоке и, увидев барона, встал, поклонился, сказав Марте:

— Дай сесть!..

Женщина взяла стул из горницы и поставила его среди кухни, обмахнув сиденье передником.

Горбун прошел мимо стула, остановился перед фермером и, вскинув голову, стал смотреть на коровьи шкуры на жердях.

— Думаю, что это вы оставите себе, — сказал он, — тем более, что теперь мне известно ваше благоразумие.

Старик поклонился, проговорив:

— Молю бога, сударь, чтобы вы не заблуждались на мой счет.

Барон снисходительно закивал головой:

— Да, да... Вероятно, господь внял вашим мольбам... А о чем, Сарапу, вы молили господу при советской власти в Эстонии? Как вы жили тогда, Сарапу?

Старик вздохнул и развел руками:

— Мы всегда ходим под богом, сударь..

— Да? Ходите? — желчно спросил барон. — И некоторые из вас очень часто ходят к могиле...

Сарапу изобразил на лице смятение и проговорил, понизив голос:

— Она появилась к рассвету, сударь...

— Знаю! — раздраженно обормал горбун. — Меня интересует, кто этому причина?

Сарапу с гайнственным выражением на лице поведал:

— В этом деле, сударь, пахнет нечистой силой... В наказание людям господь допустил шутки дьявола...

Горбун сдержал взрыв ярости и заговорил с ядовитым смирением:

— Но я не думаю, что по воле господа вы перестанете быть и-ди-о-том.

Барон резко повернулся, торопливо

заковылял к порогу и, выйдя, сильно хлопнул дверью.

Старик посмотрел на Марту, и его брови дрогнули: он плакал и смеялся.

V

Узкая улочка поселка мертва. Где-то в дальнем дворе хрипло твоякает продрогшая собачонка. На дощатом заборе возле крайней лачуги белеет выстиранное белье; оно одеревянело на морозе — тревожно стучит по нему жесткая ледяная крупа. Около изгороди косо торчит обветренный, трухлявый столб; ветер почти сорвал с него желтую фанерную доску — она болтается на последнем гвозде. Черными буквами на фанере написано:

«В случае новой попытки восстановить могилу русского солдата заложник будет казнен».

Черные окошки лачуг тускло блестят сквозь метель. По улочке, тоскливо подывая, мечется ветер.

Сознание, что он смог постоять за справедливость, веселило старика Сарапу, но в то же время он чувствовал какое-то странное смущение...

— Кто прыгнул с воза, тот должен стать на землю, а ты куда висишь...

От этих размышлений гордость его потухала, мысли беспомощно сбивались в кучу, он терялся и досадовал на отсутствие Калью Пента, который был сейчас ему очень нужен.

От нетерпения Сарапу вышел на улицу. Видя, как немецкие солдаты выкапывают крест и раскидывают могильный холм, он посмотрел сквозь летучий снег на безлюдный проселок, высматривая там, не идет ли друг.

Столяр не пришел и к вечеру. Тогда Сарапу зажег оплывший огарок и, уйдя во вторую половину дома, стал делать новый крест.

Он посапывал трубкой, хмурился и мычал под нос старинную песню о храбром Калевипозге. Трепетный свет огарка бегал по лицу старика — оно казалось напряженным и злым. Закончив работу, Сарапу отодвинул ногой стружку на полу, прищурился на крест и удовлетворенно крикнул...

...Ночью тяжелые снежные хлопья легли на свежеструганные брусья креста. Над могилой ветер намел сугроб. Каза-

лось, человеческая рука никогда не трогала могилы...

Когда Сарапу проснулся, было уже позднее утро. Он встал у окна, подышал на льдистое стекло и посмотрел сквозь кружочек: у березы маячили расплывчатые фигуры солдат в зеленых шинелях. Сарапу развеселился. — эта кутерьма согревала его душу. Но когда он предался размышлениям, сидя за столом и прихлебывая чай, его посетило странное беспокойство. Сарапу не мог понять, чего он хочет.

Он послал Марту за столяром. Его охватило нетерпение. Но дочь вернулась одна и так быстро, что Сарапу удивился. Он встретил ее взгляд, полный расстерянности и ужаса, и почувствовал, как страх подкрадывается к нему. Марта продолжала стоять, опираясь плечом на косяк, немощно уронив руки вдоль тела. Волосы ее выбились из-под платка, глаза округлились, лицо было бледно.

— Ну? — спросил он чужим и вдруг осипшим голосом.

Она обвела языком сухие губы и проговорила тихо, внятно:

— Калью повесили...

У старика перехватило дыхание, нетвердым шагом он двинулся к двери, толкнул ее вытянутыми руками, прошел через сени, распахнул вторую дверь и снежной целиной устремился к поселку. Марта нагнала его и заставила что-то взять: он зажал в руке свою лисью шапку. Постепенно шаги его ускорились, и он побежал, дыша тяжело и хрипло.

В поселке не было ни души. Ветер мчался вдоль домов и кружил у виселицы, покачивая тело казненного столбняка.

Сарапу отпрянул. Силы изменили ему. Он окаменел, с ужасом взирая на мертвое тело. Взгляд его пробежал по черным буквам на листе фанеры, — некоторое время они плясали в его глазах, потом сложились в потрясающие слова, — тогда он всхлипнул и затрясся.

— Калью... Я не знал, Калью...

Как потерянный он шагнул к телу друга. Он обхватил ноги его и прижался к ним.

Четверо немцев появились из-за угла. Они увидели Сарапу, переглянулись и направились в его сторону.

Немецкий ефрейтор, толстый детина

с морковным носом, дернул старика за плечо.

— Зачем ты здесь, фермер?

Сарапу отступил на шаг и тупо оглядел солдат.

— Разве здесь болтается твоя милая?..

В глазах Сарапу вспыхнули злые огоньки.

— Ха! Ты ощетинился? Спрячь глаза! — рявкнул ефрейтор. — Натяни глаза свою лисью рвань! И ступай себе!

Сарапу сгорбился и потащился прочь. Весь облепленный снегом, он с трудом взобрался на холм и отсюда посмотрел в сторону баронской мызы. Странно замерцали его глаза. Нахлобучивая шапку, он внятно проговорил:

— Ну, судари, это я вам... Ладно!

Сарапу остановился у разрушенной могилы. Он долго стоял так, будто промерзнув. Он мысленно беседовал с русским солдатом, и в молчании одинокой могилы для него, старика Сарапу, звучал голос великой правды.

Когда Сарапу вернулся в кухню, лицо его было черным и страшным. Марта варила обед; она посмотрела на отца мокрыми от слез глазами.

Старик постоял, чужой, замкнутый, потом сел на кровать и не шевелился, пока сумерки не запылили воздух.

Марта зажгла свечу и насторожилась, когда в сенях послышались шаги.

Скрипя сапогами и отряхиваясь, в комнату ввалились два немца.

Первый солдат, вытирая ладонью мокрое лицо, багровое от ветра, басом сказал второму:

— Здесь будем греться...

Второй солдат, низкорослый, тщедушный, тронув рукой перевязанное горло, простуженно просипел:

— Эй, коровник, встречай гостей. И не говори, что у тебя нет водки!

Сарапу преобразился. Подобострастная улыбка появилась на его лице.

— Если у вас есть время...

— Да, да, — перебил первый и засмеялся. — Нас могут сменить, но выпить мы успеем.

Старик льстиво улыбнулся:

— Хотя пословица говорит «поздние гости получают кости», но фермер Сарапу не скряга, — и он расторопно захлопотал вокруг стола.

Тщедушный долго дул на красные пальцы, совал их к огню камелька, по-

том свернул кое-как папироску и закурил.

Он прошел к столу, где уже сидел его приятель, и, заглянув в кружку, сипло сказал:

— Ну-ка, коровник, отхлебни. Я погляжу — не отравил ли это.

— Ваше здоровье, судари, — сказал Сарапу и выпил глоток.

— Вот так, — сказал первый солдат. — А теперь отойди да не гляди в рот, а не то — хвачу в ухо.

Старик Сарапу поклонился и, отойдя в угол, сел на тюфяк.

В углу жалась дочь; мальчик с детским недружелюбием смотрел на немцев. Старик не проявлял нетерпения, слушая голоса и хохот солдат. Тщедушный рассказывал казарменные анекдоты, другой вспоминал о баварском и страсбургском пиве...

Наконец, они уплели все, что было на столе, и первый солдат ушел, вскинув на плечо ремень винтовки.

Сарапу, наклонясь к дочери, шепнул:

— Возьми Энделя и ступай в поселок к тетушке Тууле. — Он кивнул на дверь во вторую половину. — Оденешься там... Уйдешь через двор...

Немец сел у камелька и подбросил дров. Потом взгляд его уперся в молодую женщину. Марта заметила это и заторопилась. Она взяла одежду и повела Энделя к двери; мальчик оглянулся и скорчил немцу гримасу.

— Выродок... — пробормотал тщедушный сипло и, обращаясь к старику, спросил: — Куда она?

Скорее угадав, чем расслышав невнятный вопрос, старик ответил:

— Сына укладывать пошла...

Некоторое время оба молчали, но, когда во второй половине дома вдруг хлопнула дверь, немец вскочил:

— Ты врешь, коровник! Она ушла!

Старик невесело рассмеялся.

— Что вы, сударь. Я могу позвать ее. Солдат унялся.

— Ах, так... Тогда пришли ее ко мне. Она устроит мне постель... Хотя верить тебе нельзя. Сам позову...

Солдат направился к двери, но Сарапу встал у него на пути, спросив:

— Куда ты, тощий осел?

Немец удивился и как-то сразу сник, посерев. Он не мог оторвать оторопелого взора от мутных и темных стариковских глаз. Тогда Сарапу схватил его за

горло и ударил о стену головой, — пилотка солдата шлепнулась на пол, а сам он, закатив глаза, медленно сполз по стене.

— У тебя еще зелен клюв, немец, — сказал Сарапу, шумно дыша.

Он вынул из-под тюфяка несколько веревок и, связав солдата, постоял в мрачном раздумье над ним.

Немец, придя в себя, шевельнулся и попытался крикнуть — простуженный голос его сорвался и перешел в невнятный шопот.

Старик мрачно глянул в его лицо.

— Что? Хозяин плох? — осведомился он и безнадежно развел руками. — Чем богат, — и потряс зажатой в руке веревкой.

Затем он сел на скамью и начал делать две петли; немец всхлипнул.

— Молись, ублюдок, если веришь в бога, — глухо сказал Сарапу. — Молись. Чуешь?

От ужаса немец расширил глаза, они были мутные, как студень.

Сарапу сделал петли, надел шапку и, взяв из угла немецкий автомат, вышел.

Солдат, настороженно прислушиваясь, долго лежал без движения, потом вдруг зашевелился и попробовал сдвинуться с места. Но руки и ноги были крепко завязаны за спиной. Тогда им овладело бешенство: он стал дергаться и колотиться, словно в припадке. Отдохнув, он задергался вновь, но, прежде чем ноги освободились от веревки, Сарапу вернулся.

Пошатываясь и тяжело дыша, он кинул на скамью ремень с патронными сумками и положил автомат. Сарапу вздохнул и закрыл глаза. В тот же миг он увидел багрово-синее лицо Пента и поднял веки, чтобы отогнать страшный образ. Старик медленно шагнул к немцу.

Он схватил его за уши и, встряхнув, напряженно прошептал в лицо:

— Событьи́к твой вздернут, и ты будешь рядом.

Схватив конец веревки, он выволок обмякшее тело из дома, как волокут куль.

Увязая в снегу, выбиваясь из сил, Сарапу с трудом добрался до березы у разрытой могилы; он долго ловил в темноте колеблемую ветром петлю, наконец, схватив ее и подтянув немца,

крикнул ему на ухо неясные в гуле бурана слова:

— Догоняй своего...

Крякнув, он вскинул вялое тело немца и, сунув голову его в петлю, бросил... Коротко скрипнул сук...

До сих пор он все делал в каком-то холодном ожесточении, но теперь старика обюяла ярость. Забыв осторожность, покрывая голосом вой метели, Сарапу дико заорал:

— Падаль! Дохлые души!

Его ослепил вдруг луч яркого света, — Сарапу вздрогнул, у него все оборвалось внутри, — он не успел и опомниться, как несколько цепких, невидимых рук схватили его, опрокинули в снег и прижали, сбив шапку.

Теперь свет скользнул по телам и лицам повешенных, — снежные хлопья, точно пойманные, метались в свете электрического фонарика. Затем свет погас и снова вспыхнул над лицом старика.

Голос механика Тоомпу сказал:

— Ого! Ведь это папаша Сарапу казнят немцев!

Ослепленный светом, отворачивая лицо, Сарапу грубо сказал:

— Что сеется, то и жнетя...

Свет потух, старика поставили на ноги, чья-то рука стала отряхивать его спину, а Тоомпу произнес:

— Верно, Сарапу. Но кто за правое дело, тот нынче — в лесах. Иди в лес. Шагай-ка с нами сейчас. Колупнем и мызу, и в лесозавод пустим красного петушка...

Старик вздохнул:

— Сейчас... не могу. Крест надо поставить солдату. А вас я найду. Я лес знаю вдоль и поперек.

Тоомпу, в голосе которого звучала ухмылка, примирительно сказал:

— Ну да ладно. До встречи, папаша Сарапу.

Заскрипели в темноте шаги. Старик остался один. В мутном небе появился месяц, голубоватый и холодный, он на миг пронизал кипящие волны снега. Старик, вздрагивая от холода, покинул одинокое дерево.

Войдя в дом, он запер двери. Очаг потух. Почудилось, будто вдалеке, на погосте, на обветшалой каплице звякнул заиндевелый колокол... Бушевала метель в пустынных полях, заметая валуны, голую поросль, снарядные воронки и траншеи... На ветру гнулаь одинокая

береза над разрушенной могилой неизвестного русского солдата...

Перед Сарапу встал и ожил смутный облик этого человека. Старик не знал его, образ был неясен, но он привлекал сердце старика, заставляя ощущать в прахе солдата живую, нетленную человеческую правоту.

Затрепетало, потрескивая, пламя свечи, поколебались бесшумные тени в углах комнаты, словно кивая старику. Он вышел и вернулся с топором и сосновыми брусьями.

Старик пододвинул к столу скамью и начал сколачивать крест. Он замычал какую-то невнятную мелодию, потом, потеряв мотив, стал монотонно тянуть:

— Так-то во-от... Такие-то дела-а... Но мы не будем сидеть сложа руки. Этого мы не будем де-елать...

Оплавившая свеча коптила в помятой жестянке. Когда крест был сделан, старик разогнулся, снял нагар и вышел из дому, унося крест и топор.

Метель утихла, месяц то и дело вырывался из-за туч. По земле струилась поземка и, когда призрачный свет месяца разливался по окрестностям, казалось, дымятся снега. Необъятный шорох бежал над землей; к этим звукам присоединился глухой стук топора, — удары тревожили ночь и, теряясь, глохли где-то в болотах.

Когда Сарапу вколотил крест, ночь вокруг стала розоветь; за рощей, над лесозаводом, в небо взмахнули огненные лохмотья, — трепетный свет зарева раскалил низкие тучи; ветер донес издадека глухие звуки стрельбы...

Старик тихо засмеялся.

— Молодец, Тоомпу, — пробормотал Сарапу сквозь смех. — Тебя далеко слышно.

Беззвучный смех сотрясал старика; потом Сарапу умолк, нахмурился и твердым шагом ушел домой. Он открыл сундук и вынул новую шапку, варежки, колючий шерстяной шарф. Взгляд его упал на маленькую рубашку внука: Сарапу сгорбился, потом, бережно погладив ее ладошкой, отвернулся и начал одеваться.

Он повесил на плечо автомат и долго стоял у порога, вспоминая жизнь, прожитую в этих стенах, — много тягучих и трудных лет...

Обогнув строения усадьбы, он приостановился, посмотрел в сторону могилы и прошептал:

— Прощай, солдат...

Потом договорил:

— Ах, какую мы тебе могилу поставим, когда вернемся...

И, сердито тряхнув головой, Саралу

быстро пошел через багровое заснеженное пастбище.

У лесной опушки он перевел дыхание; перед ним вздымался лес, взволнованный и черный, глухо гудели сосны и чудился в этом гневный людской ропот...

Старик шагнул и сгинул тотчас в лесной тьме.



ПЕТРОГРАДСКАЯ СТОРОНА

Повесть

ВЛАДИМИР ЛИФШИЦ



1

По набережной шла дивизия Народного Ополчения. В новеньких гимнастерках и синих суконных галифе, в пилотках, надетых еще не набок, а аккуратно надвинутых на лбы, со скатками, натирающими шею, и винтовками, натирающими плечи, шли комсомольцы фабрик и заводов, шли студенты и аспиранты институтов, молодые рабочие и пожилые советские служащие, спортсмены из техникума физической культуры и очкастые белобилетники, шли юноши и девушки, шли старики, чей ровный, экономный шаг и ладно пригнанное обмундирование выдавали старых солдат.

Трубы военного оркестра ослепительно сверкали в лучах июльского солнца, сверкала вода, сверкали штыки, сверкало голубое небо, сверкал недавно политый асфальт. Командир полка на красном мотоцикле проносился от хвоста колонны к ее голове, пропускал колонну и снова обгонял полк. Оркестр гремел без передышки, и полк шагал размашисто и стройно, потому что люди засиделись в казарме и только что начали марш, а оркестр, тысячи провожающих глаз и еще непривычное, но уже обязывающее оружие подбадривали каждого.

Дивизия через Марсово поле и улицу Третьего июля вышла на Невский. Трамваи стояли, пропуская колонну. Провожающие шли рядом, не по тротуарам, а по мостовой, а то и прямо в строю, под руку с кем-нибудь из бойцов.

Мать шагала, держа Николку за руку и заглядывая ему в лицо. Николке, когда они только вышли из ворот

казармы, было стыдно, что его — бойца — мать держит за руку, но вскоре он увидел, что женщины идут и с другими бойцами, что иные из бойцов несут на руках детей, и он понял, что так и надо. Впереди было еще много времени, но матери казалось, что она не успеет сказать Николке всё, что нужно ему сказать, и наставляла его всю дорогу, торопясь, забывая слова и чувствуя, что самого главного она ему еще не сказала. А он слышал ее голос, видел беспрерывно шевелящиеся губы, но если бы спросили его, что говорит ему мать, он вряд ли сумел бы ответить. Все эти дни он жил как во сне, да и сейчас ему казалось, что и трубы оркестра, и красный мотоцикл командира полка, и толпы людей, шпалерами выстроившихся вдоль проспекта, и тяжесть винтовки, оттягивающей левое плечо, и мать, торопливо сменяющая рядом, — что все это ему снится.

Уже две недели, как шла война, и город начинал незаметно, но неуклонно менять свой облик. На первый взгляд, он был еще тем же — нарядным, светлым и чистым, но уже кое-где ослепли зеркальные стекла витрин, зашитых серыми досками, уже мешки с песком сваливали с грузовиков у подножий памятников, уже в кафе подавали чай без сахара, санитарные фургоны развозили по госпиталям первых раненых, окна квартир белели бумажными крестами, и парень в гимнастерке и каске с бесчисленных плакатов указывал пальцем на каждого: «А что ты сделал для фронта?»

Представление о фронте связывалось у Николки с гулким топотом в ногу шага-

ющих рот, с глянцеви́тым, маслянистым блеском штыков, с пепельно-серыми фонтанами земли, вырастающими то слева, то справа от идущего в атаку бойца. Он читал об этом в книгах и видел это в кино, и там эти фонтаны возникали всегда то слева, то справа, и боец, с винтовкой наперевес, перепрыгивал через воронки и траншеи. И то, что такой фонтан может возникнуть не слева или справа, а на том самом месте, где находится в эту минуту человек, казалось Николке немьслымым.

Рядом с Николкой шел боец Крутиков — монтер из Ленэнерго. Ему было под пятьдесят, и он представлял себе войну по-другому. Его память хранила кровавую неразбериху Мазурских болот, окопную тоску, похожую на зубную боль, запах карболки и прелых портянок, — и серые доски на стеклах витрин говорили Крутикову о предстоящем более убедительно, чем гортанная медь оркестра.

На Загородном был сделан привал, и бойцы, не спрашивая разрешения командиров, ринулись из строя за газированной водой. И Крутиков подумал, что их нужно еще ломать и ломать...

— Береги себя, — говорила мать Николке, — береги себя.

Николка снял пилотку, платком отер лоб, и мать увидела, что голова его наголо острижена. От этого Николка показался ей мальчиком, но мальчик был в гимнастерке, со скаткой через плечо, с противогазом, винтовкой и подсумком, и мать остро ощутила, что он принадлежит уже не ей. Кому же? К ним подошел какой-то начальник, седой человек в роговых очках. По званию он мог бы быть комиссаром дивизии, а был всего-навсего комиссаром батальона. Это никого не удивляло, — многие добровольцы, имея командирские звания, служили в дивизии рядовыми бойцами. По тому, как поспешно надел пилотку и вытянулся Николка, мать поняла, что к ним подошел начальник, и, держа Николку за руку, попросила начальника последить за Николкой, быть ему заместо отца, не позволять Николке спать на сырой земле, потому что у мальчика с детства слабые легкие... Последняя просьба была уж совсем нелепа, и Николка, покраснев от смущения, выдернул руку и сказал:

— Не взыщите: мать, товарищ комиссар...

Но комиссар не нашел в просьбе матери ничего нелепого, он внимательно, не проявляя нетерпения, выслушал про николкины легкие, пообещал матери сделать все возможное и посоветовал не расстраиваться, как обещал и советовал сегодня уже много, много раз. И мать на время успокоилась.

Провожających не пустили в ворота вокзала, распахнувшиеся перед строем. Николка увидел глаза матери, ее шевелящиеся губы и шагнул в ворота.

Дивизия грузилась в эшелон. Товарные вагоны были еще без нар, без того особого солдатского запаха, который в них поселился позже. На полу вагона лежало свежее сено, бойцы повалились на него, и Николка тоже; и на полу, среди душистого сена, он увидел крупные пшеничные зерна — в вагонах недавно перевозили зерно.

На соседнем пути грузился артиллерийский полк их дивизии. Он грузился не в вагоны, а на открытые платформы. Пушки на резиновом ходу стояли, вытянув кверху длинные тонкие стволы. Их вкатывали по четыре на каждую платформу. Суетились бойцы, распоряжались командиры, молчаливые железнодорожники молотками постукивали по колесам вагонов. Было уже за полдень, жара начинала спадать, в воздухе стоял ровный и несмолкаемый гул многих голосов.

«А Верочка так и не пришла», — с грустью подумал Николка...

Как и когда это началось?.. Недавно и в то же время очень давно. Вероятно, в тот день, когда Верочку не пустили в театр и Николка впервые прочел в ее глазах такую горькую обиду и в то же время такое наигранное равнодушие, что ему стало больно. Они должны были ехать на Моховую, в ТЮЗ, на «Приключения Тома Сойера». Ребята готовились к этой поездке за неделю, но Верочка в чем-то провинилась, и теперь тетка ее не пускала. Они с мамой были уже в пальто, а Верочка стояла в передней, прислонившись к вешалке. Он взглянул на ее лицо, молча снял пальто и сказал: «Не поеду». Верочка улыбнулась ему, и он почувствовал себя счастливым.

А может быть, позже, когда он впервые обратил внимание на правую верочкину бровь, разбитую в раннем детстве. Острый камешек словно сломал эту бровь пополам, и она, ровненько начинаясь от переносицы, вдруг недоуменно ползла вверх, придавая верочкиному лицу выражение какого-то постоянного ожидания.

Но скорее всего это случилось полгода назад, в темном и душном зале кинотеатра. Верочка была в беличьей своей жакетке, она распахнула ее и скинула с головы пуховый теткин платок. Над ними проходил столб дымчатого света, зал жарко дышал, замирал, смеялся, слепая девушка на экране, с лицом ясным и спокойным, плеснула воду в глаза Чарли Чаплину, и Николка почувствовал непреодолимое желание найти верочкину руку. И в ту же минуту верочкина рука сама нашла его, и экран поплыл перед его глазами. Он сидел, затаив дыхание, и робко ласкал теплые верочкины пальцы, один за другим, и ему, склонному везде находить смешное, не казалось это смешным. Сидеть, держа навесу верочкину руку, было неловко, но он просидел, не меняя позы, до конца сеанса и мог бы просидеть до утра.

Зажгли свет, публика зашевелилась, зашумела, а он боялся взглянуть на Верочку. Но потом взглянул и встретил такой сияющий ответный взгляд, что даже засмеялся от счастья.

Они шли домой, взявшись под руку, и говорили о чем-то совсем постороннем. Но на темной лестничной площадке разговор оборвался, Верочка прильнула к нему, и он взял ее за плечи. Их глаза привыкли к сумраку, и он увидел сломанную верочкину бровь, чуть запрокинутое, ожидающее лицо, наклонился, провел губами по этой сломанной бровке, и они поцеловались.

Ему хотелось сказать Верочке что-нибудь очень нежное, но слов не находилось. Зато Верочка говорила. Она называла его милым, вспомнила, когда впервые поняла, что любит его, и оказалось, что уже очень давно, назвала его своим мальчиком, и он прогнал возникшее от этого слова чувство какого-то неудобства.

Верочка жила через площадку, и они простояли на этой лестничной площадке до рассвета. Потом Верочка ушла. У не-

го был свой ключ от квартиры, и когда они расстались, он бесшумно открыл входную дверь, снял пальто, на цыпочках прошел через спальню родителей в свою комнату и там еще долго стоял у окна, усталый, взбудораженный и счастливый. И он не понимал, а чувствовал, что счастлив тем счастьем, которое не повторится, и от этого счастья было каким-то грустным.

Потом началась ревность. Верочка поступила в балетную студию при Доме культуры и стала реже бывать у них в семье. Она редко возвращалась домой одна. Обычно ее провожали товарищи по студии, и хотя были они, наверно, такими же простыми и славными ребятами, как Николка, ему они представлялись театральными злодеями, способными на любую пакость. Однажды Николка спросил, зачем так часто шляется к ней щенок с бачками. Верочка сказала, что это не щенок, а студент четвертого курса Костя Красовский, и не первокурснику Николке судить о его бачках. Николка выразил убеждение, что бачки в наше время может носить только пошляк, независимо от того, на каком курсе он занимается. Верочка на это возразила цитатой: «Быть можно умным человеком и думать о красе ногтей». Впрочем, они тут же и помирились, и Верочка так поцеловала Николку, что у него дух захватило. И когда он потом вспоминал об этом поцелуе, у него было чувство такой же неловкости, как и от слов «мой мальчик».

Вскоре Верочка вывихнула ногу, и ей пришлось бросить студию. Она очень горевала, а Николка, хотя и выражал ей всяческое сочувствие, в душе радовался. Верочка с вывихнутой ногой лежала по целым дням у него в комнате, она снова стала членом их семьи, мать ухаживала за Верочкой как могла и причитала над ее ногой. Через месяц Верочка была уже здорова, но о балете пришлось забыть.

Она стала брать уроки пения. Инструмента у нее не было, и она готовилась к урокам за рассыпавшимся стареньким роялем, оставшимся в николкиной комнате от прежних владельцев. Николка любил верочкин голос, но ему больше нравилось ее бездумное мурлыканье, чем это напряженное, заученное, какое-то носоглоточное пение. Она называла это «петь в маску», и Николке казалось, что звуки

идут действительно из какой-то маски, а не из верочкиного горла.

Уроки пения прекратились как-то сами собой. Верочка еще не решила, куда поступить и чем заняться, и теперь читала дни и ночи напролет. Она читала и знала гораздо больше Николки; и он внешне небрежно, а на самом деле с тайным уважением слушал ее рассуждения о пьесах Пристли и романах Хэмингуэя.

Ему вспомнилось, как совсем недавно он постучал к Верочке и та открыла ему, уже одетая, уже выходящая из дому. Они сбежали по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, выбежали на улицу, вскочили в трамвай. На Стрелке они прошли мимо каменных львов, положивших лапы на белые алебастровые шары, и один был лев как лев, а другой, у которого была повреждена пасть, довольно нагло ухмылялся. На виду у этих львов они купались в заливе, а потом сидели под полосатым тентом и пили какую-то шипучую воду, леденившую желудок. Полотняный тент надувался, как парус. Они глядели на залив, уже подернутый сиреневой дымкой, и им казалось, что они плывут и уже заплыли бог знает куда...

Прицепили паровоз, и состав тронулся. Те, что расхаживали по перрону, на ходу стали карабкаться в вагоны. Их втаскивали за руки, потому что ступенек не было. «Начинается», — подумал Николка.

Но еще не начиналось. Состав сманивировал и стал на другой путь. Прошел слух, что отправление только через час, и бойцы снова вылезли из вагонов. Они толпами бродили вдоль состава, проговариваясь, достав из вещевых мешков домашнюю снедь, были среди них и подвыпившие, и опять стоял над перроном разноголосый гул. Где-то пели «По долинам и по взгорьям», и Николке стало грустно не от слов, а от мелодии этой песни. Ему показалось, что он слышит ее впервые.

Он тоже выскочил на перрон, попросив Крутикова посмотреть за винтовкой, и стоял возле красной стенки вагона. Платформы с пушками уже ушли. Мимо вагона быстро прошагали два командира, и один что-то говорил другому про личный состав. Николка сначала решил,

что речь идет про поезд, а потом понял, что говорят о людях.

Снова появились провожающие. Они просочились откуда-то из-за вокзальных построек, и среди них Николка опять увидел мать. Она быстро шла вдоль эшелона, заглядывая в раздвинутые двери вагонов, а чуть позади шли отец и Верочка. Николка побежал им навстречу.

Отец приехал прямо с работы. Вид у него был очень деловитый, более деловитый, чем всегда. У Верочки были заплаканные глаза, но губы улыбались. Едва они подошли, как эшелон опять тронулся. Николка поцеловал мать, потом отца, потом Верочку, догнал свой вагон, и Крутиков протянул ему руку. Он выглянул из вагона и еще раз увидел всех троих. Отец глядел мать по волосам, Верочка бежала за вагоном и кричала ему что-то, чего — он не слышал, и махала ему рукой.

Эшелон все набирал и набирал ход, а Николка глядел туда, где уже никого не было видно, и чувствовал какое-то щекотанье в горле.

— Не горюй, солдат, давай-ка лучше закусим, — сказал ему Крутиков и стал развязывать вещевого мешок.

2

Николай Петрович завез жену и Верочку домой, а сам повел машину в гараж. Верочка вошла вместе с Клавдией Васильевной в комнату Николки, и здесь они сели на его узенькую кровать, обнялись и вместе поплакали. Потом Верочка ушла, пообещав заглянуть вечером, а Клавдия Васильевна принялась прибирать в николкиной комнате.

Это была маленькая десятиметровая комнатка, но сейчас она казалась ей просторной и пустынной. Клавдия Васильевна пересыпала нафталином, зашила в простыню и уложила в нижний ящик шкафа николкин костюм, потом подошла к его столу и начала было в ровную стопочку укладывать его книги и тетрадки, но передумала и оставила их лежать, как лежали. Она только стерла пыль с черной, изрезанной перочинным ножом, закапанной фиолетовыми чернилами клеенки и подмела пол. И снова, уже одна, не села, а легла на николкину кровать и

прижалась лицом к его подушке, еще хранившей запах николкиных волос.

Пришел Николай Петрович, и они долго ждали Верочку, но Верочка в этот вечер больше не заходила, и они вдвоем сели ужинать. И глаза их избегали того края стола, за которым еще утром в последний раз сидел Николка.

Рука Николая Петровича лежала на столе, сжимая потухшую трубку. Клавдия Васильевна хорошо знала и очень любила эту руку. И на всю жизнь запомнила ее первое, робкое прикосновение. Тогда рука была мальчишеской, неуверенной, горячей. Это было двадцать два года назад. Потом рука загрубела. Потом на тыльной стороне ладони появился шрам — результат автомобильной катастрофы. Николай Петрович — опытный и осторожный водитель — доверил «баранку» главному инженеру. Потом на руке четко обозначились узловатые склеротические жилки. Когда он засыпал, Клавдия Васильевна брала его сонную, вялую руку, просовывала себе под щеку и тоже засыпала, касаясь полураскрытыми губами его широкой ладони.

Сейчас разговор у них шел о чем-то пустячном, и она была за это благодарна Николаю Петровичу. Но когда ужин был кончен и Николай Петрович стал раскуривать трубку, он вдруг улыбнулся какой-то растерянной и жалкой улыбкой, — в первый и в последний раз за всю их совместную жизнь, — и сказал:

— Вот, Клава, мы с тобой опять одни.

И уже ей пришлось перевести разговор на другое, и она увидела, что руки у Николая Петровича совсем старческие.

Он стал возвращаться из гаража поздно, и она по целым дням была теперь одна. А вскоре Николай Петрович редко стал ночевать дома. Его перевели с легковой на пятитонку, и он совершал теперь длительные загородные поездки, развозя окопникам хлеб. Он уезжал то под Котлы, то под Кингисепп, и в кузове его грузовика горой лежали буханки, накрытые брезентом. К концу пути хлеб крошился, и Николай Петрович, возвращаясь в город, скандалил по этому поводу на хлебозаводе, но тары нехватало, и хлеб попрежнему грузили навалом.

Он приходил домой усталый и еще более молчаливый, чем всегда, и Клава перестала спрашивать его, как идут дела на фронте.

Писем от Николки не было.

Мать бродила по квартире, не зная, за что приняться. Смысл ее жизни заключался в заботах о Николке и муже. Теперь она была одна, а заботиться о себе она не умела. И она перестала готовить обед, питалась всухомятку и не знала, к чему приложить руки.

Ее тоже взяли на окопы под Красное Село, но в первый же день с ней случился тяжелый сердечный припадок, ее привезли домой и больше не тревожили. Она еще ходила на рынок, где продуктов становилось все меньше и меньше, сокрушалась вместе с другими хозяйками, выкупала по карточкам хлеб, и чем больше старалась не думать о Николке, тем страшнее о нем думалось.

— А я от своего писем уже и не жду, — сказала ей Григорий Сергеич, управхоз из дома напротив. — Попались наши ягнята волку в зубы.

— Что вы, что вы, Григорий Сергеич, побойтесь бога, — взмолилась Клавдия Васильевна, — письма будут. Николай Петрович сказал, что это полевая почта виновата, потому их нет.

Она впервые услышала из уст другого человека то, о чем старалась не думать, и пальцы у нее онемели.

— Много он знает, Николай Петрович. Нет, я от своего уже и не жду, — повторил управхоз упрямо и жестко.

— А я жду, — сказала она, — я жду.

Верочка, в голубых лыжных штанах, в пальтишке, накинутом на плечи, забежала к ней попрощаться. Она тоже уезжала на окопы. Клавдия Васильевна знала, что сегодня Верочка уезжает, и напекла ей на дорогу пирожков с яблочным вареньем. Верочка тут же, стоя, съела два пирожка, а остальные сунула в чемоданчик. Глаза у нее блестели, мысленно она была уже далеко. И только в дверях она вспомнила о письмах, которые могут прийти, и попросила переслать их ей по адресу, который она вышлет...

С малых лет Верочку воспитывала тетка — женщина, может быть, и добрая, но очень уж занятая, — и Клавдия Васильевна временами испытывала к девочке чувство щемящей жалости. Особенно когда Верочка была еще ребенком и по целым дням играла с Николкой в их квартире. Клавдия Васильевна смотрела на них из кухни, и ей хотелось подпереть щеку рукой и попричитывать над

сироткой. И не раз она больно трепала Николку за уши, когда он чем-нибудь обижал девочку.

Она называла ее дочкой, а Николай Петрович — Мухой. И Верочка приходила к ним, как в свой дом, целовала Клавдию Васильевну, тормозила Николая Петровича и только к Николке с некоторыми пор стала относиться сдержанно и высокомерно. Мать понимала, что скрывается за этим высокомерием, и поэтому мысли о Николке все чаще переплетались у нее с мыслями о Верочке.

Верочка закончила десятилетку в один год с Николкой. Мать устроила для них пир. Хозяевами на этом пиру были Николка и Верочка.

В дом пришли долговязые мальчики с пушком на щеках и девочки в синих беретах с красными стрелками. Мальчики говорили невероятными, срывающимися басами и очень стеснялись. Девочки щebetали, как взрослые барышни, и сразу же стайкой залетели на кухню помогать Клавдии Васильевне. Потом мальчики освоились, — некоторые из них бывали у Николки и раньше, — Жора Иванихин сел с Николаем Петровичем за шахматную доску и в мгновение ока дал ему мат. Николай Петрович только крикнул. Потом, когда пригласили к столу, все долго топталось возле стульев, никто не хотел сесть первым. Но когда, наконец, сели, когда, к великому удивлению Клавдии Васильевны, молчаливый Николай Петрович, надевший в этот вечер парадный костюм, вдруг встал и предложил тост «За нашу молодежь», в комнате стало так шумно и весело, что даже Клавдия Васильевна почувствовала себя молодой и тоже выпила рюмку наливки. Она приготовила ее сама — из водки, клюквы и сахара: наливка получилась хмельная и очень вкусная. Она боялась, чтобы ребята не перепились, и поставила на стол две полбутылки на всю компанию. Но что-то уж больно шумно за столом, что-то уж слишком покраснели лица, что-то уж очень громко и настойчиво предлагает Жора Иванихин, будущий мореход, выпить за людину и пеленгацию... Клавдия Васильевна тайком идет на кухню и заглядывает в шкафчик. Так и есть, кто-то стянул припрятанные бутылки... Она шепчет об этом Николаю Петровичу, и тот удивляется ее в этот вечер вторично:

— Не беспокойся, это я их увел из твоего шкафчика.

— Не много ли? Ведь ребяташки, да-ром что завтра студенты.

— Какие же они ребяташки? Я в их возрасте уже родителей содержал, уголь в порту грузил. Нет, пусть уж выпьют, как взрослые люди.

— Как бы чего не вышло.

— Пусть, пусть выпьют.

Она напрасно опасалась. Все обошлось как нельзя лучше. Отодвинули стол, скатали голубой коврик и начали танцы. Николка танцевать не умел. Он заводил патефон и менял пластинки. Мать сидела на диване и глядела на танцующих, блаженно улыбаясь. Она немножко захмелела, покраснелась, любила в эту минуту всех и всем желала счастья.

Попросили станцевать Верочку, и Верочка на этот раз не ломалась. Пластинка играла что-то совсем неподходящее, но Верочка и под эту неподходящую музыку станцевала умирающего лебедя так легко и трогательно, что Клавдия Васильевна прошептала: «Сиротинушка ты моя», подошла и поцеловала Верочку в губы. Они сели с Верочкой на диван, и Верочка стала жаловаться на тетку, которая даже сегодня не нашла свободного времени, чтобы притти на этот вечер. А Клавдия Васильевна гладила Верочку по спутанным, растрепавшимся волосам, улыбалась, любила ее и называла дочкой.

Потом мать оказалась в николкиной комнате. Здесь было темно и тихо, а за стеной шумели, и неживой женский голос пел про шелковый синий платочек. Это была пластинка, издали голос казался каким-то ненастоящим, жестяным. Мать вспомнила, как Николка назвал патефон «консервированной музыкой», и тихонько засмеялась, а потом заплакала. Сегодня она впервые увидела, как похож стал Николка на Николая Петровича, какой он взрослый, как он смотрел на Верочку, и она почувствовала, что круг завершен, что самое большое, самое главное, что было у нее в жизни, уже позади...

Она совсем, видать, захмелела, потому что не услышала, как вошел в комнату Николай Петрович, встал рядом и обнял ее за плечи. Они стояли, молча обнявшись, в темной николкиной комнате и глядели сквозь ветви клена на пустынную улицу, на серебряное рассвет-

ное небо, на далекий, уже искрящийся шпиль Петропавловской крепости, и она знала, что думают они об одном, и никогда еще Николай Петрович не был ей так близок, как в эти минуты.

Их стали искать, и они вышли к гостям, а гости уже пели, стараясь перекричать один другого, и разыгрывали шарады, и Жора Иванихин насмешил мать до слез, появившись в юбке и пестрой чалме, сооруженной из мохнатого полотенца.

Потом гостей провожали, и гости долго разговаривали в передней, прощались, просили заходить и обещали заходить и благодарили всех, а особенно Клавдию Васильевну. Хватились Жоры Иванихина и, к всеобщему веселью, нашли будущего морехода спящим в кладовке.

Верочка была без пальто, — ей ведь только через площадку, — и получалось так, что она вовсе не гость, а тоже провожает гостей, и никто не находил в этом ничего удивительного...

А теперь Верочка мчалась на грузовике по утренней загородной дороге вместе с другими девушками, с которыми познакомилась легко и быстро. Все они были возбуждены и мчались в неизвестное. Еще в машине они распаковали свои узелки и позавтракали на ветру, делясь друг с другом пирожками и бутербродами.

Город, с его затемненными окнами и свистками патрулей, остался позади. Дачные домики проплывали по обеим сторонам дороги, в густой летней зелени, цветные стекла веранд и островерхие башенки никак не вязались с представлением о войне, и только вереницы беженцев, идущих пешком, едущих на встречных грузовиках и телегах, напоминали Верочке о том, куда и зачем ее везут.

Им повстречалось большое стадо, бредущее по дороге к городу. Машина, не замедляя хода, врезалась в него, и коровы разбежались от машины в последнюю минуту; они скакали грузным галопом, а одна, стоя в кювете, проводила машину укоризненным взглядом, рассмешившим Верочку.

Девушек высадили на окраине какого-то села и повели в рошу, где уже стояли цыганские палатки и шалаши окопников, замаскированные свежими ветками.

Верочке понравились и эти палатки, и

костры, на которых окопники варили обед, и вся эта лесная жизнь. В первый же вечер к ней подсел парень в матросской тельняшке, они разговорились и обнаружили, что в городе у них много общих знакомых. Налетели комары, а Верочка была в летней кисейной блузке, ей не хотелось вставать и идти в палатку за кофточкой, парень сбегал и принес свой пиджак, которым накрыл верочкины плечи. Он задержал было руку на ее плечах, но Верочка сказала: «Только без глупостей», и он убрал руку, надулся и вскоре со скучающим видом оставил Верочку.

Единственное, что не нравилось Верочке, была сама работа. Она не привыкла к труду, тяжелая лопата натерла на ее ладонях кровавые мозоли, и она смотрела на них с ужасом. Она возненавидела десятника — пожилого человека в сапогах и парусиновом плаще — за то, что тот ежедневно, стоя на бровке рва, распекал ее за нерадивость и неумение.

Верочку выручила ее новая подруга — Катя Ковалева. Катя влюбилась в Верочку, как иногда влюбляются некрасивые девушки в девушек красивых, и работала за двоих, поставив Верочку на бровку рва откидывать землю. Эту работу делали даже ребятишки, приехавшие с матерями на окопы. Работа была легкой, и Верочке опять стало хорошо.

После работы она валялась в траве и глядела, как Катя разводит костер и наливает в котелок воду, и рассказывала ей о прочитанных книгах. Катя была девушкой малообразованной и очень любопытной, и ей нравилось такое разделение труда.

У Верочки были деньги, а у Кати денег не было, и Верочка бегала в село и покупала на двоих сметану и мед. В первый раз они обелись медом и оставили банку открытой в своей палатке. Им казалось, что никогда уж они и не взглянут на мед, но, проснувшись, первым делом взялись за банку. Мед кишел черными муравьями, они стали вытаскивать их щепочкой, но муравьев было так много, что пришлось вылить мед и выполоскать банку.

Прошло две недели. Противотанковый ров уже опоясал южную окраину поселка и уходил теперь далеко за рошу. Верочка загорела, и лишь белая полоска,

мелькавшая за вырезом ее сарафана, напоминала о том, какой она была в городе.

Однажды утром их разбудил гром. Они вышли из палатки, взглянули на небо и увидели, что небо чистое. Но гром прогремел еще раз, и окопники выскочили из шалашей и палаток, а на опушке рощи вырос громадный серый гриб.

— Пристрелка, — сказал кто-то.

Это было так неожиданно, что все растерялись, даже десятник. И Верочка, забыв об опасности, с удовольствием смотрела, как он бежит от палатки к палатке, нелепо размахивая руками. Но оказалось, что бежит он не зря, а выгоняет всех наружу и направляет в ров.

Люди лежали во рву молча, и только детишки перекрикивались и перебрасывались камешками, а матери на них шикали, как будто нужно было обязательно сохранять тишину. И еще дважды прогремел гром, а потом все затихло.

Пришел военный из части, стоявшей впереди, и, похлопывая по сапогу ивовым прутиком, сказал окопникам, что беспокоиться нечего, что это случайные снаряды дальнобойной немецкой артиллерии, что немцы далеко, но просил побыстрее заканчивать работы.

И еще несколько дней в роще было спокойно, и люди стали забывать о случившемся.

Но прилетел немецкий самолет и на бреющем полете прошел вдоль всего рва. Он обстрелял окопников из пулеметов, сделал вторичный заход и сбросил листовки, еще раз прошел над прижавшимися к земле людьми и снова обстрелял их, не причинив, впрочем, никакого вреда.

Верочка лежала рядом с Катей и смотрела вверх, не понимая, что над ними проходит смерть. А Катя прикрыла голову лопатой, и лицо у нее было перепуганное, измазанное землей.

Вечером они шли по полю и подняли немецкую листовку. На одной стороне листовки были напечатаны скверные стишки, начинавшиеся строчками: «Ленинградские дамочки, не копайте ваши ямочки!..» На оборотной стороне была фотография немецкого танкиста, по пояс высунувшегося из распахнутого люка. Девушки глядели на его сухоща-

вое, красивое и наглое лицо, и Катя сказала:

— Вот сволочь.

— А ведь одень его в русскую форму, и не разберешь — немец это или кто другой, — сказала Верочка.

— Нет уж, я разберу, я-то разберу, будь спокойна...

На следующее утро окопников разбудил далекий и непрерывный рокот. И шел он не с той стороны, где, по предположениям окопников, был фронт, а с противоположной, с севера, со стороны Ленинграда. Это было непонятно и потому страшно. По рву пробежал слух, что немцы обошли этот район, что ров никому не нужен, что по дороге, в двенадцати километрах от села, проскочили немецкие мотоциклисты.

Лица окопников стали какими-то глухими, замкнутыми, и тут Верочка испугалась. Ей передалось настроение не взрослых, а детей. Дети тоже почувствовали неладное, примолкли, прекратили беготню по рву и жались к матерям. Некоторые раскапризничались, хныкали, просились домой... Ждали грузовиков, но грузовики не приходили.

Люди еще продолжали работать, но сознание, что работа бесполезна, делало движения вялыми, глаза — отсутствующими. И даже десятник в этот день обошелся без замечаний.

В полдень ров стала занимать воинская часть. Бойцы переговаривались между собой о чем-то непонятном Верочке, они сразу же взялись за лопаты и стали копать ячейки на бровке рва, соединяя их со рвом узенькими ходами сообщения. Командир части приказал десятнику не ждать машин, а уводить своих людей немедленно, пока дорога свободна. И люди, до этого времени сохранившие внешнее спокойствие, вдруг засуетились, заторопились, стали поспешно собирать свой скарб и увязывать его в палатки. И потом пошли унылой, нестройной толпой.

Прежде чем выйти на дорогу, нужно было пройти вдоль рва, и окопники шли мимо бойцов, уже по грудь закопавшихся в землю. Бойцы смотрели на уходящих, а один, сбросивший гимнастерку и оставшийся в грязной нижней рубашке, облокотился на лопату и подмигнул Верочке.

— Привет Литейному проспекту! — крикнул он ей вдогонку.

— Вы там живете?

— Я там живу...

Выйдя на дорогу, она обернулась еще раз и увидела, что боец тоже смотрит ей вслед, свертывая цыгарку. Из земли была видна только его голова и плечи.

Сначала окопники шли кучно, но вскоре растянулись змейкой, а потом одни ушли далеко вперед, другие поотстали, и в числе отставших были Катя и Верочка. Собственно говоря, отставала не Катя, а Верочка, но Катя не могла бросить подругу. Она взяла у нее чемоданчик и понесла оба — свой и верочкин. И все-таки к вечеру Верочка совсем выбилась из сил и висела на катиной руке.

Они заночевали в лесу. Ночь была холодная, укрыться было нечем, и это был не сон, а одно мученье.

На заре они снова тронулись в путь. С ними шел подслеповатый бухгалтер какого-то ленинградского издательства, ночью потерявший свои очки, и женщина с двумя ребятами, изранившими босые ноги. И Катя помогала женщине нести ребят — и несла поочередно то одного, то другого.

Верочка шла, не видя перед собой дороги. Как на зло, ни одной машины не попало им на пути, и часам к десяти утра, когда солнце накалило дорогу, Верочка свернула к обочине, села, свесив ноги в канаву, и сказала, что никуда она дальше не пойдет.

— Ты с ума сошла, ведь немцы же, немцы,—молила Катя, стоя над Верочкой. Она боялась присест, потому что встать было бы ей не под силу.

— Все равно, — тупо сказала Верочка, — никуда я не пойду. Мне теперь все равно. Я спать хочу...

Бухгалтер и женщина с ребятами ушли вперед, и они остались вдвоем на пыльной, раскаленной дороге. Катя молила Верочку и кричала на нее и трясла ее за плечи, но Верочка только упрямо мотала головой, а потом легла, волосы ее окунулись в теплую дорожную пыль, и она заснула, а Катя заплакала от страха и чувства беспомощности.

— Ты меня слышишь? — кричала она на ухо Верочке. — Я сейчас в деревню схожу; может быть, лошадь раздобуду. Ты слышишь меня, горе ты мое?..

— Слышу, — сказала Верочка, не открывая глаз.

И Катя свернула на проселок и направилась в деревню.

Там никому не было до нее дела, потому что колхозники уходили от немцев в лес и сами грузились на подводы, которых нехватало. Но Катя так уцепилась за председателя колхоза, так настойчиво и жалобно его молила, так уверенно врала, что оставшаяся на дороге девушка — дочь председателя райисполкома, что тот, наконец, сдался. На него подействовал последний катин аргумент — деньги. Но подействовал совсем не так, как предполагала Катя.

— На что мне твои деньги, дура ты, дура? — возмутился председатель колхоза. — Что я — не человек, по-твоему? Что ты мне деньги суешь?

И он отрядил за Верочкой телегу, не забыв посадить на нее, кроме Кати, своего сынишку, чтобы девчонки не унази лошадь.

— Дочка, — ворчал он, принимаясь за свои дела. — Дура!.. У Тимофея Борисыча и дочки-то никогда не было...

Позабывшая про усталость, счастливая Катя так настегивала отвоеванную кобылку, что та мигом примчала телегу к шоссе. Но еще издали Катя увидела, что Верочки на дороге нет.

Соскочив с телеги, Катя бегала вдоль дороги, звала Верочку, ползала, раздвигая лопухи, в придорожных канавах. Сынишка председателя решил, что Катя — злоумышленница, что никакой Верочки нет и не было; он нахохлился, сидя в телеге, и зажал в кулачке тоненькое ореховое кнутовище. И когда прекратившая бесполезные поиски Катя устало и равнодушно сказала ему: «Поезжай домой, мальчик», он радостно вытянул кобылку кнутом и вскоре исчез из вида.

А Катя еще долго искала Верочку в соседней роще и звала ее осипшим от напряжения голосом, но та не откликнулась...

Славшую на обочине дороги Верочку разбудило конское ржание, лязг металла и человеческий голос.

— Проснись, да проснись же, ну, проснись ты,—настойчиво бубнил этот голос, и Верочка, с трудом открыв глаза, увидела склоненное над собой незнакомое усатое лицо. И дорога была

уже не пустынно, а битком набита медленно двигающимися повозками, грузовиками и пешими бойцами. Отступал обоз какой-то стрелковой дивизии. Сердобольный ездовой помог Верочке взобраться на телегу, где уже сидел дремлющий лейтенант с рукой на перевязи и с черным, измученным лицом.

Верочка улыбнулась лейтенанту, зарылась в солому и заснула. Лейтенант смотрел, как подпрыгивает верочкина голова, подвинулся поближе и положил эту голову к себе на колени. Сидеть ему было неудобно, но он сидел, боясь шевельнуться, и Верочка сквозь сон чувствовала, как чья-то рука гладит ее сломанную бровку.

Обоз пришел в город ночью и расположился возле барачков за Володарским мостом. Верочка поблагодарила ездового, а лейтенанту дала свой адрес и попросила заходить. А потом села в трамвай, где тускло мерцали синие лампы, отчего лица пассажиров казались неживыми, и в трамвае ей сразу же уступили место — такой у нее был вид.

Она прошла по безлюдному Кронверкскому, и у нее дважды проверили документы, и перед тем, как войти в дом, она взглянула на черное, уже холодное небо, в котором прожектора рисовали римские пятерки и десятки.

На входной двери висел замок, и она постучалась в дверь через площадку. Ей открыла Клавдия Васильевна, охнула и провела Верочку в комнату. Она была одна, Николай Петрович уехал дня на три.

Клавдия Васильевна затопила плиту, согрела воды и помогла Верочке вымыться с ног до головы, а потом подтерла пол и, делая все это, успела рассказать, что верочкина тетка эвакуировалась, что Николай Петрович редко ночует дома, что жизнь стала тяжелой, что спать приходится в бомбоубежище. Она накрыла на стол и поставила перед Верочкой тарелку с тоненько нарезанным хлебом, чугунок с картошкой, банку, где на доньшке еще сохранилось засохшее яблочное варенье, и блюдо с двумя пастилками, разрезанными на кусочки. И Верочка подумала, что Клавдия Васильевна стала скуповата.

Клавдия Васильевна говорила обо всем, кроме Николки, и Верочка первая спросила о нем.

— Письма-то приходили или нет еще?

— Письма не приходили, а сам приходил... Сам приходил, — повторила Клавдия Васильевна с какой-то странной интонацией, так что Верочка не поняла — рада она или не рада, что приходил Николка.

— Когда же он приходил?

— Да вчера только ушел...

— Здоров?

— Слава богу, здоров...

Верочка напилась чаю и легла в постель, которую Клавдия Васильевна постлала ей на николкиной кровати. Она с наслаждением вытянулась под пикейным одеялом, потом свернулась клубочком и снова вытянулась, вдыхая аромат свежей наволочки, стараясь каждой клеточкой гудящего, разгоряченного тела прикоснуться к прохладной простыне. Ей хотелось есть, и она вспомнила, что в чемоданчике у нее лежала банка рыбных консервов, но что чемоданчик остался у Кати, и она впервые вспомнила о Кате.

«Ну, эта выберется», — подумала Верочка, заснула и проспала до двух часов следующего дня.

3

Полк, в котором служил Николка, стоял во втором эшелоне дивизии и занимал оборону неподалеку от села, носящего совсем тургеневское название: Любино поле. Когда Николка пообщился, он узнал, что есть поблизости деревня Танина гора. В давние времена помещик окрестил эти места именами своих дочек... Было еще село Косицкое, где расположился штаб полка, и Николка дважды носил туда пакеты.

Июль был на исходе, дни стояли жаркие, безветренные, и облака висели на небе неподвижно, почти не меняя своих очертаний. Даже по ночам было душно, и отделение предпочитало спать не в блиндаже, а под открытым небом.

Бои шли далеко от этих мест; газета «На защиту Ленинграда», регулярнее других приходившая в полк, пестрела портретами добровольцев и описаниями боевых эпизодов, еще не успевшими примелькаться. Николка читал о разведчиках, проникавших в расположение противника, о подорванных немецких танках и о многом другом,

что вполне совпадало с его представлением о войне, и не подозревал, что военные корреспонденты знают о ней в эти дни ровно столько же, сколько он.

Разведчики действительно делали свое дело, и немецкий танк горел, подорванный гранатой, облитый зажигательной смесью, — но было это все не так просто и не так нарядно, как писала газета.

Николка был абсолютно уверен, что через траншею, вырытую его взводом, не перешагнет ни один немец.

Эту траншею рыли целую неделю. Она проходила по окраине ржаного поля. Было бы резоннее провести ее чуть подальше, через самое поле, по гребню бугра, откуда обзор был шире, но командир взвода пожалел губить весь урожай.

Когда траншея была открыта, командир роты ее забраковал. Дно было узковато, по нему нельзя было прокатить пулемет на станке. Еще несколько дней расширяли дно, и так его расширили, что командир батальона сказал, что это не траншея, а Невский, и приказал рыть заново, на гребне бугра.

В стороне от дороги, под откосом, где на склонах росла дикая клубника, учились стрелять. Николка очень гордился своей самозарядной винтовкой, хотя при первом же выстреле затвор полуавтомата глубоко рассадил ему большой палец на правой руке. В перерывах между стрельбами бойцы ползали по откосу, ссбирая белую клубнику, а потом снова били из винтовок и карабинов по самодельным мишеням, и пули, ricochetируя от камней, улетали в пространство то с пчелиным жужжанием, то с печальным и долгим звоном.

Инструктор, присланный из дивизии, обучал бойцов штыковому бою. Соломенные чучела качались на перекладинах, мягко принимая удары, и Николка трудился на совесть, наносил им уколы длинные и короткие, и заслужил одобрение инструктора.

В его отделении были бойцы, пришедшие из музыкального техникума и очень беспокоившиеся за свои инструменты, оставленные в городе. Был химик Шапиро. Был монтер из Ленэнерго Крутиков, чем-то напоминавший Николке отца и действительно относившийся к нему по-отцовски. Несколько ночей они вместе пролежали в сек-

рете, на опушке леса, и Николку это было не от холода, потому что ночи были теплые, и не от страха, потому что он был не труслив, а от сознания, что их тут двое, а перед ними темный, уютно шумящий лес, в котором, быть может, притаился враг, и что они ответственны за все, что может произойти на этом участке.

Ночи были уже долгими, и хотя разговаривать в секрете было запрещено Николка в первую же ночь шопотом рассказал Крутикову про свою жизнь. Он рассказал про институт, про мать про отца, про Верочку и, начиная рассказ, он думал, что найдет о чем поговорить до рассвета, а вышло так, что за полчаса все было рассказано. Крутиков очень хорошо и благожелательно умел слушать, и Николке казалось, что он разговаривает с самим собой.

Начался август, а жизнь попрежнему напоминала лагерный сбор. Но приехали окопники, рассказавшие о ленинградских делах, а потом пришло известие, что один из полков дивизии вступил в бой.

Отделение Николки дежурило в штабе батальона, и Николка раза по три в день носил теперь пакеты в Косицкое. Там, в штабе полка, командиры не отходили от телефонов, писаря с озабоченными лицами сновали из отдела в отдел, ординарец командира полка, обычно такой разговорчивый, смотрел на Николку непроницаемыми глазами.

По каким-то неуловимым признакам приближение событий чувствовали и бойцы. Не ожидая приказаний, Крутиков набил патронами подсумок и вещевой мешок, и его примеру последовало все отделение. Ночью они с Николкой снова лежали в секрете, и хотя эта ночь ничем не отличалась от первой, — так же было тихо и безветренно, так же поднимался туман по стволам деревьев, — они промолчали всю ночь, вглядываясь в темноту.

В эту ночь Николка вспоминал, как месяц назад эшелон их прибыл в Батюцкую. Он отошел от Ленинграда под вечер, ночью подолгу стоял на разъездах, а утром внезапно остановился посреди перегона.

— Воздух! — крикнул кто-то.

Бойцы, как горох, посыпались из вагонов. Задрав головы, они глядели в

небо, где чуть заметными точками проплывала девятка самолетов.

— Немцы, — определил Крутиков.

Так и осталось неизвестным — была ли команда открывать по самолетам огонь или команды не было, но раздавался чей-то гулкий выстрел, за ним второй, а потом поднялась беспорядочная и веселая винтовочная трескотня. Стреляли все. Кто стоя, кто с колена, кто лежа на спине, кто положив ствол винтовки на древесный сук, а один парень залез на дерево и самозабвенно палил из снайперской винтовки. и спустился на землю с круглым синяком под глазом, потому что стрелял из снайперки в первый раз и трубка оптического прицела стукнула его при первом же выстреле. Стрелял и Николка, заботясь только о том, чтобы как можно больше пуль выпустить в небо.

Скорее всего, команды не было, самолеты шли на недостижимой высоте. Они не изменили ни курса, ни строя и медленно проплыли по направлению к Новгороду. Стрельба поднялась стихийно, как разрядка после многодневного ожидания и напряжения. И так же внезапно прекратилась, как и началась. Бойцы сели по вагонам, и эшелон тронулся дальше.

На Батецкую прибыли в полдень. Станция была еще цела. Полк ушел, а николкин взвод остался сторожить грудой сваленные в привокзальном садике саперные лопатки.

За день через Батецкую прошло несколько составов на Ленинград. Классные вагоны перемежались теплушками, платформами, цистернами и паровозами. И везде — в вагонах, на платформах, на цистернах, на крышах вагонов — были люди. Женщины, одетые наспех, мужчины босиком, но в шляпах, дети и какие-то военные в незнакомой форме — солдаты прибалтийских армий.

У лопаток остались часовые, а взвод расположился на ночлег в сотне шагов от станции. На рассвете Николку разбудил вой моторов. Проснулись и все его товарищи. Самолет пикировал на станцию. Николка ясно увидел, как отделились от его брюха и полетели вниз бомбы: одна, вторая, третья, четвертая. Потом загрохотали разрывы, и в голубое безоблачное небо поднялся столб, похожий на фабричную трубу,

только был он не красный, а черный. Это загорелась цистерна с нефтью. Самолет снизился и обстрелял бойцов из пулеметов. Они попадали на землю, и Николка, падая, сильно рассек себе бровь о какой-то пенек.

Самолет ушел, и они побежали на станцию. Часовые стояли возле груды лопаток, с бледными лицами, и на вопросы отвечали очень громко, потому что, оглушенные, еще не слышали собственных голосов. Вокзал был разбит. Пахло гарью и разогретым металлом. На носилках пронесли кого-то, с головой накрытого простыней. Через пролом стены была видна буфетная стойка с белой вазой, уцелевшей среди этой мешанины из кирпичей, балок и досок, а возле вазы лежал высокий каблук от дамской туфли, почему-то навсегда запомнившийся Николке.

Это была уже война, но месяц лагерной жизни не то чтобы выветрился все это из его памяти, но как-то притушил воспоминания. И вот теперь, в ночь накануне событий, приближение которых чувствовал и Николка, он снова вспомнил Батецкую.

В четыре часа утра полк был поднят по боевой тревоге. В рассветных сумерках лица бойцов были смутными и серыми. Бойцы строились на росистой лужайке, переговариваясь какими-то зябкими голосами. В роще скрипели телеги, коротко и звонко ржали лошади. Там собирался в путь батальонный обоз. Он тронулся раньше всех, мимо строя прогремели телеги с батальонным имуществом и походная, уже дымящаяся кухня. Вскоре двинулся и батальон.

Гуськом, по узким мосткам, заливаемым водой, бойцы перебрались через речку и вышли на окраину Косицкого. Здесь, в ржаном поле, они заняли траншеи, открытые другим батальоном, покинувшим Косицкое. Большое село опустело. Штаб полка тоже перебрался в другое место.

Траншеи были замаскированы пыльными снопами, пыль осыпалась, щекотала шею, заставляла чихать и кашлять.

А с полудня немцы начали бомбить боевые порядки батальона. Одинокая зенитка сделала несколько выстрелов и замолчала навеки. Немцы висели над селом и над полем, сбрасывали бомбы и не улетали до тех пор, пока на смену

не приходили новые соединения самолетов. Николка вместе с Крутиковым лежал на дне траншеи и глядел в небо, где каруселью ходили немцы. Один из самолетов отрывался от кольца и почти вертикально падал вниз, звеня при этом на невероятно высокой ноте. Потом звон заглушался воем стремительно несущихся бомб и громом разрывов, а самолет уже снова набирал высоту, от кольца отрывался следующий и начинал отвесно падать на Николку. Это было похоже на лыжников, скользящих на вершине горы и друг за дружкой ныряющих вниз. Белая пыль клубилась над полем, забивала глаза и уши, противно скрипела на зубах, а немцы все колесили и колесили в небе.

Часам к пяти немцы улетели, а вечером батальон хоронил на сельском кладбище двух бойцов, убитых бомбой.

Ночь прошла спокойно. Она была уже холодной, и Николка лежал на соломе, укрывшись шинелью и впервые чувствуя, что шинель пахнет не складом, а чем-то другим: не то дымом, не то пыльной соломой, и этот новый ее запах очень ему понравился.

— Бомбили пять часов подряд, — говорил кому-то Крутиков, — бомб сбросили, наверно, тыщу, и горючего пережгли тоже видимо-невидимо, а потери ничтожные...

И Николка не мог понять, как можно называть гибель двух бойцов «ничтожными потерями», и подумал, что Крутиков — черствый человек.

Утром батальон отделился от полка и ушел в сторону от Косицкого, в лес. Это был двадцатикилометровый марш, и бойцы, еще не привыкшие к таким переходам, к концу пути шатались, как пьяные.

В лесу их ждала походная кухня, и они получили горячее в первый раз за двое суток. Был сделан длительный привал, и бойцы сидели — кто на пне, кто в траве, держа на коленях котелки с похлебкой. Вместо хлеба выдали сухари, доставленные в больших бумажных мешках. Были они твердыми, как камни, и долго не размокали в похлебке, но показались Николке куда вкуснее хлеба.

Похлебки наварено было много, повар сам набивался с добавкой, и все повеселели. Развели костры, в которых

пекли картошку, припасенную кое-кем из бойцов, и люди бродили от костра к костру, присаживались, перешучивались, угощались картошкой.

— Спасибо этому дому, пойду к другому! — провозглашал боец Василенко, покидая место у очередного костра. И Николке опять показалось, что начинается лагерная жизнь.

Вечером на лесной лужайке состоялось комсомольское собрание роты. Обсуждали поведение сержанта Марычева — командира стрелкового отделения. Когда бомба разорвалась на бруствере траншеи и были убиты два бойца из его отделения, когда рассеялась гарь и бойцы, обсыпанные землей и оглушенные не столько взрывом, сколько видом брошенных друг на друга и уже безмолвных своих товарищей, столпились над их телами, командир взвода стал звать сержанта Марычева, но того в траншее не оказалось. Он появился позже, когда немцы отбомбились и ушли. Он бросил отделение и просидел всю бомбежку в сарае на другом конце Косицкого. Теперь он стоял перед товарищами, держа руки по швам, и пальцы его дрожали.

— Как же это случилось, Марычев, что отделение ваше было в траншее, а вы в Косицком? — спросил комиссар батальона. И Марычев — девятнадцатилетний, долговязый, растерянный — заговорил каким-то ломким, не своим голосом о консервах, недоданных отделению старшиной, о том, что он пошел искать старшину и проискал его до пяти часов...

— Нам нужно бы знать правду, — сказал комиссар.

И тогда Марычев заплакал. Он плакал, держа руки по швам, и слезы текли по его грязным щекам, проложив две белых бороздки.

— Я был в траншее все время, пока не грохнула эта бомба, — говорил он, всхлиывая и глотая слезы. — И когда она грохнула, я тоже был на месте, никто меня не упрекнет... Я стоял возле Синцова, Синцова бросило на меня, и мы упали с ним вместе... Он был наверху, а я внизу и я сказал: «Давай слезай, Синцов» — а он все лежит. И тогда я стал выкарабкиваться из-под него, гляжу, а у него глаза... стеклянные... А мы только что разговаривали,

и еще сказал: «Опять пикирует, свочью!» И тут я сам не знаю... Меня никто не упрекнет... Я все время был в таншее до этой бомбы... А тут вылез пошел в Косицкое...

— Побежал в Косицкое, — поправил комиссар.

— Побежал в Косицкое... Там я очутился, хотел вернуться, а немцы бомбят дорожку... Я и присидел до вечера... Меня за это расстрелять надо...

Марычева не расстреляли. И не исключили его из комсомола. Ограничились выговором.

— Оправдайте себя, Марычев.

— Оправдаю, товарищ комиссар... Обещаю, товарищ комиссар... — говорил Марычев, попрежнему держа руки по швам и глубоко, прерывисто дыша, как дышут дети после долгого плача.

Вечером Крутиков лежал с Николкой под кустом, положив под голову скатуху, и Николка осуждал Марычева, считая, что легко он, мерзавец, отделался.

— Ну разве он солдат? Сперва сбегал, а потом стоит и плачет...

— Осуждать ты его осуждай, — сказал Крутиков, — но не спеши делать выводы. Еще ничего не известно — кто солдат, а кто не солдат. По-моему, так большинство из нас еще не солдаты. А вот Марычев, мне думается, отныне уже солдат...

— Это уж мне совсем непонятно, — сказал Николка.

— Придет время — поймешь... Ты можешь в десяти боях побывать, десять раз под бомбежкой полежать, а ты еще не солдат...

И Крутиков рассказал Николке, что в первую германскую войну он стал солдатом только на второй год, когда очутился один — в воронке, на ничейной земле, и вспахал животом все поле.

— Каждому нужно пройти через свое, — говорил Крутиков, не столько беседуя с Николкой, сколько размышляя вслух. — И как пройдет человек через это, тогда и видно — солдат он или дерьмо... Вот я поползал по голому полю, один, не зная, где свои, где чужие, понатерпелся страху, а вышло, что я солдат... Самое тяжелое — это, братец ты мой, остаться одному. И вообще, война — это не «гром победы раздавайся», — закончил он неожиданно.

Наступил вечер. Батальон притушил

костры, и только в стороне, в густом буреломе, попрежнему мерцал огонек. Там был штаб батальона, и маленький костер горел всю ночь, а над ним была натянута плащпалатка, чтобы огонь не был виден с воздуха. Сквозь кустарник пробирались бойцы с донесениями, кто-то наступил Николке на ногу и длинно выругался. Николка смотрел на огонек, мерцавший в буреломе, и видел, как возникают и пропадают у костра черные человеческие фигуры. Было очень тихо, где-то скрипел коростель, и на Николку повеяло совсем далекими воспоминаниями: когда они жили в деревне у дяди Павла, и он с приятелями гонял лошадей в ночное. Они скакали, держась за конские гривы, а потом лежали вокруг костра, пекли картошку и рассказывали друг другу страшные сказки — с лешими, водяными и ведьмами. И так же скрипел коростель, и по кустарнику бродили стреноженные кони...

4

На рассвете в штаб батальона пришел со своим ординарцем командир кадровой части, отходящей с боями. Был он высокого роста, в каске, с маузером, хлопающим его по бедру, со светлыми вьющимися усиками. Николке лицо его показалось знакомым, а потом кто-то назвал фамилию командира, и Николка вспомнил, что видел его портрет в газете еще перед войной. Это был Белов — Герой Советского Союза, получивший звание Героя после финской кампании и уже снова прославившийся с первых же дней Отечественной войны. По его приказанию командир батальона построил своих людей, и Белов обратился к ним с короткой речью.

Николка смотрел на Белова и на его ординарца, и было что-то в этих двух людях, что отличало их от бойцов и командиров добровольческого батальона. То ли в экипировке, то ли в осанке, то ли во взглядах, которыми они обменивались, понимая один другого без слов, но это «что-то» присутствовало и говорило о том, что и Белов и его ординарец уже прошли через свое, через то самое, о чем рассуждал вчера Крутиков.

— Ленинградцы, — сказал Белов, — ваш батальон отныне придан мне. Я — Белов. Вы обо мне знаете. Знают обо

мне и немцы. Они даже листовку выпустили: предлагают за мою голову сорок тысяч марок. Немцы — народ расчетливый, зря деньгами не бросаются, ясно?

Он предупредил, что утром батальон вступит в бой, и сказал, что надеется на ленинградцев. И Николка почувствовал себя, как на старте перед стометровкой: ему стало холодно и весело.

Белов побеседовал вполголоса с командирами, а потом ушел, и ординарец нес его планшетку, не сводя с Белова обожающих глаз.

Взвод залег в цепь на опушке леса. Бойцы не окопались и лежали — кто за пнем, кто в кустарнике. Слева от Николки лежал Крутиков, справа — Василенко, еще дальше — Грохман, а возле поваленной сосны Николка увидел комиссара батальона, залегшего в цепь вместе с бойцами и положившего короткий ствол карабина на поваленное дерево.

Николка взглянул на часы. Было девять утра. Трава была еще сырой, но уже начинало припекать, и, лежа на животе, он увидел прямо перед глазами, возле пня, румяный трилистник земляники. Запоздалая, опутанная паутиной земляничинка висела, как бусина, сгибая свою веточку, и он потянулся и сорвал ее прямо губами.

Опушка, на которой лежал взвод, загибалась и уходила за холм, и там, за холмом, уже слышна была редкая, хлесткая перестрелка. Из леса выскочил танк, стремительно пересекая лужайку, и танкист в кожаном шлеме, совсем как на плакате, поглядел из-под руки на холм, помахал бойцам и нырнул в люк.

День обещал быть знойным, небо было чистое, блеклое, словно выстиранное. Стояло позднее ленинградское лето.

Крутиков лежал шагах в пяти от Николки, молчаливый и очень сосредоточенный. Перестрелка из-за холма перекочевала ближе, на опушку, и винтовочные выстрелы хлопали, как пастушеские кнуты. Они перемежались теперь автоматными очередями, и одна очередь звучала тоном выше, другая — тоном ниже. И опять: тоном выше, тоном ниже...

Взвод втянулся в бой незаметно...

Когда-то в детстве Николка видел парад, и на этом параде красноармейцы кричали «ура». Оно возникало далеко, на набережной, приближалось, росло, перекатывалось от колонны к колонне и, наконец, разразилось, как буря, над тем местом, где стоял восхищенный Николка. Вот так докатился до взвода и бой. На левом фланге, словно спохватившись, заработал ручной пулемет. Бойцы открыли огонь по дальнему концу опушки, и Николка тоже начал стрелять, еще не видя перед собой цели. Обойм у него не было, и он загонял патроны по одному, и гильзы летели в траву, сверкая на солнце. Над опушкой поплыл едкий запах сгоревшего пороха.

Потом он увидел немцев. Их было человек пять или шесть. Они вышли из-за деревьев на лужайку, постояли под огнем и снова ушли в лес. Ему показалось, что немцы одеты во что-то голубое. Пока они стояли по колено в траве и совещались, он глядел на них во все глаза, позабыв, что по ним нужно стрелять.

А потом спохватился и стал палить, так что ствол винтовки раскалился. Но немцы больше не показывались.

Он потерял представление о времени. Смотрит вправо и видит, что Василенко переполз в другое место. Смотрит влево и видит Крутикова. Крутиков лежит за пнем и перезаряжает винтовку. Лицо у него отчужденное и сердитое. И вдруг он тоже глядит на Николку и подмигивает ему, и Николка понимает, что все в порядке, все идет как надо.

Они оба видят комиссара... Тот стоит во весь рост возле поваленной сосны и стреляет из своего карабина стоя, как стреляют по тетеревам... Он кричит что-то, чего Николка не слышит, а потом, взмахнув рукой, бежит через лужайку, туда, откуда только что выходили немцы. Несколько шагов он бежит один, не стреляя, а волоча карабин, как дубину, но вот через лужайку бегут уже двое, вот еще двое, а вот уже десятки людей поднимаются и бегут по высокой траве, втянув головы в плечи, пригибаясь, падая и снова вскакивая на ноги. И все они бегут, не стреляя, и кричат «ура», совсем не такое раскатистое и согласное, как на параде. Николка видит, что Крутиков привстал на одно колено, что лицо его перекоси-

лось, что он выстрелил и побежал через лужайку. Он внезапно понимает: атака, — и что-то обрывается у него внутри...

И вот он тоже бежит, видя перед собой широкую спину Крутикова. Сумка противогаза болтается и мешает бежать, скатка съехала на шею и висит, как хомут, и он кричит «ура», чувствуя, что не добежит, что сердце сейчас разорвется, что трава обивается вокруг ног и тянет его вниз. Рядом с ним возникает долговязая фигура Марычева. Марычев обгоняет его, делая длинные прыжки, и на лице его застыла не то улыбка, не то гримаса. А потом ноги у Николки заплетаются, и он валится на траву и больно ударяется губами о ствол винтовки. Он слизывает языком кровь с рассеченной губы и хочет встать, но перед глазами вертятся оранжевые колеса, воздуха нехватает, и он дышит, как рыба, выброшенная на берег. Только теперь он слышит короткое и резкое посвистывание: «уйть... уить... уить-уйть-уйть...» — и понимает, что это посвистывают пули, и прижимается к земле. Пули пролетают то в одиночку, то целыми стайками... Он отдышался, теперь он мог бы встать и догнать Крутикова, но едва он поднимает голову, как новое «уйть-уйть-уйть» заставляет его опять прижаться к земле.

«Что же это такое? — пронесется у него в голове. — Все ушли, а я лежу один... Я трус?..» «Уить!» — свистнула над ним пулька, словно подтверждая правильность его мысли... И тогда он отрывает от земли свое тело и один бежит через лужайку, а навстречу ему бегут бойцы его взвода. Он поворачивается и бежит вместе с ними обратно. Он валится за свой пенек, за тот самый, откуда встал и побежал вслед за Крутиковым, и видит, что Крутикова слева от него нет.

«Где же Крутиков?» — думает Николка, и вдруг ему кажется, что он никогда больше не увидит Крутикова. А какое-то томление возникает у него не в груди, не в сердце, а где-то в желудке, как бывает, когда смотришь с большой высоты вниз.

Но тут появляется Крутиков. Он ползет, держа в левой руке винтовку, а правой волоча за собой свою шинель. Лицо у него побагровело от напряже-

ния, на лбу вздулась вертикальная синяя жилка. Николка помогает ему подтянуть шинель, на которой лежит комиссар батальона рядом со своим карабином. Глаза у него закрыты, губы плотно стиснуты, он бледен какой-то пепельной бледностью, лицо его почти такого же цвета, как седые волосы.

Санитары хлопочут над раненым, а потом уносят его в лес, а Николка боится взглянуть на Крутикова. Он убежден, что Крутиков видел, как он лежал в траве и не мог подняться. Но Крутиков пьет из фляги воду и смотрит на Николку вполне доброжелательно. Жилка у него на лбу опала, и он монотонно ругается, но не по адресу Николки. Он ругается в пространстве, считая чистым безумием поднимать бойцов в атаку за километр от противника... Выясняется, что никто не сумел пересечь лужайку, что большинство выдохлось на полпути, что четверо бойцов убиты, а двое тяжело ранены, что Крутиков случайно наткнулся на комиссара, лежавшего посреди лужайки, и что комиссар — седьмая жертва неудачной атаки.

И снова гремит перестрелка, солнце жарит уже во-всю, и в горле у Николки пересохло. Он смотрит на часы, а потом подносит их к уху. Часы идут. На них двадцать две минуты десятого. Прошло меньше получаса с тех пор, как он губами сорвал земляничку. Это очень удивительно, но ему некогда удивляться. И гильзы летят в зеленую траву, ярко сверкая на солнце.

А перестрелка уходит в глубину леса и снова приближается, но теперь откуда-то сбоку. А сзади начинает равномерно потрескивать автомат. Тонком выше, тоном ниже. И опять: тоном выше, тоном ниже... И все это очень беспокоит Крутикова.

Николка видит, как в кустарнике сидит и раскачивается Грохман, держась за колено. Потом Грохман ползет мимо Николки в лес. А Николка продолжает стрелять и вдруг замечает, что огонь ведут только двое — он и Крутиков. Он перезаряжает винтовку и бросает взгляд в сторону Крутикова. Крутиков лежит за пнем и целится. Николка делает выстрел и снова смотрит на Крутикова.

— Латышев, бей по кустарнику! — кричит ему тот, и Николка стреляет по

кустарнику и опять оглядывается на Крутикова.

Крутиков лежит за пеньком, но не на животе, а на спине, и рука его закинута за голову, словно он загорает. И солнце над ним такое, что поза Крутикова на секунду кажется естественной, но сразу же снова появляется у Николки томление подложечкой, как в ту минуту, когда он подумал, что никогда больше не увидит Крутикова.

— Крутиков! — окликает Николка, но тот молчит.

Он подползает к Крутикову. Он снова зовет его «Крутиков, Крутиков!» Он хочет поднять ему голову, просовывает руку под его затылок, но отдергивает ее и видит, что она в крови.

И Николку охватывает ужас. Солнце жарит над ним, а ему холодно, как в погребе. Он лежит и видит крупного рыжего муравья, всползающего на ладонь Крутикова. И от этого Николке становится еще хуже. Крутиков лежит и молчит и безучастно смотрит остановившимися глазами в синее небо, Крутиков, который только что крикнул ему: «бей по кустарнику!», который вчера вечером задумчиво пускал кольца махорочного дыма и рассуждал о том, что самое страшное на войне — это остаться одному... И вот он оставил его одного, и ни до чего ему нет дела; он лежит на спине, закинув руку за голову, и будет так лежать, что бы кругом ни происходило.

Перестрелка ушла уже далеко в лес, и только одинокий автомат продолжает потрескивать за спиной у Николки: «тррррр-трр... тррррр-трр...» И он ползет от Крутикова в лес, вскакивает на ноги и бежит от куста к кусту, от дерева к дереву.

Потом он идет по лесу, озираясь по сторонам. Немецкий автомат продолжает постукивать в лесу, но он уже не за спиной, а остался в стороне. Он постукивает монотонно, как дятел. И дополняя сходство, звук идет откуда-то сверху, вероятно с верхушки дерева, куда залез пробравшийся в тыл автоматчик.

— Латышев! — окликнул его Марычев, стоявший в кустарнике у лесной дороги, и Николка обрадовался ему, как брату родному.

— Что ты бродишь, словно грибник? — спросил Марычев. — Был при-

каз отойти за дорогу. Меня тут майком поставили, направлять отставших.

Николка пересек дорогу и на дне оврага, в густом и сыром папоротнике, нашел бойцов своей роты. Они переговаривались звенящим шопотом, еще возбужденные всем недавним, уже остывающие, уже начинающие понимать, что они были в бою, что бой был неудачным, что нет смысла ползть по оврагу и искать непришедших, потому что непришедшие не придут никогда.

И только дружинница Люся Бабушкина разговаривала не шопотом, а обычным своим голосом, и даже громче обычного, требуя, чтобы ей достали воды и немедленно соорудили носилки. Она сделала перевязки легко раненым, и те сидели кружочком, бережно баюкая подвешенные на бинтах руки и вытянув перебинтованные ноги, босые, с разорванными штанинами. У этих были уже свои, особые интересы, они образовали как бы отдельное землячество.

Комиссар батальона лежал тут же, на шинели Крутикова. Он еще не приходил в сознание, гимнастерка его была растегнута, на груди топорщилась толстая повязка.

Николка повалился в траву, закрыл глаза, и перед ним поплыло в обратном порядке все происшедшее: Крутиков закинувший руку за голову, и Крутиков, кричащий «бей по кустарнику!» Грохман, раскачивающийся над простреленной коленкой, равномерное постукивание автомата.

«А ведь Крутикову пуля попала в затылок, значит его убил автоматчик, — подумал Николка. — Убил... Крутиков убил автоматчик...» — И он представил этого автоматчика, с верхушки дерева целящегося в затылок Крутикову... — «Убил Крутикова... Ах, сволочь, сволочь... А я тоже сволочь: надо бы найти его, а я ушел... от греха подальше...»

На два шеста натянули плащпалатку, положили сверху шинель Крутикова, а на нее — комиссара. И пошли по оврагу, поочередно неся носилки. Легко раненые ковыляли, опираясь на палочки, в шинелях внакидку, помогая один другому.

К вечеру набрали на штаб Белова. Штаб расположился в лесу. Белов лежал под сосной.

— Костя! — кричал Белов в телефонную трубку. — Костя, доложи обстановку!

И по тому, что Белов вел разговор, даже и не пытаясь его зашифровать и называя кого-то Костей, было ясно, что обстановка — дрянь...

Он просил держаться и обещал прислать связистов, а потом Костя перестал отвечать Белову, и тот безуспешно вызывал батальон и продувал трубку.

Николка лежал неподалеку от этого места и думал о том, что делается сейчас в батальоне, ведущем бой. Наверно то же самое, что делалось утром в их батальоне, а здесь тихо, и лишь далекие, глухие выстрелы напоминают о том, что происходит впереди. И кто этот Костя? Может быть, командир батальона? А может, рядовой телефонист, оставленный у аппарата? Белов знал их всех. И почему Костя замолчал? И отзовется ли он когда-нибудь?..

Ночью не спали. На рассвете немцы обстреляли штаб Белова из минометов. Часам к семи утра в лесу затрещали автоматы. Костя так и не отозвался. Николка слышал, как Белов, усталый, без каски, лежа на шинели, приказывал командиру батальона пробиваться на север. И они пошли лесом, оставив раненых в обозе Белова.

Они выходили из леса и посылали разведчиков в деревни, и разведчики возвращались и докладывали, что деревни заняты немцами. Командир батальона не решался атаковать, и они опять кружили по лесу, и опять высылали разведчиков, и те приносили известия о немцах, а то и вовсе не возвращались.

Лес кончился, и они пошли болотам, где на кочках краснела твердая несозревшая клюква. Они жевали эту клюкву, от которой ломило челюсти, ночевали в болоте и сосали сквозь марлю желтую болотную воду. А потом набрели на лошадь, застрелили ее, развели на болоте костер, варили конину в котелках и ели без соли и хлеба. И снова шли, и вышли к озеру Терехань.

Была заря. Вода в озере порозовела. На берегу стояла двухэтажная дача, брошенная хозяевами. Здесь провели день. И здесь командир батальона принял решение пробиваться на север мелкими группами.

Он говорил и даже думал «пробиваться», но, дробя батальон на группки в пять-шесть человек, он не «пробивался», а «пробирался», прислушиваясь ко всем советам, принимая и сразу же отменяя решения. Его оглушило несоответствие того, что он предполагал, с тем, что на него обрушилось.

Группа, в которую попал Николка, состояла из пяти человек. Несколько суток шли они лесом и болотами, только по ночам выходили на дорогу, потому что днем по дороге двигались немецкие колонны, обозы, техника. Немцы шумели, переключались, но Николка ни разу не слышал, чтобы они пели.

Бойцы руками копали в приусадебных участках мелкую картошку и варили ее на костре. Кто-нибудь огородами пробирался в деревню и стучал в ставню крайней избы, и женщины выносили хлеб, наливали в котелок молоко. Они наотрез отказывались от денег и, глядя на измученного, обросшего бойца, почти всегда говорили одно и то же:

— Ах вы, горемычные, горемычные... И мой, наверно, тоже бродит теперь где-нибудь...

Однажды в деревню зашел Николка. Строгая, неразговорчивая женщина в черном вдовьем платке дала ему огурцов, налила во флягу молока, но хлеба у нее не было. По улице шел босой кудлатый старик, и Николка сказал ему:

— Дедушка, не будет ли хлеба продать? Бойцы со вчерашнего дня не ели...

Старик прошел мимо, будто не слыша вопроса. Он вошел в избу, а потом распахнул окно и закричал визгливым бабьим голосом:

— Долго вы тут будете бродить? Вы долго нас будете под беду подводить? Чтоб ноги вашей тут не было, а то сейчас кликну старосту!..

Николка идет из деревни, не получив хлеба. «Стало-быть, есть и такое на нашей земле...», — думает он удивленно.

Лежа в канаве, на окраине одной деревни, бойцы видят, как по саду бродят немцы в противогазах. Немцы переговариваются и смеются, голоса их из-под противогазов звучат глухо, смех какой-то булькающий. Сначала непонятно: зачем на немцах противогазы. Потом Николка замечает, что руки немцев обмотаны тряпками, головы и шеи тоже. Немцы разоряют пасеку. Они выламы-

вают соты и складывают их горкой на траве, и взбудораженные пчелы жужжат не только над пасекой, но и над канавой, где лежит Николка. И немец — в противогазе, с головой, обмотанной серой тряпкой, и забинтованными руками — навсегда врезается в память.

И снова бойцы идут лесом, все чаще и чаще делая привалы, потому что силы иссякают. Они жуют матовую мясистую гоноболь, пересекают шоссе-ную дорогу, лежат в ржаном поле и, растирая между пальцами сухие колосья, ссыпают прямо в рот твердые, перезревшие зерна.

На пятые сутки они выходят к Одежу, идут по извилистому берегу, вспугивая уток, с шумом поднимающихся из камышей. Николка заглядывает в воду и не узнает себя. Из воды смотрит на него худое, бородатое лицо, потом оно начинает колыхаться и исчезает — рядом котелками взмутили воду.

Николка думает о том, что произошло, и ему кажется, что произошла страшная и непоправимая катастрофа. Он думает о том, что ему предстоит, и видит себя в большевистском подполье, получающим какие-то шифры, назначающим явки, петляющим по проходным дворам большого города.

Но однажды в лесу их отряд встречается с молодыми ленинградскими ребятами. Эти парни одеты в желтые замшевые куртки, хорошо вооружены и чувствуют себя, как дома. Они присланы сюда по специальному заданию, им предстоит остаться в тылу у немцев, и то, что Николке кажется хаосом, для них — естественные условия работы.

В лесу бойцы набредают на колхозное стадо, и старик-пастух дает им в провожатые пастушонка. Тот выводит их к насыпи железной дороги, и они идут по шпалам, еле волоча ноги. На маленьком разъезде дымит паровоз, суетятся какие-то люди. Николка видит, что это красноармейцы. На разъезде они узнают, что станция Рогавка, в десяти километрах отсюда, уже занята немцами. и что через несколько минут отходит последний состав на Ново-Лисино. Тут же, возле платформы, стоит длинный сосновый стол, и девушка в белом халате, словно в нарпитовской столовой, разносит бойцам тарел-

ки с супом, кладет хлеб, ставит жестяные кружки с чаем. Она кормит не определенную какую-нибудь часть, а бойцов, по-одному, по-двое, по-трое беспрерывно выходящих из леса. Николка ест и пьет и, как при встрече с ребятами в замшевых куртках, опять чувствует присутствие организующего начала, видит командиров и бойцов, прибывших с пополнением, и уже не помышляет больше о подполье...

В теплушке тесно и душно. Николка ложится и, перед тем как заснуть, впервые за эти последние десять дней вспоминает о своих близких. Сначала возникает образ Верочки, бегущей за вагоном и кричащей ему что-то, чего невозможно расслышать из-за стука колес. Потом он видит отца: его рука скользит по волосам матери. А потом и сама мать проплывает перед Николкой, с поднятым лицом и быстро шевелящимися губами... И Николка успевает удивиться, что он не подумал о них ни разу с того мгновения, когда, лежа за пнем, потянулся губами за земляничинкой... Почему-то ему вспоминается день объявления войны. Они с Жорой Ивановичным подошли к стадиону. На углу Большого толпился народ.

— Болельщиков сегодня больше, чем всегда, — сказал Синдбад-Мореход.

Никто не спросил у них лишнего билетика. Народ слушал речь Молотова.

— Что же будет? — спросил тогда Николка, тревожно глядя на товарища.

— Да, что же это будет? — забеспокоился Мореход. — Неужели отменят матч?

— Дурак! — сказал Николка...

— Вставай, приехали! — кричит кто-то в самое ухо и трясет его за плечо. Он продирает глаза и видит Марычева. Состав прибыл в Ново-Лисино. Здесь происходит Пересадка, они едут дальше, и он спит на полу вагона, разметав руки и ноги.

И вот они прибыли в Пушкин. Незнакомые командиры строят их и ведут в военный городок. Здесь, во дворе городка, среди красных казарменных зданий, он видит бойцов своего батальона, с которыми расстался на берегу озера Терехань. Почти все они благополучно добрались до Пушкина. Здесь и командир батальона, и Василенко, и многие другие. Бойцы лежат в казарме на на-

рах, другие бродят по двору, где-то идет перекличка, командир роты требует у взводных строевые записки

— Латышев, — говорит ему Василенко, — давай-ка до завтра смотаемся в город!

— Будут неприятности, — говорит Николка. — Задержат в городе — неприятностей не оберешься...

— Ерунда! Тут еще полная неразбериха, никто не знает: кто пришел, кто не пришел. Переночуем дома — и назад... Ведь полчаса езды...

Они выскальзывают за ворота военного городка, где еще не поставлен часовой, и идут на вокзал. И теперь уже Николка торопит приятеля, и сознание, что через час он увидит и мать, и отца, и Верочку, сразу сбивает усталость.

Они выходят с Сибирского вокзала и идут по Загородному. На углу Василенко прощается, и Николка остается один. Сняв с плеча винтовку, он влезает в трамвай и стоит на площадке. Люди одеты так же, как и в тот день, когда он покидал Ленинград, и говорят о том же, и живут, видимо, тем же, чем жили и раньше, и это кажется ему невероятным. Ему кажется, что трамвай ползет, как черепаха, и он досадует на вагоновожатую, подолгу задерживающую вагон на остановках.

Но когда он идет по своей улице, на другом конце которой уже виден разлапистый клен, он замедляет шаги. Есть какое-то острое наслаждение в том, что Верочка не знает о его приезде, и в его власти ускорить или оттянуть встречу на несколько минут.

Он видит синий киоск, возле которого человек в белых брюках и апашке пьет газированную воду. И ему, еще утром этого дня шагавшему по лесу и не знавшему, что произойдет с ним через минуту, кажется, что он никуда и не уезжал из города, что все это ему примерещилось.

5

Ночная тревога загнала жильцов дома в подвал. Здесь тускло, в полнакала светила электрическая лампочка, пахло сыростью, грубы вдоль стен были влажными, еще не убранный железный хлам дребезжал под ногами.

Люди сидели на скамьях, на чемоданах, на принесенных из дому стульях. Сюда не проникали звуки с улицы, в подвале стояла гнетущая тишина, и только дети, безмятежно спавшие на руках у женщин, посапывали и почмокивали во сне.

— Что же мне делать? Господи, что же мне делать? — сокрушалась соседка, бегающая из угла в угол. — Ни дома его нет, ни во дворе его нет... Где же мне его искать?.. Куда он запропастился, мальчик мой?.. Куда же он девался, Витенька мой?..

— Вернется ваш Витенька, ничего с ним не сделается, — утешает ее дворник. — Знаю я вашего Витеньку... Пороть его надо!

Дверь в подвал отворяется, и входит Витенька. Вернее, не входит, а стремительно съезжает на перилах. Один чулок у него спущен, и видна голая нога, тоненькая, как макаронина. Кепка сбита на ухо, пиджачок в известке и кирпичной пыли.

— Знаете, где трахнуло? — вопрошает он, победоносно оглядывая окружающих. И, боясь, что кто-нибудь из них знает, немедленно сам же и отвечает: — Трахнуло на Большом! Немец пятисотку спустил!..

— Ты где же это шляешься, мерзавец? — зловещим шопотом спрашивает женщина, только что оплакивавшая своего Витеньку. — Подойди-ка сюда!

Он понимает, что приглашение не сулит ему ничего хорошего, и не торопится.

— Подойди сюда, тебе говорят!

— Не подойду...

— погоди, придем домой. — выдеру!

— Не выдерешь...

— Совсем от рук отбились, — грустно заключает дворник...

Клавдия Васильевна сидела, держа на коленях узел с подушкой, одеялом и наспех захваченной едой: жильцы деревянного дома приходили в подвал к соседям... Она распустила старенькую свою жакетку и вязала — это помогало ей коротать время и прогоняло страх.

Она очень боялась бомбежек, боялась оказаться заживо замурованной в подвале. Она слышала о подобных случаях и старалась не думать об этом,

потому что от таких мыслей у нее делалось нехорошо с сердцем.

— Ведь говорили же коменданту, чтобы ввинтил другую лампочку. Ведь тоску на людей нагоняет таким светом,—сказала Клавдия Васильевна.

В репродукторе еще тревожно и часто стучал метроном, когда она положила на скамью свое вязанье и вышла из подвала во двор. И хотя было здесь жутко — и от темноты, и от пронзительных свистков, и от хлопанья зенитки, установленной где-то неподалеку на крыше, она все же почувствовала облегчение и остановилась у ворот, глубоко вдыхая холодный ночной воздух.

На улицах было пусто. По черному небу скользили лучи прожекторов, и казалось, что это какие-то гиганты бродят по тучам на сверкающих ходулях. Короткие трели свистков загоняли прохожих в подьезды, оглушительно хлопала зенитка, осколки ее снарядов щелкали по мостовой и по крышам; одинокие машины, притушив фары, пронеслись по Кронверкскому на предельной скорости.

Она решила сходить домой и принести в подвал яркую лампочку. Но совсем рядом сухо щелкнул о тротуар осколок, и Клавдия Васильевна прижалась к чугунным воротам. Она стояла одна, глядя в темное небо, откуда шел тонкий, чуть слышный, волнообразный звон. И она поняла, что в небе немецкие самолеты, потому что уже научилась распознавать их по этому комариному звону.

Широкий луч прожектора поднялся и отвесно упал вниз, разрезав небо, как нож разрезает краюху. Потом где-то завывала бомба, донесся тяжелый удар, далекая вспышка осветила на долю секунды верхние этажи противоположных зданий, и темнота после этого стала еще непроглядней.

Клавдия Васильевна увидела, что верхнее окно в доме напротив плохо замаскировано, крикнула дежурного, тот засвистел в свой свисток, и свет в окошке погас.

Она пришла домой, залезла на стол и вывинтила из-под абажура лампочку. Возвращаясь назад, она опять увидела свет в том же окошке и вновь собралась крикнуть дежурного, но свет по-

гас. А потом опять зажегся и опять погас. И так повторилось несколько раз.

Она рассказала об этом дежурному.

— Мигает, — сказала она. — Он не просто светит, он мигает...

Дежурил в ту ночь старик, торговавший на углу газетами, хромой, в тяжелом извозничьем тулупе. Он отнесся к ее словам недоверчиво:

— Это у вас в глазах мигает, гражданка. Тут такое делается, что у каждого в глазах замигает.

— Нет, он мигает, — упрямо повторила Клавдия Васильевна.—Слышишь? Он немцам мигает. Сбегай за патрулем!..

Она неожиданно для самой себя заговорила со стариком на ты, и тот послушно затрусил по улице. А она осталась стоять под воротами, стараясь запомнить мигавшее окошко. Оно больше не мигало, дом через дорогу был уже не виден, а только угадывался в темноте, и она подумала, что, может быть, старик был прав... Над самой ее головой по-комариному запели в небе моторы... И в эту минуту ее окликнул старик-дежурный. За его спиной стояли два бойца и еще кто-то в гражданской одежде.

— Которое окошко мигало?

— Верхнее, чердачное, третье слева от трубы...

— Николаев, во двор. А мы чердак обследуем. Только тихо, без шума.

Они ушли, и Клавдия Васильевна опять осталась одна. И пока она стояла, прислушиваясь к внезапно наступившей тишине, в репродукторе объявили отбой воздушной тревоги и несколько раз проиграла сигнал, уже милый сердцу каждого ленинградца. И сразу же из ворот и подьездов на улицу вышли люди, тротуары заполнились темными фигурами спешащих прохожих, и, словно светлячки, замерцали фосфорные кружочки на лацканах пиджаков и пальто.

А потом замигали фонарики у дома напротив, там, где скрылся патруль, и она, сгорая от любопытства, бросилась через дорогу. Когда она подбежала, гражданин в штатском послышал бойца во двор за Николаевым. Рядом с ним стоял управхоз Григорий Сергеевич, больше никого не было, и Клавдия

Васильевне стало ясно, что она со страху подняла ложную тревогу.

— Он мигал, — сказала она Григорию Сергеичу, — я руку дам на отсечение, что он мигал. Неужели не поймали?

— Поймали, — сказал гражданин в штатском, — спасибо вам, поймали.

— Где же он?

— Да вот он...

И гражданин в штатском кивком показал на Григория Сергеича.

Это было так неожиданно, что Клавдия Васильевна растерялась.

— Григорий Сергеич, — сказала она управхозу, — вы что же?.. Вы, выходит, немец?..

Григорий Сергеич скверно выругался и сказал:

— Вот какой я немец!

— Нет, ты немец, — сказала мать, — ты немец...

— Не беспокойтесь, мамаша, скоро он будет падалью! — весело сказал Николаев, пришедший со двора и осветивший Григория Сергеича электрическим фонариком. И, говоря это, он улыбался, глядя куда-то в переносицу управхозу. И то, что он говорил такое о стоящем тут же управхозе и улыбался, говоря такие страшные слова, показалось ей совершенно естественным... Григорий Сергеич молчал. «Попались наши ягнята волку в зубы», — вспомнила мать жестокие слова управхоза.

— Волк-то ты волк, да только облезлый, — раздельно сказала она управхозу.

— Вы про что, мамаша? — заинтересовался Николаев.

— Он знает — про что.

Григория Сергеича повели, а она вдогонку крикнула:

— И зубы у тебя вставные!..

И этим еще больше развеселила смешливого Николаева.

Остаток ночи она провела уже дома, лежа без сна под ватным одеялом. В кухне назойливо скреблась мышь. Капала вода из плохо закрученного крана, и стук падающих капель то совпадал со стуком маятника, то обгонял его, то отставал... Она представляла немца с винтовкой, немца в шлеме, немца в кабине самолета, за штурвалом, похожим на автомобильную «баранку», и Григория Сергеича на чердаке

затемненного дома, — и все они хотели убить ее Николку... И Жору Ивановича — он ведь тоже на фронте... И всех николкиных товарищей, — они часто бывали у нее в доме — добрые, славные мальчики, никому не желавшие зла... «За что? — думала она. — За что это их так?..»

Утром вернулся из поездки Николай Петрович. Он приехал из Гатчины, где глубокий противотанковый ров копали возле самого дворца в пожелтевшем гатчинском парке. Он поцеловал ее и пошел на кухню умываться, а она пошла вслед за ним, чтобы не расставаться ни на минуту.

— Заезжал в контору, — сказал он, намыливая руки, — послезавтра ухаживать баржа с нашими. Будут жить в Новосибирске. Собери самое необходимое, а главное — теплые вещи. И другое барахлишко, на обмен. Бог даст, увидимся...

Он говорил об ее отъезде, как о деле уже решенном. Оставалось обсудить частности.

— Никуда я, Коля, не поеду, — сказала Клавдия Васильевна, глядя, как пузырится пена на его широких ладонях. — Вместе жить, вместе и умирать...

Она сказала эти слова обычным своим тоном, в котором другой не расслышал бы того, что расслышал Николай Петрович. А он расслышал. И не стал возражать, потому что это было бы делом бесполезным. Он только сказал:

— Зачем же умирать? Умирать не за чем.

И они сели пить чай, а потом Николай Петрович стал прилаживать печную дверцу, соскочившую с петель, и весь перепачкался в золе... Он принадлежал к числу людей, которые не могут сидеть сложа руки. Он и раньше, приходя с работы, обедал, выкуривал трубку — и сразу же подыскивал себе какое-нибудь занятие. То чинил электропроводку, хотя она и не требовала починки, то возился с приемником, то вдруг приносил банку политуры и начинал полировать ореховый шкаф, и из комнаты с неделю не выветривался щекощущий ноздри запах скипидара. В кухонном столе у него был свой ящик, доверху набитый гвоздями, мотками проволоки, молотками, плоскогубцами, ку-

сачками, старыми изоляторами, перегоревшими пробками и какими-то совсем уж непонятными металлическими штуками.

К ним постучали.

— Кто бы это? — спросила Клавдия Васильевна, не решаясь подойти к двери. Она и ждала и боялась такого стука. Она уже слышала однажды, как голосила какая-то женщина возле райвоенкомата.

Николай Петрович вытер руки о тряпку и открыл дверь.

— Вам кого? — спросил он у обрешенного красноармейца, стоявшего перед ним в шинели, обмотках и тупоносых ищарапанных ботинках.

— Не узнаешь? — спросил красноармеец.

И не успел Николай Петрович ответить, как из комнаты молча метнулась мать и повисла на шее у Николки.

6

И вот он сидит на диване, в пиджаке и старых отцовских брюках, распаренный долгим мытьем, поставив босые ноги на голубой коврик. Мать тут же, в комнате, стирает в деревянном корытце его гимнастерку, и заскорузлые носки, и черную от грязи и пота рубашку. Он побрит. Самому бриться было больно, очень уж отросла борода, и отец побрил его своей бритвой. И уже многое рассказано, и уже известно, что Верочку он не увидит, потому что она на окопах, и он изо всех сил старается скрыть свое разочарование.

И хотя ему грустно от сознания, что Верочки нет, он все же счастлив. Он снова дома. Со дня его отъезда не прошло и двух месяцев, а ему кажется, что он не был здесь вечность. Ему кажется, что комнаты стали меньше, ему все мило и все он узнает как бы заново: и голубой коврик, и желтую выцветшую шерсть на круглом столе, и зеленую кленовую лапу, мерно покачивающуюся в распахнутом окошке... Сейчас пять часов дня. В городе спокойно: немцы прилетают позже... Он пьет воду из фаянсовой отцовской кружки, а отец присел с ним рядом, впервые изменив самому себе и украдкой по-

глаживая его коленку. И Николке кажется, что отец постарел, а мать сильно похудела, а может быть, это ему не кажется, а так оно и есть на самом деле.

Мать стирает, глядя не в корытце, а на сына, и на лбу у нее висит комок мыльной пены. Она слушает рассказ Николки про Батешкую, про Любино поле, про Белова, про Крутикова и ужасается тому, что произошло. Николке, и она вспоминает Крутикова — этого пожилого бойца, шагавшего рядом с сыном, ей трудно представить его убитым и жаль его, но Николка — жив, он жив, и слишком уж велика ее радость, чтобы она могла долго горевать о Крутикове.

А Николка осторожно ставит на стол отцовскую кружку. Она живет в доме с незапамятных времен. Это не кружка, а целая картинная галерея: на ней изображен город с площадями и башенками, и луг, на котором пасутся овечки, и какая-то нерусская деревня, где поселяне в коротких штанах играют на дудках и водят хоровод с пышнотелыми бабами в юбках, похожих на колокола.

Потом Николка входит в свою комнату и видит, что в ней ничего не изменилось со дня его отъезда. Он раскрывает желтую тетрадку, лежащую на столе, и читает: «Если точка вращается около оси, перпендикулярной к плоскости проекции, то проекция точки на эту плоскость перемещается по окружности, а две другие проекции — по прямым, параллельным осям координат»... Нет, он не улавливает в этом смысла, он смотрит на свои собственные записи, как на какие-то таинственные, древние письмена. При желании, он мог бы понять их смысл, но зачем и кому это нужно? И он кладет тетрадку на место.

Мать входит вслед за ним и снова расспрашивает его обо всем, что с ним было. И больше всего потрясает ее не рассказ о бомбежке под Косицким, нет, что Крутиков был убит в пяти шагах от Николки, а то, что Николка сквозь марлю пил болотную воду и спал в болоте, на промокшей насквозь шинели. Потом она для скорости утюгом сушит выстиранные николкины вещи.

Отца интересует другое. Как выглядел кудлатый старик, прогнавший Ни-

колку из деревни? Что это за ребята в замшевых куртках довстречались им в лесу? Как вооружены немцы? Почему отступает армия?..

— Наш сосед слева — Горно-стрелковая бригада дрогнула и открыла фронт, — говорит Николка отцу, повторяя слышанные от кого-то слова. Сам он не очень верит тому, что говорит... — Горно-стрелковая побежала, отсюда и началась катастрофа...

— Как ты сказал? Катастрофа?

— Ну не катастрофа, так авария.

— А по-моему, так еще рановато говорить и о катастрофе, и об аварии, — замечает отец, не очень дружелюбно глядя на Николку. — Катастрофа... Дали разок по зубам, так уже и катастрофа.

— Да чего ты привязался к слову? Ну, не то слово, согласен, — примирительно говорит Николка.

Мать зовет их обедать. Обед сегодня необычный. На стол поставлено все, что еще осталось в доме. Николка достает из вещевого мешка банку рыбных консервов, полученную по приходе в Пушкин. Настоящий довоенный обед! И мать радуется, глядя, как едят мужчины, сама забывает, что нужно есть, и ей напоминает об этом Николай Петрович.

— Мне вечером опять уезжать, — говорит Николай Петрович, — может быть, завтра на несколько минут заверну. Ты еще будешь дома? — спрашивает он у Николки.

— Не знаю, не решил еще, — отвечает Николка.. Он действительно еще не решил. А вдруг завтра придет Верочка?..

— Увольнительная у тебя до завтра или только на сегодня?

— У меня нет никакой увольнительной, я приехал так — на свой страх и риск.

Он говорит это, позвякивая ложечкой и не придавая значения ни вопросу отца, ни своему ответу. Но молчание, наступившее после его слов, заставляет его поднять голову и взглянуть на отца.

Николай Петрович отставил тарелку и смотрит на него в упор посветлевшими от гнева глазами. У него очень редко так светлеют глаза, на памяти Николки они светлели всего два или три раза, и добром это никогда не конча-

лось. И он тоже ставит стакан, не понимая, что привело отца в ярость.

— Так ты дезертир? — тихо спрашивает отец, поднимаясь из-за стола. И Николка тоже встает. И мать уже стоит на ногах, умоляюще глядя на Николая Петровича.

— Де-зер-тир? — снова спрашивает отец. И слово «дезертир» звучит, как пощечина.

— Как ты смеешь?.. Как ты смеешь меня оскорблять? — говорит Николка, и губы его начинают дрожать. — Да у нас большинство наших ребят уехало на день в город, и все без увольнительной.

— А мне наплевать на «ваших ребят». Ты бросил часть в военное время. Ты дезертир — вот ты кто!..

— Коля, — говорит мать, — Коля, не надо...

Но Николай Петрович только досадливо машет рукой, и мать умолкает на полуслове.

Николка проходит в свою комнату, сбрасывает отцовский пиджак и одевается в свое. Щеки у него горят, на глазах блестят злые слезы.

— Спасибо... обласкал... спасибо... — бормочет он, резко затягивая ремень. Он берет стоящую в углу винтовку и снова выходит к родителям. Он не смотрит на отца.

— Прощай, мама, — говорит он матери, — пойду... А то еще, чего доброго, патруль зайдет. Для вас неприятности могут выйти.

Это он пытается язвить. И Николай Петрович понимает его намеренье.

— Неприятности уже вышли, — сухо говорит он сыну. — Вырастил сыночка: из части сбежал.

Николка круто поворачивается, распахивает дверь и грохочет вниз по лестнице. Мать делает шаг вслед за ним, но Николай Петрович хватает ее за руку, и она останавливается. Она знает, что ему нельзя перечить в эту минуту. И еще она знает, что Николка не прав, а прав Николай Петрович. И все это вышло так внезапно, что она и опомниться не успела. А Николай Петрович молча шагает по комнате из угла в угол, как шагал когда-то с маленьким Николкой на руках... И мать начинает плакать, а Николай Петрович и не думает ее утешать.

Николка не идет, а почти бежит по улицам города. Он уже начинает остывать, но еще клянет отца и не желает ему ничего хорошего. Как он смел не только сказать, но подумать такое? Про него, ушедшего на фронт добровольцем, лежавшего под бомбами в Косицком, чудом уцелевшего на опушке леса, где убило Крутикова? Как бы ты выглядел на моем месте, что бы ты запел?.. А впрочем, хотя он и не признается себе в этом, он отлично представляет, как бы выглядел на его месте Николай Петрович. Он выглядел бы куда лучше... Он был бы так же сосредоточен и спокоен, как Крутиков. И, наверно, не стал бы метаться от дерева к дереву и не убежал бы от автоматчика, а пошел бы на стук его автомата и сделал бы то, чего не сделал Николка...

«А ведь я обо всем рассказал, а о том, как лежал на лужайке и не мог подняться, об этом не рассказал. И о том, как бегал по лесу, когда убило Крутикова, об этом тоже не рассказал. И никогда никому не расскажу...» И за словом «дезертир» он вдруг видит что-то другое, что-то более значительное, чем видел Николай Петрович, когда назвал его дезертиром.

«И все-таки не смел он меня оскорблять... Этого я ему никогда не прощу!..».

Он благополучно возвратился в Пушкин. Приехал из города и Василенко. В военном городке действительно не заметили их отсутствия.

— Ну, как, всех повидал? — спросил у него Василенко.

— Всех, — бодро ответил Николка.

— И Верочку?

— И Верочку...

— Порядок!

Это словечко уже обосновалось в армии.

— А я стариков не застал, эвакуировались. На двери замок. Зашел в жакт, говорят: уехали. Ну, что ж, спасибо этому дому, пойду к другому. Пошел к приятелю. Он на военном заводе работает. Завод, между прочим, раньше металлическую посуду изготовлял, а теперь автоматы. Мне приятель по дружбе раскрыл эту военную тайну. Я ему говорю: где же ваши автоматы? Что-то мы их не видим. А он говорит: автоматы вы скоро увидите, а вот вас мы уже

увидели, что-то больно вы шибко не в ту сторону наступаете. Рассказал я ему про Горно-стрелковую, выпили мы с ним за его автоматы, а вечером он ушел, он в ночной смене работает. По улицам бродить рискованно, еще на патруль нарвешься, деваться больше некуда, ну и махнул обратно. А ты что так рано вернулся?

— Встретил одного из шестой роты, он сказал, что вечером поверка будет, — соврал Николка.

Они простояли в Пушкине еще неделю. Наконец пришел со своими бойцами полковник Либединский. Это был пожилой человек с красивой седой головой, неторопливыми движениями и очень живыми глазами. Бойцы его были в замызганных гимнастерках, в потрепанных плащпалатках, в пятнистых маскахалатах, все они знали друг друга поименно и держались немного особняком. Адъютант полковника — Капитолина Зубова носилась по казарме в кубанке, с шашкой на боку, хлопотала о бане для бойцов, грозилась о чем-то доложить полковнику, распекала нерадивого старшину хорошо поставленным командирским голосом.

Николка с завистью смотрел на бойцов Либединского. В них было то самое, что заметил он когда-то в Белове и его ординарце. Это были солдаты, уже узнавшие то, чего еще не знал Николка, узнавшие, что немцы смертны, — и он, не понимавший, что отличает бойцов Либединского, но отлично чувствовавший, что их отличает что-то, жалел, что не попал в свое время в группу полковника Либединского.

А однажды ночью его подняли с нар, подняли Василенко и весь их взвод и повели из Пушкина в деревню Синда, где они заняли оборону. И он с радостью узнал, что обороной Синды, Рехолова, Александровки и еще нескольких местечек на подступах к Пушкину командует полковник Либединский.

Здесь он получил первые два письма. Одно было от матери. Другое от Верочки. Он держал конверты, не зная, который распечатать первым...

«Николка, — писала Верочка ровным кругленьким почерком, — как же нам с тобой не везет! Ведь я приехала с окопов на другой день после твоего отъезда. Как я счастлива, что ты жив и

здоров, как я соскучилась по тебе, любимый мой! Я работала на окопах и тоже хлебнула горя, но это, конечно, и в счет не идет по сравнению с тем, что пришлось вынести тебе. При встрече расскажу обо всем подробно. Тетя уехала и оставила мне письмо и денег, чтобы я тоже переезжала в Казань, но я не знаю — ехать мне или не ехать. А пока решала — ехать или не ехать, проела все деньги, так что вопрос решился сам собой. Ты не думай только, что я нуждаюсь. Я ни в чем не нуждаюсь. Твои все живы-здоровы. Николай Петрович мало бывает дома. Мама очень по тебе тоскует. Я тоже. Я по целым дням сижу дома, никого не хочу видеть. В городе стало как-то суетливо и неудобно. Ночуем с мамой почти каждую ночь внизу, ты знаешь где... Скоро ли мы увидимся? Иногда думаю, что никогда больше тебя не увижу, и сердце замирает от таких мыслей.»

«Сынок, — писала мать, пренебрегая запятыми, — ты не сердись на отца что он тебя тогда обидел. Он очень стал нервный и устает и горько ему что все так получается он ведь все видит и понимает. Он тебя любит и хочет тебе добра. И он ведь тогда прав был. Нельзя было тебе приезжать... Верочка приехала на другой день. Она очень измучилась но теперь отошла. Мы с ней вчера даже ходили в театр. Ты за нее не беспокойся пока я жива ей худо не будет. Как-нибудь проживем...»

Николка лежал на бруствере траншеи, читая и перечитывая эти письма. Осеннее, пасмурное небо висело низко и давило на землю, а земля была тоже осенней и холодила ему живот и грудь.

«Милые мои, — думал Николка, — милые вы мои...» Это он думал про них обеих. О Верочке он думал отдельно. «Сижу дома... А про театр не она написала, а мама... Про театр она умалчала, думая, что мне это будет неприятно... А ведь мне и в самом деле было бы неприятно. Это потому, что я дурак... Вруша ты, вруша...» — думал он о Верочке с такой великой нежностью, какой не испытывал еще никогда.

И он лежал на холодном глиняном холмике, глядя в ту сторону, где за темным вскопанным полем, за смутными холмами, за клубящимся вечерним маревом должен был быть Ленинград. Он

хорошо видел поле, почерневшее от недавнего дождя, с мокрой, унылой ботвой, видел далекие холмы — отроги Пулковских высот, видел сумрачное небо, густевшее над этими холмами, но Ленинграда он не видел, и ему казалось, что город очень, очень далек, может быть, в тысяче километров от этого сырого бугорка.

7

Военврач третьего ранга Галина Терентьевна Орлова стояла на углу Невского и Владимирского, возле кинотеатра «Титан», под часами, которые уже не шли, и поджидала начальника штаба. Вместе с ним она приехала в город, получила в аптекоуправлении и погрузила на полковой «пикап» ящики с медикаментами, а потом забежала домой, чтобы проститься с матерью и сыном, покидавшими Ленинград. В ее распоряжении было полчаса времени, прощание вышло каким-то суматошным, и хотя она дала себе слово, что не заплачет, она все-таки заплакала, когда мальчик прижался к ее щеке, поверив, что его увозят на дачу. Она заплакала и огорчила ребенка, почувшего, что тут что-то неладно, и сразу примолкшего и нахохлившегося.

Она проводила их до вокзала, ведя мальчика за руку вслед за тележкой, на которой дворничиха везла тюки и чемоданы. Как на зло начался дождь, а зонтика не было, и, боясь, что мальчик промокнет, она вынула из клеенчатой сумки сверток с продуктами — и пустую сумку нахлобучила ему на голову. Сумка сползла на плечи, и он шел, ничего не видя, крепко уцепившись за мать и даже не пытаясь приподнять клеёнку. Он не хныкал и не жаловался, чувствуя, что происходит что-то очень серьезное, что сейчас не до него, и то, что он безропотно шел в темноте, доверчиво держа ее за руку, надрывало ей сердце.

Она простилась с ними у вокзала и почти бегом направилась к условленному месту, и все же опоздала на десять минут и теперь стояла, не зная: заезжал за ней начальник штаба или еще заедет...

Галина Терентьевна всего несколько месяцев назад окончила мединститут и была назначена ординатором в боль-

ницу Эрисмана, но война отменила это назначение. Война сделала ее начальником медицинского пункта в гаубичном артиллерийском полку, где с первых же дней она повздорила с начальником штаба, который начал оказывать ей усиленное внимание. Начальник штаба был кадровым артиллеристом, сам называл себя «холостяком-кочевником», был любителем книг, и с литературными цитатами обращался с такой же легкостью, как с таблицами стрельбы...

— Ну не совестно ли вам, Борис Сергеевич? — прервала как-то Галина Терентьевна любовные объяснения начштаба. — Надоело. Ведь вы же не мальчик...

— Доктор Галя, — торжественно изрек начштаба, — а известно ли вам, что сказал по этому поводу великий Франс?

— Нет, не известно, — смеясь ответила доктор Галя. — Но это известно вам, а, стало быть, будет сейчас известно и мне.

— Он сказал: «Во время бури — любви!»

К концу разговора начштаба стал озорно настойчив, даже груб, и был с позором изгнан из домика, где расположился ППМ.

Целый день ходил он насупившись, при встрече с доктором Галей демонстративно отворачивался, и кончилось тем, что она первая подошла к майору.

— Борис Сергеевич, перестаньте вы на меня дуться, неужели вы не понимаете, что вы смешны?..

— Что-с?!

— Сме-шны! — и она так весело и озорно заглянула ему в глаза, что начштаба не выдержал и тоже улыбнулся ей в ответ. И, улыбнувшись, понял, что обижаться на доктора Галю нелепо, и сказал:

— Простите меня, старого дурака...

— Значит, мы снова друзья?

— Несомненно!

И с тех пор они действительно стали друзьями.

Все командиры в полку относились к доктору Гале нежно и очень бережно. Они любили заглядывать в ППМ, где всегда было уютно и чисто, где на окнах висели домашние занавесочки, приятно пахли свежeweмытые полы, где доктор Галя, в ослепительном халате и

косынке, приветливо, как доброго товарища, встречала каждого... В полку, как в семье, трудно сохранить что-нибудь в тайне, и афронт, который потерпел начштаба, долго был предметом беззлобных шуток по его адресу. Она никому не отдавала предпочтения, это ценилось всеми, и не сладко приходилось тем, кто позволял себе непочтительно отзываться о докторе.

С ней можно было говорить о чем угодно, но друзья знали, что есть три темы, которых следует избегать: нельзя объясняться доктору Гале в любви, нельзя спрашивать о ее семейном положении, нельзя просить спирту.

Ей было двадцать шесть лет, но выглядела она либо значительно моложе, либо, в минуту усталости или тоски, значительно старше своего возраста. У нее была нелегкая юность, было раннее, кратковременное и очень несчастливое замужество, и о бывшем своем муже она не любила ни говорить, ни вспоминать. Радостью в жизни доктора Гали был сын, которого она только что проводила. Душа за него была неспокойна, и она стояла под дождем, прижавшись к стене, и, взглянув на ее лицо, можно было подумать, что этой огорченной и усталой женщине по крайней мере лет сорок.

— Доктор, я здесь, — окликнул ее начштаба, подъехавший не со стороны Невского, как она почему-то ожидала, а с Владимирского. Он сам сидел за рулем «пикапа» и указал ей на место рядом с собой.

— Промокли, небось, до ниточки? Накиньте мой плащ.

— Нет, спасибо...

— Поехали?

— Поехали.

Он не стал задавать ей вопросов, понимая, что доктору Гале невесело, и только, как бы невзначай, сочувственно тронул ее руку, и они поехали.

Они мчались по городу, обгоняя попутные грузовики. Бисерный дождик моросил, не переставая, и вскоре совсем залил стекла кабины. Доктор Галя сидела, подняв воротник шинели, засунув руки в рукава, безуспешно пытаясь прогнать тяжелые мысли, навеянные разлукой с сыном. Она оценила такт своего спутника и была признательна ему за это молчаливое прикосновение и, глядя

на его седеющие волосы и прищуренные, внимательные глаза, думала, что этому одинокому человеку тоже не очень-то повезло в жизни... Она вспомнила, как преображается он в минуту опасности, как становится подобран, нетороплив, и голос у него делается чуть хриповатым... Так было в Эстонии, когда полк остался без пехотного прикрытия и они отходили подвизвионно, перекатами, и дважды начальник штаба водил артиллеристов в атаки. Она улыбнулась, вспомнив, как грустно иронизировал начштаба, отдавая очередной приказ на отход: «Ну что ж, надо опять сменять огневые позиции: слышен звон котелков издалека...» Это он имел в виду отходящие стрелковые части...

— Чему вы улыбаетесь?

— Так... Своим мыслям...

Они выехали за город и теперь катили по мокрому гудрону, и доктору Галя казалось, что дорога покрыта ровным слоем черной икры. Она сказала об этом начштаба, тот немедленно предположил, что доктор Галя проголодалась, и, притормозив машину, достал из полевой сумки бутерброд, завернутый в газету.

— Да нет, Борис Сергеевич, клянусь вам, что не хочу. Как вы сразу делаете практические выводы...

Впрочем, бутерброд она съела.

КП полка стоял за Пушкином, а огневые позиции располагались километра на три южнее. Они проскочили Египетские ворота и быстро пересекли городок, и доктор Галя только успела заметить, что он опустел и как-то помрачнел со вчерашнего дня. Промелькнули казармы с выбитыми стеклами, со стариком-сторожем, сидевшим на темном от дождя крыльце, промелькнула площадь с одиноким милиционером, не обратившим на них внимания, и они въехали в сырой, отяжелевший осенний лес.

— Со вчерашнего дня обстановка, видимо, серьезно изменилась, — сказал начштаба. — Не во-время мы с вами уехали.

— А Пушкин опустел, — сказала доктор Галя, — и стекла из домов вылетели. Пока мы с вами были в городе, он бомбил...

— Нет. Артиллерийский обстрел...

— Вы так думаете?

— Не думаю, а знаю. Поглядите на воронки.

Пушкин остался позади. Навстречу попалась вереница бойцов, бредущих не по дороге, а по канаве. Начштаба остановил машину.

— Вы куда, ребята?

— В Александровку, товарищ майор.

— А почему не по дороге?

— Садит из пулемета.

— Вот оно что...

Он снова повел машину вперед, но теперь по самой обочине дороги, и уже на первой скорости. У развилки он затормозил, вылез и скрылся в лесу. Доктор Галя осталась в кабине одна, ей очень захотелось вынуть на всякий случай пистолет, но она воздержалась, боясь, что начштаба, вернувшись, поднимет ее на смех. Лес подступал к самой дороге, он ровно и уныло шумел, дождик моросил попрежнему, и далекие артиллерийские разрывы были негромкими и какими-то отсыревшими. Было зябко и очень неуютно сидеть одной в кабине, и доктор Галя с тоской подумала о начальнике штаба. Но вот он вернулся, помрачневший и неторопливый, сел в кабину, включил мотор и тихонько повел машину дальше.

— Сменили КП — и хоть бы маяка поставили... Ищи их теперь по всему лесу, — сказал он, обращаясь не столько к спутнице, сколько к самому себе.

«Как это все неправдоподобно, — думала доктор Галя, — ведь только час назад мы были в Ленинграде, где идут трамваи, торгуют булочные, в «Титане» показывают «Чапаева»... Неужели люди не знают, как близок немец?.. Знают...»

— Борис Сергееч, ведь если КП сменилось, то, наверно, переехали поближе к Пушкину?

— Что вы, не знаете подполковника? Обстановка усложнилась, стало быть он перенес КП не поближе к Пушкину, а поближе к огневым...

Встречных больше не попадалось. Дорога была пустой, и от нее веяло каким-то холодом и отчужденностью, словно принадлежала она уже не им и хотя покорно ложилась под колеса «пикапа», но могла с той же покорностью лечь под гусеницы немецкого танка...

— Паршивая дорога! — сказала доктор Галя, и начштаба не удивился, потому что чувствовал то же самое.

Они проехали еще с километр, и он дважды уходил в лес и возвращался обратно. Было тихо, даже далекие разрывы перестали доноситься из леса. Начштаба сказал: «Пуганая ворона куста боится...» — и доктор Галя поняла, что это относится к тем бойцам, что брели по канаве в Александровку.

Лес кончился, и они выехали в поле — и к великому своему удовольствию увидели стоящий на дороге танк.

— Сейчас узнаем у танкистов обстановку, — сказал начштаба, облегченно вздохнув, и этот вздох облегчения заставил доктора Галю с интересом взглянуть на майора: значит, ему тоже было все время не по себе, если он так вздохнул.

Машина прибавила ходу, и, когда они были на расстоянии сотни шагов от танка, доктор Галя увидела, как из невысокой башни, словно солнечные зайчики, прыгнули желтые огоньки.

— Немец, — хрипло сказал начштаба и стал разворачивать машину. До ее сознания не сразу дошло сказанное... А желтые огоньки все прыгали и прыгали из танка, в кабине тоненько звякнуло стекло, машина встала, так и не развернувшись, и начштаба начал вдруг валиться на доктора Галю, а потом съехал с сиденья, придавив ей ноги. И прежде чем склониться над майором, она увидела в стекле кабины дырочку, а стекло вокруг дырочки было матовым, уже не прозрачным, и, словно лучи, расходились от нее бесчисленные трещинки...

Начштаба был убит наповал. Он лежал, придавив ноги доктору Гале. Она сидела, окаменев, под пулеметным огнем, а мотор «пикапа» продолжал приглушенно работать. И еще раз звякнуло стекло, и в нем появилась еще одна такая же дырочка, и тут доктор Галя высвободила ноги, распахнула дверцу и высочила из машины. Пуля чиркнула о гудрон почти у самых ее ног, она легла на дорогу и на четвереньках отползла к обочине, а потом вскочила и побежала прочь от танка, в ужасе от того, что случилось, но не забывая перепрыгивать через лужи, и сама на-бегу удивляясь своей рассудительности...

Два белых фонтанчика поднялись из лужи, через которую она перепрыгивала; потом, словно мокрой, упругой лозинкой, ее больно стегнуло по левой ноге, но она продолжала бежать, не догадываясь, что надо перескочить через придорожную канаву, за которой сразу же начинался лес.

— Дура! Дура! Ложись! — крикнул чей-то голос, и она резко повернула на звук этого голоса и кубарем скатилась в кювет.

Она упала прямо на какого-то бойца, падая, сильно ударила его локтем и сказала:

— Ох, простите...

— Вы что же, не слышали, как я вам орал, что ехать дальше нельзя? — спросил боец, потирая ушибленную щеку. — Ведь я же орал валь! Чего же вы прете на рожон?

Но, взглянув на доктора Галю, он вдруг замолчал, а потом спросил:

— Вы не ранены?

— Не знаю, — сказала доктор Галя и сразу же почувствовала, что нога у нее деревенеет... — Ой, кажется, я ранена...

Пули посвистывали над канавой, а они лежали в сырых лопухах, оба мокрые и грязные, выпачканные в глине, и боец взял у доктора Гали бинт, спустил ей чулок и, стоя на корточках, туго перевязал ей ногу повыше колена.

— Навылет, — сказал он, — хорошо, что не разрывная...

— А кость цела? — спросила доктор Галя слабо и очень жалобно, так жалобно, что ей самой стало противно. Она слышала свой голос как бы со стороны, поняла, что теряет сознание, и что этого нельзя...

— Какой же вы доктор, если задаете такой вопрос? С разбитой костью вы бы и двух шагов не пробежали. А шофер ваш где?

— Это не шофер, это Борис Сергеевич, — сказала доктор Галя, — он убит.

И опять у нее перехватило дыхание...

— А вы почему здесь? Почему не в Александровке? — спросила она у бойца.

— А с ним что делать?

— С кем?

— Да с ним... с Василенко.

И доктор Галя впервые увидела, что боец не один. Шагах в пяти от них ле-

жал в канаве его товарищ. Он лежал на спине, под шинелью, глаза у него были закрыты, и на бледном лице ярко выделялись коричневые веснушки.

— Что с ним?

— Плохо...

Доктор Галя подползла к раненому и откинула шинель. В институте ей приходилось видеть многое, но здесь даже она вынуждена была на секунду зажмуриться... Не видно было ни крови, ни переломанных костей, а просто ноги бойца были подогнуты под каким-то неестественным, страшным, нестерпимым углом. Галифе были спущены, и колени бойца неумело забинтованы. Его впалый мальчишеский живот поднимался и опускался при дыхании. Дышал раненый глубоко и редко, и лежал молча, видимо давно потеряв сознание.

Потом доктор Галя увидела кровь и спросила:

— Пакетов больше нету?

Бинтов не оказалось. Товарищ раненого скинул гимнастерку, снял рубашку, и эту рубашку они разодрали на полосы, и доктор Галя наложила раненому жгуты. Он открыл глаза, выругался и закрыл их снова.

— Что же мы будем делать? — спросила доктор Галя. — Его нужно немедленно оперировать.

— Я знаю. Вы думаете, я не знаю? Да ведь он не дает себя тащить!

— Потащим, — сказала доктор Галя.

Она расстелила свою шинель на дне канавы, и они вдвоем попробовали положить на нее раненого. Но он закричал таким истошным, таким дурным голосом, что пришлось оставить его в покое.

— Сволочи, сволочи, — кричал раненый, — дайте мне умереть, сволочи вы!

Вероятно, крик его услышали даже в танке, потому что снова шестаястами стайками понеслись над канавой пули, и им пришлось лечь плашмя.

— Теперь подойдет танк и раздавит нас, как лягушек, — сказала доктор Галя.

— Не подойдет! — злобно ответил здоровый боец. — Этот не подойдет...

— В самом деле, почему же он стоит?

— А вот кто его остановил, — сказал здоровый, показывая на раненого. — Могу я его бросить?

Начинало смеркаться, а они все лежали в канаве, прислушиваясь к далекой автоматной трескотне, шедшей откуда-то со стороны Александровки. Когда совсем стемнело, они снова сделали попытку перетащить раненого на шинель. На этот раз он уже не ругался и не кричал. Он сказал тихо и очень внятно:

— Погодите, ребята... Не мучайте меня... Вы разве не видите, что мне конец?..

Было темно, и они этого не видели. Они это почувствовали по его голосу.

А он снова впал в беспмятство, тяжело дышал и время от времени что-то быстро и отчетливо произносил. И хотя говорил он громко и отчетливо, они не могли разобрать ни одного слова.

Ночью раздался напряженный вой танковых моторов, и они притаились в канаве. Но танки сюда не подошли. С дороги доносился лягг и громыхание гусениц, а потом все опять стихло.

— Отбуксировали побитый ганк, — сказал здоровый боец. — А у вашего начальника было что-нибудь с собой?

— Не могу вспомнить, — ответила доктор Галя. Нога у нее теперь сильно распухла и очень ныла.

— Документы вы взяли у него?

— Нет, не сообразила...

Боец молча вылез из канавы и канул в темноту. Доктор Галя осталась наедине с раненым.

— Девушка, — сказал вдруг раненый, — уходите вы отсюда.

— погоди, голубчик, потерпи. Придут санитары с носилками, мы тебя тихонечко донесем до медсанбата. — И, говоря это, она знала, что раненый не ждет санитаров и отлично понимает, что песенка его спета... Она под села к нему поближе и, не зная чем помочь умирающему, стала гладить его по стриженной потной голове, а он благодарно молчал, а потом взял ее руку и положил к себе на лицо. «Вот она — война... Вот она — война...» — думала доктор Галя, не отнимая руки.

Дождик все не переставал, и, судя по тому, что ни одной звезды не мер-

цало в небе и мрак был непроглядным, она поняла, что конца дождю не будет.

— Больно тебе? — шопотом спросила она раненого.

— Нет, теперь не очень. Даже совсем не очень.

— Это ты подорвал танк?

— Я. Мне бы нужно бросить гранату и скатиться в кювет, а я не успел... А ты кто такая?

— Доктор.

— Как ты сюда попала?

— Ехала с начальником штаба в машине, налетели прямо на танк, он нас обстрелял.

— Что же ты будешь делать? Уходить тебе надо отсюда.

— Вот придет твой товарищ, мы что-нибудь решим. Мы тебя все-таки потащим.

— Нет, вы меня не потащите, я здесь останусь. А вы уходите. Ты смотри, Кольку в темноте не потеряй. Держитесь вместе. Он тебя в обиду не даст, он верный парень...

Они разговаривали шопотом, как давно знающие друг друга, очень близкие люди, и рука доктора Гали по-прежнему лежала на лице раненого.

Вернулся его товарищ и спрыгнул к ним в канаву.

— Вот, взял планшетку, — сказал он, — и документы взял у него.

— И у меня возьми, — сказал ему раненый.

— Зачем мне твои документы?

— Возьми, — настойчиво повторил раненый.

И Николка взял у Василенко его документы, лежавшие в клеенчатом бумажнике. И больше ни в чем не перечил раненому.

— Там еще одна противотанковая осталась, подай-ка ее сюда, — сказал Василенко, и Николка выполнил его просьбу. Впрочем, Василенко не просил, а приказывал. Голос его окреп. Он больше не терял сознания.

Когда по ночной дороге, пронзительно стрекоча, промчались мотоциклисты, Василенко сказал:

— Вылезайте из канавы!

Покидая товарища, Николка склонился над ним и спросил:

— Тебе нужно что-нибудь?

— Прощай, Коля, — сказал Васи-

ленко. — Мне нужно, чтобы ты ушел. Уходи, будь человеком...

— Что ты собираешься делать?

Василенко подложил гранату себе под голову и сказал:

— Спасибо этому дому, пойду к другому.

— Сейчас?

— Нет, подожду.

Николка лежал с доктором Галей за корявым древесным стволом. С листьев падали крупные дождевые капли, скатывались за ворот гимнастерки и ползли по спине, холодные, словно улитки.

По дороге шла теперь пехотная колонна, позвякивали котелки, сапоги шлепали по лужам, и долго нельзя было разобрать: кто это идет, свои или немцы, пока с дороги не раздался чей-то звонкий голос:

— Peter, wo steckst du denn?¹

— Mach die Schnauze zu!..² — послышалось в ответ.

Видимо, и Василенко только теперь убедился, что по дороге идут немцы, потому что, едва замолчал немец, как раздался голос Василенко:

— Эй, фрицы!.. Гитлер капут!..

И после короткой паузы, во время которой на дороге произошло какое-то замешательство и котелки забренчали громче, он крикнул, собрав все свои силы и все познания в немецком языке:

— Es lebe genosse Stalin!..³

И еще громче забренчали котелки, и загудели голоса, как гудит потревоженный улей, и из этого гула вырвались слова команды, а потом, секунду спустя, грянул взрыв, и желтое пламя на мгновение осветило и лес, и дорогу, а для Николки, на глазах у которого был совершен подвиг, оно, как молния, впервые озарило значение всего происходящего...

— Герой, — сказал Николка, и холонок восторга пробежал у него по спине, — ты видела?.. Герой...

И он открыл огонь по дороге, где немцы, уже развернувшись в боевой по-

¹ Петер, где ты там торчишь?

² Заткни глотку!..

³ Да здравствует товарищ Сталин!..

рядок, поливали свинцом и дорогу, и лес по обеим ее сторонам, и перекликались, и швыряли гранаты, не достигавшие лесной опушки. Но в лес они не пошли, они боялись его, и Николка стрелял по дороге уже не наобум, а по голосам, навстречу лентам трассирующих пуль, то висящим над дорогой, то взлетающим, подобно серпантину, в темное небо. И время от времени ему казалось, что его палкой бьют по левому уху, и он сообразил, что это доктор Галя стреляет у него над самым ухом из пистолета, и отполз чуть в сторону. А потом затвор его винтовки сухо щелкнул, но выстрела не последовало — патроны кончились. И они отползли с доктором Галей в лес, поднялись на ноги и пошли, и еще долго доносились до них приглушенные крики и выстрелы, и одинокие заблудившиеся пули, уже на излете, жужжали, словно шмели, недовольные тем, что их разбудили ночью.

Они шли напролом, по кустарнику, по корягам и кочкам, и ветки хлестали и царапали им лица. Была все такая же непроглядная темень, и, чтобы доктор Галя не потеряла его, он поднял с земли мерцавшую синим светом гнилушку и понес ее в левой руке. А потом вспомнил, что спутница его ранена, и, опять переходя с ней на «вы», сказал:

— Что же вы не скажете, что вам трудно? Я и позабыл, что у вас нога...

— Ничего...

Но он крепко взял ее под руку, и по тому, как тяжело повисла она у него на руке, понял, что идет она через силу.

Они передохнули, присев на валежину, и долго сидели молча, а когда он окликнул ее, чтобы идти дальше, она не отозвалась, потому что спала. Их шинели остались в канаве, и только теперь Николка почувствовал, как ему холодно. И он тоже задремал и, чувствуя, что коченеет, придвинулся к доктору Гале и крепко прижался к ней всем телом, а она, так и не проснувшись, тихонько всхлипнула во сне и уткнулась носом в ворот его гимнастерки.

Они спали на мокрой траве, сами промокшие насквозь, под мелким, похожим на туман дождем, а когда

Николка проснулся, посиневший от холода, он с удивлением посмотрел на незнакомую женщину в военной форме, лежавшую рядом с ним на его руке. И сразу же вспомнил все, что произошло накануне.

В лес уже начал проникать рассвет — серый и скучный, похожий на вечер. Рука у Николки онемела, он попытался осторожно высвободить ее, но женщина на что-то быстро забормotalа и прижалась еще плотнее. И хотя синие тени лежали на ее лице, было оно очень молодым, и волосы прильнули к рукаву его гимнастерки.

Потом он все-таки разбудил ее, и она села, глядя на него непонимающими глазами. Но вот и она проснулась и вскочила на ноги, но тут же со стоном опустилась на землю. Итти она не могла.

Им нечего было смущаться, и все же они смущались. И было что-то такое, что не позволило Николке говорить ей «вы», и он сказал:

— Я тебя понесу.

Он понес ее, делая частые остановки, и вскоре они вышли из леса на широкое, видимо, совхозное поле, где небуранные кочны капусты тоже как-будто посинели от холода. За полем виднелся поселок — это была Александровка, — и Николка оставил доктора Галю, а сам пошел между капустных грядок к поселку, чтобы узнать: свои там или уже немцы. Он подобрался огородами к крайнему домику и лег под высоким забором в мокрой нежгущейся крапиве.

Во дворе было тихо, и Николка уже решил было ползти дальше, как вдруг услышал скрип двери и чей-то хриплый и трудный кашель, а потом простуженный голос произнес во дворе длинную тираду, из которой Николка понял, что «опять не пришла кухня и опять рота сидит на одних сухарях!..» И этот голос показался ему райской музыкой.

— Я не ваш, — сказал он командиру чужой роты и начал рассказывать: откуда он и как сюда попал, но командир роты перервал его на полуслове:

— Будешь наш! Мне тут каждый человек дорог.

За доктором Галей отрядили двух бойцов, и они принесли ее на плащпалатке. А когда подъехала, наконец, кухня, доктора Галю усадили рядом с ездovým и отправили в тыл. И на прощанье она поцеловала Николку, они обменялись своими ленинградскими адресами, и она уехала...

Был ночной бой, в котором командир роты сказал Николке:

— Ты, Латышев, бывалый солдат. Будешь моим связным.

Несколько дней рота обороняла Александровку, занимала и оставляла поселок Рехтолово, и осатаневший от усталости командир роты кашлял так, словно хотел выхаркнуть свои легкие. Над Пулковом клубился дым, там висели немецкие самолеты, а по Александровке немцы сажали из пушек и минометов и вскоре почти до тла сожгли этот дачный поселок.

Как-то вечером Николка достал из кармана клеенчатый бумажник Василенко и разложил на коленях его содержимое. Тут были разные справки, фотографии, протертые на сгибах письма, и отдельно, в картонной обложке, комсомольский билет за номером 6683323. Он читал: «Фамилия — Василенко. Имя и отчество — Анатолий Васильевич. Год рождения — 1923. Время вступления в ВЛКСМ — июнь 1939 г. Наименование организации, выдавшей билет, — Дзержинский РК ВЛКСМ...» С фотографии смотрел на него Василенко, в пиджаке и галстукe, не стриженный, каким знал его Николка, а с заливчатским зубом.. Потом, не отдавая себе отчета: зачем он это делает, он достал и свой комсомольский билет, раскрыл его и стал сравнивать с билетом Василенко. И увидел, что он такой же: голубоватый, с двумя орденами на развороте обложки. И, сдавая начальству документы Василенко, он не сдал его комсомольского билета, а положил вместе со своим в нагрудный карман гимнастерки.

Ему не суждено было забыть ни доктора Галю, ни Василенко, ни осеннюю промозглую ночь, когда волосы доктора Гали рассыпались на его рукаве. Не в эту ли ночь он перестал быть Николкой и стал Латышевым?..

Они покинули Александровку ночью. Дома горели, как громадные фа-

келы, а на окраине поселка уже потрескивали немецкие автоматы.

Рота пришла под Колпино и заняла уже готовые траншеи возле насыпи железной дороги. Однажды утром, проходя по ходу сообщения, Латышев увидел, как на насыпь поднялся немец. Стоял он в шагах сорока — плотный, в черном дождевике, в фуражке с высокой тульей, энергично жестикулировал, и можно было принять его за железнодорожника, обследующего путь. Видимо, он давал какие-то указания тем, кто был по ту сторону насыпи, и не обращал ни малейшего внимания на траншею их роты.

— Бачишь? Немец! — шопотом сказал усагый боец, стоявший рядом.

— Бачу! — со злостью ответил Латышев. — Только не так надо бачить!

— А как?

— А вот так...

Он взял из рук оторопевшего бойца снайперку и увидел немца в линзе оптического прицела. Теперь он был виден так, словно стоял от него на расстоянии одного шага. Было видно, как шевелятся его губы, и казалось странным, что не слышно слов.

Латышев подвел перекрестье прицела к его голове, передумал и спустил пониже. Немец махнул рукой кому-то, находящемуся там, по другую сторону насыпи. Латышев задержал дыхание и медленно нажал на спусковой крючок.

После выстрела он высунулся по грудь из траншеи и увидел, как немец прижал обе руки к животу, согнулся пополам, наподобие буквы «г», а потом грузно сел на насыпь.

— Вот как нужно бачить! — сказал Латышев бойцу, возвращая ему винтовку, и пошел дальше.

Это был один из дней стабилизации фронта под Ленинградом.

8

В первых числах ноября Николай Петрович вернулся домой из очередной поездки и увидел, что квартира на замке. В составе автоколонны он мотался по Карельскому перешейку, вывозя оттуда все, что еще можно было вывезти, не был дома неделю и теперь стоял растерянный и испуганный перед закрытой дверью. Он побежал к дворнику,

и тот успокоил его, сообщив, что Клавдия Васильевна приходит домой поздно, а то и вовсе не приходит, ночуя в больнице, где работает уже пятый день.

Николай Петрович сел в машину и поехал в больницу. И по дороге он думал о том, что у Клавды все-таки занятый характер: она не сочла нужным даже посоветоваться с ним, прежде чем поступить на работу.

Она пришла к этому решению неожиданно для самой себя. Уже давно переселилась она из комнат в кухню, перетащив сюда все, что было теплого в доме. Стекла в николкиной комнате вылетели во время бомбежки, Николай Петрович сразу же забил тогда окно фанерой, но в квартире было холодно, только в кухне держалось тепло. Николай Петрович, заезжая домой, привозил каждый раз по несколько поленьев, и она топила плиту и ночью спала на ней, прикрываясь, поверх одеяла, голубым своим ковриком. Верочка ночевала то у нее, то у себя дома, и когда она ночевала у Клавдии Васильевны, они спали вместе на плите и вели долгие ночные разговоры.

— Как всё странно и как всё страшно, — говорила Верочка, прижимаясь к Клавдии Васильевне. — Неужели они возьмут Ленинград?.. Как мы тогда будем жить?

— Об этом и думать нечего — жить мы тогда не будем...

Голод уже прочно поселился у них в доме, но Клавдию Васильевну он мучил не сильно. Она больше страдала от холода — и даже в кухне не снимала ватника. А Верочку мучил голод. И без того тоненькая, она очень похудела, нос у нее заострился, и вскоре она перестала говорить и думать о чем-либо, кроме еды. Лежа на плите рядом с Клавдией Васильевной, она часами могла вспоминать о разных вкусных вещах, которые они когда-то готовили, о витринах гастрономических магазинов, о ресторане на Стрелке, где она два раза обедала вместе с Николкой. И она горько сокрушалась, что так мало тогда ела, что отказывалась от добавки, что равнодушна была к рыбе и терпеть не могла кашу. И даже разговоры о Николке она тоже как-то незаметно переводила на еду, так что Клавдия Васильевна стала побаиваться за

Верочку и настойчиво внушать ей, что надо поступать на работу, иначе она погибнет. И когда они сидели в ватниках возле плиты и прихлебывали пустой чай, и Клавдия Васильевна старалась незаметно подложить Верочке ломтик хлеба от своего пайка или подсунуть лишнюю картофелину, Верочка принимала это как должное. Ела она теперь очень быстро и хлеб держала обеими руками, как держат кусок арбуза... Она бы и вовсе переселилась сюда, но, роясь как-то в теткинском шкафу, обнаружила там мешочек пшена, варила себе кашу и ела ее прямо из кастрюли, торопясь и обжигаясь, а потом взвешивала мешочек на руке и прятала в дальний угол шкафа. А однажды она пришла повеселевшая, рассказала Клавдию Васильевну и сообщила, что поступила на службу в какую-то ведомственную столовку и что теперь они не пропадут. И с тех пор совсем редко стала к ней заглядывать.

И все же Клавдия Васильевна прогоняла дурные мысли о Верочке. Она искала ей оправдания и находила его в верочкиной молодости и избалованности, и прощала ей многое за любовь к Николке. «Она не виновата, — думала Клавдия Васильевна, — виноват полод... Она же была сердечной, отзывчивой девушкой... Правда, никогда она не знала — почем фунт лиха...» И Клавдия Васильевна жалела Верочку и старалась не обижаться на нее, и при встречах на лестничной площадке всегда заботливо расспрашивала, как ей живется и работает.

А в одну из бессонных ночей она вдруг решила, что завтра пойдет устраиваться на работу. У нее было ощущение неловкости от того, что где-то и днем и ночью носится по осенним дорогам Николай Петрович, где-то мокнет в сыром окопе Николка, а она сидит в тепле, подбрасывая в огонь щепочки... И еще было острое чувство заброшенности и одиночества, и желание быть с людьми в эту трудную пору.

Ее охотно приняли в больницу, где, в приемном покое, она встречала прибывающих раненых, раздевала их, помогала доковылять до душевой и там, вооружившись мочалкой и мылом, смывала с худых, покалеченных тел многомесячную грязь.

Это была полубольница-полугоспиталь. Здесь еще лежали и продолжали поступать больные, но в отдельном флигеле принимали раненых, и, одетые в такие же, как у больных, байковые халаты, эти сидящие на койках бойцы ничем не отличались от больных ленинградцев.

От Николки приходили письма, и по некоторым намекам она поняла, что его часть стоит за Колпином. И когда в больницу заехал Николай Петрович, она показала ему николкины письма, которые он просмотрел бегло и без видимого интереса. Она отлично знала, что именно так он и будет их читать, но обмануть ее было трудно, особенно Николаю Петровичу... В конце каждого письма была просьба передать привет отцу, и это тоже ему не совсем безразлично. Он любил сына, но любил по-своему, очень требовательной любовью. Редко его ласкал. С трехлетним разговаривал, как со взрослым. Но она никогда не забудет, как заболел однажды Николка, как врач велел почаще держать ребенка на руках и как Николай Петрович, возвращаясь под вечер с работы, наспех проглатывал обед, снимал пиджак, брал задыхающегося Николку на руки и начинал ходить с ним по комнате из угла в угол. Она просыпалась под утро и видела высокую смутную фигуру, маячившую по комнате с ребенком на руках. Николка дышал тихо и ровно, и мать исполнялась такой нежностью к ним обоим — к большому и маленькому, — что ей хотелось заплакать.

— Написал бы ты ему, — попросила мать. — Ведь не чужие. И если он сделал что не так, то ведь молод, по глупости...

И Николай Петрович вынул засаленный блокнот и записал номер николкиной полевой почты.

— Трудно тебе, Клава, — сказал он. — Может, переправить тебя все-таки отсюда?

— Не будем об этом говорить.

— Ну не будем, так не будем. Я тебе капусты привез. Огороды на перешейке не убраны, пропадает добро... А что с Мухой? Не застал я ее дома.

— Слабая она... Вот за кого мне страшно...

Клавдию Васильевну кликнули, и, целуя мужа, она заглянула ему в глаза и увидела, что они запали и покрылись красными сеточками. И еще она увидела грязный ворот его рубашки: и то, что ворот рубашки грязен и что стал он просторен, заставило ее на минуту забыть обо всем, кроме своей вины перед мужем, о котором некому позаботиться. И она сняла с плеч платок и, не слушая возражений, заставила Николая Петровича надеть его под пиджак и сама заправила концы платка за ворот его рубашки.

Николай Петрович уехал, а она пошла в приемный покой. На носилках вносили раненых, и они лежали молча, накрытые одеялами и шинелями. Она догадалась по их молчаливости, что это тяжелые. И снова поймала себя на том, что вошло у нее уже в привычку: оглядела сразу всех и убедилась, что Николки среди них нет...

Тяжело раненые молчали, а сидящие покачивались из стороны в сторону, поскрипывали зубами и потихоньку стонали. Эти могли подождать...

Потом она помогала им раздеться, стаскивала с них пропотевшие гимнастерки и каменные сапоги и всех называла роденькими. Она работала под руководством старой и опытной больничной няньки — тети Поли, которая не называла раненых роденькими и обращалась с ними, на первый взгляд, грубовато. Один из раненых, снимая гимнастерку, застрял в ней, и тетя Поля спросила:

— Ну что? Запутался?

— Запутался, — и из-под гимнастерки послышался стон.

— А небось когда с женой ложился в первый раз, так не запутался?

И эта шуточка, отпущенная большой толстой старухой, была так неожиданна, что раненый перестал стаскивать гимнастерку, засмеялся, и засмеялись все, находившиеся в приемном покое, и было видно, что не смеялись они уже давно.

Клавдия Васильевна провожала легко раненых в душевую и там, аккуратно прикрыв их повязки клеенкой, по очереди ставила под душ. Она намыливала им спины, а они стонали и покряхтывали, но уже не от боли, а от удовольствия, и выходили из-под душа с блаженными

улыбками, словно заново родившиеся, надевали чистые больничные рубахи и халаты и поступали в распоряжение сестры, разводившей раненых по койкам.

Сегодня в душевой было жарче обычного. Халат у нее сразу промок, волосы выбились из-под косынки, тело, несмотря на жару, покрылось зябкой испариной. Она сильно, широкими движениями натирала раненому здоровую руку, как вдруг в глазах у нее стало темнеть, и ей показалось, что лампочка, висящая под потолком, совсем скрылась в клубах пара. Она покачнулась и, ухватившись за руку раненого, грузно села на пол.

Ее вынесли из душевой и положили на скамью. Тетя Поля бранилась и отпаивала ее валерьянкой. Она лежала на спине, тяжело переводя дыхание, и слова тети Поли доходили до нее, как сквозь вату.

Ее перевели в проходную, где она выписывала пропуска и дежурила по ночам. Теперь у нее было много свободного времени, и она подолгу сидела у ворот больницы, одетая в тулуп и тяжелые казенные валенки. Была уже глубокая осень, мокрый снег падал крупными редкими хлопьями и таял, едва коснувшись мостовой. По улице, подняв воротнички, шли прохожие, и не было ни одного, который шел бы не торопясь, без какой-нибудь определенной цели. Их лица приобрели серый оттенок, стали замкнутыми, неприветливыми...

Напротив больницы была булочная, и еще с вечера начинала выстраиваться очередь за хлебом, а к утру уже сотни людей стояли вдоль стены на той стороне улицы, и хвоста очереди было не видно, потому что она заворачивала в переулочек... Очередь стояла спокойно и безмолвно. И Клавдия Васильевна вспоминала, как до войны, когда она на рассвете выходила из дому, к булочной подъезжала крытая трехтонка, продавщицы в белых халатах носили ящики с хлебом, батонами, слойками, и по улице плыл такой сытный, такой благополучный, домашний запах. А теперь к булочной подъезжал не фургон, а тележка. Ее толкали женщины в ватниках, и они же вносили в булочную ящики с хлебом. Ребятишки окружали тележку плотным кольцом и взглядами провожали каждый ящик, а очередь начинала тихо гу-

деть, и люди плотней прижимались один к другому.

После дежурства она иногда оставалась ночевать в больнице, а иногда уходила домой, чтобы дом совсем не запустел. На лестничной площадке она сначала смотрела, при свете спички, на верочкину дверь, но там висел замок, и она шла к себе на кухню, где сразу же принималась топить плиту. В комнаты она зашла только раз. Николкино окно было забито фанерой, но не плотно, и она увидела, что его стол, книги и тетрадки покрыты снегом. Она подумала о Николке, и он представился ей, тоже покрытый снегом, с посиневшими от холода пальцами. Ей стало так жутко, что больше она туда не заходила.

Однажды она встретила на лестнице Верочку. Клавдия Васильевна медленно поднималась по ступеням, а Верочка быстро сбегала вниз. Они на минуту остановились, и Клавдия Васильевна увидела, что верочкино лицо немножко округлилось, и очень за нее порадовалась, а Верочка рассказала, что получает письма от Николки, что Николка обещает в скором времени заехать домой, что сама она работает официанткой в столовой и что в этой же столовой работают официантками еще две девушки: одна — архитектор и другая — студентка политехнического института, хорошо знающая Николку... И Клавдия Васильевна поняла, что Верочка всем рассказывает об этих двух официантках, о студентке и архитекторе, чтобы, не дай бог, не подумали, что Верочка занимается низким трудом.

Рассказывая о своей работе в столовке, Верочка говорила правду и в то же время лгала. Она действительно работала в столовке, но не в той, куда поступила сначала. Оттуда ее уволили на седьмой день, когда она неудачно попыталась вынести после работы кулёчек риса. Верочка плакала и оправдывалась тем, что дома у нее больная мать и голодный братишка, и раскаивалась так искренне, что заведующая только уволила ее и выдала ей документы.

Когда она шла домой, началась тревога. Неподалеку ударила бомба. Пеленой сизого удушливого дыма покрылась вся улица, в этом дыму бежали куда-то люди, выла сирена, пронеслась карета скорой помощи, оглашая воздух частыми.

холодящими сердце гудками, и Верочка решила уходить из города.

Она сложила в чемодан необходимые вещи, быстро написала записку Клавдии Васильевне, сообщая о своем решении, приколотла ее к двери через площадку и вышла из дому. На попутной машине она добралась до Всеволожской, а там, на контрольно-пропускном пункте, у нее проверили документы, посадили в машину, идущую в город, и отправили обратно. Записка все еще белела на двери, и Верочка сняла ее, со злостью разорвала на клочки, а клочки скомкала в кулаке и бросила в пролет лестницы.

Через несколько дней она встретила на улице школьную подругу, и та привела Верочку в заводскую столовую, где работала в кладовой. Она принесла Верочке тарелку супа и сухарь, и Верочка, изголодавшаяся за эти дни, молча набросилась на еду. Когда она ела, в комнату вошел кладовщик — хромой сорокалетний человек, и сел рядом с Верочкой, сочувственно глядя на ее худые руки и плечи. Он повел ее в отдел кадров, и там сразу же приняли Верочку официанткой. Вот почему, рассказывая о том, что она работает в столовке, Верочка и лгала и говорила правду.

Дрова в столовке были на исходе, топили только плиту, служащие и посетители не снимали верхней одежды, и столовка напоминала захоластный вокзальный буфет. Она наполнялась два раза в день: завод работал в две смены. До войны это был один из цехов промышленной артели, не имевшей своего помещения и разбросавшей цехи по всему городу. Теперь тут делались ротные минометы.

Здесь работали пожилые женщины, приходившие на завод с кошелками и банками, и аккуратно складывавшие в эти банки скудную пищу, приготовленную в столовке; работали голенастые подростки, громко хлебавшие пустые щи из мелко накрошенных, малосъедобных капустных листьев, за которыми уже укрепилось омерзительное название «хряпа»; работали верочкины сверстницы — девушки в промасленных робах, с грязными, потрескавшимися пальцами. Все они проклинали Гитлера, а на рассвете вылезали из-под одеял, спускали на холодный пол уже начинавшие оте-

кать ноги и брели через весь город в этот промозглый цех.

Верочка была самой молодой среди своих товарок, к ней относились покровительственно, посмеивались над ее неосведомленностью в самых простых вещах, оберегали ее, как могли. И здесь нашлась девушка, которая, подобно Кате Ковалевой, с удовольствием делала за Верочку всю черную работу — мыла в столовке полы и стирала по вечерам столовое белье. Она была старше Верочки лет на пять и уже многое узнала в жизни. У нее, как и у Верочки, друг был на фронте, она очень тосковала по нему и любила его, что не мешало ей вслух грубовато говорить о любви.

Они вместе возвращались после работы домой, и однажды подруга зашла к Верочке и ахнула, увидев ее комнату. На столе и на подоконнике громоздилась невымытая посуда, валялись почерневшие ножи и вилки, постель была неубрана, сбившаяся простыня свисала на грязный пол.

— Разве можно так жить? — спросила подруга. — Тут и повеситься недолго.

— Лень, — призналась Верочка, — да я ведь только ночую дома, никто у меня не бывает.

Вода уже не шла, и подруга принесла воды из Карповки и прибрала в верочкиной комнате.

Как-то перед обеденным перерывом в столовку зашел кладовщик, отвел Верочку в сторону и пригласил ее вечером в гости. Приглашение было неожиданным, и Верочка не знала, что ответить. Она замаялась, не желая принимать приглашения от малоизвестного человека и в то же время боясь его обидеть. Он увидел ее замешательство и улыбнулся ей весело и доброжелательно.

— Я знаю, что вы думаете: незнакомый, то да се... Ерунда! Будут только свои. Шура придет, вы ее знаете, и Захаров тоже будет, вы и Захарова знаете...

Верочка не знала никакого Захарова и сказала:

— Спасибо... Неловко как-то.

— Чего неловко? Ну, чего неловко? Живу я рядом. И я ведь тоже для вас не первый встречный. Слава богу, уже месяц, как вместе работаем. Приходите, не обижайте.

Верочка услышала в его голосе обиду, поглядела на его широкое, добродушное лицо и сказала:

— Спасибо... Может быть, приду.

— Вот и хорошо. Только не «может быть», а обязательно и непременно.

— Может быть, приду... Как мама...

— У вас мама и у меня мама. Буду ждать. — И он дал ей свой адрес.

Когда подруга узнала об этом приглашении, она сказала:

— Ни в коем случае не ходи к этой хромой сволочи!

— Почему?

— Потому что он хромая сволочь. Он вор. Он хоть и прячет концы в воду, но его, гада, рано или поздно заметут. Не ходи, я тебе говорю.

— Да я и не собираюсь. А тебе просто обидно, что он меня пригласил, а не тебя.

— Вот и выходит, что ты дура.

И они весь день не разговаривали.

Вечером, перед концом работы, Верочка подошла к подруге и сказала:

— Перестань ты... Никуда я не пойду... Ну, перестань...

Та сразу же растаяла, обняла Верочку, и они опять пошли домой вместе.

Верочка вошла в свою комнату и, не зажигая света, не раздеваясь, села на кровать. В комнате было холодно и сыро и сильнее обычного пахло тем особым, неизъяснимым запахом плесени и суррогатного кофе, который уже поселился в блокадных ленинградских квартирах.

«Нет, никуда я не пойду, я сейчас спать лягу», — подумала Верочка и подошла к платяному шкафу. Там висели ее платья — цветастые, давно ненадеванные, застывшие... Она сняла одно из них и провела ладонью по скользкому, холодному шелку. Потом она бросила платье на кровать и сняла другое. И подумала: «Молодец, что не спустила на рынке...» Она надела синее шерстяное платье, и оно оказалось ей впору, хотя она и думала, что теперь оно будет просторным. Чулок новых не было, и Верочка, сняв туфель, наспех загнула ниткой рваную пятку.

У нее, как и у многих людей, живущих одиноко, уже появилась привычка иногда произносить свои мысли вслух, и поэтому, когда взгляд ее упал на фотографию Николки, стоявшую на сто-

ле в вишневой рамочке, она сказала: «Я скоро приду...» И вышла на улицу.

Ей открыла Шура — крикливая молодящаяся женщина, работавшая на заводе укладчицей.

— Ах ты, душечка, ах ты, душечка ты моя, — приговаривала она, помогая Верочке раздеться, — мы ведь только тебя и ждем, за стол не садимся.

Она провела Верочку в комнату, и Верочка на секунду зажмурилась от яркого света, а потом хозяйин, в сером отутюженном костюме, прихрамывая, стал подводить ее к гостям и знакомить с каждым. Кроме него, здесь было еще двое мужчин и одна девушка, которой Верочка не знала.

— Захаров, — представился ей один из гостей, — вы меня знаете.

— Простите, в первый раз вижу, — сказала Верочка.

— Вот как? Значит, вы меня не знаете? Ну, так вы меня еще узнаете, вы у меня еще наплачетесь, — и он сделал страшные глаза, и все засмеялись.

В комнате было очень тепло, на диване лежали маленькие разноцветные подушечки, по стенам, оклеенным бордовыми обоями, висели многочисленные фотографии хозяина — начиная с шестимесячного возраста, на руках у полногрудой женщины в переднике. Стали рассматривать фотографии, и Шура сострила по адресу этой женщины и малолетнего хозяина у нее на руках. Верочке стало как-то нехорошо, но тут хозяйин пригласил гостей к столу и, когда все сели, снял со стола газеты, прикрывавшие до сих пор все, что стояло на столе. А стояло на нем такое, чего Верочка не видела уже много месяцев.

Хозяин сидел с нею рядом, и Верочка спросила его:

— А где же ваша мама?

— А вот она, — и он кивнул на фотографию, над которой только что все потешались.

И Верочка опять подумала, что нужно пораньше уйти.

— За общее благополучие! — провозгласил хозяйин, поднимая рюмку.

— Я не пью, — шепнула ему Верочка, — пожалуйста, без меня.

— Я тоже не пью, — ответил он шопотом, — но за то, что вы все-таки пришли, нам нужно выпить.

И все выпили. А когда Верочка, при-

тронувшись губами к рюмке, почувствовала едкий сивушный запах и тихонечко поставила рюмку на стол, хозяин сказал ей: «Не обижайте», и она вынуждена была допить до дна.

И вот уже в комнате шумно, и все говорят невпопад, и никто друг друга не слышит... Верочка чувствует, что ноги у нее какие-то мягкие, ей хочется смеяться, все кругом такие добрые и милые, что она мысленно бранит себя за то, что еще сомневалась и раздумывала — итти или не итти...

— Вы меня не знаете, вы меня узнаете, вы у меня еще наплачетесь! — кричит ей через стол Захаров и делает страшные глаза, и она смеется, а потом видит, как хозяин — Сергей Васильич подмигивает Захарову, указывая на нее, на Верочку, и говорит ему что-то, а тот отвечает:

— Благословляю! Оформи это дело!

— О чем вы? — спрашивает Верочка.

— О вас. О том, как я оформил вас на работе.

Захаров смеется, и они опять опрокидывают по рюмке, а потом еще, и она видит, как пьяный Захаров, покачиваясь с пяток на носки, пытается перед зеркалом сделать трезвое лицо, как Шура, не то в шутку, не то всерьез, бьет его по щеке, и Верочка чувствует руку Сергея Васильича, хочет сказать: «Только без глупостей», но язык не слушается, и она опять смеется, а потом начинает плакать. И Сергей Васильич утешает ее, а она просит проводить ее домой, потому что ей нехорошо.

— Никуда ты не пойдешь, — говорит Сергей Васильич, — никуда ты не пойдешь.

И он целует Верочку, и Верочка, улыбаясь жалкой и глупой улыбкой, говорит:

— А-а-а, пропади все пропадом...

9

Одни говорили — блокада, другие — кольцо. Кольцо не было понятием отвлеченным. По ночам его можно было увидеть не только с переднего края, но и с высоких городских крыш. В густой осенней мгле оно светилось всю ночь и только на рассвете начинало блекнуть, а днем становилось невидимым. Проходил день, и в сумерках оно возникало

снова, и чем непроглядней сгушалась тьма, тем ярче светилось кольцо. Это была кольцеобразная цепь разноцветных, висящих в небе ракет, оружейных вспышек и трассирующих очередей. Одни ракеты подолгу висели в небе, словно фонари, для которых не существует закона земного притяжения; другие взлетали в небо целыми созвездиями, рассыпались и гасли; третьи, группируясь вокруг какой-нибудь наиболее яркой, светили, как театральные люстры. Были ракеты красные, и ракеты зеленые, и ракеты ослепительно желтые, на которые смотреть было больно, как на солнце, но чаще всего были они какого-то лунного, голубоватого цвета, и снег под ними был тоже голубоватый и лунный, и казалось, что таким вот светом освещалась земля в ледниковый период. Ракеты гасли, и на смену погасшим залетали десятки новых, но это было видно только с переднего края, а с городских крыш люди видели далекое и ровное мерцание, словно город был опоясан неоновой трубкой...

Латышев, снова переведенный в отделение, стоял на посту возле продсклада в Третьей колпинской колонии. Склад помещался в подвале уже разбитого здания, оно было окраинным, и дальше начиналось голое поле, на другом краю которого чернели три высоких колонны — все, что осталось от трибун колпинского стадиона. Еще совсем недавно мела метель, и поле побелело, а теперь был тихий, почти безветренный вечер, и когда над передовой зажигалась ракета, колонны четко вырисовывались на другом краю поля. На одной из колонн был укреплен репродуктор, и сейчас, когда метель улеглась, Латышев слышал медленную, торжественную музыку, плывущую над полем. Немцы изредка постреливали по Колпину и по этому полю, сюда долетали одинокие пульки, где-то в районе стадиона глухо ахали оружейные разрывы, и он предусмотрительно встал за угол.

А потом репродуктор умолк, через секунду диктор произнес что-то, чего из-за разрыва Латышев не расслышал, а вскоре ветер донес до него равномерное постукивание метронома.

На посту запрещается курить, запрещается есть, запрещается разговаривать, запрещается спать, но не запре-

щается думать. И он думал о том, что через час его сменят, и это хорошо, потому что ноги уже окоченели; думал о том, как придет в землянку, где возле жарко натопленной печки снимет полушубок, разогреет ужин — полкотелка похлебки, в которой, по выражению отделенного, «крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой», и выпьет эту горячую бурду и съест сухарь, лежащий в сумке противогаса.

Ему здорово хотелось есть, а противогас был на боку, и он мог бы съесть сухарь сейчас, никто бы этого не увидел. Но он поборол соблазн, не столько из-за того, что на посту запрещается есть, сколько из-за воспоминания о похлебке, в которой сухарь размокнет, разбухнет, и можно будет заснуть с ощущением сытости.

Ноги коченели, и он начал ходить вдоль кирпичной стены, до другого угла и обратно. На краю поля чаще заехали разрывы, и он снова встал за угол. А потом он услышал, что репродуктор не молчит: над полем плыла теперь не музыка, а раздавался голос, и он стал прислушиваться. До него долетали отдельные фразы, и по манере речи, по каким-то особым интонациям, он понял, что голос принадлежит не диктору, что человек говорит негромко, что это усилители разносят его голос по всему полю. А поле было выстлано недавно выпавшим снегом, оно смутно белело в вечерней мгле, казалось бескрайним, и там, где чернели колонны, откуда шел этот неторопливый негромкий голос, время от времени вырастали темные кусты разрывов...

«...забрался в Донбасс, — услышал Латышев, — навис черной тучей над Ленинградом, угрожает нашей славной столице Москве...» Разрыв заглушил дальнейшее, и, если бы он не знал, что голос идет из репродуктора, он подумал бы, что человека накрыло снарядом. Но когда раскаты затихли, он опять услышал этот голос, попрежнему неторопливый и негромкий. Голос говорил:

«Но враг не останавливается перед жертвами, он ни на йоту не дорожит кровью своих солдат, он бросает на фронт все новые и новые отряды на смену выбывшим из строя и напрягает все силы, чтобы захватить Ленинград

и Москву до наступления зимы, ибо он знает, что зима не сулит ему ничего хорошего...»

Артиллерийский налет прекратился, но так же, как не дрогнул этот голос во время налета, так не изменился он и теперь, когда разрывы затихли. Он попрежнему был очень ровным, негромким и неторопливым, и Латышеву стало ясно, что ему и незачем торопиться, что нет на свете силы, способной помешать говорившему сказать то, что он считает нужным сказать. И он вспомнил, что голос идет из Москвы и что враг так же близок к Москве, как и к Ленинграду.

Подошли двое: разводящий и боец, сменявший Латышева. И хотя нужно было по времени производить смену, они молча стояли все трое, подняв наушники зимних своих шапок и слушая голос, летевший над темным полем.

«Да здравствует наша славная родина!», — произнес голос, и в репродукторе зашумело, а когда шум оборвался, на краю поля ахнул одинокий снаряд.

Но говоривший, как будто зная, как будто видя, как досадливо сморщились лица у этих троих, которым разрыв мог помешать его услышать, сделал паузу, и в наступившей тишине негромко сказал, словно обращаясь только к ним троице:

«Наше дело правое — победа будет за нами!»

И опять долго шумело в репродукторе, а потом три солдата посмотрели друг на друга с каким-то очень большим доброжелательством, и один сказал:

— Иосиф Виссарионович...

А другой, опуская наушники серой шапки и снова начиная чувствовать, что ноги у него коченеют, поздравил пришедших:

— С праздником, ребята!

Траншея начиналась почти у самого склада, зигзагообразно пересекала поле и уходила за Колпино, к передовой. Еще недавно на три вершка наполненная густой липкой грязью, отдиравшей от сапог подметки, траншея теперь подмерзла, итти по ней было легко, и Латышев через полчаса ввалился в землянку своего отделения. Все было так, как он и ожидал: докрасна накалилась чугунная плитка на печке, на нарах сидели и лежали бойцы, но

было их больше, чем обычно, и он понял, что у них, по случаю праздника, гости. Здесь были два бойца из Ижорского батальона — «соседи справа», была дружинница Люся Бабушкина, был старшина роты — земляк отдаленного. Было очень жарко, дощатая дверца, завешенная плащпалаткой, была полураскрыта, и из траншеи валил в землянку морозный воздух. Лица у всех были красными и потными, разговор шел общий, и Латышеву сразу же поднесли баночку спирта.

— А вы?

— А мы уже дернули.

— Что же, я один буду пить?

— Пей, солдат, пей!..

— За ваше здоровье!

И он набрал в легкие воздух, выдохнул и залпом выпил. Не переводя дыхания, он пальцами показал, что просит воды, ему подали жестяную кружку, и он стал жадно пить из нее и вдруг почувствовал, что задыхается, и глаза полезли у него на лоб... В кружке тоже был спирт, и все покатывались со смеху, глядя на его гримасы, и, видимо, он был не первым, с кем уже сыграли эту шутку:

Он отдышался, наконец, и, ворча, сел на нары. И Люся подала ему сго котелок, уже заранее кем-то разогретый. Он начал есть, а в землянке стоял гул от многих голосов. Отделенный достал с нар гармонику и заиграл «Степь да степь кругом» и Люся начала подпевать, а вскоре пела уже вся землянка. Это была одна из самых любимых его песен, и, слушая ее, Латышев представлял себя самого замерзающим в степи и глядел на знакомые лица бойцов и думал, что любой из них мог бы оказаться с ним рядом и принять его последний наказ.

«Передай поклон родной матушке», — пела землянка, и он видел мать, быстро идущую вдоль товарного состава и заглядывающую в каждый вагон... А когда пропели про «слово прощальное», он представил Верочку с запрокинутым, ожидающим лицом, и у него защемило в груди.

Песню кончили и запели другую, а он все сидел над своим котелком. «Что же это я так долго ем?», — подумалось ему, и он понял, что сильно и безнадежно пьян.

У него забрали котелок, сунули ему в руку армейскую газету и попросили прочесть вслух напечатанный в газете стихок. Он подумал, что здесь опять какой-то подвох, но подвоха не было, а действительно были стихи. Назывались они «Октябрь в окопах», и, хотя строчки прыгали у него в глазах, он прочел:

Через годы невзгод
Мы с победой вернемся, ребята,
И, вернувшись, припомним
В кругу настоящих мужчин.
Как в морозную ночь,
Под прерывистый стук автомата,
Мы встречали в окопах
Одну из больших годовщин..

— Правильный стих, — сказал старшина, — я сохраню его на память. Дайте мне газету.

— А почему «в кругу настоящих мужчин»? — спросила Люся.

— Кто это написал?

— Армейский поэт, — сказал отдаленный, — я его знаю. Видел, когда был в Рыбацком.

— «В кругу настоящих мужчин», — продолжала возмущаться Люся. — А сам сидит в Рыбацком... «Настоящий мужчина».

— Не обижайся, Люся, — сказал Латышев, которому очень понравилась именно эти строчки, — ты не обижайся, а считай себя тоже настоящим мужчиной.

Все засмеялись, а Люся обиделась еще больше и сказала:

— А ты пить научись, а потом уж делай замечания.

И долго еще землянка гудела, гомонила и пела, а потом «соседи справа» застегнули полушубки, взяли свои автоматы, попрощались и ушли, ушел старшина, ушла и Люся Бабушкина — совсем квадратная в толстых ватных штанах, и Латышев, уже засыпая, слышал дыхание товарищей, спящих рядом с ним на нарах, чувствовал теплоту их тел и думал, что нет на свете людей, более родных, чем эти.

Утром его послали с политдонесением в штаб полка, и он шел по безлюдному Колпину. Ему нравился этот старинный рабочий городок с прудами, плотинами и каналами, теперь замерзшими и поблескивавшими на солнце, с седыми, заиндевевшими деревьями, с деревянными домиками, с кирпичными

стенами громадного Ижорского завода. Он жалел, что ни разу не бывал здесь до войны, и с грустью смотрел на черные проломы в крышах, на груды щебня и воронки на улицах. Воронки были разных размеров, и он мог отличить воронку, вырытую бомбой, от воронки снаряда или мины. И по дороге в штаб полка он насчитал больше десятка свежих воронок, чуть запыленных снегом, окаймленных темносерой, пепельной каймой. Немцы били по Колпину прямой наводкой из Путролова, Красного Бора и Пушкина, на окраинах городка плутали пули, залетая во дворы и тоненько посвистывая на улицах... Он видел, что все меньше и меньше остается в Колпине домов, куда не угодил бы снаряд или здоровенный осколок, и некоторые дома были совершенно разрушены, а другие пока еще стояли с вылетевшими рамами, со снесенными крышами, с торчащими стропилами.

В этот час на улицах Колпина было пусто, и казалось, что из города совсем ушли его жители, но он знал, что это не так. Жители не ушли, а переселились из домов под землю, в землянки, построенные на манер солдатских, с накатами из бревен и тяжелых чугуновых плит, штабели которых возвышались во дворе Ижорского завода.

В этих землянках люди жили с детьми, и когда немцы не вели огня по Колпину, дети стайками бегали по синему льду канала, подбирали осколки, ссорились, дули на озябшие пальцы... И все это было в двух километрах от передовой, а однажды, когда Латышев лежал в боевом охранении, он увидел в рассветном сумраке, как рядом с траншеями трое мальчишек ползают по подмерзшему полю, копаются в нем и собирают в кошелки картофель, и он прогнал их прочь.

Люди жили семьями и уже начинали налаживать быт, и во многих землянках горело электричество. Голод пришел сюда чуть позже, чем в Ленинград, потому что местные жители огородничали и до войны, и у них еще сохранились кое-какие запасы овощей. Этих запасов хватило не надолго, и детишки перестали гоняться друг за другом по льду канала, они сидели теперь в землянках, присмиревшие и вялые, кутаясь в материнские шали, и

это было первым признаком того, что пришел голод.

Штаб полка занимал подвал пятиэтажного кирпичного дома на улице Ленина, неподалеку от завода. Вернее, не подвал, а полподвала, потому что в другой его половине ютилось несколько колпинских семей, и сначала нужно было пройти через эту семейную половину, где на веревках сушилось белье и женщины варили какое-то вариво. Мужчин здесь не было, они работали на заводе и редко забегали домой, и часовые у подвала пропускали их, не требуя пропуска, зная каждого в лицо... Разбитый, развороченный бомбами и снарядами Ижорский завод, так же, как и весь город, производил впечатление запустевшего и вымершего, но и это была лишь видимость. Танкисты хорошо знали дорогу к заводским воротам, и Латышев своими глазами видел, как в эти ворота тягачи волочили на толстых стальных канатах подбитые и обгоревшие танки.

Ему случалось бывать и на самом заводе. На дворе ему известен был глубокий, обложенный чугунными плитами блиндаж, где располагался штаб Ижорского батальона. И когда он слышал, как про войну говорили «народная война», он представлял прежде всего этот заводской двор и блиндаж, куда переселились несколько инженеров и старых рабочих Ижорского завода, одетых теперь не в спецовки, а в серые армейские шинели, и откуда руководили они боевыми операциями своих подразделений. Этот батальон, бойцы которого в начале осени были еще не обмундированы и ходили в пиджаках, а иные в футболках и тапочках, вышел в критические для Колпина дни из заводских ворот и остановил немцев, уже захвативших противотанковый ров и проникших кое-где на городские окраины. Потом батальон был переформирован в артиллерийский и внешне перестал отличаться от других частей. И если отличался, то разве только тем, что еще долго бойцы и командиры продолжали называть друг друга по имени-отчеству, да нередко можно было встретить в траншеях батальона какую-нибудь девчонку в отцовской кожанке до пят или шмыгающего носом подростка, пришедших проведать батьку...

По утрам над землей клубился морозный туман, и небо на востоке было тускло-желтым, словно смазанное рыбьим жиром. Бойцам выдали полушубки и валенки, и Латышев, надев поверх полушубка белый маскировочный халат, каждое утро уходил, с разрешения командира, за боевое охранение, на «нейтралку», как называли бойцы стометровую полосу между своими и немецкими окопами. До боевого охранения он шел по траншее, а дальше полз по глубокому снегу и подползал почти к самой насыпи железной дороги, где рельсы и шпалы стояли торчком, а погнутый семафор уныло опустил перебитое осколком крыло.

Немецкая траншея проходила по самой бровке насыпи, и Латышев уже знал, в каких, примерно, местах этой траншеи врыты в насыпь землянки. Он часами лежал на снегу, соорудив перед собой маленький снежный валик и положив на него ствол винтовки. Это была не простая винтовка и не полуавтомат, а «снайперка», и он долго добивался этой винтовки, с того самого дня, когда неожиданно для самого себя успешно показал бойцу, как нужно «бачить». Немец тогда сложился вдвое, как перочинный ножик, и хотя внешне Латышев ничем не выразил своего волнения и равнодушно вернул бойцу его винтовку, это равнодушие далось ему с немалым трудом. Ему вспомнился Крутиков, Василенко, как он сказал тогда: «Уходи, Коля, будь человеком...»

Латышев мог часами лежать совершенно неподвижно, прильнув к линзе оптического прицела и чуть заметно поворачивая ствол винтовки из стороны в сторону. Он видел теперь не только насыпь, но и каждую веточку растущего вдоль насыпи заснеженного кустарника, каждую трещинку на вертикально торчащей шпале, каждую рейку на погнутом семафоре. И когда над траншеей появлялась и проплывала голова, он не стрелял. Он стрелял только наверняка, когда голова прекращала движение вдоль траншеи, и сразу же после выстрела переползал в другое место, облюбованное заранее, и снова лежал на снегу неподвижным бугорком.

Он еще не знал, что такие бугорки появились уже вдоль всей линии Ленинградского фронта, что фамилия его

упоминается в штабных донесениях, что в политотделе армии говорят и о нем, и о доселе безвестном бойце Григории Симанчуке, и о многих других и называют их зачинателями великого истребительного движения.

Однажды его вызвали в землянку старшины, где он увидел незнакомого капитана. Капитан был высок и худ, в ватнике и валенках, с наганом и полевой сумкой. Латышев стоял и ждал, а старшина разговаривал с капитаном.

— Вы, наверное, сегодня еще не обедали, — говорил старшина, — покушайте.

— Спасибо, не стоит...

Но старшина, зная, что капитан — из второго эшелона, где паек еще более скуден, чем у них, молча поставил перед капитаном котелок, а потом деликатно отвернулся и заговорил о чем-то с Люсей Бабушкиной, тоже находившейся в землянке.

И Латышев увидел, что капитан снял полевую сумку и начал уминать кашу, а потом старшина налил капитану баночку спирта, и по тому, как тот ее опрокинул, Латышев понял, что он не дурак выпить.

Старшина вполголоса назвал Люсе фамилию капитана, и фамилия показала Латышеву знакомой.

— Приятно поглядеть на настоящего мужчину, — сказала Люся, глядя на гостя своими нагло-невинными глазами. — А то ведь здесь на передовой так и помрешь, а не увидишь...

— Вы о чем это? — спросил капитан, отставляя порожний котелок.

— Да о настоящих мужчинах. Ведь вы же написали: «В кругу настоящих мужчин...» Как это в «Онегине»? Не отпирайтесь, я прочла...

Латышев подумал, что капитану следовало бы обидеться, но он не обиделся, а засмеялся.

— Знаете, — сказал он, — я действительно дал маху. Сколько ни бываю в частях, везде девушки предъявляют мне эту претензию. И по вашему ядовитому замечанию, — сказал он Люсе, — я вижу, что вы, конечно, не настоящий мужчина.

— Где уж мне...

— Вы — настоящая женщина.

Капитан начинал нравиться Латышеву, но старшина сказал:

— Товарищ капитан, вот тот боец, о котором вам говорил комбат, — и показал на Латышева. — Доложись, — сказал он, и Латышев вытянулся и отрапортовал, что «прибыл по приказанию», и ему, по правде говоря, не хотелось рапортовать газетчику, который пришел и сейчас уйдет и, наверно, еще считает свой приход сюда — бог знает какой доблестью.

А потом капитан посадил его перед собой за стол, достал блокнот и карандаш и начал задавать нелепые вопросы. Латышев уныло рассказывал, где и когда он родился, кто его родители, давно ли на фронте, умел ли он стрелять до войны и что он думает, когда стреляет в немца...

На первые вопросы он отвечал коротко и вежливо, но последний вопрос вывел его из терпения, и он грубовато сказал:

— А я стреляю. товарищ капитан, и в это время думаю: вот я лежу здесь весь день на снегу, мерзну, как собака, а старшина, чего доброго, забыл оставить мне обед. Или скормил его кому-нибудь...

— Ага, — сказал капитан, — больше вопросов не имею. — И закрыл свой блокнот.

— Разрешите итти?

— Можете итти. А вы каждый день лежите под насыпью?

— Каждый день. Если только погода позволяет.

— И завтра пойдете?

— Пойду и завтра.

— И я с вами. Чтобы об этом написать, нужно поглядеть, как это делается.

— Там не только он стреляет, там и по нему стреляют, — сказала Люся, обращаясь не к капитану, а куда-то в пространство. Эту реплику капитан пропустил мимо ушей.

На другое утро Латышев зашел к старшине за капитаном. Тот сидел уже в маскхалате поверх своего ватника.

— Комбат сказал, что ты за него отвечаешь! — предупредил старшина Латышева.

— Нет уж, простите, позвольте мне самому отвечать за себя, — сухо сказал капитан.

Они вышли из землянки и пошли по траншее, и Латышев сказал, чтобы ка-

питан не высовывал из траншеи ствол винтовки, сверкавший на солнце.

— Самолюбивый, — сказал старшина про капитана, когда дверь за ними закрылась.

— Ну еще бы, — сказала Люся, — «настоящий мужчина».

Ее, видимо, здорово это задело...

Латышев и капитан вернулись вечером, усталые и возбужденные, и халаты их, такие чистенькие на рассвете, были теперь грязными и мятыми. Они хлебали холодные щи, говорили про какого-то немца с лопаткой, и было видно, что они вполне пришлось по душе друг другу. Спали они на нарах вместе и ночью вспоминали общих знакомых из дивизии Народного Ополчения, где, оказывается, служили оба, только в разных полках. А потом Латышев, по просьбе капитана, подарил ему свою фотографию и попросил, если он будет в городе, навестить его мать, живущую на Петроградской.

Капитан провел в батальоне весь следующий день, а к вечеру простился с Латышевым, со старшиной, с Люсей Бабушкиной, сменившей, наконец, гнев на милость, и зашагал к себе в Рыбацкое.

Он шел мимо труб кирпичного завода, мимо развороченных колпинских домиков, по снежной дороге, вьющейся вдоль речки Ижорки. Выйдя из Колпина, он взял курс на Усть-Ижору, откуда предстояло пройти еще километров пять до Славянки, а там уже недалеко и Рыбацкое. Он дважды «голодовал», но машины не останавливались, и он продолжал брести, с трудом вытаскивая ноги из глубокого снега. Он вспомнил про надпись, которую сделал ему Латышев на своей фотографии, и улыбнулся, потому что там было написано «лучшему другу», а у него уже скопилось больше десятка таких фотографий, и везде были написаны эти два слова.

Пройдя Усть-Ижору, он начал считать шаги, и после каждой третьей сотни останавливался, чтобы отдышаться. И, считая шаги, он думал, догадаться или не догадаться друзья взять домой его ужин, — в Рыбацкое придет он к вечеру, и штабная столовая будет уже закрыта.

«От лица Ленинграда и фронта прошу вас учесть, что вы поставлены на большое и ответственное дело и выполняете задачу первоочередной государственной и военной важности... Возьмитесь за дело, как подобает советским патриотам, честно, с душой, не щадя своих сил, не откладывая ни часа, чтобы быстро наладить доставку грузов для Ленинграда и фронта...»

Это было обращение товарища Жданова к водителям ледовой Ладожской трассы, и Николаю Петровичу, работавшему теперь на Ладоге, запомнилось, что в обращении сказано «прошу»...

— Он не приказывает, он просит, — говорил Николай Петрович своим товарищам, — это нужно понимать. Он просит работать с душой. А Капралов проспал в Кобонах до вечера. Это как же выходит — с душой или без души?..

Грузовики шли через Ладогу почти сплошным потоком. Интервалы между машинами были такими маленькими, что водителю нельзя было ни на секунду отвести глаз от передней машины. В снегопад Николаю Петровичу казалось, что грузовики идут по какой-то дикой степи, и нет ей ни конца ни края... А бывали ветреные дни, когда снег сметало с дороги, и тогда она сверкала холодным, режущим блеском, и машины буксовали.

Николай Петрович совершал рейсы днем и ночью, иногда по четыре рейса в сутки, и ночью вдоль ледовой дороги мерцали редкие огоньки фонарей, отраженные льдом. Синие фары машин вспыхивали и сразу же гасли, в морозном воздухе стоял шум моторов и шелест шин, раздавались хриплые возгласы регулировщиков, похожих на снежные изваяния.

Николай Петрович не любил на Ладоге солнечных дней, он любил пасмурную погоду, потому что немцы в безоблачные дни бомбили дорогу, и он испытывал при этом не страх, а чувство унижительной беспомощности. Водители тогда выскакивали из кабин, бежали в сторону от дороги, ложились в снег и матерились, и это было все, что они могли сделать. Где-то били зенитки, в небе возникали черные грибки

разрывов, но немцы, лавируя между этими грибками, продолжали бомбить дорогу.

Однажды во время такого налета их небесную карусель нарушил одинокий отчаянный ястребок; появившийся ни с куда. Лежавшие в снегу водители, затаив дыхание, не сводили с него глаз. Он вертелся, как вьюн, набирал высоту, почти отвесно падал вниз и сломал немецкий строй, а потом пошел навстречу немцу, и два самолета сближались так стремительно, что Николай Петрович почувствовал, как у него похолодело в животе... Самолеты шли друг на друга, лоб в лоб, и когда уже казалось, что столкновение неизбежно, когда водители привстали на колени и открыли рты, готовясь ахнуть, — немец резко отвалил в сторону, а ястребок, каким-то образом оказавшийся у него в хвосте, выпустил по нему длинную очередь бледно засиявших в синем небе трассирующих пуль. И сразу же из хвоста немецкого самолета, навстречу этой бледно сверкнувшей ленте, вытянулась тоненькая ровная струйка черного дыма. Немец полез вверх, на какое-то мгновение остановился в воздухе, а потом перевернулся на спину и начал падать, как падает с большой высоты бумажный лист: не прямо вниз, а качаясь из стороны в сторону. И где-то, уже за пределами видимости, он упал на лед, а через четверть минуты водители услышали глухой и короткий взрыв. Они вскочили на ноги и, задрав головы, кричали и бросали в воздух шапки, а немцев в небе уже не было, немцы скрылись так же быстро, как и появились над дорогой, и в небе был теперь один ястребок. Он сделал широкий круг над дорогой, качнул крыльями и ушел на небольшой высоте.

— Вот этот поработал с душой!... Верно, Капралов? — спросил Николай Петрович, когда водители снова селись по кабинам.

В машинах лежали мешки с мукой, ящики, посиневшие говяжьи туши. А иногда машины шли с красными флажками, и регулировщики сигнализировали своими фонарями и облегченно вздыхали, когда машины благополучно проходили через их участок, потому что за «пробку» в такой колонне грозил трибунал: машины везли боеприпасы.

Николай Петрович мысленно разбил дорогу на два этапа: до Грачёвой и после Грачёвой. Грачёва жила на льду в обложенной снегом палатке и шутила, что единственное, чего ей здесь не хватает, это «эскимо». Была она военфельдшером, обслуживавшим трассу, и водители крепко дружили с этой неунывающей женщиной. Ее называли русалкой, и ледяной девой, и снегурочкой и, проезжая мимо домика Грачёвой, каждый считал своим долгом помахать ей рукой и справиться, не отморозила ли она печенку...

Как-то Николай Петрович зашел в палатку, и Грачёва густо смазала вазелином его обмороженные, шелушащиеся руки. Они вместе вышли на дорогу, и она обратила внимание Николая Петровича на плакат. Плакат был написан на фанерном листе, прибит к шести, а шесть прочно вмерз в льдину. На плакате было написано: «Водитель Ладоги! Ленинград тебя не забудет!». Грачёва сказала:

— Вот смотрела на этот плакат целый месяц, и никаких особенных мыслей он не вызывал. А сегодня утром вышла на лед, машин нет, кругом пусто, словно я не на Ладоге, а дрейфую где-нибудь в Ледовитом океане, и небо надо мной желтое, холодное. Посмотрела на этот плакат и представила, как весной, когда немцев и финнов турнут из этих мест, Ладога вскрыется, начнется ледоход, и льдина с этим плакатом тоже пойдет по Неве. С краев подтает немножко, шесть, может быть, чуть покосится, но будет стоять. И выйдет эта льдина в залив, а оттуда в море, понесет ее течением и прибьет, возможно, к норвежскому берегу. Ведь может такое случиться?..

— Вполне возможно, — согласился Николай Петрович, собираясь сесть в машину, — это вполне возможно.

— И я тоже думаю, что возможно... И увидит какой-нибудь норвежский рыбак эту льдину, на льдине — шесть, а на шести этот плакат на непонятном языке. Сядет в лодку, подгребет, снимет его и понесет в поселок. И в поселке тоже все будут ломать головы: что это такое написано? А потом найдет ученый человек и прочтет, и объяснит рыбакам, что это за плакат. И рыбаки,

наверно, снимут шапки... Ведь может такое случиться?

— Вполне может, вполне может такое случиться, — сказал Николай Петрович, глядя на Грачёву потеплевшими глазами. — Ах ты фантазерка, фантазерка!..

И он попрощался с ней и тронулся дальше, а она еще постояла у дороги, в валенках и рыжем овчинном полушубке, похожая на медвежонка, а потом, когда мороз начал леденить ресницы, повернулась и ушла в палатку.

Сидя за «баранкой», Николай Петрович гонял свою машину из Ленинграда в Кобоны и обратно. Из Кобон он вез в Ленинград продовольствие, а из Ленинграда — женщин, стариков и детей. Они сидели в кузове машины на тюках и чемоданах, молчаливые, закутанные в платки и такие исхудавшие, что на них больно было смотреть Николай Петрович уже три недели не был дома и не знал, что с женой и есть ли письмо от Николки. Он очень беспокоился о них, и к мыслям о сыне примешивалась горечь их последней встречи. Николай Петрович не раскаивался в том, что резко обошелся с Николкой: так и нужно было с ним тогда говорить, чтобы внушить ему, что война — не игра в бирюльки. И все же сердце болело и было жалко мальчишку, особенно когда Николай Петрович вспоминал, как нарочито бодро вышел тогда Николка из своей комнаты и, не глядя на отца, стал прощаться с матерью... «Он хороший парень, — думал Николай Петрович, — он гордый. Он смелый парень и честный... И все-таки я был прав, что вытурил его тогда из дому: это ему на пользу...» Но сердце болело и хотелось опять увидеться с сыном и увидеться по-хорошему. И он во время короткого привала на кобонской пристани, перед погрузкой, написал Николке письмо, и тут же опустил в почтовый ящик.

Это было в канун Нового года, когда их колонну задержали в Кобонах и вместо обычного груза погрузили ящики со снарядами. Машины съехали на лед, и Николай Петрович поймал себя на том, что ведет машину осторожней обычного. День был серым, метельным, и он радовался, что погода нелетняя.

Колонна миновала домик Грачёвой и

шла теперь по наиболее опасному участку дороги. Через тускло поблескивавшие полыньи были проложены свежие мостки, кое-где еще работали дорожники, и Николай Петрович подумал, что дальнобойная немецкая артиллерия расковыряла дорогу совсем недавно... И едва он об этом подумал, как услышал далекий, быстро приближающийся свист, свист перешел в вой, а потом в голове колонны гулко и хлестко грохнуло, и справа от дороги, на снежной глади, выросло высокое темносерое дерево. Крона его сначала была черной, но быстро светлея, колебалась и таяла; по крыше кабины застучали осколки льда, а издали уже снова надвигался и рос этот рассекающий воздух свист. Теперь грохнуло в хвосте колонны, и дорожники закричали: «Ходу, ходу, ходу!» и побежали в сторону от дороги.

Машины прибавили ходу, а снаряды буравили воздух один за другим, и не отдельные деревья, а целая рошица разрывов выросла вдоль дороги. И вдруг колонна встала.

Видимо, снаряд покалечил головную машину, потому что Николай Петрович увидел, как сгрудились возле нее шоферы, как налегли на задний борт, чтобы своротить ее с дороги. И он тоже выскочил из кабины и побежал было к ним, но снова начал вырастать в воздухе приближающийся скрежет, был он отличен от всего того, что до сих пор слышал Николай Петрович, и он понял, что нужно лечь. И как только он растянулся плашмя на дороге, его оглушило, толкнуло чем-то горячим в лицо, и над дорогой, как майские жуки, зажужжали осколки. Он поднялся на ноги, сделал несколько шагов, оглянулся и увидел, что машина его горит.

Горела не машина, а сухие снарядные ящики, и Николай Петрович по-мальчишески легко подбежал к машине, поставил ногу на колесо, другую перекинул через борт и, забравшись на ящики, начал ногами в валенках притаптывать пламя. Запахло паленым войлоком, и ему удалось погасить пламя, лизавшее ящик, но желтые огоньки бежали по крышке ящика, стоявшего рядом, и он увидел Капралова и закричал ему:

— Капралов, снегу!..

Капралов подскочил к машине с лэ-

патой и стал кидать на ящики снег, а Николай Петрович прыгал по крышкам и притаптывал снег валенками. Снег шипел, а желтые язычки пламени, все пробивались из-под него и, задушенные в одном месте, возникали в другом. Николай Петрович понял, что каждую секунду может произойти взрыв, и глянул на Капралова и по его бледному лицу угадал, что и Капралов знает о грозящей опасности. Машина стояла и горела посредине колонны, стояла она почти вплитирку к передней, а сзади ее подпирала следующая, и на этих двух машинах тоже лежали снарядные ящики, — вся колонна везла снаряды, — и Николай Петрович крикнул:

— Капралов, надо уводить машину!..

Он соскочил на дорогу и бросился к кабине, и не видел, что Капралов забрался на ящики и танцует на них, стараясь погасить пламя. Он включил мотор, ему удалось вывернуться между двумя машинами, и он повел свой грузовик в сторону от дороги, в сторону от колонны, по голым и острым торосам. И последнее, что увидели шоферы, перед тем, как стали рваться снаряды в этом ковыляющем по торосам грузовике, была хлопающая дверь кабины, и Николай Петрович, согнувшийся над «баранкой», словно ожидающий удара в спину, и Капралов, пляшущий на снарядных ящиках.

11

— Как тебя зовут, мальчик?

— Юлька.

— А фамилия твоя как?

— Батов.

На эти два вопроса он отвечает охотно и быстро. Кажется, что так же охотно он ответит и на остальные.

— А кто твои папа и мама?

Молчание.

— Юлька, а сколько тебе лет?

Он молчит, ему стыдно сказать, что он не знает. И если настаивать, глаза у Юльки делаются скучающими, он отворачивается и говорит:

— Не знаю...

И начинает колупать стенку.

У него нет прошлого. От прошлого остались только имя и фамилия. Все остальное Юлька и не пытается вспомнить. От таких попыток у него болит голова и становится тоскливо.

На вид ему лет восемь или девять. А может быть, и семь, и его состарило то, что он перенес. Врачи подолгу стоят возле его койки, и ему нравится разговаривать с ними, потому что они не задают ему вопросов, от которых хочется плакать.

Когда спрашивают, что с ним, он говорит: «амнезия». Это непонятное, а потому привлекательное слово часто произносят врачи.

Голова у него заживает, нога тоже. Он уже не «лежачий», а «ходячий». Сначала он ковылял только по своей палате, потом стал заглядывать в соседние, а вскоре маленькую его фигурку, в громадном, не по росту, халате и шлепающих туфлях, можно было встретить в самых неожиданных местах: в душевой, на кухне, в будке кинемеханика.

В госпитале Юлька знают и любят все: больные, раненые, врачи и сестры. — Юлька, забьем козла! — кричат ему из палаты, и он взбирается на стул и загребает домино. Партнеры прячут от него кости, потому что Юлька подглядывает — не подглядывать свыше его сил. Играть он не умеет и с одинаковым удовольствием кричит «ест!» и с треском опускает кость на стол или проводит по нему большим пальцем правой руки и восхищенно восклицает «проехал!», а то и просто свистит...

Вчера у него снимали швы, и он долго крепился, чтобы не заорать, и так вцепился в руку операционной сестры, что у нее возле локтя образовался кровоподтек. И все-таки он не выдержал и заорал, и врач сказал ему:

— Поздно, поздно, молодой человек. Нужно было орать раньше. Швы уже сняты.

Самые большие юлькины друзья — тетя Поля и Клава-баба. Они обе работали в приемном покое, и тетя Поля ворчала на него и проводила широкой и жесткой ладонью по его лицу, и это было одновременно и больно и приятно, а Клава-баба называла «родненьким» и поила чаем. Потом Клаву-бабу перевели в проходную, и теперь она ежедневно заходила к нему в палату, а на праздник, когда раненым выдали по сто граммов и они шумели на своих койках, она принесла ему две соевых конфеты, присела на край постели, дол-

го беседовала и не задавала глупых вопросов.

После праздников в госпитале стало холодно. Пришли рабочие, сложили в палатах низенькие кирпичные печки, и железные голенастые трубы вывели в скна. Юлька очень любил топить свою печку и глядеть, как по чуркам пляшет огонь. И когда он глядел в огонь, перед ним возникали какие-то смутные образы, лоб его хмурился, и если к нему обращались в эти минуты, он не отзывался и глаза у него были невидящими.

Его привезли сюда вместе с большой партией раненых. Это были не солдаты, а пассажиры. Эшелон возле Мги разбомбили немцы, и Юлька получил тяжкую контузию и ранения головы и ног. Раны были опасны, и он вскоре начал передвигаться без посторонней помощи. Когда Клавдия Васильевна впервые увидела его, тихо стонущего и забинтованного, она поняла, что никому не уступит этого ребенка.

По ночам мальчик мерз под тоненьким байковым одеялом, и она принесла из дому ватное. Она пекла ему лепешки из дуранды, в дополнение к скудному больничному пайку. Она подолгу сидела с ним на койке и бранила, если ворот рубашки был у него расстегнут, и гладила худенькие, костлявые плечи, и когда однажды она не заходила к нему два дня подряд и он встретил ее сердитым взглядом и горькими упреками, это было для нее большой радостью.

Юлке предстояло выписаться из больницы, и она узнала, что главврач собирается кому-то звонить, чтобы устроили мальчика в детский дом. Она пришла в кабинет главврача и сказала, что берет Юлька.

— Трудно вам будет...

— Одной труднее.

И врач понял ее и согласился.

— В канцелярии оставьте расписку, что ребенок передан на воспитание вам.

— Спасибо вам большое...

Она вела Юлька по заснеженным улицам, и Юлька удивлялся, что так много взрослых ходит по улицам с саночками. А потом он увидел, как какая-то женщина везет на саночках усатого мужчину, и засмеялся, а Клава-баба сказала ему:

— Не смейся. Он больной. Он сам ходить не может.

Она вела Юльку за руку. На мостовой, на крышах и карнизах лежал пухлый, не тронутый копотью снег, и ей казалось, что она ведет Юльку не по Ленинграду, а по какой-то большой и безлюдной деревне. Где-то недалеко громыхало, и раньше она просто прибавила бы шагу, чтобы поскорей добраться до дома, а теперь зашла с Юлькой в подворотню и там переждала обстрел. На лестничной площадке она долго возилась с ключом, открыла примерзшую дверь и ввела Юльку в дом.

— Тут будем жить, сынок, — сказала она Юльке, помогая ему расстегнуть воротник.

— Вдвоем?

— Пока вдвоем, а потом Николай Петрович придет, и Николка вернется, и будем жить вчетвером...

Как-то зашла к ним Верочка — румяная от мороза, в котиковой шубке. Она очень удивилась, увидев Юльку, а когда мать рассказала ей, кто он такой и откуда взялся, растрогалась и заплакала.

— Как же вы будете жить, мама? — спросила Верочка. — Ведь время-то какое...

— Как-нибудь проживем.

Верочка сходила домой и принесла Юльке белый сухарь.

— Получила к празднику, — сказала она Клавдии Васильевне.

Юлька взял сухарь, но есть его не стал, а положил в карман. Когда Верочка ушла, он отдал его Клаве-бабе.

— Вечером будем пить чай, — сказал он рассудительно.

Та засмеялась:

— Хозяин...

С появлением Юльки жизнь снова приобрела для нее былой интерес. Нужно было о ком-то думать, за кого-то тревожиться, кому-то оставлять еду, а еды не было, и она постепенно спускала на рынке вещи, принося то кулек «смётко» — перемешанной с песком и пылью крупы, то ломтик конины, величиной с юлькину ладошку, то баночку жира. Но жить становилось все труднее, и она стала брать Юльку с собой в больницу, где для него всегда находилась тарелка каши или котелок хлеба.

Она приносила с Карповки воду раз в неделю, натопив плиту, мыла Юльку в тазу. И ей тогда казалось, что она опять молодая, что в тазу пощется не Юлька, а Николка, что стоит ей крикнуть, и из комнаты выйдет Николай Петрович с мохнатым полотенцем, закутает мальчика с головой и понесет из кухни.

Электричества давно уже не было. По вечерам они зажигали коптилку, и когда огонек начинал танцовать на фитиле, по стенкам кухни прыгали громадные тени. Юлька спал на плите, а она на полу, возле плиты, на голубом своем коврике, укрываясь шубой.

Под Новый год к ним снова заглянула Верочка. Она была не одна, с ней пришел какой-то хромой дядька, и хотя он потрепал Юльку по голове и назвал его шпингалетом, Юлька пугливо прижался к Клаве-бабе. Он слышал, как хромой жаловался на тяжелые времена, и понял, что Клава-баба ненавидит хромого. Потом Клава-баба, Верочка и хромой ушли в комнаты, и Юлька остался на кухне один, а когда они вернулись, хромой нес в каждой руке по большому тюку. На кухне он положил тюки на пол, сел на табуретку и оглядел кухню.

— Коврик тоже подойдет, — сказал он Клаве-бабе.

— Берите, — равнодушно отозвалась та.

Верочка не принимала участия в разговоре, и Клавдия Васильевна не смотрела в ее сторону.

— Скатай коврик, — сказал Верочке хромой.

Это был тот самый коврик, на котором в детстве Верочка возилась когда-то с Николкой, и она скатала его и попыталась сунуть подмышку хромому, который уже снова стоял, держа свои тюки.

— Нет уж, понеси-ка его ты, — сказал хромой, — у меня он вывалится.

И Верочка растерянно взглянула на Клавдию Васильевну и до конца разговора держала коврик не подмышкой, а как-то на отлете...

Когда они уходили, хромой уже не обращал внимания на Юльку, а Верочка, проводив хромого, вернулась и стала жаловаться.

— Он вор, — сказала Верочка, —

он работает у нас кладовщиком. И все знают, что он вор, а поймать не могут. Но его поймают когда-нибудь и расстреляют, хромую сволочь! — и это она говорила с искренней злостью.

А Клавдия Васильевна слушала ее и соглашалась с ней, и все не могла отвести глаз от котиковой верочкиной шубки.

Хромой расплачивался за свои покупки деньгами, а не продуктами. У Клавдии Васильевны было теперь много денег, такой суммы никогда еще не было у нее, и она ушла на рынок, а возвращаясь домой, удивлялась, как мало удалось ей купить на все эти деньги. И все-таки под Новый год она жарила Юльке котлеты на кокосовом масле, и они пили чай с твердыми, коричневыми несладкими конфетами, которые Юлька называл надолбами.

Теперь она спала, постелив на полу возле плиты разное тряпье. Из-под двери дуло, и она долго и надрывно кашляла по утрам. Вставать было мучкой, хотелось обо всем забыть и только лежать и лежать под шубой. Но на плите начинал ворочаться Юлька, она вставала, и они вместе топили плиту, потому что Юлька очень любил это дело. Потом она шла за водой на Карповку, а он оставался сидеть у плиты, неотрывно глядя в огонь.

Воду брали из проруби. На рассвете прорубь была подернута тонким ледком, и его приходилось разбивать ведром. Иногда возле проруби выстраивалась очередь, и Клавдии Васильевне казалось, что женщины стоят не на ногах, а на ходулях. Люди скользили на льду и, нагнувшись над прорубью, иногда не в силах были разогнуться и поднять свои ведра или бидоны, и тогда им помогали другие. Сначала она носила с Карповки по два полных ведра, потом стала носить одно, а теперь ходила за водой с бидоном и медным чайником.

Однажды она подошла к проруби и увидела, что на льду лежит старик, а рядом с ним стоит ведро, вода в котором уже замерзла. Старик лежал на боку, одна его рука была в варежке, а другая, посиневшая и похожая на птичью лапку, ухватилась за край проруби. Она склонилась над ним, чтобы помочь ему подняться, но увидела,

что он не нуждается уже ни в чьей помощи.

Она очень быстро стала сдавать. Громадные усилия требовались теперь для того, чтобы встать, сходить на речку, растопить плиту. Но она проделывала все это с прежней аккуратностью, чувствуя, что в этом ее спасение. И они умывались ледяной водой, а потом шли с Юлькой в больницу по еще темному, только пробуждающемуся городу. И было похоже, что город пробуждается и начинает день с таким же трудом, как и она. Навстречу им попадались закутанные в платки и шубы человеческие фигуры и брели они медленно, словно боясь упасть...

Как-то вечером Юлька сидел на кухне, булавкой ковырял фитилек и тихонько дул на него, и от этого по потолку и стенам носились друг за другом крылатые змеи-горынычи. Юльку сегодня не взяли в больницу, и он поджидал Клаву-бабу, а она все не шла, и ему очень хотелось есть. Когда в дверь постучали, он открыл ее, не спросив, кто там, и увидел двух незнакомых людей в белых полушубках и меховых шапках.

Он с удивлением смотрел на них, а они удивленно смотрели на Юльку.

— Ты чей, мальчик? — спросил один из пришедших, державший в руках небольшой узелок.

— Я клавин-бабин, — ответил Юлька. — А вам кого?

— Я и не знал, что у него малыш, — сказал человек с узелком, обращаясь к своему спутнику, — внучонок наверно... Нам Клаву-бабу, — сказал он Юльке.

— А она в больнице, она скоро придет. Она мне не велела пускать чужих...

— Мы не чужие, мы свои.

Они прошли на кухню и там сели, не раздеваясь, а только сняв заячьи шапки. И тот, что держал узелок, положил его на стол, развернул и угостил Юльку хлебом с колбасой, а другой порылся в кармане полушубка и дал ему кусок сахара, облепленный махоркой.

А потом, открыв дверь ключом, без стука вошла Клавдия Васильевна.

Она узнала шоферов из колонны Николая Петровича, а они встали, дер-

жа в руках шапки, и вид у них был какой-то растерянный и виноватый.

Она взглянула на их растерянные лица и прислонилась к двери. И хотя ни слова не было сказано, она вдруг одними губами тихонько спросила:

— Горе?..

Шоферы молчали.

И Клавдия Васильевна стала отступать за дверь, все так же тихо повторяя:

— Ой, горе... Ой, горе...

И лицо у нее было такое, что Юлька выронил свой сахар, сморщился и заплакал.

12

В новогоднюю ночь Латышев стоял в боевом охранении. Кроме него, здесь был отделенный и еще один пожилой боец, которого все в отделении называли по имени-отчеству. Они стояли в неглубоком котловане, неподалеку от железной дороги. Сначала это была просто воронка от снаряда, но ее углубили и расширили, а сверху положили крест-накрест два бревна. Они не спасали ни от снаряда, ни от мины, и Латышев спросил у отделенного:

— На кой чорт эти бревна?

— А я и сам не знаю.

— Нет, — сказал Сергей Митрофанович, — они нужны. Они для спокойствия. Какая ни на есть, а крыша.

Ночь была метельная и очень темная. До переднего края немцев было так близко, что ракеты, догорев над головой, иногда угольками падали прямо к ним в котлован. Впрочем, ракет в эту ночь было меньше, чем обычно, и пулеметы немецкие трещали реже, и отделенный сказал:

— Гуляют. Выходной себе сделали.

Это был совсем молодой парень, попавший на Ленинградский фронт из Златоуста, где он нехорошо расстался с девушкой, и на сердце у него была садина. Он скверно и цинично говорил о женщинах, называл их такими-то и такими-то, и это было единственным, что отворачивало от него Латышева.

— А Люся? — спрашивал Латышев.

— Что Люся? Люся... Разве она женщина? Она — солдат в юбке. Вот погоди, кончится война, наденет твоя Люся платье в горошек... Все у них

есть — и глазки и сказки, а вместо сердца — кукиш...

Они стояли в обледенелых полушубках и валенках, положив винтовки на край котлована. И только у отделенного была не винтовка, а автомат — оружие драгоценное. И когда взвизгнула и стукнулась о бревно пуля, когда ногам даже в валенках стало холодно, Латышев вспомнил напутственные слова матери «береги себя...» и улыбнулся, и от этой улыбки образовалась у него трещинка на затвердевшей от мороза губе.

Впереди, шагах в пятидесяти от котлована, был противотанковый ров, открытый колпинцами еще осенью, а теперь занятый немцами. Этот ров нужно будет в скором времени брать, — так втихомолку говорили в штабе и вслух говорили бойцы. Знали они об этом не потому, что кто-нибудь из штаба сболтнул, а потому, что верный замысел командира совпадает с предположениями солдата.

Было темно, мела поземка, и над рвом взлетали тревожные немецкие ракеты.

Первый почуял что-то неладное Сергей Митрофанович. Он сказал об этом отделенному, и все трое стали прислушиваться и вглядываться в темень. По словам Сергея Митрофановича, кто-то шел к ним со стороны рва, и отделенный приказал Латышеву вылезти из котлована и залечь в снегу, чтобы, в случае надобности, открыть огонь не в лоб, а с фланга. Латышеву была известна незаминированная площадка рядом с котлованом, и он ползком добрался до нее и лег, по привычке соорудив снежный валик перед своей головой.

Он ничего не слышал, кроме змеинного свиста поземки, ничего не видел, кроме смутной снежной пелены, клубящейся и исчезающей во мраке, и когда уже окончательно убедился, что Сергей Митрофанович зря поднял тревогу, перед ним появилась высокая и сутулая человеческая фигура.

Человек шел мимо него, увязая в сугробах, шатаясь, держась руками за голову. Он шел прямо на котлован, был безоружен, и Латышев растерялся, не зная, стрелять ему или не стрелять... Он встал и тоже пошел вслед за человеком, стараясь ступать по его следам, потому что кругом были понатыканы

мины, и, наверно, какая-то бабка ворожила человеку, если он до сих пор не подорвался. А человек остановился, что-то жалобно закричал и снова пошел вперед. И вот уже он на краю котлована, а Латышев стоит у него за спиной и видит, что это спина немца. На немце надет коротенький мундир, он без фуражки и руками прикрывает уши. Из котлована, вскинув автомат, глядит на него отделенный; Сергей Митрофанович, пугаясь в полушубке, суетливо выбирается наверх. Немец издает испуганный возглас и лезет в карман; видимо, за пистолетом.

— Руку! Руку прочь из кармана! — кричит ему отделенный, забыв, что немец не понимает по-русски.

Сергей Митрофанович подходит к немцу, тот вытаскивает руку из кармана, в руке у него действительно что-то тускло мерцает, и тогда Латышев сильно бьет его прикладом по шее, и немец, выронив пистолет, ныряет в котлован, прямо на голову отделенному. Латышев спрыгивает вслед за ним, вместе с отделенным они наваливаются на немца, тот не сопротивляется и покорно дает скрутить себе руки. Он только ойкает и трясет головой, а потом сидит на дне котлована, глядя на них бессмысленными глазами.

— Да ведь он же пьян, сук-кин сын! — восхищенно вопит Сергей Митрофанович. — От него спиртом разит!

— Вот это, ребята, подарочек... Вот это подарочек полковнику к Новому году... — бормочет отделенный и вдруг от избытка чувств так хлопает Латышева по шапке, что та налезает ему на глаза. Всем троем известно, что за контрольным пленным давно и безуспешно идет охота, а тут он сам прашел и скатился к ним в котлован.

— Ты мне головой за него отвечаешь, — говорит отделенный, и Латышев выволакивает немца из котлована, а отделенный и Сергей Митрофанович подталкивают пленного снизу. На плечах у немца они видят офицерские погоны, и настроение поднимается у них еще на десять градусов...

Командир роты приказывает препроводить немца в батальон, батальонный созванивается с командиром полка и направляет его дальше, и на рассвете Латышев вводит пленного в блиндаж

полковника. Полковник ждет их, сидя в накинутой на плечи бекеше. Он встает и благодарит Латышева за службу.

По глазам полковника видно, что он рад пленному так же, как радовался ему отделенный. Латышев слышит, как полковник говорит начальнику штаба, что лучшего новогоднего подарка для Владимира Петровича и представить нельзя. И Латышев вспоминает, что Владимир Петрович — это командующий армией.

Через несколько дней начались бои за противотанковый ров. Сотни орудий одновременно рывкнули на раннем рассвете. Ударили полковые пушки, заработали артиллерийские и минометные полки, эсминцы, вмерзшие в невский лед, послали снаряды в Красный Бор, Ям-Ижору и Путролово. Полчаса длилась эта буря, а потом артиллерийская подготовка перешла в артиллерийское наступление: пехотинцы помогали артиллеристам перетаскивать пушки, и пушки шли вместе с пехотой, останавливались, рывкали и двигались дальше. Лежа на снегу, саперы ножницами резали проволоку, проделывая проходы в немецких заграждениях.

Наступление развертывалось одновременно на трех участках, и к полудню уже несколько дивизий втянулись в бой. Был здоровый мороз, пронзительный, ледяной ветер, и пехота наступала по голой, открытой равнине, а немцы, опомнившись после первого удара, сопротивлялись упорно, и сотня метров, отделявшая роту от противотанкового рва, казалась непреодолимой.

Перед началом наступления бойцам выдали водку и по куску шпика, и это помогло в первые минуты не чувствовать холода. Но когда рота залегла между своими траншеями и рвом, когда снежные бурунчики заплясали перед глазами Латышева, когда он увидел, как Люся, ползущая на животе, тащит за собой на волокушках отделенного, а отделенный машет рукой и указывает на ров, он почувствовал холод и понял, что лежать нельзя. Холод прошел по нему, как электрический ток, от головы до пят, и это был не мороз, не зимний холод, а какой-то внутренний, веселый, отчаянный холодок: и Латышев был

первым вскочившим на ноги и бросившимся вперед.

Десяток бойцов скатился в ров, а остальные остались на снегу, и убитые мгновенно коченели, а раненые ползли назад, боясь остановиться, потому что остановиться — значило замерзнуть.

И вот — ров. Промерзший, изрытый норками и траншеями, словно изъеденный червями. Он покрыт почерневшим снегом, усыпан гильзами, металлическими пулеметными лентами, пустыми консервными банками, брошенными винтовками. Громадный немец без шапки, с широко открытым ртом лежит возле входа в землянку, и снег набился ему в глазные впадины и не тает. А рядом не лежит, а сидит еще один немецкий солдат, и хотя он сидит, он тоже мертв, и руки его прижаты к животу, а у ног валяется шмайсер, и Латышев поднимает немецкий автомат и перекидывает себе через плечо.

Бойцы осторожно продвигаются по рву, обследуя землянки и лисьи норы, и, когда доходят до поворота, их встречает ураганный огонь: здесь еще немцы. И бойцы ложатся в снег и тоже открывают огонь вдоль рва, и только Сергей Митрофанович не ведет огня, потому что он убит — первый боец, убитый уже в самом рву...

Новые и новые бойцы проникают в ров, их здесь уже не десяток, а больше сотни, они окапываются, занимают оставленные немцами бункера и траншеи, ходят по рву, жуют на ходу немецкие галеты и обживаются на новом месте.

И уже минометчики лопатами оборудуют огневые позиции для своих «самоваров», хлопочут старшины, военфельдшер выгоняет из офицерской землянки набившихся в нее бойцов, — здесь будет батальонный медицинский пункт. И уже люди знают, что ходить по дну рва нельзя, по нему незримой струйкой текут пули, и за этот опыт заплачено несколькими жизнями.

Во рву, окруженный командирами, появляется полковник. На нем неизменная его бекеша и круглая каракулевая шапочка.

Увидев Латышева, он узнает его и кивает:

— Жив?

— Жив, товарищ полковник!

— Орел!..

И Латышеву не кажется странным, что его назвали орлом за то, что он жив.

К вечеру в термосах приносят в ров похлебку, и Латышев, потерявший в этой суматохе котелок, пьет горячую жидкость из жестяной кружки, обжигая губы и пальцы. Все идет как надо, и он знает, что и впредь все пойдет как надо, и учит вновь прибывшего бойца, где и как можно ходить, чтобы не попасть под шальную пулю.

Ночью мороз становится еще крепче, а ручеек пуль, посвистывающих во рву, делается зримым: немцы стреляют трассирующими. Нужно чем-нибудь перегородить ров, мешков с песком нет, и живые сооружают перемычку из мертвых. Окоченевшие тела, словно плотина, преграждают путь смертоносному ручейку, и пули ударяются в них с коротким глухим стуком. И Латышеву приходит мысль о том, что даже после смерти товарищи его выполняют свой воинский долг: мертвые прикрывают живых...

Перед рассветом немцы снова овладели рвом. К десяти часам утра их опять выбили, и Латышев увидел труп Сергея Митрофановича на том же месте и в той же позе, в какой оставил его, покидая ров. Командир взвода назначил Латышева отделенным, и теперь, когда он почувствовал ответственность не только за самого себя, а еще за четырех бойцов, у него уже совсем не осталось времени для размышлений.

И опять прошел день и прошла ночь, и восемь раз на протяжении суток немцы контратаковали, и к концу этих суток в отделении у Латышева остался всего один боец. От Колпина ко рву вела теперь траншея, отрытая ночью саперным батальоном, и этот батальон, по окончании ночной работы, отвели в Колпино, выстроили у ограды кирпичного завода и увидели, что его можно свести в роту...

Через неделю полк вывели из рва и отправили в Колпино. Люди провели во рву неделю, но им казалось, что там, на черном снегу, прошла по крайней мере половина их жизни. Так казалось и Латышеву, и когда с потемневшими, обросшими, изможденными лицами люди шли по улицам Колпина, мимо ис-

коверканых домов и посеченных деревьев, они с удивлением смотрели, как жмутся к домам жители города. Немцы обстреливали в этот час Колпино, снаряды ложились и в центре города, и на территории Ижорского завода, и колпинцы ходили по улицам только в случае крайней необходимости, а солдатам полка, только что покинувшего ров, Колпино представлялось самым тихим, самым безопасным местом на всем белом свете!..

Латышева послали разыскать на улице Ленина штаб полка, и, блуждая по подвалам каменных домов, он всюду наткнулся на медсанбаты. Сестры, врачи и носильщики в белых халатах и колпаках пробирались между ранеными, раздевали их, поили горячим чаем, уносили и уносили в операционные. И Латышеву запомнился один тяжело раненый, которого клонило ко сну, а он сидел на носилках и не спал, потому что скоро должны были разносить кашу.

Полк получил двадцать четыре часа на сон, и люди проспали эти двадцать четыре часа, вставая только для того, чтобы проглотить скудный обед и снова завалиться на нарты.

Пришло пополнение, и в отделении у Латышева стало семь бойцов, и все вновь прибывшие оказались ленинградцами. Это были недавно мобилизованные, еще несколько дней назад жившие в Ленинграде, и то, что услышал от них Латышев, заставило тревожно сжаться его сердце. За всю неделю, проведенную во рву, он ни разу не подумал ни о матери, ни об отце, ни о Верочке и, наверно, очень скоро он опять попадет в ров или в такое же теплое местечко, и он начал изобретать способ повидать своих близких.

Он знал, что через два дня на третий его взвод дежурит при штабе полка, а из полка часто посылают бойцов в Рыбацкое, в политотдел армии, и у него возникла надежда повидать мать и Верочку. Он послал письма в город, попросил их приехать пятнадцатого января к пяти часам вечера к заводу «Большевик» и пройти от завода к контрольно-пропускному пункту...

Подходя к шлагбауму, он еще издали увидел мать, стоящую возле будки, закутанную в пуховый платок, надвинутый на самый лоб. Она о чем-то раз-

говаривала с красноармейцем возле шлагбаума, а потом увидела Николку и медленно пошла к нему навстречу, опираясь на палочку, и Николка понял, что она приехала одна.

Они встретились и обнялись возле длинного полосатого шеста, за который нельзя было переступить ни матери в сторону Рыбацкого, ни Николке в сторону Ленинграда. Красноармеец, с которым разговаривала мать, сказал ей:

— Я ж вам говорил, что дождетесь!..

Потом он взглянул на Латышева, и по его виду безошибочно определил, откуда прибыл этот боец. И так как вся армия жила в эти дни одним и тем же, он спросил у него:

— Как со рвом?

— Держим, — сказал Латышев.

— Ну побеседуйте, а я покурю, — сказал красноармеец и ушел в свою будку.

Но они не беседовали, а молчали, и Николка глядел на потемневшие, морщинистые руки матери и совал ей в руку банку консервов, а она пыталась засунуть в карман его полущубка какой-то маленький полосатый узелок с гостинцем. И Николка боялся произнести слово, потому что чувствовал, что голос его может сорваться...

— А почему Верочка не пришла? — спросил, наконец, Николка.

— Не знаю, сынок.

— Ты ее часто видишь?

— Нет, редко.

— Наверно, не получила моего письма?

— Не знаю... Наверно, не получила.

— А как отец?

Мать как-то странно взглянула на Николку.

— Нету... Нету отца, — сказала мать. — Я тебе писала... Нету его, сынок...

Она заплакала, прижав голову к его полущубку, и Николка, еще не понимая смысла ее слов, но уже чувствуя, как оборвалось у него сердце, спросил:

— Как это... нету?

— Убили его... На озере... Я же тебе писала...

Они стояли возле шлагбаума; красноармеец, не желая им мешать, сидел в своей будке, и никого в эти минуты не было на снежной дороге. И Николка обеими руками прижимал к себе голову

матери, а потом стал гладить ее поверх платка, сам не зная, что делает это совсем так же, как делал отец, когда эшелон увозил Николку в Батецкую...

И они стояли и молчали, а потом мать вытерла краем платка свое темное, мокрое лицо и сказала Николке:

— Сядем... Устала я.

Трамваи в городе давно уже не шли, и она не приехала, как писал ей Николка, а пешком прибрела к шлагбауму через весь город: больная, голодная, промерзшая до костей, опираясь на палочку.

Сесть было не на что, и они сели прямо на снег, на краю дороги, и мать рассказала Николке, что живет не одна, а с Юлькой, и что приходится им трудно, и Николка понял, что если мать сказала «трудно», значит дело совсем плохо.

И еще мать рассказала, что продала николкин костюм, и свои платья, и голубой коврик, а про то, что продала пальто Николая Петровича, она не рассказала, потому что боялась опять заплакать. Плакать было нельзя, слезы отнимали последние силы, а нужно было возвращаться домой, опять через весь город.

И Николка тоже не говорил об отце, а подробно спрашивал мать, сколько ей дали за вещи и что она купила на вырученные деньги.

— А кто же эта сволочь, которая в наше время покупает коврики? — спросил Николка.

— Находятся добрые люди, — с горькой усмешкой сказала мать.

К шлагбауму подошла машина, идущая в город, и красноармеец вышел из будки, проверил у шофера путевой лист и крикнул матери:

— Он вас подвезет, гражданка! Садитесь, а то машины сейчас редко ходят.

И Николка помог матери подняться, посадил ее в кузов грузовика, а потом встал на колесо, и они поцеловались, и мать провела рукой по его лицу, как делают слепые. Он еще раз поцеловал ее, колесо под ним начало вращаться, и он соскочил на дорогу. Мать качнуло, она ухватилась за борт и встала на колени... А потом шлагбаум, скрипя, опустился, и Николка, опершись на него грудью, стоял и смотрел вслед гру-

зовику, пока он не скрылся за поворотом.

13

Полк опять вернулся в ров, и по ночам бойцы рыли стрелковые ячейки и ходы сообщения, на волокушах привозили из Колпина броневые плиты и обкладывали ими амбразуры. Сотня шагов отделила ров от прежних позиций рты, но, преодолев эту первую сотню шагов, люди, прошагавшие осенью прошлого года сотни километров по дорогам отступления, прониклись уверенностью, что никакая сила не заставит их теперь снова ступить обратно... Осажденный Ленинград повел плечами... Ров был взят. Но за ним растянулась гладкая снежная равнина, на горизонте, в солнечную погоду, можно было увидеть гряду холмов, и на одном из них дачный поселок — Красный Бор, за который еще предстояло драться. А за Красным Бором была Поповка, а еще дальше — Саблино, и все это было еще у немцев...

Рота обороняла участок возле железной дороги, в том месте, где ров упирался в насыпь. Насыпь была изрыта землянками и траншеями, развороченные рельсы торчали дыбом, шпалы пошли на перекрытия и накаты для немецких блиндажей... Тем, кому приходилось в мирное время ездить из Ленинграда в Москву, было странно и грустно вспоминать, что когда-то по этой насыпи, мимо этих мест проходил поезд с освещенными окнами, проводники разносили чай, отбирали у пассажиров и прятали в кожаные портфельчики билеты, а за окном вагона проплывала эта голая приневская равнина, покрытая низким и частым кустарником...

Отделение Латышева вгрызлось в самую насыпь, и теперь не один Латышев, а все отделение на рассвете выдвигалось вперед вдоль насыпи, и, лежа в кустарнике, неподалеку друг от друга, бойцы с винтовками подкарауливали немцев. И вскоре немцы перестали появляться на насыпи, и тогда Латышев, оставляя трех бойцов на месте, остальных уводил за насыпь, и там они продолжали делать свое дело до тех пор, пока не наткнулись однажды на группу бойцов из соседней части, и старший из этой группы, веселый горбоносый сержант в серой лыжной шапочке, судя по произ-

ношению — кавказец, сказал Латышеву:

— Занято!.. Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок?

И они выбрали закоулок еще подальше.

Они хорошо понимали друг друга — ленинградские ребята из этого отделения. Латышев был среди них старшим не только по званию, — полковник присвоил ему звание сержанта, — но и по возрасту. И встретив на рассвете этих семерых бойцов, гуськом идущих вдоль рва, в белых маскировочных халатах, со снайперскими винтовками, тоже выкрашенными в белый цвет, их можно было принять за спортивную команду.

По ночам, лежа на жестких нарах, Николка думал об отце. Он вспоминал его глаза, руки, походку, его любимые слова, запах его пиджака, его щеки — иногда гладкие, пахнущие тройным одеколоном, иногда колючие, и это были воспоминания совсем далекого детства. Он вспоминал последнюю встречу с ним, и сознание, что отец унес с собой горькое для него, неверное представление о сыне, заставляло Николку подолгу вращаться с боку на бок... Бойцы знали о его горе и не навязывались к нему с утешениями. У каждого было свое горе, и когда кто-нибудь получал известие о гибели близкого человека, товарищи не расспрашивали о подробностях, не говорили пустых и ненужных слов сожаления, и если произносилось слово, то слово это было — «война...» или «война есть война...»

Однажды ему принесли письмо, и бойцы увидели, как, взглянув на конверт, их командир побледнел и опустился на нары. Он вскрыл конверт, придвинул коптилку и начал читать письмо, а потом, не дочитав, перевернул листок, исписанный размашистым почерком, посмотрел на дату, осевшим голосом сказал: «Вот оно что...» и начал читать письмо с начала...

Это было письмо, написанное химическим карандашом на листке из блокнота, под Новый год, опущенное Николаем Петровичем в Кобонах.

Он писал так, словно ничего между ними не было. Расспрашивал о здоровье, о службе. Рассказывал о себе. Беспokoился о матери. И только в самом конце он писал. «Неладно мы с тобой тогда попросались. Я об этом не

жалею. Я хочу, чтобы ты понял одно: надо быть честным и в большом, и в малом...»

— Плохое известие, — осторожно сказал один из бойцов.

— Нет, — сказал Николка, не поднимая глаз, — нет, ребята, известие очень хорошее...

Как-то Латышева вызвали в штаб полка. Он уже собрался в путь, но его задержал старшина и с таинственным видом повел в свою землянку.

— Приказано одеть тебя с ног до головы во все новое, — сказал он многозначительно. — Поедешь в город.

— Зачем?

— В полку узнаешь.

Он пришел в Колпино и увидел во дворе дома, где располагался штаб, человек десять бойцов и младших командиров, тоже одетых в новенькие шинели. Они сидели на опрокинутых санях и курили, и были вызваны по тому же делу, что и Николка.

— Как ваша фамилия, товарищ сержант? — спросил его маленький, совсем еще мальчишеского вида боец.

Латышев назвал свою фамилию, и боец поглядел на него с уважением, и все сидящие на санях тоже поглядели на Латышева.

— Слышали, — сказал боец, — фамилию вашу слышали, а видим в первый раз.

— Откуда же вы могли слышать? — спросил Латышев.

— От политрука. Ведь вы же вроде как наш учитель...

Фамилия бойца была Симанчук, звали его Григорий, и он тоже был снайпером, или, как называли их в то время, истребителем немцев. И все эти бойцы, пришедшие в штаб из разных батальонов, были снайперами; они уже знали, что им предстоит поездка в город на фронтовой слет истребителей. Внешне они ничем не выдавали своего волнения, по-солдатски сдержанно переговаривались, курили, терпеливо ждали, когда их позовут к полковнику.

Но их так и не позвали, а полковник сам вышел к ним во двор, поздоровался с каждым и поздравил с высокой честью — представлять полк на фронтовом слете. И Латышев увидел, что полковник знает не только его, но и Симанчука, и всех, что стояли сейчас пе-

ред ним навытяжку, поспешно скомкав и отшвырнув свои цыгарки.

Им подали машину — крытую фанерой пятитонку, и, начиная с той минуты, когда грузовик покатила по улицам Колпина, и кончая минутой, когда Латышев вышел из ленинградского Дома Красной Армии, он жил, как во сне...

Их провели в громадный, украшенный знаменами зал. Бойцы входили сюда строем, и хрустальные гроздья тяжелой люстры звенели под потолком. Тут все было непривычно: и этот ровный, сильный свет, и теплый комнатный воздух, и бархатные дорожки между рядами стульев—такие вишневые, нарядные, что ступать по ним казалось кощунством. Но это казалось только в первую минуту, а потом возникло другое чувство: и зал, и свет, и драпировки на высоких окнах — все это для нас, и кто-кто, а уж мы-то заслужили право на все это. А дорожки... что дорожки? Дорожки почистят!.. И керзовые солдатские сапоги бухали по этим дорожкам.

В зал шумно вваливались новые и новые бойцы, и вскоре набралось их, наверно, более тысячи. Они рассаживались по рядам, приглушенно переговаривались, кашляли хриплым окопным кашлем, и если кто-нибудь вставал с места и не придерживал откидного сиденья, оно поднималось и хлопало, как пистолетный выстрел. И людям, столько месяцев не видевшим ничего, кроме промерзших земляных стен, снежной равнины и студеного неба, представлялись невероятными и люстра, и лепной потолок, и этот сверкающий паркетный пол с бархатными дорожками. Больше всего Латышева поразили почему-то именно дорожки...

Ждали командующего. За столом президиума щеголеватый лейтенант раскладывал какие-то бумаги. Зал притих, но лейтенант, сделав свое дело, ушел, и в зале опять поднялся говор и захлопали откидные сиденья. «Ехав козак на чужбину, дома покинув дивчину», — затянул Симанчук высоким, почти девичьеским голосом, и в дальнем конце зала дружно и благодарно подхватили песню.

— Латышев!..

Латышев обернулся. За его спиной сидел капитан из армейской газеты. Одет он был уже не в ватник, а в новень-

кую суконную гимнастерку, и только неизменная полевая сумка попрежнему была при нем и лежала на острых коленях.

— Здравствуйте, товарищ капитан! И вы с нами? — Латышев обрадовался ему, как старому знакомому.

— А почему бы и нет? По траншеям вместе, а сюда — ты один? Не выйдешь!

Они посмеялись, и капитан объяснил Латышеву, что к вечеру должен дать в газету статью о слете.

— Что же ты о матери-то не спрашиваешь?

— Я думал — вы позабыли, не до этого было...

— Видел твою матушку с месяц назад. Работает в госпитале. Рассказал ей о тебе все, что смог. Славная она женщина...

— Спасибо, товарищ капитан, спасибо вам большое.. А как вы думаете, позволят после слета съездить домой?

— Позволят. Съездишь домой.

Кто-то позвал капитана, он встал, кивнул Латышеву и затерялся среди бойцов.

Вытянув ноги, Латышев на минуту закрыл глаза. Локти его лежали на ручках кресла, а ладони оказались прижатыми к ушам. И непроизвольно, совсем как в детстве, он начал отводить и снова прижимать к ушам ладони, и от этого шум переполненного зала стал волнообразным: «mmm-aaaa, mmmm-aaaa, mmmm-aaaa...» Ноги, спина, шея — все тело его отдыхало в эту минуту, и в то же время он был напряжен, и это напряжение было тревожным и приятным. Его не покидало чувство, что сегодня произойдет что-то неведомое, что-то очень хорошее, что останется на всю жизнь...

Он снова отвел от ушей ладони, но в зале было тихо. Он открыл глаза. Из-за боковой кулисы направлялась к столу группа военных. Впереди, чуть наклонив голову, быстро шел коренастый, небольшого роста генерал, и вдруг бойцов как бы взмыло. — они встали все разом, и в громе солдатских аплодисментов потонуло щелканье откидных сидений... Это был Жданов.

Стали выбирать президиум, и в числе прочих Латышев услышал свою фамилию. Ему показалось, что он ослышался, но Симанчук сказал—«пойдем», и они стали выбираться из рядов. Он

сидел за столом президиума справа от Симанчука, а еще правее сидел генерал-лейтенант Жданов, опершись подбородком на маленький крепкий кулак, и пристально, не отрываясь, глядел в зал. Поднялся командующий фронтом и открыл слет истребителей...

— Товарищ Латышев, расскажите, как вы бьете немцев,—обратился Жданов к Латышеву, когда начали выступать бойцы. Предложение было неожиданным. Было неожиданным и то, что Жданов знал его фамилию. Латышев встал, одернул гимнастерку и поднялся на трибуну.

Он отчетливо видел сидящих в первом ряду, а дальше был темный, словно опрокинутый зал, и только по легкому шуму, по скрипу кресел, по согласному, ровному дыханию тысячи людей можно было догадаться, что зал переполнен. Юпитеры ударили ему прямо в глаза, он на мгновение ослеп и растерялся, но опять услышал уже знакомый, успокаивающий голос Жданова:

— Волнуетесь?

— Так точно, волнуюсь, — ответил Латышев, поворачиваясь к столу президиума. Он хотел сказать это тихо, а получилось громко, и в зале доброжелательно засмеялись.

— А вы не волнуйтесь. Снайпер не должен волноваться. Верно?

Теперь рассмеялся уже весь зал, и Латышеву стало легко и спокойно. Он начал говорить и с удивлением заметил, что слышит собственный голос так, словно этот голос чужой. Это не мешало, а просто было очень любопытно... Латышев рассказал, как он и его бойцы ухаживают за своим оружием, как они заранее готовят запасные позиции и меняют их время от времени, как однажды один из его бойцов несколько часов подряд охотился не за живым немцем, а за фанерным манекеном, который немцы высунули из траншеи, чтобы привлечь снайперский огонь и обнаружить нашего снайпера. Им это удалось, и легковерный боец получил пулю в плечо и выбыл из строя.

Потом Латышев услышал, что рассказывает о первом немце, которого он подстрелил на насыпи железной дороги. Немец согнулся пополам и грузно сел на рельсы... Вслед за этой картиной в памяти возникло охватившее его тогда чувство: «Коля, будь челове-

ком!», — сказал ему Василенко, и он впервые почувствовал себя человеком... И Латышев рассказал обо всем этом, рассказал про Василенко и про его смерть и, рассказывая, понимал, что говорит о самом главном. И когда он кончил и сел, а в зале зашумели и захлопали, ему захотелось на минуту остаться одному, наедине с мыслями, которые он не успел высказать.

А на трибуну поднимались бойцы, и каждому было о чем рассказать; Григорий Симанчук говорил по-украински, и хоть не все было понятно в его речи, основное Латышев понял: этот паренек пробьет себе путь на Полтавщину.

Потом их вызывали по одному и вручали награды, и в левой руке у Латышева очутилась коробочка с орденом Красного Знамени, а в правой — новая, поблескивавшая темным лаком, снайперская винтовка, и к ложу была привинчена металлическая дощечка с надписью, что винтовка — подарок Николаю Николаевичу Латышеву от Андрея Александровича Жданова.

Это был необычайный день, когда исполнялось все, о чем бы только Латышев ни подумал. И когда за обедом он подумал: хорошо бы хоть на часок забежать к своим, повидать мать и Верочку, — объявили, что желающие могут уйти до завтра в город, что увольнительные уже заготовлены.

В гардеробе старичок-гардеробщик подал Латышеву шинель.

— Не беспокойтесь, папаша, я сам...

— Ничего, ничего, давай помогу... кавалер! — и старичок усмехнулся, перехватив взгляд Латышева.

Скосив глаза, Латышев разглядывал орден, и ему как-то не верилось, что здесь нет никакой ошибки, что такой же орден был у Чапаева, у Щорса, у Котовского...

С винтовкой через плечо, в шапке, заломленной на затылок, пошел он через пустынное Марсово поле и Кировский мост к себе на Петроградскую.

В Ленинград их привезли в крытом грузовике, и он только теперь впервые разглядывал город, в котором не был с осени. Тогда он не нашел в нем перемен, теперь же узнавал его с трудом. Обшарпанные, ободранные трамваи с

выбитыми стеклами стыли на занесенных снегом рельсах, и снег сугробами лежал внутри трамваев. Снег лежал на мостовых, на панелях, на карнизах и на крышах домов; его было много, и дома от этого казались ниже и на перекрестках глядели друг на друга черными дырами амбразур. Уже вечерело, в городе становилось темно, а где-то за Невой, над Выборгской, в небе стояло розовое зарево далекого пожара.

Николка поднялся и остановился на площадке. Здесь тоже было выбито стекло, на подоконнике лежал снег, ветер гудел в пролетах лестницы. На двери квартиры висел замок, и Николка сообразил, что мать дежурит в больнице. Он подошел к двери напротив. Тут замка не было. «Сейчас постучу», — подумал Николка и постучал. «Сейчас увижу», — подумал он и услышал, как колотится сердце.

— Шура, ты? — спросила из-за двери Верочка.

— Нет, это я... Николка.

Он услышал, как Верочка ахнула, потом услышал, как звякнула цепочка, дверь распахнулась, Верочка пошла к нему навстречу, и ноги у нее подгибались. Она была в теткиной «офте и лыжных штанах, а он стоял перед ней в полушубке, залепленном снегом. Она припала к этому полушубку, и он обнял ее, поднял ее голову и стал целовать ее рот, и глаза, и сломанную бровку... Потом он сказал:

— Идем же отсюда, идем... Мороз.

И сказал так, будто именно эти слова давным-давно приготовил для встречи.

Они вошли в комнату, и Верочка то плакала, то смеялась, то принималась расстегивать его полушубок, и оба говорили какие-то нелепые слова, и вместе начинали говорить, и вместе умолкали... Верочка любила его, и в эту минуту ей казалось, что ничего не произошло в ее жизни, что кончился какой-то тяжкий, долгий и страшный сон.

В комнате было тепло, она сказала:

— Стань к печке, согрейся.. Ты, наверно, голодный?

И хотя он возражал, она стала накрывать на стол, и на времянку поставила чайник.

И вот они сидят за круглым столиком, друг против друга, и Верочка подкладывает ему на тарелку жареной

картошки со шпиком, и Николка не удивляется, что у Верочки все это есть. Так и должно быть!.. Потом спохватывается и спрашивает:

— А ты чего же?

— Я уже поела, спасибо. Вот вскипит чайник, будем чай пить...

И говорит она это тоже с каким-то особым значением, как говорил Николка: «Идем же отсюда... мороз».

Она пересаживается к нему, садится с ним рядом. Она сама вытирает ему губы ладонью и снова целует Николку, и он отвечает ей так, что Верочка говорит:

— Не надо...

— Нет, надо, надо...

Они лежат под одеялом — усталые, и счастливые, и уже немножко чужие. То, что впервые открылось Николке, Верочке открылось раньше. Он об этом смутно догадывается. И она тоже знает, что ему это известно. Они об этом не говорят. Он старается не думать об этом. Голова Верочки лежит на его руке, и в темноте он не видит и в то же время как будто видит ее взгляд. Он спрашивает:

— Ты давно встречала маму?

Верочке стыдно сказать, что давно. Она говорит:

— Позавчера. На лестнице. Она всегда куда-нибудь торопится...

— Если завтра утром не вернется, пойду к ней в больницу.

— Пойдем вместе.

И они засыпают.

Утром Верочка снова кормит Николку шпиком.

— Пойду погляжу, не пришла ли мама, — говорит он и выходит на площадку. — Нет, она еще не вернулась.

У Верочки сегодня выходной день. Она рассказывает Николке о столовой, о подругах, потом спрашивает о нем.

— Расскажи все подробно и с самого начала, — говорит Верочка. — Начни так: занавес открывается... и рассказывай!

— Занавес открывается, — начинает Николка, — занавес открывается...

Но слишком много было всего, и ему не рассказать всего, что было, и он говорит:

— Потом... Пойду взгляну — может, мама пришла.

На двери попрежнему висит замок. В разбитое окно намело снегу, снег лежит

перед дверью и на замке, и кажется, что сюда уже давным-давно не входили.

Он подходит вплотную к двери и видит, что в замок вложена записка, свернутая трубочкой. Он достает ее, разворачивает и читает:

«Ключ у меня и мальчик у меня. Никифоров».

Никифоров — это дядя Митя, дворник.

«Ключ она оставила у него, — сообщает Николка, — и мальчика, Юльку, тоже оставила у него... Но для кого эта записка?»

Он спускается вниз и входит в дворничью. С детских лет осталось у него воспоминание о дворничьей, как о маленькой комнатке, в которой всегда жарко, словно в бане. Теперь он увидел просторную комнату и понял, что она стала просторной потому, что в ней мало мебели. «Сожгли», — подумал Николка. С лавки молча смотрели на него двое детишек — мальчик и девочка, смиренно сидевшие под рыжим тулупом. В дворничьей было холодно.

— Вам кого? — спросил мальчик.

— Дядю Митю. Дворника.

— Сейчас придет. За водой пошел.

Лицо у мальчика было очень серьезное, голос тоже.

Пришел дворник и, гремя ведрами, поставил их на пол. Он нисколько не удивился Николке.

— Здравствуй, дядя Митя. Не узнаешь?

— Узнаю, — сказал дворник без всякого выражения.

— Ключи у вас? Мама сегодня придет, не знаете?

Дворник впервые взглянул на Николку с интересом.

— Николай Николаич, — сказал он, садясь на лавку, — матушка ваша умерла, вот уже дней десять. Как загнула возле плиты, так больше и не проснулась. Да, уже дней десять... И я вот вслед за ней собираюсь. Мальчикато возьмете? Кормить нечем.

Николка спросил:

— Когда?

— Что когда?

— Когда умерла?

— Дней десять...

Николка повернулся и вышел из дворничьей. Он стал подниматься вверх по лестнице, повторяя тупо: «Дней десять... дней десять... дней десять...» На

площадке он снова увидел замок, уже опять занесенный снегом, и сказал: «Мама...»

Потом он вошел к Верочке. Она была в соседней комнате, услышала его шаги и сказала через дверь:

— Я сейчас, милый. Только причешусь.

Он прошел в эту комнату и увидел, что Верочка причесывается перед зеркалом. Волосы у нее свисали на лоб. Она обернулась и сказала:

— Я сейчас.

— Когда ты видела маму? — спросил Николка.

— Позавчера... Не пришла?

— Когда ты ее видела?

— Позавчера, я же тебе говорю. Или, может быть, поза-позавчера?..

Что-то в его голосе заставило ее откинуть волосы со лба и взглянуть на Николку.

— А что?

— Мама умерла десять дней назад...

Верочка молчала. Николка смотрел теперь не на нее, а на стену. На стене висел голубой коврик. Тот самый. Ошибиться было невозможно.

— Откуда у тебя мамин коврик?

Он говорил очень монотонно. Верочка испугалась этой монотонности.

— Коврик?.. Мне его мама подарила.

— Когда? Позавчера?

— Не сходи с ума, — сказала Верочка, — причем тут коврик? Он тебе нужен? Возьми.

Ей уже было ясно, что все рухнуло, лицо у нее стало упрямое, злое. Николка отвел глаза от коврика, поглядел на Верочку, и не узнал ее.

— Нет, он мне не нужен, — сказал Николка, и глаза у него посветлели, как у отца. — Он нужен тебе.

Он вышел из комнаты и, проходя мимо стола, увидел на нем сковородку с остывшим бледным шпиком. Его замутило. Он накинул полушубок, взял винтовку и спустился во двор.

Здесь, во дворе, тошнота не прошла, а усилилась. Вероятно, он просто отвык от жирного... Он уткнулся лбом в промерзшую стену...

Латышев вышел на улицу, потом вернулся и вошел в дворничью. Дворник понуро сидел рядом с ребятами.

— Мальчик поедет со мной, — сказал Латышев.

— Вот и хорошо. Кормить-то нечем.

— Юлька, собирайся.

— На совсем? — серьезно спросил мальчик.

— На совсем.

Он помог мальчику одеться. Мать заботилась о нем. Она отдавала ему последнее свое тепло. Мальчик остался ему в наследство...

Они пошли по городу. Он вел мальчика за руку. У Лавры им удалось сесть на попутную машину.

— Куда мы едем? — спросил Юлька.

— На фронт.

— Зачем?

— Воевать.

— И я буду воевать?

— И ты будешь воевать.

— Это хорошо, — сказал Юлька, умащиваясь поудобнее.

Латышев ему понравился. Он любил, когда с ним разговаривали, как со взрослым.

15

Проходя через Колпино, Латышев завернул в штаб полка и попросил дежурного доложить о нем полковнику.

— Товарищ полковник, — обратился он к командиру полка, лежавшему на раскладушке, — разрешите по личному вопросу...

— Разрешаю.

И Латышев рассказал полковнику о мальчике.

— Где же он? — спросил полковник.

— Привез с собой.

— Ну что ж, я думаю, что он нас не обесит. А ты как думаешь?

— И я так думаю...

— Позови-ка его сюда.

Юлька вошел, дожевывая на ходу кусок хлеба. Ребята из комендантского взвода успели его накормить.

— Как тебя звать? — спросил полковник. Он хотел спросить ласково, но голос у него был сипловатый, и Юлька оробел.

— Звать-то тебя как?

— Юлька.

— А дальше?

— Что дальше?

— Звать тебя Юлька. А фамилия?

— Батов.

И у Юльки сделались виноватые глаза, потому что он знал, что сейчас по-

следуют другие вопросы, на которые ответить он не сумеет. Но таких вопросов не было.

— Тебе у нас нравится?

— Нравится.

— А я тебе нравлюсь?

— Не знаю, — честно ответил Юлька.

Полковник ожидал другого ответа и немножко опешил.

— Верно, — сказал он, — это я спросил преждевременно. Ну ладно, проживешь — присмотришься...

— А где я буду жить? — спросил в свою очередь Юлька.

— А где бы ты хотел?

— С дядей Колей.

— Нет, это не выйдет. На передовую я тебя не пушу. Останешься в батальоне. А дядя Коля будет тебя навещать. Договорился?

— Договорились.

Они вышли от полковника и направились в батальон, а полковник, оставшись один, усмехнулся и подумал, что совсем не умеет разговаривать с детьми.

В батальоне, когда Латышев собрался уходить, Юлька сплеховал: он цепко ухватился за полу его полушубка и заревел во весь голос.

— Ну чего ты, дурачок? Ну чего ты? — утешал его Латышев, неумело глядя мальчика по голове. — Через три дня приду к тебе, мы здесь дежурить будем.

Но Юлька не отцеплялся от полушубка, и тогда комбат строго сказал:

— Товарищ Батов!..

И Юлька понял, что этот человек шутить не любит.

А Латышев один зашагал через Третью колпинскую колонию в ров.

До сих пор он был все время на людях. По Ленинграду он шел, а потом ехал на грузовике с мальчиком, отвечая на его вопросы, держа его за руку, и это ему помогало. В Колпине он беседовал с полковником, рассказывал про Юльку бойцам из комендантского взвода, прощался с ним в землянке комбата. Теперь он шел один по снежному полю, оставив позади последнюю колпинскую развалину.

Ни наши, ни немцы не вели в этот час огня, начинало смеркаться, и снег уже не блестел, а лежал волнистой матовой пеленой. И в этих ранних сумерках, в этой необычной тишине такая тоска подкатила к его сердцу, что он вы-

нужден был остановиться и тихонько, сквозь зубы, застонал.

Иногда он стоял посреди поля, он вдруг почувствовал приближение чего-то неотвратимого, быстро шагнул вперед, но в глаза ему ударила ослепительная, словно ацетиленовая, вспышка, и одновременно с этой вспышкой что-то плотное и непроницаемое залепило ему уши, и снег, поднявшись стеной, мягко лег ему на лицо...

Он очнулся на операционном столе, открыл глаза, и перед ним поплыли желтые и зеленые круги. От их мелькания у него закружилась голова, он снова закрыл глаза и спросил:

— Винтовку... подобрали?...

— Подобрали, милый, подобрали...

Голос был женский, очень знакомый и такой в эту минуту нужный, что он улыбнулся этому голосу. Но улыбки не получилось, и те, кто стоял над ним, увидели не улыбку, а гримасу, а он снова впал в беспамятство.

Единственный снаряд, грохнувший в этот тихий час, оглушил и ранил единственного человека, стоявшего посреди поля... Латышева подняли артиллеристы, возвращавшиеся с передовой, и принесли в свой полковой медпункт.

Его оперировали под общим наркозом, из-под правой лопатки извлекли четыре осколка, и, проснувшись после наркоза, он до самого отправления к санитарному поезду был как пьяный. Все, что происходило в эти часы, ничуть его не удивляло, и ему даже казалось, что стоит только чего-нибудь пожелать, как это немедленно произойдет. И когда над ним склонилась доктор Галя, он подумал, что иначе и быть не могло, и тем же движением, как это сделал когда-то Василенко, положил ее руку себе на глаза. У нее была маленькая, твердая ладонь, она не отнимала ее, и он спустил ее руку пониже, так, чтобы можно было касаться ладони губами. Он не чувствовал своего тела, оно было невесомым, и все, что проносилось у него в голове, он немедленно произносил вслух, потеряв над собой всякую власть... Он не знал, что после наркоза это происходит с каждым, и ему не казались нелепыми или неуместными слова, которые он произносил. Наоборот, ему казалось, как это кажется детям, что собеседник отлично знает все, о чем он говорит, что не требуется никаких пояснений...

Доктор Галя понимала его состояние и отвечала ему в тон. Она не забыла Василенко, и ночь в лесу под Александровкой, и на глазах у нее стояли слезы, а лицо от этих воспоминаний стало совсем молодым.

— Отделенный, хоть и смелый парень, а дурак, верно, — сказал Латышев.

Доктор Галя не знала, о ком идет речь, но охотно согласилась.

— Конечно, дурак. Хоть и смелый, а дурак...

— Он из Златоуста, — сказал Латышев. — Дурак из Златоуста.

Это показалось ему очень смешным, но смеяться было больно, и за него засмеялся доктор Галя.

— Я тебя люблю, — сказал Латышев, — выйди, пожалуйста, за меня замуж.

— Что ты, милый, что ты!.. Я ведь старая баба.

Но Латышев скривил губы, как в детстве, когда собирался заплакать, и доктор Галя поспешно сказала:

— Обязательно выйду, обязательно! Лежи тихо.

— Вот и хорошо, — сказал Латышев и заснул.

А доктор Галя еще посидела возле него, а потом тихонько сняла руку с его лица и подошла к другому раненому...

В санитарный поезд раненых переносили на тех же носилках, на которых они лежали в медпункте, так что Латышев даже и не проснулся. Не проснулся он и в машине, которая перевезла его через Ладогу. Он проснулся на следующее утро, когда уже другой поезд шел по Большой земле.

Он вспомнил вчерашний день, как вспоминают сон, и, только расспросив соседа, убедился, что доктор Галя была на самом деле.

Он лежал на левом боку, а сосед на спине, и он мог сколько угодно шевелить ногами, а сосед был по грудь закован в гипс. Это был черномазый парень с цыганскими глазами, и после того, как сестра накормила его кашей и отошла, он просунул руку под одеяло и извлек оттуда начатую пол-литровку.

— Хлебнем? — спросил он, подмигнув своим разбойничьим глазом, и протянул бутылку. — Только быстро, а то Нюрка отнимет!

Латышев сделал из горлышка несколько глотков.

— Стоп! — сказал сосед. — Давай сюда.

Он допил остальное, снова спрятал уже пустую бутылку под одеяло, и они разговорились.

Этот парень оказался бойцом из соседней части, так что у них нашлись и общие знакомые и многое, что было известно обим, потому что его ранило во рву и он тоже брал этот ров, — будь он трижды проклят! — но только часть Латышева наступала правее железной дороги, а его — левее... У него были тяжелые осколочные ранения ног, и от боли он спасался водкой.

— Как же ты ее досташь? — спросил Латышев, видя, что сосед не только ходить, но и пошевелиться почти не может на своих носилках.

— Секрет изобретателя, — загадочно ответил тот и вскоре захрапел.

Когда Латышев лежал неподвижно, рана у него не болела. Но лежать все время неподвижно было тоже мукой, так что время от времени он ворочался, и тогда в глазах у него мутилось. Это была физическая боль. Другой боли не было. Он открыл в себе способность думать только о том, что не причиняет боли, и эта способность была для него тем же, чем для соседа была водка.

Рядом с ним лежала его винтовка, потому что кто-то из артиллеристов успел разглядеть на ней металлическую дощечку с именем Жданова. Ему доставляло удовольствие ощупывать рукой ложе винтовки и находить холодную пластинку. Еще ему нравилось вспоминать лицо доктора Гали и ее ладонь на своих губах, а разговора с ней он не помнил, и это было его счастьем, иначе он проклял бы себя за пьяную болтовню.

В вагоне было прохладно, и на Латышеве, поверх повязок, была надета его гимнастерка. Он достал из кармана бумажник и разложил у себя на груди его содержимое. Здесь был его комсомольский билет, и комсомольский билет Василенко, и уже потрепанное письмо отца, и фотография матери, и совсем маленькая фотография Верочки. Он пожалел, что нет карточки отца, а фотографию Верочки сначала долго рассматривал, как рассматривают незнакомое лицо, а потом, без злобы и сожаления, разорвал пополам, и еще раз пополам, и незаметно уронил на пол. Мысли о

Верочке вернулись к нему уже в госпитале, но сейчас они почему-то не беспокоили Латышева.

По левую руку от него лежал парень с цыганскими глазами, а по правую — немолодой боец с заурядным, незапоминающимся лицом. Пуля сидела у него в легком, и на вторые сутки пути ему стало хуже. Он бранил сестру, дышал тяжело и хрипло, нарочно опрокинул тарелку с супом, когда ему принесли обед. К вечеру он потерял сознание, и сестра подходила к нему со шприцем и делала уколы. После каждого выдоха в груди у него что-то долго клекотало и свистело, а ночью он стал метаться на своих носилках; несколько раз приходил врач, сестра дежурила возле раненого, не отходя ни на минуту. И Николка слышал, как этот человек, который днем материл няньку из-за какого-то пустяка и опрокинул тарелку, теперь повторял в забытьи одну и ту же фразу:

— За тебя, родной Ленинград... За тебя, родной Ленинград...

«Неужели настанет такое время, — думал Латышев, — когда я буду об этом рассказывать?.. И неужели найдутся люди, которые мне не поверят?..»

На рассвете, когда поезд стоял на какой-то станции, раненого с пулей в легком вынесли из вагона.

Санитарный поезд шел медленно и очень долго. Больше десяти дней были они в пути и наконец прибыли в большой сибирский город.

Здесь, во время выгрузки, Латышев раскрыл секрет своего соседа слева. Когда носильщики подошли к этому парню, они обнаружили, что, кроме одеяла и нижней рубашки, на нем ничего нет. Он лежал в гипсе по грудь, в нижней рубашке, под тоненьким байковым одеялом, а все его имущество — гимнастерка, галифе, шинель, вещевого мешок — исчезло за время пути...

— Не брани меня, родная, — отбивался раненый от наседавшей на него Нюры, — пропил! Пропил, окаянный!.. Я бы и гипс пропил, да никто не берет...

— Как же ты пропил? Ведь ты же лежачий!

— Ходячие помогли. Боевая выручка...

— Что же мне с тобой делать?

— Понять. Только понять.

Латышев лежал в тихом загородном госпитале, и его дважды оперировали,

но несколько мелких осколков так и остались в его теле. И один из них прощупывался, если он нажимал пальцем под правой лопаткой.

На стене палаты висела карта, утыканная красными флажками. Это была линия фронта — от Белого до Черного моря — и Латышев, глядя снизу вверх, находил кружочек, обозначающий Ленинград и почти вплотную окаймленный флажками. Ему казалось, что он смотрит на Ленинград с какой-то невероятной высоты. Он представлял себе ров, и Третью колпинскую колонию, и стадион, и насыпь железной дороги, и ничего этого не было на карте. И ему было досадно, что другие, прибывшие в госпиталь не с Ленинградского фронта, видят только черный кружочек и не знают, что скрывается под этим кружочком.

Иногда, — чаще всего это случалось по ночам, — он рассказывал товарищам о Ленинграде, о голодной армии, о боях за противотанковый ров и, рассказывая, понимал, что не умеет передать и малой доли того, что знает, а раненые слушали его, затаив дыхание, боясь помешать рассказчику кашлем или скрипом...

Но желание говорить приходило к нему редко. Он мог по целым дням ни с кем не перемолвиться словом и лежать на своей койке, безучастно глядя в потолок. В палате было очень покойно и тихо, время тянулось медленно, особенно после ужина, когда спать не хотелось, а лампочка под марлевым колпаком светила тусклым, каким-то дремотным светом. Латышев закрывал глаза и, если к нему обращались, не отвечал, стараясь дышать глубоко и ровно, будто спит. Но он не спал и не думал, а только прислушивался к чувству, которое возникло в нем месяц назад, когда он поднялся из дворницкой к Верочке и увидел, как она причесывается перед зеркалом...

Это чувство сначала потрясло его, а потом затихло и прижилось, как зубная боль. За Третьей колпинской колонией оно исчезло вместе с сознанием, когда его ослепила ацетиленовая вспышка, а снег поднялся и плотно лег на лицо. Но в поезде оно вернулось и с тех пор уже не покидало... Это было одиночество.

Койка Латышева стояла последней в ряду, и, если он поворачивался на пра-

вый бок, взгляд его упирался в стену, покрашенную голубой больничной краской. Он заметил, что, если прищурить глаза, стена уплывает куда-то, начинает клубиться, как дым, и ему казалось, что он тоже плавает, и воображению легко было работать в этой клубящейся головокружительной синеве... Перед ним возникали картины прошлого, появлялись и пропадали знакомые образы, и все это было таким живым, таким настоящим, что мысленно он вел долгие беседы то с матерью, то с Василенко, то с отцом, а Верочке он говорил «уйди прочь»; губы у нее сперва начинали дрожать, а потом надменно кривиться, и она исчезала. Он думал о ней без ненависти. Было только презрение, и еще что-то, похожее на жалость... С доктором Галей ему постоянно не везло: никак не удавалось представить ее лицо, вспомнить ее голос. Это было похоже на музыкальную фразу, которая живет в человеке, которую он слышит, но никак не может напеть.

Он был самым молодым в палате. И раненые, и сестры. — все это были солидные, степенные люди. Раненые разговаривали вполголоса, сестры бесшумно ходили между койками в мягких войлочных туфлях, разносили порошки и таблетки, брали кровь, ставили банки и градусники, вычерчивали на картонных дощечках кривые температур. Одна из них настойчиво заговаривала с Латышевым, пытаясь выведать, что его гнетет, но на вопросы он отвечал односложно, а от разговоров о семье уклонялся вежливо и упрямо.

Однажды он вмешался в разговор соседей. Речь шла о способах вернуться после выписки в свою часть. Говорили, что надо получить для этого письмо от командира части, и чтобы в письме было затребование, а то попадешь в маршевый батальон и тебя загонят бог знает куда... Латышев сказал:

— А не все ли равно, где воевать? Только бы в строй, а на каком фронте воевать—это для меня безразлично...— и отвернулся к стене.

Выздоровление пришло неожиданно, в одни сутки.

Началось с утра, когда, открыв глаза, Латышев увидел, что соседняя койка, пустовавшая уже несколько дней, занята. На ней, укрывшись с головой, лежал вновь поступивший раненый. Он спал.

Латышеву сказали, что прибыл он ночью — командир орудия, самоходчик, раненный в ногу.

— Будет тебе компания, — сказал Латышеву пожилой боец, уже ковлявший по палате, опираясь на кленовый костыль, — а то молчишь, как бирюк. Глядеть тошно.

— Почему же он будет мне компания?

— Да такой же, как и ты.. Вьюноша... Нарочно рядом с тобой и положили. Мне сестра сказала.

Латышев неприязненно поглядел на укрытого с головой соседа, как смотрят на лекарство, и подумал: «Врачи пропи-сали».

Новый сосед не проснулся и к завтраку. Он только замычал и забулькал под одеялом, когда нянька стала его тормозить.

— Ну, и здоров же спать! — восхищенно сказала нянька. — Когда проснется, кликните меня, я ему завтрак разогрею.

Она поставила тарелку на тумбочку и вышла, а Латышев по обыкновению повернулся набок. Когда через полчаса он вновь взглянул на соседа, тот еще спал, но только одеяло было теперь откинута. И раненные с удивлением увидели, как Латышев сел на своей койке, протянул худую руку и стал трясти спящего за плечо.

— Проснись!.. Слышишь?.. Проснись!.. Мореход!

Это был Жора Иванихин, и, когда он проснулся и увидел Николку, лицо у него стало недоуменным и очень глупым.

Они оба не могли еще встать и поэтому обнялись, сидя на койках и перегнувшись над разделявшей их тумбочкой. И долго не могли они спросить друг у друга ничего путного, а раненные смотрели на них и улыбались так, словно это каждому из них довелось встретить товарища...

А потом Мореход рассказал, что он уже давно не Мореход, а Самоход — командир самоходного орудия, что привезли его с Волховского фронта, из-под Синявина, что ни разу не пришлось ему за время войны побывать в Ленинграде, и что Николка — первый из знакомых ребят, кого он встретил за это время.

— А как мать? Как Николай Петрович? — спросил он, когда о себе было рассказано.

— Погибли, — сказал Николка. — Мать — в Ленинграде, отец — на Ладонге...

Мореход помолчал, а потом сказал то, что говорят в подобных случаях солдаты:

— Война...

А Латышев мучительно ждал следующего вопроса, потому что сейчас Мореход обязательно должен был спросить про Верочку.

Но, помолчав, Мореход сказал:

— Так-то...

И он не спросил про Верочку, потому что очень поумнел на войне и понимал, что если Николка о ней не заговорил, стало быть не нужно спрашивать.

И они заговорили о другом, о довоенном, и даже вспомнили, как двадцать второго июня шли на стадион и какие команды должны были тогда играть.

— Ничего, скоро сыграют, — сказал Мореход.

Они наспех проглотили обед и проговорили до ужина. А после ужина Латышев получил письмо.

Он с недоверием разглядывал конверт, потому что писем ждать было не откуда, — а вот пришло письмо.

Ему писали бойцы его отделения и общаки, как узнали о его ранении, как раздобыли адрес, как до сих пор не верят, что адрес правильный, но все же решили написать, хотя не надеются, что письмо придет по назначению... Они спрашивали о его здоровье, писали, что они там же, где и были, но что многое изменилось, и спрашивали, скоро ли он вернется в часть. По поручению комбата, они передавали привет и сообщали, что мальчик, которого он привез из города, жив-здоров и тоже ждет его возвращения...

А ночью, когда Латышев, глядя в стену, привычно поплыл в клубящейся голубизне, он вдруг совершенно отчетливо услышал голос доктора Гали, а вслед за голосом возникло ее усталое, милое лицо, не такое, каким оно было в полковом медпункте, потому что всё, что было в медпункте, навсегда исчезло из его памяти, а каким было оно под Александровкой, в осеннем лесу, на сумрачном, дождливом рассвете.

— Я очень одинок, — мысленно сказал Латышев доктору Гале. Но он уже и сам не был в этом уверен.

— Что ты, милый, что ты, — испуганно ответила доктор Галя, и Латышев мог поклясться, что именно эту фразу он когда-то от нее уже слышал...

И он понял, что не все потеряно и что не все равно, где воевать, и что всеми правдами и неправдами, но он вернется после выписки на Ленинградский фронт...

16

В пасмурное июньское утро сорок второго года по Невскому шли двое военных — большой и маленький. В одинаковых гимнастерках, в летних пилотках, одинаковым манером сбитых набок, с одинаковыми синими заплочными мешками, — они были так похожи один на другого, что прохожие оглядывались на них с улыбками.

— Куда мы сперва? — спросил маленький.

— Сперва в комендатуру.

Они свернули на Садовую, и большой глубоко вдыхал сырой утренний воздух, а маленький шагал рядом с независимым видом, словно не замечая восхищенных и завистливых взглядов встречаемых мальчишек.

В комендатуре дежурный записал в толстую книгу фамилию большого, поставил штамп на его командировочном предписании и, увидев маленького, привставшего на носки и заглянувшего через барьер, потребовал у него документы. Маленький встал «смирно» и растерянно взглянул на большого, а тот, усмехнувшись, сказал:

— Это мой ординарец.

Но дежурный не понял шутки, и пришлось снова показать командировочное предписание, куда была вписана и фамилия маленького.

— Где будете жить? — спросил дежурный.

— В вашей гостинице.

Они вышли на улицу, и маленький сказал:

— Документы ему показывай!.. Кругом начальство... А теперь куда?

— А теперь прямым ходом в баню.

— А ты знаешь, где баня?

— Как-нибудь найдем... по азимуту!

Они пришли в баню на Некрасовской, где в этот час почти не было народу,

разделись и нырнули в густой, горячий туман. И большой долго и старательно намыливал маленького ногтями скреб ему голову, докрасна надраивал спину, а маленький послушно поворачивался, а потом вдруг заойкал и побежал под кран промыть глаза.

А потом маленький деловито тер спину большому и все спрашивал:

— Не больно?

— Нет, нет, давай покрепче!

Но когда маленький прошелся мочалкой по правой лопатке большого, тот охнул и сказал:

— Вот здесь полегче...

Они встали под душ, и на стене, возле душа, маленький увидел надпись, нацарапанную чем-то острым. Он прочел:

«Нынче мылся в этой бане пехотинец-ветеран, награжденный орденами Подопригора Иван!»

Маленький стал искать, чем бы и ему расписаться на стенке, но ничего подходящего не нашлось, и они вышли в раздевалку—красные и распаренные— и не торопясь, отдыхая после мытья, стали одеваться. И большой смотрел на маленького, на его верткое, ладное тельце, уже лишенное детских припухлостей и ямочек, и думал о том, что маленький перешагнул из детства в отрочество.

Большой выпил кружку пива, а маленький — стакан клюквенного морса, и они снова очутились на улице. Туч в небе как не бывало, сверкало солнце, и большой сказал:

— Ленинградская погода...

— А теперь куда? — спросил маленький, которому не стоялось на месте.

— А теперь и сам не знаю куда.

Они вышли на набережную. С гранитной ограды ребята закидывали в Неву удочки, и маленький спросил:

— Клюет?

— Плохо, — ответил ему ремесленник. Он тоже был в форме и чувствовал себя на равной ноге с маленьким.

Пока они шли через мост, солнце опять скрылось в тучах, и вода, слепившая им глаза, когда они вступали на мост, стала свинцово-тусклой, когда они с моста сходили.

Большой совсем примолк и все ускорял и ускорял шаги, так что маленький едва поспевал за ним. Они прошли по Кронверкскому и свернули в одну из боковых улиц, на другом конце которой рос высокий разлапистый клен. На ули-

це было людно. Возле ларька женщина с кошелкой поила девочку квасом.

Перед кленом не было дома, а был пустырь, поросший чахлой городской травой.

Тут еще лежали битые кирпичи, осколки стекла и щебень, а слева и справа от пустыря стояли два каменных дома, и серые, безглазые стены, выходившие на пустырь, были сверху грязными, снизу очень чистыми, начиная с третьего этажа и ниже... И как по старым обоям можно узнать место, где висел когда-то портрет, и определить его размеры, так и по этим стенам даже приезжий человек мог догадаться, какой высоты был дом, стоявший когда-то на пустыре.

Большой молчал, молчал и маленький, потому что почувствовал детской душой, что нельзя в эту минуту обращаться к большому. А тот подошел к клену, поднял глаза и долго разглядывал широкие его ветви. Одна из ветвей покачивалась над самым пустырем, и он подумал, что вот — не стало стены, и ветвь разогнулась, и качается теперь как раз на том месте, где была когда-то его комната.

И вдруг опять, как это бывает в Ленинграде, неожиданно выглянуло солнце, и в груди щебня сверкнуло что-то, и маленький с удивлением увидел, что большой, шагнув к щебню, нагнулся, поднял какой-то глиняный белый черепок и бережно спрятал его в нагрудный карман гимнастерки.

Они пришли в гостиницу, пообедали по талончикам, полученным в комендатуре, и вошли в отведенную для них комнату. В комнате стояло двенадцать кроватей, и, хотя никого, кроме них, в этот час не было в комнате, они, по шинелям, брошенным на кровати, увидели, что десять коек уже заняты.

— Сегодня нам деваться некуда, — сказал большой. — Давай поспим?

— Не хочу.

— А я посплю.

И он снял гимнастерку и аккуратно повесил ее на спинку стула, а потом сел на кровать и стал стаскивать сапоги.

— Не в службу, а в дружбу, — сказал он маленькому, и тот охотно помог ему стянуть сапог.

Большой лег поверх одеяла и заснул, а маленький, ждавший этой минуты, на цыпочках подошел к стулу и достал из кармана гимнастерки не дававший ему покоя черепок.

Это был белый осколок не то от глиняного кувшина, не то от кружки.

«А еще взрослый...», — снисходительно подумал маленький про большого, разглядывая рисунок, изображенный на осколке синей краской под белой глазурью.

Там была женщина в пышной юбке, похожей на колокол, и, хотя ноги у нее были отбиты, по повороту ее головы и по взмаху руки над головой было видно, что она танцует. И какой-то дядька глядел на нее и играл на дудке.

АДВОКАТЫ „ЧИСТОГО ИСКУССТВА“ И ИХ НЕЧИСТАЯ СОБЕСТЬ

АЛЕКСАНДР ЛЕЙТЕС

★

1

Миллионы подлинных друзей имеет советская литература во всем мире. Это те, кто жаждет правдивого слова, способного ответить на серьезные вопросы, волнующие человечество. Это те, кто ищет высокого искусства, способного оплодотворить человеческую мысль многосторонним опытом социалистической действительности. Это друзья свободной литературы, которая — по известному выражению В. И. Ленина — служит не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся.

Наряду с этими подлинными друзьями у советской литературы есть не мало мнимых друзей. Они тоже проявляют интерес к нашей литературе и к тем процессам, которые в ней происходят. Могут ли они не интересоваться нашей литературой, если она выражает мысли и чувства народа, играющего столь первостепенную роль в жизни и судьбах человечества? Могут ли они не интересоваться нашими книгами, если бесспорна популярность советской литературы и повсеместно растущий спрос на нее? Будучи вынуждены считаться с этим спросом, некоторые капиталистические издатели — даже реакционные — публиковали переводы советских писателей, а некоторые буржуазные рецензенты — даже явно ретроградные — проявляли обостренный интерес к нашим книгам. Правда, зачастую их интерес носил специфический характер, а внимание оказывалось достаточно двусмыс-

ленным. Это было, как говорят на языке психологов, «избирательное внимание». Они упорно пытались хоть как-нибудь приспособить наши произведения к своим реакционным вкусам и запросам. Они тенденциозно старались обнаружить в современной русской литературе черты, ей абсолютно не свойственные.

Несколько лет тому назад в Финляндии вышла краткая антология Рафаэля Линдквиста под названием «Из песен России». В этой антологии, наряду с переводами стихов Пушкина и Лермонтова, можно было встретить переводы стихов... Пуришкевича. Того самого пресловутого черносотенца, погромщика, паяца государственной думы Пуришкевича, которому даже буржуазные деятели царской России гнушались подавать руку! Он, Пуришкевич, в царское время забавлялся псевдосолдатскими стишками. Они были вне литературы. Их никто не принимал всерьез, даже в реакционных кругах николаевской России. Но составителю финской антологии — во что бы то ни стало — захотелось и Пуришкевича сделать представителем русской поэзии!

Уже после разгрома гитлеровской Германии в Финляндии вышла новая антология, составленная тем же Рафаэлем Линдквистом. Она называлась «Под красным небом» и ставила своей задачей познакомить финского и шведского читателя со стихами новой России. В этой антологии, наряду с переводами стихов советских поэтов молодого поколения — Лихарева, Коваленкова, рядом с переводами из Блока и Маяковского можно встретить переводы

из Агнивцева, Рославлева, Амфитеатрова. Надо ли доказывать, какое злостное, обывательски-реакционное непонимание существа русской поэзии и всего хода ее развития, какая фанатичная узость продемонстрирована этой мнимой «широтой» составителя антологии, пожелавшего в свое время представить «песню России» Пушкиным и Пурешкевичем, а затем рекомендующего поэзию новой России как некую помесь Маяковского и Агнивцева, Блока и Рославлева. Но для его издателей, очевидно, в этом был какой-то тайный смысл. Они хотели бы преподнести своим читателям и образ России и основные направления русской поэзии в достаточном искаженном свете.

В 1942 году в США вышел объемистый справочник «Писатели XX века», посвященный 1850 писателям нашего столетия. Здесь наряду с тринадцатью характеристиками советских писателей встречается такое же число характеристик литераторов-белогвардейцев, в том числе таких, как генерал Краснов, Иван Наживин, Михаил Алданов. Причем в этом справочнике, как будто претендующем на точность и безупречность информации, о Леониде Лебнове сообщается, что «он потерял глаз в боях за Ленинград» и что ему было «отказано в высшем образовании», а о Блоке говорится, что в годы советской власти «его произведения не имели резонанса».

Эта тенденция затушевать, смазать, искаженно представить историческое развитие русской литературы и направление этого развития весьма характерна для некоторых реакционных издателей, переводчиков, критиков, которые во многих капиталистических странах изучают советскую литературу. Они хотели бы современную русскую литературу — литературу советского народа — рассматривать только как «этнографическое понятие». В дни священной войны народов с фашистской Германией мы часто встречали на страницах буржуазной прессы союзнических стран восторженные рецензии о наших книгах, преисполненные сладости и умиления. Но в некоторых рецензиях явно проскальзывали нотки лицемерия. — Ясно было видно, в какую сторону направлено внимание рецензентов. Чувствовалось, что

некоторые буржуазные обозреватели, пересказывая содержание советских военных повестей и романов, во всеулышание умиляясь «страданиям русских», жертвам нашего народа в войне, в то же время втихомолку искали в нашей литературе чего-то другого: не скажутся ли в ней черты усталости, расслабленности, упадочничества, истощения мысли, бесплодного копания в мелких переживаниях — всего того, чем обычно характеризуется обывательская литература к концу войны и, особенно, в послевоенный период? Ощущалось также, что они всячески стремились обнаружить в нашей литературе признаки возврата к образам прошлого и настойчиво выискивали в произведениях того или иного советского писателя только мотивы и перепевы старой Руси...

Их расчеты не оправдались. Их прогнозы оказались несостоятельными. Не ослабленным, а еще более окрепшим оказался социалистический строй в результате великих испытаний второй мировой войны. Не расслабленной, не размагниченной, а еще более целеустремленной, морально здоровой, идейно сцементированной вступила советская литература в послевоенный период. Ничего общего с настроениями «потерянного поколения»! Не обреченным, а обретенным поколением ощутили себя многие сотни советских писателей, которые превосходно работали в период войны, а сейчас с таким же творческим вдохновением включаются в мирную и не менее священную борьбу социалистического народа за осуществление четвертой Сталинской пятилетки, за укрепление дружбы между народами. Но чем больше рассеивались — в свете послевоенного периода — расчеты и прогнозы этих мнимых «друзей» русской литературы, тем явственнее они стали обнаруживать особое беспокойство, нервозность, раздражение. Это характерно для наших заглаженных врагов. Ведь они хотели бы видеть в произведениях советской литературы только колоритную этнографическую деталь, которая бы вполне уместилась на общей карте современной буржуазной литературы, находящейся в состоянии упадка и эпигонства. Ведь они всячески, но безуспешно старались затушевать то исторически новое, что несет с собой советская литература.

Когда-то гитлеровский внешнеполитический официоз назвал Союз Советских Социалистических Республик «географическим понятием». Впоследствии весь мир убедился, какой сокрушительный исторический урок и какое заслуженное возмездие получили кровожадные и невежественные «любители географии». Сейчас уже в любой стране земного шара начинают ясно осознавать выдающееся место советской России в прогрессивном развитии человечества и исторический смысл социалистического строя, сцементировавшего народы нашей страны, превратившего ее в могущественную державу — оплот мира, культуры, прогресса. Что же может быть бессмысленнее попыток рассматривать нашу литературу — плоть от плоти и кровь от крови социалистического общества — как некое «этнографическое понятие», выхолощивая тем самым ее идейную направленность, ее советское содержание? И весьма комична позиция некоторых зарубежных обозревателей нашей литературы, которые упорно не хотят «замечить», что именно социалистическое содержание определяет силу советской литературы, замечательные перспективы ее художественного развития, притягательное ее значение для передовых элементов всего мира...

Вчитываясь в лучшие произведения нашей литературы, истинные друзья передового искусства с удовлетворением наблюдают идейную четкость ее позиций, ее активное отношение к жизни, ее высокий нравственный пафос служения народу, ее глубокую органическую связь с людьми труда — все то, что определяет силу советского художественного слова. Эту силу они чувствуют и в том морально-политическом единстве, с каким советские писатели участвуют в строительстве жизни, в священной борьбе за высокие идеалы человечества, в той непримиримости, которую они проявляют ко всем представителям моральной беспринципности и бесчеловечного равнодушия, ко всем ренегатам прогрессивных идей, ко всем отравителям человеческих душ.

Постановление Союза советских писателей об исключении из своих рядов Ахматовой и Зощенко встречено нашими зарубежными друзьями как еще одно доказательство идейной целеустрем-

ленности советской литературы, ее вчерашней силы, ее верности социалистическим принципам. Наши друзья увидели в этом дополнительный пример того, как ответственно звучит для нашего народа и в нашем обществе высокое и почетное звание инженера человеческих душ. И только зарубежные фальсификаторы, систематически искажавшие представление о нашей литературе, безуспешно мечтавшие видеть ее безидейной, размагниченной, асоциальной, всполошились. Откликаясь на резолюцию Союза советских писателей, они обнаружили свою истинную неприглядную сущность, свое подлинное лицо озлобленных врагов советского искусства и всей передовой литературы.

2

Французский еженедельник «Ле литерер», редактируемый реакционным журналистом Пьером Бриссоном, встретил резолюцию Президиума Союза советских писателей бульварно-сенсационной статейкой, под названием «Космический вихрь в Москве». Буржуазный журналист вдруг почувствовал, что советская литература без Зощенко и Ахматовой для него уже никакой ценности не представляет. И он решил наконец-то «разделаться» со всей советской литературой в целом.

«Вот уже два года, — пишет «Ле литерер», — как у нас переводят многочисленные произведения советских писателей. Французские любители литературы поражены тем, как слабы в художественном отношении эти произведения: среди них бесспорно нет ни одного, которое было бы достойно войти в то собрание книг, где нации обмениваются, словно посланиями, лучшим, что есть в их искусстве».

Как же представляет себе «лучшее, что есть в искусстве», еженедельник «Ле литерер», являющийся литературным филиалом правой газеты «Фигаро»? Охаявая советскую литературу последнего периода, Пьер Бриссон высокопарно выступает от имени «любителей литературы». Любителей как о й литературы? — позволительно будет спросить. Тот, кто когда-нибудь знакомился с теми циническими, бульварными произведениями, которым систематически протезирует «Фигаро», сразу

поймет, что Пьер Бриссон представляет собою любителей литературы определенного сорта. Более того. Он — из числа любителей специфических литературных нравов. Ради бульварной сенсации он готов пойти на любой обман своих читателей, на любую газетную «утку». Достаточно сказать, что в этой же статейке «Космический вихрь в Москве» сообщается о том, что из числа членов Союза советских писателей исключен Николай Тихонов.

И совсем уже комично звучит (если принять во внимание, что это напечатано на столбцах литературного филиала газеты «Фигаро») то место процитированной нами тирады, где автор вежливо говорит о книгах, как о «посланиях нации». Поистине, в нашем — советском — обществе привыкли относиться к книгам, как к посланиям нации! Именно поэтому мы так требовательно относимся к нашим книгам и к их авторам. Именно поэтому мы так разборчиво, так внимательно относимся к тем книгам, которые к нам поступают из зарубежных стран. Не всякая книга достойна представлять нацию. Не каждая книга выражает то, что чувствует и думает народ.

Мы превосходно помним страшные годы гитлеровского разгула в Европе. Германская военщина попирала честь, достоинство и свободу Франции, проданной и преданной лавальми и петэнами. В ту пору господин Бриссон вместе со своей газетой ютился под сенью обер-предателя Петэна. Когда темная ночь нависла над Францией, мы отнюдь не считали «посланием французской нации» ни «Безделушки для погромов» похабного циника Селина, ни новые страницы из дневника Андре Жида, в котором этот престарелый эстет раболепно писал: «Да здравствует подавленная мысль!» Советский народ прекрасно чувствовал, что не аполлеты подавленной мысли, не люди нечистой совести, трусливо попрятавшиеся в свои «башни из слоновой кости», не черносотенный автор «Путешествия на край ночи» отражают душу французской нации — нации Вольтера и Руссо, Стендаля и Гюго, Золя и Барбюса. В то время как мужественные подпольные произведения Арагона звучали для нас посланием духовно непо-

корившейся Франции, роман Эренбурга «Падение Парижа» в свою очередь возвещал всему миру о нашей вере в грядущий рассвет, который воссияет над французским народом.

Читая «Непокоренные» Бориса Горбатова или «Ленинградский дневник» Веры Инбер, французские читатели — активные участники сопротивления — не могли не чувствовать, как глубоко переключаются эти книги с их настроениями, с их эмоциями — этическими и эстетическими. Но не о таком «обмене книгами» мечтает газета «Le littéraire». Ей бы, повидимому, очень хотелось, чтобы современная русская советская литература была представлена циническими писаниями Зоценко, о котором даже парижская консервативная газета («Юн семен дан ле монд» от 28 сентября 1946 года) была вынуждена сказать, что он «несколько вульгарен» и «не лишен мизантропии».

Другая реакционная газета, опубликовав рассказ Зоценко, заявила, что он «выявляет то вечное, чем характеризуется Россия». Как мы видим, эти сторонники вечного и чистого искусства меньше всего беспокоятся о литературе; они в данном случае думают только об одном: как бы увековечить в глазах читателя мизантропическое представление о русском народе.

В свое время, в дни первой Сталинской пятилетки, зарубежная реакционная печать всемерно старалась представить русскую советскую литературу того периода полубульварным романом Пантелеймона Романова «Три пары шелковых чулок», который усердно переводился во всех капиталистических странах. Этот роман, ничего общего с социалистической литературой не имевший, как бы сопровождал клеветническую кампанию против первой пятилетки. Не образы новой, социалистической страны они хотели бы видеть в советской литературе, а ту дооктябрьскую Россию, осколки которой они жадно ищут в нашей действительности и в нашем искусстве. В соответствии с этим они пытаются применять свои безнадежно отсталые вкусы к нашей литературной жизни.

«De gustibus non disputandum est». О вкусах не спорят — говорит латинская поговорка. Но если о вкусах не

спорят, то об идеях и принципах, на основе которых формируется большое искусство и подлинный литературный вкус, спорить не только можно, но и должно. Более того. Советские писатели со всей присущей им убежденностью и идейной страстностью непримиримо и активно борются против вредных принципов, мешающих развитию демократического искусства, против беспринципного и безидейного подхода к литературе, за искусство передовой человеческой морали. В этом они продолжают лучшие традиции классической русской и мировой литературы. Это и есть борьба за высокий литературный вкус, который органически связан со вкусом к большой — насыщенной идеями и чувствами — жизни трудового народа.

В том-то и дело, что совершенно разное представление о лучшем и худшем в искусстве существует у прогрессивных кругов человечества и у представителей реакции, отсталости, мракобесия. Для одних писатель — это инженер человеческих душ, воспитатель и учитель поколений, человек, ответственный перед народом, неустанный борец за великие идеалы человечества. Для других литератор — это беспринципный жонглер фразами, комбинатор сюжетов, отравитель человеческих душ. Естественно, что этим последним эстетические и этические принципы советской литературы никак не по вкусу. Им непонятно, насколько комичны их попытки сопротивляться тому исторически новому, что несет с собой советская литература и в области эстетики. Им не понять и того, насколько не серьезны их ухищрения судить о ней по стандартным образцам своего провинциального декадентского эстетизма.

Когда, скажем, французская консервативная газета «Франс Суар» (12/IX) преподнесла своим читателям резолюцию нашего Союза писателей под широковещательным бульварно-сенсационным заголовком: «В Союзе советских писателей запрещены юмористы и экзистенциалисты», когда она рекомендует Анну Ахматову как жену Алексея Толстого, это может служить только материалом, — да и то не очень интересным, — для нашего «Крокодила», а не мишенью для какой-либо более или менее серьезной полемики. Но в этом есть одна, хотя и комичная, но харак-

терная черточка. Им, этим беспросветным консерваторам от искусства, обязательно кажется, будто то, что является объектом временной моды некоторых снобистских кругов Парижа, должно быть модным и распространенным среди советских писателей. И вот они, не разобравшись в чем дело, называют нашего молодого способного поэта Межирова, чьих стихов они никогда не читали, «экзистенциалистом» и даже приплетают к этому чепуху насчет запрещения его стихов в Союзе советских писателей...

В подобного рода невежественных и глупых выступлениях (а таких примеров можно было бы привести не один десяток) нет и тени желания присмотреться к тому новому, чем характеризуется наша литература во всем разнообразии ее жизненных и художественных проявлений. Это невежество помножено на злой умысел беспардонных реакционеров, стремящихся всяческими средствами стандартизировать, упростить, опорочить все передовое, что есть в искусстве.

В этом смысле эти, с позволения сказать, критические выступления по поводу резолюции Союза советских писателей чрезвычайно однотипны, стандартны и сразу же разоблачают себя. Вот, к примеру, опубликовал чешский реакционный журналист Валент на страницах журнала «Днешек» статью «Писатели на распутье». Для него отклик на резолюцию — это только повод, чтобы охаять то лучшее, чем характеризуются новые пути нашей поэзии, ее подлинное новаторство, оказывающее немалое влияние на развитие мировой литературы.

«Для каждого человека, понимающего что-либо в эстетике, ясно, насколько незначительным поэтом является Маяковский», — заявляет Эдвард Валент в этой статье. Достаточно этой фразы Валента, чтобы и нам стало ясным, с каких позиций идет его критика, какова его «эстетика», насколько тенденциозны и ретроградны его взгляды на искусство. Характерно и то, что Валент свое суждение о Маяковском поспешил высказать только на основе нескольких чешских переводов Маяковского, прочитанных им недавно. И совершенно прав талантливый чешский поэт Юрий Тау-

фер, который на страницах журнала «Творба» дал достойную отповедь безответственным инсинуациям Валента. «Как может Валент судить о современной советской поэзии только по тому, что он прочитал в «Критическом ежесычнике»? Критическую совесть Валента можно сравнить с совестью самых последних рыночных торговков. С таким знатоком современной советской поэзии и критики говорить о поэзии было бы бесполезно», — восклицает Юрий Тауфер

Люди, подобные Валенту, не хотят быть знатоками советского искусства. В том-то и дело, что клеветать на советскую литературу и на советскую действительность гораздо легче тогда, когда не знаешь и не изучаешь ее. Вся суть в том, что гораздо проще отстаивать ретроградные позиции в жизни и в искусстве своей страны, когда закрываешь глаза на то великое и новое, чем характеризуется социалистическая действительность в России. Об одном из своих отрицательных персонажей Чехов говорил: «Он знал очень мало и совсем не понимал того, что знал». Эти люди нечистой совести, вдруг заинтересовавшиеся резолюцией Союза советских писателей, меньше всего интересуются поэзией. Их мало заботят вопросы дальнейшего развития искусства. Об искусстве представление у них достаточно комичное и примитивное. Вот, к примеру, реакционный чешский писатель Славик решил «вступиться» за Зоценко в одном из последних номеров журнала «Свободны зитрек». Но как? Он говорит о том, что «в стране Чехова и Аверченко теряют чувство юмора». Человек, который ставит на одну доску великого Чехова и белоэмигрантского литератора-фельетониста Аверченко, обладает не только очень дурным литературным вкусом, но и имеет весьма убогое представление о юморе. Впрочем, обязательно ли это для клеветника, «специализировавшегося» на искажении истории России и систематически участвовавшего в белогвардейской радиопропаганде?

За всеми этими «бла-ародными» расуждениями об искусстве и «достоинстве художника» раскрывается неблагоприятная и низкопробная политическитенденциозная игра краплеными картами. Как характерно, однако, что

именно подобного рода люди становятся в позу адвокатов свободного, не тенденциозного, так называемого «чистого» искусства.

3

Известно, что «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». И если кто-либо, в особенности художник, говорит о своей свободе от общества, он лицемерно маскирует свое рабство, свою зависимость от эксплуататорской верхушки этого общества.

«Сторонники так называемого «свободного искусства для искусства» — люди наиболее тенденциозные, несмотря на их отрицательное и враждебное отношение к тенденциям социальным», — писал А. М. Горький в 1914 году.

Но чем тенденциознее эти сторонники «свободного искусства для искусства», чем нечистоплотнее и реакционнее их тенденции, тем лицемернее и высокопарнее выражаются они и тем крикливее выступают против честного, нелицемерного, благородного искусства, открыто выражающего передовые тенденции народных масс.

Стоит ли еще раз иллюстрировать эту аксиому на примере тех или иных зарубежных низкопробных клеветнических выпадов против советской литературы, честно и открыто служащей делу своего народа, первому в мире социалистическому государству, а тем самым делу всего прогрессивного человечества?

Выпадами клеветников не стоило бы заниматься. Они давно разоблачили себя в глазах всех честных людей. Слишком явственно сквозит в этих выпадах давняя ненависть прислужников капитализма к социалистическому обществу. Слишком стандартно и убого они — эти нападки — повторяются с тех пор, как возникло первое в мире государство трудящихся.

Только на одной демагогической ноте в этом клеветническом хоре хотелось бы остановиться. Те самые деятели капитализма, которые в своей художественной политике и практике систематически изолируют подлинное искусство от народных масс своей страны, те буржуазные журналисты, которые дымовой

завесой клеветы пытались заслонить от народа социалистическую культуру, сейчас все с больной головы сваливают на здоровую и с ханжеской злобой нашептывают об «изоляции» Советского Союза (статья Андре Пьер в газете «Монд» от 8 октября 1946 г.) Нашу борьбу против декадентского, упадочного, оторванного от народа и жизни буржуазного искусства эпохи империализма они пытаются изобразить как борьбу против западной культуры в целом. Надо ли доказывать, насколько негодны те средства, какими эти фальсификаторы рассчитывают внести замешательство в сознание всех честных зарубежных друзей советской культуры? Надо ли доказывать, что, выступая против декадентского «искусства для искусства», советская литература всей своей практикой поддерживает и утверждает лучшие традиции передовых писателей мира, традиции боевого, идейно-общественного искусства? Те самые традиции, которые так бессовестно попираются литературой социального дезертирства и невмешательства в жизнь, «эскепистами» всяческих мастей, апологетами «искусства для искусства», роль которых в дни священной войны народов с фашистами была особенно омерзительна.

Когда-то, в дни первой французской буржуазной революции, в самый разгар событий, грозивших опасностью молодой республике, в конвент явился один француз и принес в подарок кропотливо и виртуозно сделанную, но никому не нужную модель уже существующего парижского квартала. Представители конвента поблагодарили искусного художника за подарок и постановили... посадить его на шесть месяцев в тюрьму за то, что он занимался бесполезным делом в те дни, когда отечество было в опасности.

Меры, которые принимал конвент, были крутыми. Но в них чувствовалось больше уважения к достоинству художника и больше понимания его роли, чем у тех «высоколобых», кто в дни второй мировой войны щебетал о «независимом» от политики художественном творчестве и спасал свою «независимую» художественную индивидуальность, дезертируя от бомб и от народного горя под небо Калифорнии, под сень душеспасительных разговоров о

«вечном» искусстве. Их «независимую» художественную индивидуальность избавили от фашистского средневекового гнета свободолюбивые народы, в первом ряду которых сражался могучий советский народ и воспитавшая его боевая, целеустремленная, идейная большевистская культура. Советские писатели в те годы единодушно сражались и пером и оружием. Достаточно сказать, что Союз советских писателей, резолюция которого встретила неодобрение кое-каких зарубежных эстетствующих чистоплюев, потерял в дни войны на поле боя свыше двести сорока членов своей организации. Среди них и такие писатели, как Евгений Петров, Юрий Крымов, Аркадий Гайдар, Александр Афиногенов, Владимир Ставский.

Свыше девятисот членов Союза советских писателей воевали и работали в рядах советской армии и флота в дни войны. Это участие в боевой жизни народа оплодотворило наших писателей как художников, не помешало их дальнейшему творчеству, насытило его огромным социальным содержанием. «Перо не тупит меча, меч не тупит пера» — эта любимая Сервантесом кастильская поговорка наша свое блестящее подтверждение в творчестве наших военных писателей.

Что же значительного, как художники, могли когда-либо предложить те, кто в «башнях из слоновой кости» спасали свое искусство от народа? Даже один из самых утонченных французских декадентов конца XIX века Стефан Малларме вынужден был сказать горькую фразу о художниках, бастующих против общества, уединяющихся от читателей. «Такой художник, уединяясь от народа, может только строить собственную гробницу», — писал Малларме. Это верно. Но гораздо хуже, когда впоследствии — в дни народных бедствий — художники-индивидуалисты предпочитали плясать на гробах да еще предлагали «эстетически» любоваться на эту пляску.

В 1937 году видный французский эстет поэт Поль Валери следующими словами декларировал «свободу» художника от общества:

«Индивидуум ищет приятной эпохи, где было бы для него больше всего свободы. Эту эпоху он находит к началу конца данной социальной системы. То-

гда в промежутке между порядком и беспорядком наступает сладостное мгновение... Феерическое пламя... причудливо освещает пляску принципов и ценностей. Нравы, заветы испаряются. Тайны и сокровища превращаются в дым».

Мы не говорим в данном случае о позиции самого Валери. Это — незаурядный художник, достаточно тонкий, чтобы иронизировать над собою. Мы знаем, однако, к чему приводила кое-кого из апологетов «чистого искусства» подобного рода «пляска принципов», такая «свобода» искусства. В дни войны эта литературная пляска была особенно омерзительной. Так называемая «свобода искусства» означала освобождение писателя от всяких нравственных обязательств перед народом, свободу от собственной совести, готовность пойти на услужение любому империалистическому пройдохе. Оно превращалось, это «чистое искусство», в циничское попустительство той грязи и той мерзости, которую творили фашисты.

Европа помнит, каким несмываемым позором покрыл себя старый индивидуалист-художник Гамсун, последним литературным произведением которого был восторженный некролог о Гитлере. Американская литературная общественность не забыла, как превратился в растленного прихлебателя Муссолини Эзра Паунд. Но даже те «чистые» эстеты, которые как будто политически не запятнали себя, разве они не оказались отмеченными в глазах сотен тысяч читателей страшным для подлинного художника клеймом — клеймом равнодушия и бесчувственности.

Но бесчувственное и безидейное искусство никогда не могло достичь каких-либо значительных художественных высот. Это хорошо понимал и другой крупный современный английский писатель Бернارد Шоу. «Истинно-оригинального стиля нельзя достигнуть, стремясь только к самому стилю», — писал он в предисловии к своей пьесе «Человек и сверхчеловек». — Определенность утверждения — вот Альфа и Омега всякого стиля. Тот, кому нечего утверждать, не может обладать никаким стилем. Тот же, кому есть, что утверждать, достигает той силы стиля, которая будет соответ-

ствовать важности и искренности его убеждения».

Буржуазное декадентское искусство современности больше всего культивирует в своей прозе и поэзии особое искусство красноречиво разговаривать, ничего при этом не сказав. Ибо что существенного могут сказать те, у кого на душе нет ничего, кроме душевной опустошенности и внутренней растерянности? Когда-то французский журнал «Комюн» провел анкету среди буржуазных писателей Парижа на тему: «Для кого вы пишете?» Ответы некоторых писателей на эту анкету были полны безнадежности, неверия в читателя, а главное — неверия в самих себя. «Я без сожаления теряю любое количество читателей», — заявлял Поль Валери. «Для кого я пишу? — спрашивал Леон-Пьер Кен. — В первую очередь для себя... И когда человек из народа спрашивает меня, что я пишу, я не нахожу ответа. Я чувствую головокружение при виде пропасти, отделяющей меня от моего собеседника, как от читателя. Тогда мне начинает казаться, что я никогда ничего не писал».

Совсем недавно французский писатель и философ Жан Поль Сартр в своей статье «об ответственности литературы» писал: «Многие у нас находят, что литература похожа на особого рода кривляние. Сталкиваясь с буржуа, который его читает, наш писатель сознает свое достоинство. Но когда он сталкивается с рабочими, которые его не читают, он страдает от комплекса неполноценности».

Некоторые современные буржуазные писатели Запада видят пропасть, отделяющую их от народа, от широкого читателя. Они чувствуют себя опустошенными. К этому привело их так называемое «чистое», незаинтересованное искусство, их самодовлеющая игра в образы, уводящая читателя от насущных вопросов дня.

Так «искусство для искусства» превращается в «искусство без читателей», а тем самым и в «искусство без искусства». Ведь подлинное литературное мастерство — не только и не столько мастерство воздействия на фразу, сколько мастерство воздействия с помощью фразы — точной, сильной, искренней — на читателя. А у художника, лишенного ощущения большой читательской ауди-

тории, своей нужности для нее, фраза, даже великолепно отшлифованная, повисает в воздухе.

Не случайно в советской стране писателей называют «инженерами человеческих душ». Здесь вопросы литературного мастерства тесно связаны с запросами большого, широкого, серьезного, требовательного читателя. Советский писатель знает, для чего писать. Знает он, и для кого писать. Это помогает ему решать насущные для каждого писателя вопросы художественной формы и стиля. Это дает ему чувство большого достоинства, не только как гражданину, но и как художнику.

До чего же необидительны высокопарные рассуждения о «достоинстве художника» тех апологетов «искусства для искусства», кто, выхолащивая идейное содержание литературы, лишает художника массовой аудитории и тем самым отнимает у него чувство собственного достоинства. И если социалистическая культура игнорирует тех художников, кто повернулся спиной к народным массам, если она разоблачает подобных художников, то не намечает ли она тем самым большие пути для тех писателей, кто связал свое творчество с жизнью трудящихся, не открывает ли она тем самым широкие перспективы для той литературы, которая отражает идейные и моральные запросы народа?

Наша борьба с декадентской культурой современного буржуазного Запада означает борьбу за лучшие традиции боевой классической литературы человечества. Эта борьба звучит творческой переключкой и с теми революционными передовыми писателями Запада, которые — одни менее энергично, другие более энергично — пытаются высвободиться из тенет декадентства, из смертоносных объятий империализма — подлинного врага культуры и прогресса.

Газета «Таймс» в своей корреспонденции из Москвы, опубликованной 2 сентября 1946 года, сообщая об исключении из московских репертуаров таких драматургов, как Могем, Пинеро, Кауфман, в то же время отмечает как нечто знаменательное, что московские театры оставили в своем репертуаре пьесы Бернарда Шоу, Пристли, Лилиан Хельман.

Более или менее добросовестные на-

блюдатели нашей культурной жизни не могут не видеть того, как предельно извращают существо нашей марксистской политики в области искусства те самые зарубежные злопыхатели, которые из кожи лезут вон, пытаясь провести параллель между нашей борьбой с реакционной культурой буржуазного Запада и антизападничеством русских славянофилов в XIX веке.

Но «...марксисты не могут быть ответственными за невежество и тупость буржуазных писателей», — как замечательно сказал товарищ Сталин на XVII съезде партии.

Еще в 1929 году в своей статье «О действительности» А. М. Горький вполне основательно заметил, что «грамотный русский знает Европу лучше, чем грамотный европеец Россию».

Зарубежные реакционные критики не только клеветают на наше искусство, но и очень плохо представляют себе, насколько основательнее их самих разбирается наш народ в вопросах и деталях идейной борьбы и культурной жизни современного буржуазного Запада.

Безуспешны, обречены на провал попытки зарубежных буржуазных критиков извратить существо, характер и природу большевистского отношения к искусству, внести смятение в сознание писателей Запада. Реакционерам, испугавшимся огромного влияния, которое имеет правдивое большевистское слово нашей литературы на широкие массы всего мира, наши зарубежные литературные друзья могут ответить словами Владимира Ильича Ленина: «Вы нас не запугаете своей запуганностью...».

4

Швейцарская газета «Базелер форвертс» под крупным заголовком «В борьбе за новую мировую мораль» опубликовала почти целиком доклад товарища Жданова о ленинградских журналах «Звезда» и «Ленинград». Комментируя доклад товарища Жданова, газета пишет: «Редкая речь сумела так глубоко проникнуть в сердце советского народа. Основательно ознакомьтесь с советским народом, пожалуй, не только желание каждого социалиста, но и каждого сознательного человека. Осуществить это желание поможет опубликованная речь Жданова».

Велик интерес в зарубежных странах к постановлениям Центрального Комитета нашей коммунистической партии, к выступлениям виднейших ее представителей по вопросам литературы, театра, кино. В этих выступлениях все честные передовые люди мира ощущают не только заботу партии большевиков о процветании искусства, близкого народу и насущно необходимого ему, но и ту большую, почетную, ответственную роль, которую наш народ возлагает на писателей, призванных воспитывать поколения духовно полноценных людей.

По этим выступлениям чувствуют наши друзья, как основательно разрабатываются советским народом вопросы нравственного и идейного воспитания молодежи, как глубоко и своевременно ставит наше государство, наша партия, наша литература проблемы морального очищения человечества от миазмов фашизма, мракобесия, цинизма.

И широкие читательские массы, и каждый подлинный художник всегда чувствовали, что вопросы морали и вопросы искусства неразрывны. Но особенно неразрывны эти вопросы сейчас для многих и многих народов, переживших опыт второй мировой войны и желающих этот опыт осмыслить. И от литературы, в первую очередь, ждут они политического осмысления этого пережитого опыта. Слишком удушливым был воздух в Европе от печей Трестлинка, Майданека, Освенцима. Слишком удушливым был воздух от лицемерных, псевдо-гуманистических, то цинических, то сладкогласно-убаюкивающих выступлений тех буржуазных деятелей, кто своим попустительством или невмешательством способствовал кровавому разгулу империализма. И разве буржуазная декадентская литература, преисполненная цинизма, демонстративной незаинтересованностью в социальной жизни масс, не сыграла здесь также своей немалой попустительской роли?

Когда-то — в середине XIX века — французский поэт Теофиль Готье, вздыхая, сказал: «Человечество знает только семь смертных грехов и так трудно выдумать восьмой». С тех пор как буржу-

азная литература стала на путь декаданса и вырождения, она стремилась опровергнуть этот «афоризм», демонстрируя особую изобретательность в деле изображения всевозможных выдуманных и невыдуманных грехов, смакования всех и всяческих мерзостей. «Сад пыток» французского писателя-натуралиста Октава Мирбо кажется чем-то идиллическим по сравнению с теми образами, над отшлифовкой которых впоследствии работали некоторые модные буржуазные писатели XX века!

Пусть специалисты разбираются в вопросе, где тоньше, где «оригинальнее», где «эстетичнее» разрабатываются образы греха или человеческой низости — в «Содоме и Гоморре» Марселя Пруста, в романе Селина «Смерть в отсрочку» или в книгах Сартра «Стена», «Тошнота», «Возраст созревания». Мы знаем другое: у передового читателя вся эта «эстетика» зачастую вызывает только отвращение. Это «чистое искусство», называется ли оно сюр-реализмом, натурализмом или экзистенциализмом, по своим методам кажется ему чрезвычайно грязным. Совсем другого ждет читатель от литературы и от искусства.

Он ищет морально вдохновляющих образов полноценного положительного героя и не находит их в современной буржуазной литературе. Вот почему взоры передовых читателей все чаще и чаще обращаются к советской литературе, которая — несмотря на отдельные, частичные свои неудачи — направляет все свои творческие усилия, разнообразие своих художественных приемов на раскрытие положительных черт, характерных для человека труда. Наше искусство — на основе социалистического опыта — возвращает человеку веру в себя и в свои огромные возможности. Не случайно советскую литературу наши зарубежные друзья называют «совестью человечества». И к этой «совести человечества» естественно тянутся миллионы читателей, с презрением отмечая тех, кто свою нечистую совесть, свою ненависть к новому обществу хочет спрятать за мошеническим красноречием адвокатов «чистого искусства»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ



Среди ночи я часто слышу: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины».

Я хочу напомнить об этих словах. Я знаю, что образ погибших писателей жив в наших сердцах, это негасимый огонь, его раздувает дыхание. Но чувство требует выражения, формы. Мы мало сделали, чтобы увековечить память погибших друзей.

Говорят, что скорбь мешает жить, что печаль разъедает мужество. Разной бывает скорбь, печаль. Когда на фронте хоронили боевых товарищей и звучал последний салют автоматов, скорбь звала в бой, печаль приподымала дух. Когда скорбят о храбрых, нет места малодушию. Печаль о потере смелого и стойкого друга закаляет сердце. Забвение — это недостойная нас слабость.

Писатели воевали вместе с народом. Восхваляют своих героев все народы нашего государства, гордятся артиллеристы артиллеристами, моряки моряками, помнят литейщики, ткачи, агрономы, учителя павших в бою товарищей. Мне горько, что мы мало рассказали читателям о погибших писателях. Когда земля, истерзанная снарядами, покрывается травой, это торжество жизни. Когда возникает новый город на том месте, где чернели развалины, это победа человека. Когда исчезает имя погибшего за Родину писателя, когда бледнеет среди суеты издательских и редакционных дел его высокий образ, это уступка смерти.

Я думаю сейчас о большом друге — Евгении Петрове, о близком мне человеке Борисе Лапине, о Гайдаре, Крымове, Уткине, о Хащревине, об Афиногенове, о Ставском, о многих других. После победы вышло много книг, хороших и плохих, больших и маленьких. Почему не изданы книги погибших? Мы должны были подумать об этом прежде, чем думать о своих книгах. Почему не изданы книги о жизни, о работе, о гибели павших за Родину писателей? Память тускнеет, уходят друзья и сверстники. Мы должны рассказать юношам о подвиге старших, о самоотверженности, о последних письмах, последних рукописях, последних словах. Мы видели Евгения Петрова накануне его отъезда в осажденный Севастополь, видели Лапина и Хащревина за несколько дней до Киевской битвы, видели Ставского на фронтах, видели Крымова, когда он торопился на юг. Мы должны запечатлеть то, что мы знаем. Суровой была война, суровой осталась жизнь — много недоброжелателей у нашей Родины. Память о героях поможет новому поколению достойно жить и стойко бороться.

Предлагаю переиздать избранные произведения погибших писателей, издать посмертные произведения, составить сборники воспоминаний, способные показать образ наших незабвенных друзей.

Москва, 26 октября 1946 г.

АРКАДИЙ ГАЙДАР

АЛЕКСАНДР ИВИЧ



I

Нелегкая, но хорошая жизнь была у Аркадия Гайдара, смелая и талантливая, как его книги.

Гайдар сам мог бы стать героем большой и нужной повести о поколении, начавшем сознательную жизнь в годы гражданской войны. В дни Отечественной войны раскрылось, какие душевные богатства накопило это поколение за четверть века: зрелая сила сочеталась в нем с юношески свежей Верностью идеалу.

В биографии и книгах Гайдара мы находим чистое, ясное выражение этого сочетания: жизнь и творчество его слиты неразрывно.

Юность Гайдара похожа на юность Бориса Горикова, героя «Школы», повести во многом автобиографической.

Шли годы, старше становился Гайдар, но он всегда оставался с теми, кто только вступал в жизнь,—думал и писал всегда о них. Своими книгами он готовил юношей к стойкой борьбе со шквалом, о неизбежности которого не забывал никогда. А своей жизнью и смертью подержал честь старшего поколения.

В 1941 году Гайдар попал в окружение близ Киева. Ему, корреспонденту «Комсомольской правды», предложили место в самолете. Он отказался и ушел к партизанам вместе с сильными духом и самыми умелыми бойцами.

Гайдар был не только профессиональным писателем, но и профессиональным воином. Он стал лучшим пулеметчиком отряда, был верным товарищем. Гибель его была для бойцов большим горем. Об этом говорят письма оставшихся в живых. В дни напряженных боев в тылу

врага Гайдар оставался и писателем — вел литературный дневник отряда, написал несколько рассказов в форме писем к сыну. Гайдар не расставался с написанным, как не расставался с оружием. До нас не дошли эти последние его произведения.

В одном походе маленькая группа партизан, которую вел Гайдар, наткнулась на немецкую засаду. Гайдар не бежал, не пытался укрыться. Он пал в бою. Это было пять лет назад, 26 октября 1941 года.

Свою короткую автобиографию, написанную за несколько лет до войны, Гайдар назвал: «Обыкновенная биография в необыкновенное время». Он говорит:

«Вышло так, что четырнадцати с половиной лет я уже командовал ротой. А в семнадцать лет был командиром отдельного полка по борьбе с бандитизмом... Когда меня спрашивают, как это могло случиться, что я был таким молодым командиром, я отвечаю: это не биография у меня необыкновенная, а время было необыкновенное».

Верно. Но, конечно, Гайдар и сам делал свою биографию, сам выбрал дорогу. Она всегда шла в гору. А прямогу пути определило постоянное, никогда не терявшее остроты и свежести ощущение необыкновенности времени, обязанности быть достойным удивительной эпохи.

«Постараюсь написать такую повесть, — говорит Гайдар в той же автобиографии, — чтобы не стыдно было прочесть ее в том прекрасном будущем, что зовется социализм».

Прекрасное будущее с юности освещало путь Гайдару, и каждая повесть пронизана его светом, согрета его теплом.

II

Удивительна незыблемая стойкость основных идей и мотивов в творчестве Гайдара, постоянное их развитие и углубление.

Все то, что доставляет читателю радость, волнует в последних книгах Гайдара, присутствует и в ранних произведениях, хотя в них еще неуверенно звучит его голос.

Повести Гайдара написаны о советских подростках, и всегда характер его героев формируется в борьбе. Это не только борьба с врагами счастливой, хорошей советской жизни — белогвардейцами, интервентами, но и борьба с самим собой.

Преодоление дурных свойств природы, безответственного отношения к своим поступкам, воспитание в себе честности, благородства, воли, устойчивости — содержание этической темы Гайдара. И оно в значительной мере объясняет жанровые особенности его повестей. Книги насыщены приключениями, острыми ситуациями, но всегда, даже в ранних вещах, приключения, оставаясь основной сюжетом, играют все же служебную роль, не приобретают значения самодовлеющего или, тем более, исчерпывающего ценность повести.

Характеры героев Гайдара всегда раскрываются в поступках.

Совершить дурное дело легко. Как будто и вины почти нет: пустячная неосторожность, некоторая снисходительность к себе — вот и все. А последствия очень тяжелы. Иногда, как в «Школе», гибель значительного человека, друга. Тогда становится очевидным, как глубоки корни неосторожности: внутренняя недисциплинированность, недостаточно серьезное отношение к выполнению долга, отсутствие контроля над своим поведением. Неосторожность оказывается виной.

В ранней повести Гайдара «РВС» из-за неосторожности беспризорника Жигана белогвардейцы узнают, где спрятан раненый командир Красной Армии. Надо командира спасти. Жиган — парень совершенно беспринципный. Он не вызывает ни малейшего доверия у читателя. Но Димка, другой герой повести, спрятавший командира и поделившийся своей тайной с Жиганом, верит ему.

Если командира схватят, значит Жи-

ган не только раненого предал, но и обманул друга.

И Жиган решается пойти в опасный путь: добраться до города, занятого красными, чтобы позвать их на выручку.

Трудная дорога в город определила немалое — жизненный путь Жигана. Ночью, в лесу, упрямо преодолевая все препятствия, все опасности, рискуя жизнью, Жиган понял, что такое честность и верность дружбе, познал радость морального удовлетворения.

В конце повести перед читателем уже не тот Жиган, что заставлял нас бояться за судьбу командира. Мы наблюдали рождение характера юноши и теперь верим ему. Растет настоящий человек, советский человек.

Что же определило судьбу Жигана, его моральное перерождение? Дружба Димки, невозможность для Жигана предать товарища, доверившего ему тайну, и жалость к раненому — простые мотивы, естественные для каждого подростка. Хорошие задатки, придавленные трудной бродячей жизнью, вышли на поверхность в борьбе между инстинктом самосохранения и чувством долга.

Так уже в ранней повести показал Гайдар значение среды и дружбы в формировании характера.

И другое.

Приключения, опасности, стрельба, погони, трудный внутренний кризис юноши, а после:

«Ночь спускалась тихо-тихо; зажглись огоньками разбросанные домики. Ушли старики, ребятишки. Но долго еще по залитым лунным светом улицам смеялась молодежь. И долго еще наигрывала искусно лекпомова гармоника, и спорили с ней переливчатыми посвистами соловьи из соседней прохладной рощи».

Тишина, созерцание, спокойный ночной пейзаж напоминают о простой и счастливой жизни. Чтобы притти к ней, стать полноправным ее участником, нужно пройти тяжелый путь, какой прошел Жиган, — путь преодоления внешних препятствий и воспитания в себе высоких человеческих качеств.

Так появляется в этой повести — еще неясно, еще намеком — и лирическая тема Гайдара, тема предчувствия счастья и хорошей жизни.

В других, более поздних книгах звучание ее сильно и чисто, разработка многообразна, но сама тема остается неизмен-

ной. Она так же органична для творчества Гайдара, как этическая тема, и неотделима от нее.

Нравственная чистота и сила характера необходимы юноше, чтобы завоевать себе место в радостном будущем, «в светлом царстве социализма», предчувствию которого посвящены самые задушевные и лирические строки в каждой повести Гайдара.

III

Солдат завоеует это светлое царство. Солдат его защитит.

Гайдар говорил незадолго до войны:

«Жили в то время такие умелые, знающие люди, которые из военной хитрости прикинулись детскими писателями и помогли ребятам вырасти хорошими, храбрыми солдатами».

Солдат! Слово большого, широкого значения для Гайдара. Оно выражает не только владение чисто воинскими доблестями. В нем и представление о высоких моральных качествах, о глубокой внутренней дисциплине.

Книги, которые писал Гайдар, были для него солдатским трудом.

В годы гражданской войны он командовал полком. Потом своими повестями обучал советских подростков бесстрашно бороться с врагом, переделывать себя, показывая уголки того светлого будущего, за которое предстоит им вести бой.

Так в мирное время хороший командир готовит солдат, всегда помня о грядущих сражениях.

Гайдар, вероятно, думал не только о прошлых, но и о будущих боях, когда писал «Школу», повесть о годах революции и гражданской войны.

Узел повести снова во внутреннем конфликте героя, снова появляется мотив вины и искупления.

Из-за недисциплинированности Бориса Горикова гибнет лучший друг юноши, замечательный большевик Чубук. Велика вина, и долог, труден путь искупления.

Для Жигана достаточно было одного смелого поступка, одного волевого броска, чтобы определился неустановившийся характер. Это не упрощение — все обстоятельства повести оправдывают такой перелом. Он психологически убедителен.

В «Школе» Гайдар показывает, что единичное проявление отваги не всегда может искупить вину, примирить со сво-

ей совестью и с коллективом. Надо искренить недостатки характера, сделавшие дурной поступок возможным.

«Все эти дни у меня были заполнены одним желанием — загладить свою вину перед товарищами и заслужить, чтобы меня приняли в партию.

Но напрасно вызывался я в опасные разведки. Напрасно, стиснув зубы, бледнея, вставал я во весь рост в цепи, в то время, когда многие, даже бывалые бойцы, стреляли с колена или лежа.

Никто не уступал мне своей очереди на разведку, никто не обращал внимания на мое показное геройство.

Сухарев даже заметил однажды вскользь:

— Ты, Гориков, эти федыкины замашки брось!.. Нечего перед людьми бахвалиться... Тут похрабрей тебя есть, и те без толку башкой в огонь не лезут»...

«Опять федыкины замашки, — подумал я, искренне огорчившись.— Ну, хоть бы дело какое-нибудь дали. Сказали бы: выполнишь — все с тебя снимется, будешь опять попржнему друг и товарищ».

Очень важна здесь эта ссылка на федыкины замашки. Федя — отчаянный храбрец, не признававший никакой дисциплины. Он считал, что смелость в бою искупает всякую вину, все делает дозволенным. «Замашки» привели к тому, что Федька превратился в бандита. Но, пока не так ясен был для окружающих этот неизбежный путь, федино удалство импонировало молодым бойцам и, в частности, Борису Горикову.

Хочется сразу же иллюстрировать жизненность, воспитательную ценность коллизии, показанной Гайдаром.

В дни Отечественной войны мне пришлось встретиться с несколькими летчиками, склонными к фединой психологии. Они были очень храбры, прославлены своими подвигами. Но каждый сбитый вражеский самолет, каждый успех прибавлял им спеси. Разумеется, «замашки» были не так грубы и откровенны, как у Феде. Время другое, уровень культуры иной. Но пренебрежение к обязательной офицерской подобранности, распушенность в словах и поступках, обидное равнодушие к товарищам, не столь отличившимся, как они, — все это начинало проявляться довольно отчетливо.

Произошло неизбежное. Люди, усвоившие снисходительное отношение к себе на земле, вскоре перенесли снисходи-

тельность и на свое поведение в воздухе — стали пренебрегать правилами, которые, по их мнению, были обязательны только для неопытных летчиков. Постепенно они растеряли свои отличные боевые качества.

Один умный командир-большевик на разборе полета сказал летчику:

«Если вы не измените решительно свое поведение на земле, то погибнете в ближайших боях».

Летчик усмехнулся. Он верил в свое мастерство. Погиб он на той же неделе и погиб потому, что пренебрег некоторыми традициями своего боевого коллектива.

Этот случай стал широко известен на фронте, и с подражанием «замашкам» даже самые неустойчивые юноши решительно покончили.

Книги Гайдара утверждали, что качества солдата определяются не только его отвагой и сноровкой, но и его идеологией, его нравственным обликом, свойствами его характера. В каждой своей повести Гайдар показывает облик советского человека: в мирное время — солдата-строителя, в дни войны — солдата — защитника Родины.

Этическая тема «Школы» разрешается в трудном, протяженном во времени психологическом процессе. Гибель друга по вине Бориса — горе, с которым ему не легко справиться.

Постепенно восстанавливается доверие к Борису. Сделана поправка на Возраст юноши, ненамеренность вины. Замечены перелом, серьезность, полный отказ от «федькиных замашек». Бориса принимают в партию.

Но, конечно, этим центральным эпизодом не исчерпывается значение повести, ее интерес для читателя.

Я выделил этический мотив, потому что он пронизывает все творчество Гайдара и волнующе важен для всякого, кто думает о воспитании нашего молодого поколения, для всякого, кто склонен разобратся, как возникли и развились у наших юношей великолепные качества солдата — в широком понимании этого слова.

Стойкость, поразившая мир, жизнелюбие в сочетании с готовностью пожертвовать собой для блага народа, высокое понимание величественной цели борьбы — качества, определившие моральное превосходство над противником. Эти качества укреплял Гайдар, возбуждая у каж-

дого, кто читал его книги, стремление воспитать их в себе.

Но многого ли стоит этическая проповедь, если она выражена в бледных образах, надуманных ситуациях, кое-как притянутых для иллюстрации той или иной моральной истины?

Мы знаем такие дидактические произведения в нашей детской литературе и знаем, как ничтожно их воздействие на читателя.

Гайдар — подлинный художник. Образы советских людей, созданные им, правдивы и убедительны до последней черты. Ситуации — жизненны.

Вспомните, как в «Школе» возникают первые социальные вопросы у подростка, как является необходимость обдумать наблюдения, сделанные на улице. Появление пленных в городе, приезд солдата с письмом отца, естественно возникшая беседа о богатых и бедных — все это материал для формирования взглядов и характера Бориса.

«Школа» написана не только талантливо. Она написана мастером.

Причины как будто случайные определяют жизненный путь юноши, например, история с револьвером, который хотят отобрать у Бориса. Из-за этого револьвера он покидает дом, и начинается серия его приключений.

Но разве без эпизода с револьвером так и не наладилась бы связь с большевиками, не попал бы Борис в Красную Армию, не стал бы членом партии, закаленным в боях?

Не будь одного случая, подвернулся бы другой. Жизнь, обстановка, характер подростка — все закономерно определило его судьбу.

В этом накоплении небольших событий, случайных и в то же время типичных для времени, для среды, большое мастерство писателя и большая жизненная правда.

Гайдар как будто не рисует в «Школе» широкой картины эпохи. Он все время остается только в сфере действий и переживаний своего героя. Но сам-то герой и окружающие его люди настолько типичны, хотя и вполне своеобразны, что время и многие его неповторимые особенности оказываются зарисованными широко и точно.

«Школа» — одна из лучших в советской художественной литературе книг о гражданской войне. И то, что ее не часто

вспоминают критики рядом с романами Фадеева, Островского, объясняется причиной несколько случайной: книга написана для детей, издавалась и переиздавалась до недавнего времени только Детгизом и не вошла в круг чтения взрослых. Но повесть хорошо знают, помнят и любят те, кто читал ее подростком.

Между тем эта книга, как и все написанные Гайдаром, представляет самый живой, непосредственный интерес для читателей любого возраста.

«Школа» сделана прочно. Сегодня, после великих лет войны, она попрежнему свежа, попрежнему волнует и подростков и взрослых.

IV

Шли годы мирного строительства. Многие повести для детей, рисующие жизнь подростков, так называемые «школьные повести», становились все беззаботнее. Авторы их замыкались в кругу второстепенных проблем и маленьких школьных происшествий. Они, боялись открыть форточку в широкий мир или поколебать уверенность в идеальном благополучии настоящего и будущего нашей молодежи. Тщетно искать в тексте или подтексте этих повестей больших мыслей о судьбах поколения и широкого понимания воспитательных задач. Дальше заботы о хороших отметках и благонравном поведении авторы их не шли.

Гайдар пишет «Военную тайну». Художественные достоинства книги, вернее, некоторых ее глав, спорны. Обычная для Гайдара лиричность переходит в этой повести в сентиментальность. Сказка о Мальчише-Кибальчише, вставленная в книгу, несколько манерна. В ней исчезает обычная для Гайдара естественность свободно развивающегося повествования.

Но подростки, читатели книги, проливали слезы над судьбой Альки, погибшего от руки кулака. Они запомнили подвиг Мальчиша-Кибальчиша, замученного в застенке врагами советской страны, но не выдавшего военной тайны.

Судьба Мальчиша в годы Отечественной войны стала реальной судьбой не одного и не двух читателей Гайдара. Это судьба Зои Космодемьянской и героев Краснодона. Кто знает, не вспоминали ли юноши и девушки в фашистских

тюрьмах о сказке, которая в годы детства, так внезапно оборвавшегося, учила их верности Родине, готовности отдать за нее жизнь!

В «Военной тайне» мальчик Владик в пионерском лагере ведет разговор с другом:

«— А что, Толька, если бы налетели аэропланы, надвинулись танки, орудия, собрались бы белые со всего света и разбили бы они Красную Армию и поставили бы они все по-старому... Мы бы с тобой тогда как?»

— Еще что! — равнодушно ответил Толька, который уже привык к странным фантазиям своего товарища.

— И разбили бы они Красную Армию, — упрямо и дерзко продолжал Владик, — перевешали бы коммунистов, перекидали бы в тюрьмы комсомольцев, разогнали бы всех пионеров, тогда бы мы с тобой как?»

— Еще что! — уже с раздражением повторил Толька, потому что даже он, привыкший к выдумкам Владика, нашел эти слова очень уж оскорбительными и невероятными. — Так бы наши им и поддались! Ты знаешь, какая у нас Красная Армия? На весь мир. У нас у самих танки. Глупый ты, дурак. И сам ты все знаешь, а сам нарочно спрашивает, спрашивает...

— Ну, и пусть глупый! Пусть знаю, — спокойно продолжал Владик. — Ну, а если бы? Тогда бы мы с тобой как?»

— Тогда бы и придумали, — вздохнул Толька.

— Что там придумывать, — быстро заговорил Владик. — Ушли бы мы с тобой в горы, в леса. Собрали бы отряд и всю жизнь до самой смерти нападали бы мы на белых и не изменили, не сдались бы никогда..

— Так бы всю жизнь одни и прожили в лесах?..

— Зачем одни. Иногда бы мы с тобой переодевались и пробирались бы тихонько в город, за приказами..

Программу действий на случай неудач в войне — вот что подсказывает своим читателям Гайдар! Программу, ставшую реальностью с первых дней Отечественной войны.

«Военная тайна» вышла в 1935 году. Тогда и позже появлялись романы и повести о будущей войне, где наша армия побеждала врага за неделю или за одни сутки. Побеждать в этих произведениях

было так легко и просто, что становилось непонятным — к чему готовиться, о чем беспокоиться?

А Гайдар взволнованно и упорно думал обо всех возможных поворотах будущей войны, готовил своих читателей к стойкости, к вере в победу при любых обстоятельствах, к решимости бороться до конца.

Трудно найти в нашей художественной литературе другой пример такого конкретного призыва к молодежи, высказанного в счастливые годы мирной жизни: будьте готовы к великим жертвам, к великой борьбе.

V

И снова о том же. С другого угла зрения, резко повернув тему.

Какая судьба ждет подростка в неблагополучной семье? Отец арестован за растрату, мачеха вышла замуж, уезжает с новым мужем на курорт. Мальчик предоставлен самому себе. Сталкиваются влияния хороших и дурных товарищей. Сережа неустойчив, бороться с соблазнами он не умеет. Мальчик остается без денег и продает меховую горжетку мачехи. С этого начинаются его несчастья. Он попадает в компанию шпионов, становится, не догадываясь об этом, их деятельным помощником, путешествует с ними по стране. И, наконец, когда Сереже становится ясно, в какое болото засосали его первые дурные поступки, он стреляет в шпиона, убивает его, но и сам ранен в этой схватке.

Мужественный поступок искупает прошлое. Возвращается отец. Впереди честная счастливая жизнь.

Такова схема повести «Судьба барабанщика».

Книга написана, если не считать спокойной и широкой, как всегда у Гайдара, экспозиции, в стремительном темпе приключенческих повестей. В сюжетных ходах большую роль играют случайности, не так хорошо мотивированные, как в «Школе». Возникает некоторое противоречие между быстротой действия и стремлением автора дать психологическую трактовку образа Сережи, мотивировать его поступки, установить закономерность судьбы.

Этическая проблема разрешена в «Судьбе барабанщика» проще, прямоли-

нейнее в сравнении с другими повестями. Полное моральное удовлетворение у Сережи и окружающих его после выстрела мальчика наступает несколько механично. Мы скорее догадываемся, чем видим в повести, как повлияют события на становление характера подростка, и, пожалуй, независимо от воли автора, приходим к заключению, что решающую роль в разрыве с прошлым сыграет не выстрел, а изменение семейной обстановки, возвращение отца.

Это, кажется, единственный в работе Гайдара случай, когда ему не вполне удалось сочетать приключенческую повесть с психологической.

Но, несмотря на дефекты книги, пропаганда подвига, призыв к бдительности, как и в «Военной тайне», остаются действенными, впечатляющими для подростка.

Когда я читал книгу до войны, казалось неестественным заставлять двенадцатилетнего мальчика убивать шпиона. Но в дни войны стерлись привычные границы возможностей. Были случаи, и не единичные, когда десяти-двенадцатилетние мальчики совершали подвиги, решались на поступки, казалось бы, непосильные, несвойственные возрасту.

Значит, и к такому преодолению обычных возрастных границ надо было готовиться подросткам. И уж, конечно, следовало приучаться к бдительности, всякий свой поступок оценивать — не сможет ли использовать его враг.

Взрослый читатель быть может заметит и сюжетные погрешности «Судьбы барабанщика», и стилистическую манерность сказки о Мальчише-Кибальчише. А подросток прежде всего воспримет и запомнит героичность Мальчиша и Сережи, найдет в их поступках импульс для хорошей мечты о подвиге, образец для подражания.

Искренность тона повествования, его глубокая эмоциональность непосредственно воздействуют на читателя. Хитрость человека, «прикинувшемуся детским писателем, чтобы помочь ребятам вырасти хорошими солдатами», удалась.

Но, конечно, Гайдар хитрил, говоря, что он притворился писателем. Он подлинный писатель по умению средствами искусства воспитывать характер, учить борьбе за хорошую жизнь.

VI

В больших повестях, наполненных шумом и тревогами борьбы, не так¹ ясно раскрылась редкая способность художника удивляться значительности простых вещей и каждодневных встреч, как в рассказах «Голубая чашка» и «Телеграмма».

С большим искусством возрождает Гайдар непосредственное живое любопытство к явлениям жизни — любопытство, присущее детям и в значительной мере утраченное взрослыми. Нет ничего стертого и обыкновенного в окружающем, все вызывает острые эмоции и значительные мысли, ничто не оставляет равнодушным.

Не сразу заметно, что «Голубая чашка» и «Телеграмма» органически связаны и с «Военной тайной», и со всеми другими повестями. В рассказах нет больших событий, обычного для повестей Гайдара драматического напряжения. В «Голубой чашке» даже сюжет едва намечен.

Всегда, во всех своих книгах, Гайдар ведет героев к счастью. Но все повести написаны не о счастье достигнутом, а о пути к нему, трудном и требовательном.

«Голубая чашка» и «Телеграмма» раскрывают — в чем счастье.

Приехали на дачу. Отец идет со Светланой, «куда глаза глядят». На маму они немного обижены: Маруся несправедливо обвинила их, будто они голубую чашку разбили, и, кроме того, приезжал к ней из города летчик, а на следующий день и сама в город зачем-то поехала.

Отправились отец с дочкой куда глаза глядят и встречают мальчиков, красноармейцев, старика — колхозного сторожа, заходят в гости к его дочери. Каждая встреча оказывается не только интересной, важной, но и немного сказочной, несмотря на полную реалистичность.

И, правда, когда отвлечешься на минуту от повседневной борьбы за лучшее будущее и оглянешься, как оглядывается Гайдар в «Голубой чашке», — становится ясно, что светлое царство, ради которого дрался с белыми и переделывал себя Борис Гориков, уже пришло.

Новые, братские отношения между людьми, рожденные новым строем, чувство свободы, которым проникнуты поступки героев рассказа, — все это складывается в хорошую жизнь, похожую на сказку. Плохое, нечистое в отношениях

между людьми постепенно преодолевается.

Поход «куда глаза глядят» превращается в содержательное, чудесное путешествие. На маленьком пространстве, захваченном прогулкой, все увиденное отразилось, как в волшебном зеркале, целый мир — советский мир.

Деятельная, созидательная жизнь шумит вокруг. На этом фоне словно глубже становится тишина, созерцание, радость семейного счастья, простых прогулок и встреч.

Простое счастье торжествует и дает новые силы для борьбы за полное торжество светлого царства социализма.

И в «Телеграмме» выражена та же лирическая тема.

Чук и Гек с матерью едут в далекую тайгу к отцу, на целый год задержанному там работой. Маленькие события путешествия — и снова, как в «Голубой чашке»; остро эмоциональная зарисовка пейзажа, людей — наполняют рассказ, написанный с незаурядным мастерством.

Мир показан в восприятии мальчиков. Гек — задумчивый, равнодушный к важным для Чука мелочам, увлечен пейзажами, интересными снами. По определению Чука, «Гек был разиня, но умел петь песни». Намечается творческая натура.

Чук экспансивен; гораздо активнее реагирует на внешнюю сторону жизни. Он запасливо собирает конфетные бумажки, если там нарисован танк или красноармеец. Скопил на дорогу сорок шесть копеек, а не истратил, как Гек, на разные глупости.

В рассказе даны не схемы характеров, а характеры живые и полнокровные. Гек, несмотря на мечтательность, может и подражаться и затеять сражение самодельной пикой. Его мечтательность не девическая. У него тонкая, впечатлительная натура, но он мальчик, будущий мужчина в каждом проявлении своей природы.

По-разному знакомятся Чук и Гек с миром в дальней дороге:

«И пока Чук ходил от дверей к дверям и знакомился с пассажирами, которые охотно дарили ему всякую ерунду — кто резиновую пробку, кто гвоздь, кто кусок крученой бечевки, Гек за это время увидел через окно немало.

... Через снежное узорное окно вагона Гек увидел луну, да такую огромную, какой в Москве и не бывает. И тогда он

решил, что поезд уже мчится по высоким горам, откуда до луны ближе».

Особую остроту и прелесть придает рассказу сочетание полной реалистичности событий с мягкой приглушенностью спокойного повествования, свойственной сказкам Андерсена и рождественским рассказам Диккенса. Этот налет сказочности повышает лирическое напряжение рассказа. Как в «Голубой чашке» он напоминает о необыкновенном времени и необыкновенной стране, в которой происходит действие.

Здесь снова тема семьи, счастливой советской семьи. Гармоничность развития ребят, формирования их вкусов, индивидуальности тесно связана с вниманием и уважением, которым они окружены дома.

В «Голубой чашке» и в «Телеграмме» главная тема лирическая. Но приглушенно звучит и этическая тема. Она ясна, если вспомнить «Судьбу барабанщика». Что Чуку, Геку, Светлане дается легко, без всякого напряжения, того Сережа в неблагополучной семье достигает лишь ценой тяжелых переживаний и сложного пути.

И тоже приглушенно, напоминанием проходит в рассказах военная тема. В «Голубой чашке» — встречей с красноармейцами на учении. В «Телеграмме» — с бронепоездом на пути.

VII

За год с небольшим до войны появляется возникшая из сценария повесть «Тимур и его команда».

Сейчас нам ясно: эта книга откровеннее и настойчивее других вещей Гайдара готовила подростков к войне.

Вспомним время, когда она появилась. Статьи в периодической печати требовали от каждого из нас внимания к условиям формирования советских юношей и девушек, их моральному облику, их жизненным принципам. Калинин произнес памятную речь о коммунистическом воспитании. Правительство издало закон о трудовых резервах.

А наряду с этим вспомним, что особенно широким стал в то время поток «школьных повестей», занятых мелкими заботами о повседневной классной жизни и узким дидактическим морализированием.

В ряду таких, общественных и литературных явлений появились сперва сце-

нарий, а потом повесть Гайдара о Тимуре.

В том и выражается подлинная прогрессивность писателя, сила его чутья, чувства времени, что он в плане художественном реализовал идеи, одновременно выраженные в программно-философском плане Калининим, а в плане конкретного действия решениями правительства.

Компания ребят, собранная Тимуром, чтобы помочь семьям призванных в армию, с увлечением выполняет множество полезных дел. Штаб на чердаке сарая, сложная система сигнализации для вызова членов команды, таинственность, которой окружены ее действия, — во всем этом романтичность соединяется с целесообразностью. Тимур нашел форму деятельности, сочетающую игру с работой, — как раз то, что нужно в его возрасте.

В облике Тимура, в его серьезности, его сердечности нет ничего несвойственного возрасту, ничего искусственно привнесенного автором. И вместе с тем он не похож на подростков, образы которых созданы литературой в прошлом. В нем есть черты, характерные именно для нашего советского общества, для среды свободных людей, уверенных в будущем и не мыслящих своей деятельности вне коллектива.

Таинственно наполняется бочка с водой в одном дворе, словно чудом оказываются сложными дрова в другом. Игра и дело. Больше дела, чем игры. И как бы проекцией в будущее Тимура дает Гайдар маленький эпизод.

К жене убитого в пограничной стычке лейтенанта приезжают товарищи убитого.

«Вы хотели повидать вашу маму. Ваша мать сегодня поездом выезжает к вам из Иркутска. До Иркутска она была доставлена на специальном самолете.

— Кем? — радостно и растерянно воскликнула женщина. — Вами?

— Нет, — ответил летчик-капитан, — нашими и вашими товарищами».

Таковыми товарищами будут Тимур и его друзья, когда станут капитанами, инженерами, слесарями, врачами.

Тимур ведет борьбу с компанией Квакина, ворующей яблоки в чужих садах. Тимур подавляет противников своей смелостью, решительностью, своим моральным превосходством. Отказываясь от драки — привычного способа решения мальчишеских споров, Тимур делает Квакина

смешным, ставит его вне коллектива, и это оказывается страшной угрозой.

Опять-таки здесь нет натяжки. Все поступки Тимура естественны, вытекают из свойств его характера и принципов, воспитанных в нем средой.

В конце повести, в минуту трудную для Тимура, ему говорит Ольга, прежде относившаяся к мальчику враждебно: «Будь спокоен... Ты о людях всегда думал, и они тебе отплатят тем же».

А вдали слышны грозовые раскаты. «Полковник Александров подходит к вагону и смотрит. Светает, но в тучах небо... Тяжелая стальная дверь с грохотом хлопывается за ним. Ровно, без толчков, без лязга вся эта броневая громадина трогается и плавно набирает скорость».

Светает, но в тучах небо. Конечно, светает, если растет поколение таких, как Тимур — отважных, гуманных и сильных юношей. Конечно, в тучах небо, если дан приказ бронепоезду отправиться в путь.

Таковыми, как Тимур, хотел каждый из нас видеть пионеров. Это не был далекий от действительности, надуманный или сильно забегающий вперед идеал. Команда Тимура — передовые подростки тех лет, и — Гайдар угадал — сегодня таких подростков уже много.

Редкое чутье писателя и воспитателя проявил Гайдар, создавая образ Тимура. Этот подросток, по принципиальности и благородству поступков, по моральному уровню, выше большинства своих сверстников. Но выше лишь настолько, чтобы читателям хотелось и казалось возможным его догнать.

Так увлекательно рассказал Гайдар о команде, что игра в «Тимура» захватила не десятки, не сотни, а десятки тысяч подростков, стала важным делом, облегчила быт семей защитников родины. Во время войны вопрос о работе тимуровских команд обсуждался однажды в Совнарком РСФСР.

«Тимур» — самая действенная, непосредственно организующая книга Гайдара. В ней живая программа работы, допускающая любое количество вариантов. Она оставляет широкий простор для фантазии ребят.

Положительные герои повести очень разные, и в то же время одинаковые в главном: в стремлении быть полезными

членами общества. Такие, как Тимур, чувствуют моральные принципы эпохи. Они в игре, как и в работе, воспитывают себя, своих друзей. Иной раз и взрослых.

Эта повесть для детей и по идеологическим своим тенденциям, и по литературному мастерству, и по силе воздействия на читателей явилась произведением передовым, прогрессивным для всей советской литературы.

VIII

Мало досталось на долю Аркадия Гайдара тихой радости, соловьиного пения.

Он мог бы сказать сегодняшним подросткам, как сказал отец Мальчишу-Кибальчишу, отправляясь на войну: «Я жизнь круто прожил, и пожить за меня спокойно, видно, тебе, Мальчиш, придется».

Подростки, юноши, о которых писал Гайдар, одержали победу.

Это они — те, кто пять лет назад, зачитывались «Школой» и «Военной тайной», а, может быть, играли в «Тимура», — это они стояли насмерть в Сталинграде, преодолевали голодную блокаду в Ленинграде. Это они покорили Берлин.

Юноши, рано повзрослевшие, хранят незатухающую память о тех, кто не дошел с ними до границы, кто пролил кровь на полях Украины, у ворот Москвы, кто жизнью своей проложил путь к Берлину.

Среди героев, не забытых народом, и тот, кто воспевал и воспитывал стойкость, мужество, честность и самоотверженность, любовь к родине и верность товарищам — качества, которые помогли прийти к победе.

Гайдар отдал жизнь за то, что любил, как жизнь: за молодость, за светлое будущее, за радость, за счастье.

«Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной».

В этих заключительных словах рассказа «Телеграмма» — простой в своем величии идеал большого писателя Аркадия Гайдара. Верность ему он доказал своей жизнью, своими книгами, своей кровью.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ВЫШЛИ ИЗ ГОРОДА

Памяти Аркадия Гайдара

Р. ФРАЕРМАН



Однажды летом мы поехали с Гайдаром на рыбную ловлю в один из глухих районов, расположенных в лесном краю между Муромом и Рязанью.

Ночь, когда мы выехали из Москвы, была тихая, редкая по своей прелести, сулившая нам такой же тихий, ясный и жаркий день.

Мы решили не спать и провести эту ночь в беседе.

С нами был мальчик. Я не знал, где познакомился с ним Гайдар и каким образом вовлек его в это путешествие. Но я хорошо знал, что дети привязывались к Гайдару мгновенно, даже на улице, даже с первого разговора, и следовали за ним куда угодно, словно повинувшись какому-то волшебству, которым владел он один.

Однако этот мальчик немного встревожил меня. Это был не совсем обыкновенный мальчик. Он писал стихи. На нем был суконный берет, едва прикрывавший ему голову, а в руках он принес огромный пук удочек, которых хватило бы на целую ватагу тех белоголовых деревенских ребятишек, к которым мы ехали в гости.

Рюкзак его был туго набит. Он с трудом снял его с плеч и бросил прямо на пол.

— Я читал недавно один американский рассказ, как там ловят форель на кузнечика, — сказал он нам. — Они берут с собой не только палатку и керосинку, но еще и два одеяла — одно, чтобы постелить на сырую землю, а другим укрываться. Вот это настоящие путешественники! Ничего не боятся...

«Уж не Монтигомо ли это Ястребиный коготь», — подумал я и вопросительно поглядел на Гайдара.

Но Гайдар только хитро усмехнулся и опустил оконное стекло вагона.

— Американец, — сказал он мальчику, — вот посмотри-ка лучше на звезды.

Мы выглянули в окно. За окном было хорошо. Московское небо, озаренное с земли огнями, уже кончилось, и над нами, и над сонными елями за полотном дороги простиралось другое небо, полное больших звезд, от которых сквозь темный воздух, казалось, плыли тонкие, светлые нити до самой травы на косогорах.

Но мальчик не посмотрел даже на звезды и начал вдруг читать свои стихи.

Стихи были плохие, и я думал, что Гайдар тотчас же скажет об этом бедному поэту.

Но Гайдар спросил его только:

— Скажи мне, друг мой, а почему ты решил стать писателем? Любишь литературу, что ли?

Мальчик ответил сразу:

— Да! А потом я думаю, что в жизни легче всего быть писателем...

— Так, так... — подтвердил Гайдар. — Ну что ж, брат, может быть, ты и прав. Хочешь, напишем с тобой рассказ? Делать в дороге все равно нечего.

Мальчик был необыкновенно польщен. Он снял свой берет и придвинулся поближе к Гайдару.

— Пожалуй, можно попробовать, — сказал он. — А как это сделать, Аркадий Петрович?

— Просто, брат, — ответил Гайдар. — Только, чур, уговор, ты начнешь, а я закончу.

— Так будет лучше, — согласился мальчик, — а то я никогда не знаю, как нужно кончить.

— А я как раз никогда не знаю, как начать, — сказал Гайдар.

Я тихонько рассмеялся, с любопытством ожидая, чем кончится эта игра, которую Гайдар никогда не затевал зря.

— Какой же мы рассказ будем писать? — спросил мальчик.

— Какой хочешь, — ответил Гайдар. — Но лучше что-нибудь с приключениями, вроде Жюль-Верна. Мы тоже, брат, едем с тобой в большие леса, на глухие озера, кто его знает, что с нами может приключиться. Воображение у тебя есть. Вот и начинай. Поставь удочки в угол, их никто не возьмет, надень свой берет на голову и подумай. А то — можешь и не думать, сразу начинай. Ты напиши только первую фразу, а я напишу вторую.

Гайдар вынул из своей полевой сумочки, которую всегда носил с собой, синюю тетрадку и карандаш и положил перед мальчиком на столик.

Сначала мальчик был несколько озадачен, увидя перед собой карандаш и бумагу, а потом сделал все, как Гайдар говорил: сел поближе к свету и задумался. Однако думал он недолго и, написав первую фразу, прочел ее на вслух.

Она гласила:

«Путешественники вышли из города...»

— Вот и отлично, — воскликнул с особенным удовольствием Гайдар. — Первая фраза у нас уже есть, а вторую... А вторую я напишу завтра.

Мальчик был крайне разочарован.

— Завтра, Аркадий Петрович? А я думал — сейчас.

— Нет уж, брат, завтра, как выйдем из города, я и напишу вторую. Мы с тобой пойдем обратным ходом. Что напишем, то и сделаем. А теперь ляжем спать.

Гайдар закинул на полку свою холщевую сумку, в которой держал хлеб, чай и сахар. И сам полез наверх, очень легко поднимая на руках свое большое тело. Вскоре он заснул.

Мальчик тоже прилег на скамью, подложив под голову свой берет.

А открытая тетрадка с первой написанной мальчиком фразой всю ночь пролежала на столике.

В город мы приехали утром. Солнце уже рассыпало жаркий и острый блеск над булыжной мостовой и асфальтом. Пыль быстро нагревалась.

Мы потихоньку пошли.

Ни Гайдар, ни мальчик не вспоминали больше о рассказе, и мне казалось, что их ночной разговор был забыт обоими.

Надо было шагать. Путь наш лежал через весь город до берега реки. Сначала идти было легко. На привокзальной улице росли молодые липки, которые бросали тень на почерневший от каменного угля песок. Женщины брали воду из колонок, и шум бегущей струи и звук железных ведер в их руках как будто умерял немного все усиливающийся зной.

Однако мальчик уже два раза просил у встречных женщин напиться. Тяжелый рюкзак оттягивал его плечи, удочки мешали движению. Пот начал выступать на его лице.

Мальчик вдруг остановился и сказал Гайдару:

— Аркадий Петрович, разве мы не сядем на автобус? У меня есть деньги.

— У меня тоже есть деньги, — ответил Гайдар. — Но дело, братец, в том, что из города нам надо выйти, а не выехать. Вот если бы ты написал: «Путешественники выехали из города на автобусе», я бы, пожалуй, поехал, оно, верно, лучше, чем пешком.

— Когда же можно будет нам поехать? — спросил мальчик.

— А вот когда мы оглянемся назад и в самом деле сможем написать в тетрадке, что путешественники вышли из города, тогда поедем.

Мальчик потихоньку вздохнул и пошел дальше, свободной рукой вытирая пот с лица.

А город, чем больше мы углублялись в него, тем шире расстилался перед нами.

В полдень мы миновали лишь центр с его магазинами и перекрестками; по которым с мягким резиновым шумом пробегали машины. Солнце плавилось в

собственном зное, тени лежали у самых ног на размягченном от жары асфальте.

Потом открылись перед нами более тихие улицы, где мы увидели высоко над рекой старинный собор, сложенный из красного камня, с тяжелым куполом, с белыми узорными колонками. В его тени мы немного посидели и заодно наоточили свои складные ножи у проходившего мимо точильщика.

Потом мы снова пошли дальше.

Мальчик поминутно останавливался и, оглядываясь назад на город, спрашивал у Гайдара:

— А теперь можно написать так?

— Посмотри вокруг, — отвечал ему Гайдар, — вышли ли мы из города.

А город все не кончался. Уже начались его окраины со щелистыми заборами, с деревянными домами, с палисадами, с зеленой травкой, пробивавшейся меж камней, по которым, подпрыгивая, катились автобусы, перевозившие пассажиров с пристани на вокзал.

На одном из поворотов шоссе, круто загибавшего направо, мальчику показалось, что город уже кончился. Перед взорами открылись луга, огороды, убежавшие к самой реке.

— Вот теперь он уже кончился! — воскликнул мальчик.

Но за поворотом снова показалась улица, где дома теснились еще гуще прежнего.

На глазах у мальчика показались слезы

Он присел на край дороги и сказал: — Что же мне теперь делать? Я не

пойду дальше, я лучше уйду назад на вокзал и вернусь домой.

— Возвращайся, — сказал ему Гайдар. — Но тогда мы не напишем с тобой рассказа и ты не узнаешь, что было в нем дальше.

— Теперь мне это все равно, — ответил мальчик и поднялся на ноги, так как тяжелая голубая машина уже приближалась к нам.

Гайдар не удерживал мальчика и попрощался с ним спокойно.

— Прощай. Ничего, брат, не могу поделать. Надо было тебе сначала выйти из города, а потом уже написать в тетрадке: «Путешественники вышли из города».

Когда мальчик уехал и мы, отдохнув немного на краю дороги, двинулись дальше, я поглядел на лицо Гайдара.

Оно было задумчиво, сурово и печально и даже как будто жестокость отражалась на нем. Я никогда не видел его таким.

— Зачем ты это сделал, Аркадий? — спросил я его.

Он ответил:

— Зачем ты спрашиваешь? Он виноват вдвойне. Он не знал того, о чем пишет, и не захотел узнать, что будет дальше. Что если в самом деле он станет писателем?

Я промолчал, хотя мне было жаль мальчика. Но я знал, что там, где касалось правды в искусстве, Гайдар ничего и никому не прощал — даже такому мальчику.

ПАРОДИИ И ШАРЖИ



Ян Сашин

„МОДНАЯ“ ПЕРЕДОВАЯ

Из горького опыта одного журнала

За последнее время в печати неоднократно появлялись статьи с резкой критикой нашего журнала «Пламя».

Со всей прямоотой надо сказать. И даже более того. Если просмотреть последние книжки такого туманного журнала, как «Млечный путь», если прочитать страницы сползающего «Аллигатора», а также познакомиться с последними номерами варящегося в собственном котле ежешестимесячника «60 дней», то станет ясно, что наш журнал — самый толстый и интересный.

Есть у нас, например, издательство «Наш писатель». Чем оно занимается? Кого издает? Чьи произведения протискивает?

В результате явной недопереоценки, издательством была выпущена в свет псевдо-книга прозаика Шестипсова, несмотря на то, что всем давно известно, что Шестипсов это — не то.

Правда, перед тем, как издать свою книгу, Шестипсов опубликовал ее в на-

шем журнале «Пламя», но произошло это исключительно по недосмотру уборщицы Пальчиковой, уволенной за прогул.

Что касается нашего журнала, то нельзя не признать, что в его работе тоже имели место отдельные неполадки. Например, в результате слабого руководства со стороны, нами была допущена одна небольшая оплошность: в трех книжках нашего журнала были опубликованы девять произведений, охарактеризованных в печати, как произведения художественно малоценные, надуманные, пустые и бледные.

Эту одну нашу оплошность, так сказать, недогляд, мы признаем открыто, чем сразу даем понять, что увиливание от самокритики нам чуждо, не присуще, а также не свойственно.

Со всей непримиримостью мы заявляем:

Строже требования к другим журналам!



НЕСОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛИЯ

Зрю колхоз перед собой
С петушками избы.
У старухи у рябой,
Думаю, поись бы.

Как пасхальный колобок
Выпечено солнце,
Аж потеет образок
В слюдяном оконце.

Ходит по двору индюк,
Бродят куры, гуси —

Все мне видится вокруг
В древнерусском вкусе.

Я, пред кем ни попроси,
Козьей ножкой шаркну,
— Эх ты, ох ты, гой еси, —
Воскричу, восгаркну.

Ай ведь в поле пляшет лих
В сарафане трактор...

Был такой в журнале стих.
Где же был редактор?

СТЕПАН ШИПАЧЕВ



Дружеский шарж худ. КУКРЫНИКСЫ

Александр Раскин**М. МАТУСОВСКИЙ**

«Пахнет парным молоком, былью и сказкою
древней
Близостью летней грозы и переменной судьбы».
(«Приятель»)
«Пахнет солью и грозой, иодом и судьбой»
(«Земля»)
«Пахло летним сном и сыростью ночью»
(«Выздоровление»)
«Пахнет сумрак прелой голубикой»
(«Чертовщина»)

Пахнет мамой и тетей, попахивает и папашей,
Старомодным фотографом 40 на 72,
Пахнет жирным борщом, отглагольной рифмой
и кашей,
Пахнет белым стихом, выносимым друзьями едва.
Шестью семь сорок два, а четырежды семь двадцать
восемь.
Пахнет детством и мясом, мечтой и соленым грибом.
Пахнет первой любовью, которую мы переносим
Между корью и свинкой и лечим дорожным столбом.
Пахнет жареным, пареным, пресным и кислым,
сушеным,
Восемнадцатой тысячей строк, без задержки
представленной в срок.
Пахнет свежей мыслью о том, что вдвоем хорошо нам
И что хуже гораздо, когда ты, увы, одинок.
Прославляю умение напиться водой ключевой,
Залезать на деревья, огонь высекать из камней,
Мед сосать у пчелы, укрываться зеленой листвою,
С каждым днем становиться красивей, сильней и
умней.
Мир лежит на моих волосатых задумчивых лапах,
Он еще не обнюхан, но будет обнюхан вполне.
Растопырены ноздри, впиваю за запахом запах,
Если что пропущу, умоляю, напомните мне.
Пахнет М. Исаковским, Твардовским и
Е. Долматовским,
Тянет Блоком немножко и П. Антокольским —
сильней...
А бывает и так, что пахнет и самим Матусовским
И, по правде сказать, этот запах всего бы верней.

ГОРЕСТНЫЕ ЗАМЕТЫ

Из дневника конъюнктурщика

Четверг. Сегодня весь день работал — ходил и думал: о чем бы написать? Ах, как хочется сделать хорошую, правильную статью, попасть, как говорится, не в бровь, а в глаз. А-то я все время попадаю почему-то именно в бровь. Даже обидно как-то.

Суббота. Древние гибли между Сциллой и Харибдой, а я — между Хуллой и Хвалой. Как глупо, что до сих пор не страхуют у нас в Госстрахе критиков от ошибок. Внес бы четыреста рублей — и год работал бы спокойно. Кого-то перехвалил — стукнули тебя за это, и со статьей о своем заблуждении идешь прямо в сберкассу. За статью о тебе в «Вечерней газете» получаешь, как за легкое увечье, за аналогичный материал в «Лит. газете» — по графе «тяжелые травмы». За упоминание в центральной прессе имеешь инвалидность третьей группы. Сколько бы я мог жить безбедно по такой системе!

Понедельник. Заповеди разумного критика.

1. Не выступай первым!
2. Не выступай вторым!
3. Выступай третьим!
4. Признавай ошибки ближнего твоего!
5. Цитируй!
6. Избегай оценок. Дешевая оценка может тебе дорого обойтись!
7. Лучше переругать, чем недохвалить!
8. Если тебя ударили в правую щеку, береги левую!
9. Театральный критик — это человек, бесплатно ходящий во все театры.

10. На вопрос: как вам это понравится? — отвечай: Не знаю, я не Шекспир!

Среда. Сегодня ночью я разбудил весь дом радостным воплем. Наконец-то во мне созрело возмущение книгой писателя Н., зародившееся ровно два года четыре месяца назад при выходе книги в свет. Ох, и раздолбаю же я его!

Я ведь не то, что те скоропалительные рецензенты: вчера прочел, сегодня готово — написал. А я не тороплюсь, вынашиваю, лелею. Зато уж потом...

Пятница. Вчера чуть было не похвалил новые стихи молодого поэта. Слава богу, во-время опомнился. До сих пор не могу отдышаться. Не дай бог связаться с этой молодежью. Похвалишь, а он вдруг такое загнет, что потом тебе десять лет икагся будет. Нет уж, благодарю покорно, пусть другие хвалят.

Воскресенье. Был в театре. Пьеса, конечно... но актеры... в работе режиссера чувствуется явное... Большая часть публики после второго акта... Я, лично, считаю, что... Прочел и умилился. Даже собственная жена не разберет, что к чему в этой записи. А я все знаю — многогочия-то сам ставил. Эх, если бы статьи такие можно было писать. То-то было бы раздолье. Каждый бы читал, что хотел, а мое дело — сторона. И все довольны.

Вторник. Сдал статью о книге писателя Н. Полностью выразил свое многолетнее негодование. Статья написана по всем правилам хорошего тона. Книга названа книжонкой, пи-

сатель Н. «неким Н.» В заключительном абзаце пожалел бумагу, на которой написана книга, и выразил глубокое сочувствие несчастному читателю. Все хорошо, но почему же я не спал сегодня? Чего я боюсь? Никогда я первый не хвалю, никогда я первый не ругаю, всегда выстуваю «в свете сегодняшнего дня» и всегда попадаю впросак. Мучительно думаю: почему? Кто объяснит мне это?

Среда. Статья напечатана. Что-то будет?..

Пятница. Крах, ужасающий крах. Кто бы мог подумать, что Н. настоящий писатель, что написал он хорошую книгу, а моя статья суть заушательство и типичная конъюнктурщина. Сегодня все это напечатано в центральной газете. Вот, всегда у меня так... Начал писать покаянное письмо в редакцию. Вспомнил все свои грехи за много лет. Уже написал грамм шестьсот. ~~Дотяну до кило~~ и пошлю. А там, что бог даст.

ОТ РЕДАКЦИИ

Из-за недобросовестности автора, к сожалению обнаруженной нами слишком поздно, в этом номере нашего журнала напечатано стихотворение Михаила Луконина «Пришедшим с войны», ранее опубликованное автором в журнале «Огонек» № 16—17 за 1946 год.

Главный редактор Константин Сямонов.
Редколлегия: Борис Аганов, Александр Боршатовский, Валентин Катаев,
Александр Кривицкий, Константин Федин, Михаил Полохов.

Редакция: Москва 6 Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»

Поднесено к печати 2/XII-46 г
Л 11516 16 печ. листов Тираж 64000 Заказ № 2278

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» Москва.

Цена 10 руб.



6

е ж е г о д н о

ТИРАЖЕЙ ВЫИГРЫШЕЙ

В КАЖДОМ ТИРАЖЕ РАЗЫГРЫВАЕТСЯ:

16	выигрышей по	25.000	рублей
80	выигрышей по	10.000	рублей
480	выигрышей по	5.000	рублей
4.800	выигрышей по	1.000	рублей
17.344	выигрыша по	400	рублей

ВСЕГО **22.720** ВЫИГРЫШЕЙ
НА СУММУ **15.337.600** РУБЛЕЙ

**Облигации займа 1938 года
свободно продаются и покупаются
сберегательными кассами**